



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Г. М. ГУСЕВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУШИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

Наталья КОСТЮЧЕНКО Предательство. Повесть	6
Николай ИВЕНШЕВ Марья Моревна. Рассказ	43
Светлана ЗАМЛЕЛОВА Красный день календаря. Рассказ	50
Юлия НИФОНТОВА Спаси мя. Рассказ	66
Виктор МАНУЙЛОВ Возвращение. Рассказ	77
Олеся МИЦУК В пути. Рассказ	248
Рустем ГАЛИУЛЛИН Отец и сын. Рассказ	261
Влад ИСМАГИЛОВ В другом окопе. Рассказ	272

Поэзия

Борис СИРОТИН "Выпрямлялся стебель души..."	3
Татьяна БАТУРИНА Иду под небом Русским... ..	31
Фёдор СУХОВ От российских берёз вдалеке	34
Анатолий ШАВКУТА Воспоминания о любви	47
Анатолий ОБЪЕДКОВ Где синева небес чуть-чуть дрожит... ..	63
Валентина КОРОСТЕЛЁВА Природа музыки полна	74
Юлия АРТЮХОВИЧ Такая долгая зима... ..	95
Сергей БУДАРИН Русь, я спою для тебя	240
Денис СЕКАМОВ Россия — свет!	243
Артур МУКОМИЛОВ Плачь, Ярославна!.. ..	246
Наталья ШИНДИНА Каждый Третий Рим	253
Дмитрий ХАНИН Горестная звезда	255
Татьяна ЩЕРБИНИНА Смотрю на огонь	258
Юлия ЗАЧЁСОВА Порванные страницы	267
Олег МАЛИНИН Где вы, братья и сестры?.. ..	269
Ольга НИКОЛАЕВА На полках памяти... ..	275

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Татьяна ТЕКУТЬЕВА
Над застывшим лесом 278

Очерк и публицистика

Валентин РАСПУТИН
Поле битвы — сердца людей 98
Сергей КАРА-МУРЗА
Стратегия-2020 109
Татьяна МИРОНОВА
Мифы о русском
национальном характере 119
Татьяна ШИШОВА
Мать пробуждает совесть 137
Петер АНДЕРСЕН
Мигранты берут
Европу на абордаж 149
Иван ДРОНОВ
Утопия и Устав 152
Нина СЕВЕРИКОВА
Русский Леонардо да Винчи 179

Память

Юрий ФАНКИН
Питомец русской Мельпомены 219

Критика

Валентин РАСПУТИН
“Избегайте высоких слов
для изображения нашей
грешной жизни...” 104
Станислав КУНЯЕВ
“В борьбе неравной
двух сердец” 186
Наталья БЛУДИЛИНА
Страх жизни и “ужас”
литературы нашего времени 205
Ирина МОНАХОВА
Гоголь: комическое, трагическое,
героическое 209
Ольга ЗЕЛЕНКОВА
Забывшие детство 227
Евгений ШИШКИН
Кина не будет? 230
Светлана СЕРЕГИНА
“До слёз любя страну родную...” 236

Из нашей почты

Василий БИДОЛАХ
Использовать опыт истории 280
Владимир ОСИПОВ
Как фабрикуют “дела”
по “экстремизму” 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная верстка: Г. В. Мараканов. Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова.

Корректор: С. А. Артамонова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 01.03.12. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

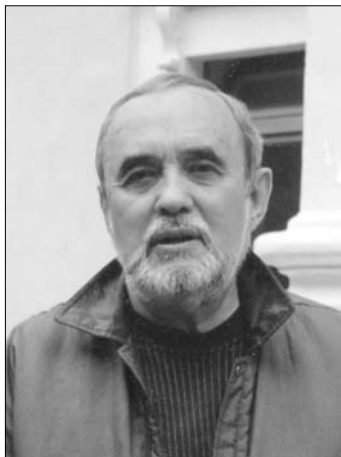
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 23,7. Заказ № 968. Тираж 9700 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. www.redstarph.ru

БОРИС СИРОТИН



“ВЫПРЯМЛЯЛСЯ СТЕБЕЛЬ ДУШИ...”

* * *

Ни голоса, ни отголоска,
Неслышно спадает с ветвей
Лист дуба — церковного воска,
И клёна — отборных кровей.

Дожди отошли, Подмосковье
В бессильной осенней красе,
Когда пошатнулось здоровье,
Но силы иссякли не все.

И я в этом тихом паденьи
Листа очень тихо иду,
И осень мне — как откровенье,
И с нею я в полном ладу.

Писать про своё нездоровье
Не стоит — к чему здесь надрыв,
Но к русской природе любовью
Я болен — и, стало быть, жив.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в оренбургской деревне. Автор многих стихотворных сборников, постоянный автор журнала, Лауреат Всероссийской премии и.м. А. Фета. Член Союза писателей России. Живёт в г. Самаре.

БЛАГОДАТНОЕ

Снизошёл благодатный огонь —
Значит, наша история длится.
Протяни, коль не страшно, ладонь —
Лишь пронзится, не испепелится.

Я увижу все жилки твои,
Как у листьев осеннего клёна,
И сказать захочу о любви
Торжествующе и опалённо.

Но, наверно, опять промолчу,
Ибо этот огонь так далече.
Лишь откроюсь Господню лучу —
Он ведь тоже пронзает и лечит.

Божий луч пробежит по кровí,
От греха очищая и смрада.
Я хотел бы кричать о любви.
Только крика об этом — не надо.

* * *

Оля, видишь, как рано темнеет,
Как туман повисает вокруг?
Даже бодрое сердце немеет,
Издаёт еле слышимый стук.

У меня ощущение такое,
Что всю жизнь этой тьмою влеком,
Хоть избáлован Волгой-рекою
И доверчивым тёплым песком.

Я люблю летний полдень палящий,
Но вот даже у Волги спроси, —
Скажет, сумерки непроходящи,
Постоянны они на Руси.

Возмужали мы в сумерках этих,
Возмужали и дети давно,
Но росли они, их не заметив,
Это зрение редким дано.

Слава Богу, что так, а не этак,
Слепота тоже дар непростой...
Оля, слышишь шуршание веток? —
Тьма пришла на великий постой.

2004

* * *

Я истину искал на дне стакана
И окунался в сигаретный дым,
Но “завязал” я с этим слишком рано,
Как мыслилось “радетелям” моим.

А надо было догорать до пепла,
Как у поэтов было искони,
Но дух мой возвышался, память крепла,
Я ускользал из цепкой западни.

Я пребывал в спокойствии и силе
И обострялось зрение моё,
Наверное, я нужен был России,
Тогда я спасся Именем её.

Но я России нужен ли сегодня?
Такое чувство, будто налегке,
Надеясь лишь на доброту Господню,
Стою на исполинском сквозняке...

2007

* * *

В плетёном кресле на балконе,
И две осы над головой
Нимб образуют золотой,
И луч осенний в листьях тонет.

Я грешник, средь греха возрос,
Грешили чресла, губы, очи,
И нимб из ядовитых ос
Над головою кстати очень.

Но этот луч осенний мне
Сегодня в полдень, в воскресенье,
Хоть слаб и чётко не вполне,
Напоминает о спасенье.

Он говорит: да, ты грешил,
Грешил и похотью, и ленью,
Но есть ведь часть твоей души,
Откуда все стихотворенья.

И это вот, ещё одно,
И новые твои запросы.
Закрой балкон, закрой окно,
Пусть кружатся впустую осы.

* * *

Мелкая правда моя не от Бога,
Хоть она движет и красит житьё,
Правду от Бога ношу я глубоко
И не всегда ощущаю её.

Чаще живу я, той Правде переча,
В мире гремящем, как в мёртвой глуши...
Правда от Бога сгибает мне плечи,
Но выпрямляется стебель души.

2005

НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО



ПРЕДАТЕЛЬСТВО

ПОВЕСТЬ

*Истинная биография —
не о достижениях, —
о грехах.*

* * *

Тем летом, когда я и Таня, робея и стесняясь, вдохновляемые самыми лучшими ожиданиями, ходили в клуб или к реке, где у костра собиралась молодежь, мы хотели понравиться, влюбиться, встретить каждая своего “принца на белом коне”.

Не стану судить о чувствах сестры, но уж в моей душе, это точно, огромным рассветным заревом разгоралась надежда. Еще не успев влюбиться, я уже была влюблена. Волшебно влюблена. Иногда утром, подходя к окну и вглядываясь куда-то поверх деревьев в саду, в то, что пока еще было невидимым, недостижимым и далеким, мысленно спрашивала: “Где ты? Кто? Что делаешь? Ты ведь есть, моя половинка. Живешь... И не догадываешься, что я вот тут, сейчас, думаю о тебе...”

И я, будучи вот таким странным образом влюблена, уже была не одна, свято веря в существование его — суженого, единственного, родного. И не сомневалась, что скоро, очень скоро произойдет наша с ним встреча.

КОСТЮЧЕНКО Наталия Николаевна родилась в 1963 г. в д. Старая Иолча Брагинского района Гомельской области. Окончила Белорусский технологический институт. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси, России, Литвы. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей Беларуси, заместитель председателя Минского городского отделения СПБ. Живет в Минске.

Однако первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснительную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за драку пьяница и хулиган. Федор или, как его называли, “цыган”, был года на три старше меня. Рослого, плечистого, с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли южноукраинской, то ли молдаванской внешностью чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался особняком. Я ни разу не видела его трезвым.

Мое ожидание чуда неожиданно раскололось и рассыпалось на мелкие осколки, когда он однажды, как только закончились в клубе танцы, пошатываясь, подошел, прямо, без смущения посмотрел мне в глаза и, ни о чем не спрашивая, молча, без единого слова, чуть на расстоянии последовал за мной и сестрой. И так же в следующий вечер. И в следующий...

“Ох, ты и попала, девочка. Он же бандит...” — сочувствовали мне.

Я не поворачивала голову в его сторону, когда возвращалась из клуба домой с сестрой и подругами. Но боковым зрением видела его огромный темный силуэт и огонек папиросы. Я его боялась. И это был какой-то особенный, почти животный страх. Раскаленным клубком нарастало нервное напряжение. Весь придуманный мною волшебный мир рухнул. И теперь, кроме Федора, никто из парней уже не мог ко мне подойти.

...Спустя год, летом, я снова приехала в деревню. Снова стала ходить в клуб, с радостью обнаружив, что Федор там не появляется.

Возвращались после танцев большой компанией. Меня и моих подруг, ни за кем открыто не ухаживая и никого из нас не выделяя, провожали парни из нашей и соседних деревень. Иногда они катали нас на мотоциклах и, когда ловили рыбу, угощали на Днепре ухой.

Однажды из соседнего двора, огороженного низким, покосившимся, упавшим в некошенной со стороны улицы траве забором, вышел высокий плечистый парень, выкатывая перед собой велосипед. К раме велосипеда была привязана удочка. Бросив короткий взгляд в нашу сторону, он, легко перекинув ногу, вскочил на велосипед и, не торопясь, оставаясь в поле нашего зрения, стал ездить взад-вперед по бетонке.

Надя, задумчиво провожая его глазами, заметила:

— Откуда у него велосипед? У Доленюков и на хлеб денег нет. Может, попросил у хлопцев?

Я ошеломленно и в то же время как зачарованная, без страха смотрела на парня. Это был Федор. Клетчатая рубашка, завязанная над животом узлом, на ветру за плечами раздувалась, словно парус. Ветер трепал непослушные черные кудри. Шоколадный загар тепло оттенялся закатом. Он держал спину ровно, голову гордо, казалось, сам смотрел на себя со стороны, и, сделав несколько кругов возле нас, поехал в сторону Днепра.

— Ух ты! — восхищенно и по-прежнему задумчиво выдохнула Надя. — Вот же Бог дал человеку красоту! А между прочим, если бы нашлась девчонка — но чтобы он в нее по-настоящему влюбился — да взяла его в руки, какой бы из него парень мог выйти!..

Надя выговорила эти слова с такой искренней и страстной убежденностью, что мне стало казаться, будто они исходили от кого-то другого, более значительного и знающего, кто сказал мне это через нее, чтобы глубоко затронуть мою душу всем их смыслом.

В выходной Федор пришел в клуб. В кинозале уже демонстрировали очередной из привозимых ежедневно, кроме понедельника, фильм.

Вспышкой меня пронзила радость. Я хотела, чтобы он пришел: трезвый или пьяный — любой.

Я сидела во втором ряду. Отыскав меня глазами, он как-то грубо, тяжело обрушился в жалобно заскрипевшее кресло впереди меня. Оглянулся.

— Федор, — без страха и смущения впервые обратилась к нему я, — как жаль, что ты выпивший. А я думала попросить, чтобы ты проводил меня домой.

Он на мгновение замер, тряхнул головой и, ничего не ответив, поднялся и ушел. До окончания фильма, которого я, тупо глядя на экран, конечно же, не видела, он в кинозале не появился. В помещении, где потом были танцы, его тоже не оказалось.

После танцев я в общей толпе вышла из клуба. Вместе с подругами миновала освещенную фонарем часть дороги. И тут возник он! Не так, как прошлым летом, чуть на расстоянии, а рядом, совсем рядом.

Мы говорили, но мало. О чем — не вспомню. Больше молчали. Запомнилось только волнение.

Позже он расскажет мне, что тогда, покинув кинозал, направился прямо к колодцу и, вытягивая из него ведро за ведром с водой, опрокидывал себе на голову.

— Ты будешь в клубе завтра? — спросил у моей калитки Федор.

— Не пойдем в клуб, Федя, — мы впервые стояли близко, лицом к лицу. Только я смотрела на него снизу вверх, а он — чуть наклонив ко мне голову. Так я еще никогда ни перед кем не стояла. Чувство, которое я при этом испытывала, не передать через слово, но оно остается свежим и острым в памяти до сих пор. — Приходи лучше, как начнет темнеть, сюда. Только трезвый.

Я и Федор стали встречаться. Не в клубе. А у моей калитки.

Мы бродили по деревне, прогуливались вдоль леса, ходили на дуг. Я — неизменно босиком. Мне нравилось быть намного ниже Федора ростом и ощущать его превосходство в физической силе. То обстоятельство, что я босая и что мы прогуливались в темноте, вынуждало его беспокоиться обо мне, чем я тайне наслаждалась. Хотя и выражал он свое беспокойство едва заметно и сдержанно: лишь вздрагивал, если я где-то слегка спотыкалась или оступалась, и осторожно придерживал меня за руку.

Мне было приятно, что такой бесстрашный, как мне казалось, грубый и сильный человек так трогательно боялся брать мою ладонь в свою. Но когда это случалось, я с трепетным восторгом вчувствовалась в надежную мозолистую нежность его крепкой руки. Постепенно водить меня за руку почти до рассвета — стало единственной близостью, которую он позволил по отношению ко мне.

Окружающих, и даже подруг, моя дружба с Федором смущала.

И мой дедушка, узнав от кого-то дурное обо мне, зашел в хату, окинул меня тяжелым гневным взглядом и процедил сквозь зубы:

— Ишь какова оказалась внучка! Нашла с кем путаться... Дожить до такого позора!

Бабушка расстраивалась. Я тоже. Едким отвратительным ядом входило в мою жизнь чужое осуждение. И однажды мне так безудержно захотелось освободиться, отмыться от него, как от чего-то нечистого, что я чуть было не рассталась с Федором. Перестала выходить к нему за калитку. А он приходил и ждал.

Но в душе человека столько противоречий, одно чувство, бывает, идет в разлад с другим. Спустя несколько дней я не выдержала, вышла к Федору. Он ни о чем не спросил. И мы просто молча пошли рядом... Только бесконечное, бездонное, наше с ним небо без слов разговаривало с нами, обнимая, понимая и утешая. Никогда ни с кем мне вот так не приходилось молчать. Но как легко, как счастливо было от того принужденного молчания...

Федор работал в совхозной бригаде разнорабочим. Чуть позже — на тракторе. Если прежде он каждую свою зарплату, просто говоря, пропивал, то на этот раз...

Вечером, как стемнело, я долго стояла у калитки, всматривалась в серую ленту дороги, нервничала, потом пошла в направлении его деревни, вернулась, вслушивалась — Федора не было. Издевательски немилостиво на этот раз стрекотали кузнечики. Колбочими звездами холодно смотрело на меня небо. Тихо, незнакомо и неприятно пусто было кругом... Без него. Злой пьявкой всосалась в душу тревога.

Не уйду. Как же это невыносимо — вот так ждать. Час, больше?..

Вначале я не увидела его, а услышала громкий топот ног. Я знала, что это он. Федор бежал. В темноте он чуть не налетел на меня и резко остановился, прерывисто и шумно хватая ртом воздух. Он был одет во что-то светлое, а на груди по светлой фону — темные пятна.

В недоумении я всматривалась в него:

— Что случилось?

— Да вот, — все еще шумно дыша, со смехом стал говорить Федор, — хотел похвастаться перед тобой. С зарплаты в лавке рубашку купил.

Я протянула руку и потрогала темные липкие пятна на ней.

— Что это?

— Кровь, — рассмеялся Федор. — Думал придти к тебе в новой рубашке, да не успел. Ухажеры твои помешали. Я-то ничего, а они сдачи получили. Помнить будут. Только кто же так делает: восемь человек на одного...

— Какие еще ухажеры?

— Да все из вашей компании, в какой ты гуляла до меня.

— Что значит гуляла? Мы же так, все вместе, чтобы не скучно было. Без ухаживаний.

— Ты думаешь, я не знаю? — Федор перестал улыбаться и спокойно, серьезно сказал: — Я все про тебя знаю. Нравилась ты там кое-кому. — И, переведа дыхание, явно гордясь, продолжил, словно отчет перед командованием держал после боя: — Я бы с ними справился быстро, и даже с большим количеством справился, если бы спиной было к чему прислониться. Упрешься спиной — и все перед тобой. Тогда уж тебя никто не одолеет. А так окружили со всех сторон. Вот и задержался...

Я не знала, плакать мне или смеяться. Спросила:

— За что они тебя?

— Поджидали. Знали, что к тебе иду. Решили предупредить: буду ходить — прибьют. — И твердо добавил: — Хотели остановить. Не выйдет.

У колодца, набрав в ведро воды, мы застирали его рубашку. Федор сказал, что она бирюзовая. И я представила, как он выбирал и покупал ее, и как радовался, когда шел в ней на свидание.

Сердце щемило. Я попросила:

— Федя, пойдем завтра в клуб.

В течение следующего дня я представляла, как войду с Федором в клуб, держа его за руку перед всеми, не отпуская. Как гордо, смело и с презрением посмотрю в глаза тем... Обязательно посмотрю. И уверенно поклялась себе: “Я буду оберегать Федора, от всякого зла оберегать. И никогда больше не стану стыдиться того, что я с ним!”

Вечером мы с Федором отправились в клуб. Вошли после фильма, когда уже начались танцы. Я держала его за руку. То, что я увидела, было как в замедленном кино. Почему-то все — так мне показалось — словно в каком-то замешательстве, стали смотреть на нас. И они на самом деле смотрели. Удивленно и с интересом.

Я опустила глаза и предательски высвободила руку. Федор, чуть наклонив ко мне голову, тихо спросил:

— Если хочешь, уйдем?

Я, так и не поднимая ни на кого глаз, кивнула. И мы ушли.

Во время зимних каникул я приехала в деревню с родителями. Желая избежать неприятностей, так как папа у меня, как и дедушка, по характеру суровый, бабушка меня обманула, сказав, что Федора внезапно призвали в армию.

Я догадывалась, что армия — мечта Федора, так как в ней он видел единственную возможность уехать из деревни, где пережил столько унижений. Он часто обращался в Брагинский райвоенкомат с просьбой призвать его. Но безрезультатно. Препятствием стала то ли какая-то врожденная болезнь сердца, то ли условная судимость за драку. Я точно не знала и, чтобы не смущать Федора, не выведывала.

Я заскучала, а где-то в душе и порадовалась за него, а перед отъездом в Минск решила, поделившись своими планами с бабушкой, навестить его сестру, хотя ни разу с нею не общалась.

Федор же, ни в какую армию не призванный, получив от меня письмо с сообщением о приезде, каждый вечер приходил к калитке, на то место, где мы встречались летом. Бабушка, как потом мне призналась, его украдкой высматривала и очень переживала, а на третий вечер не выдержала и вышла со двора к нему.

— Мой же ж внучек, — сказала она Федору, — Наташка просила передать, что не хочет с тобой встречаться. Ты ж и сам пойми — не по тебе она, Федька. Не ходи сюда болеей.

А за два дня до нашего с родителями отъезда бабушка мне во всем призналась.

Вечером я, пока совсем не замерзла, стояла на улице. Федора не было. А наутро бабушка, как бы заглаживая свою вину, сообщила:

— Наташачка, внучачка моя, не переживай. Я с самого рання сбегала да его матки и наказала перадать Федьке, что ты будешь ждть его в шесть часов вечера у калитки.

Я с нетерпением ждала вечера. Шесть часов, семь — Федор не появился. Снова что-то было не так... Обманули, не передали? Или что-нибудь случилось? Уже не испытывая ни страха, ни смущения, я решила немедля сама пойти в Иолчу. И пошла, прошла почти полдороги. И вдруг навстречу мне, по снегу, в одних штанах и майке — он. Опять бегом. Не узнав, пробежал мимо.

Я его окликнула:

— Федор!

И сейчас вижу, как он стоит передо мной на морозе в тапках на босу ногу и отчитывается:

— Я ж не живу с батьками. Матка вот только пришла и сказала, когда я сидел за столом и вечерял. Гляжу на часы — восьмой. Я в чем был, в том и побежал. Слышал, как матка вслед кричала: “Дурны, вернись! Оденься...”

Стоит ли рассказывать о той встрече, о пережитых чувствах? На следующий день я с родителями уехала.

Федор переболел воспалением легких.

А весной, в мае, его в самом деле призвали в армию. Я приехала с ним проститься. В тот единственный вечер шел дождь. И мы укрылись от него в совхозном амбаре, где хранилось прошлогоднее сено. Ворота амбара были широко распахнуты, и через этот огромный проем виднелась темная стена леса, который был близко, за фермой. Федор лежал на сене на спине, закинув руки за голову, и смотрел на меня. Я сидела рядом, выставив вокруг себя широкий подол своего нарядного платья, и смотрела на лес. Мы молча прощались.

— Я буду тебе писать, — вдруг Федор приподнялся и потянулся ко мне.

Меня этот его порыв взволновал, отозвавшись во мне внезапной горячей волной. Потом он, словно испугавшись, резко откинулся назад.

Федор ушел в армию, так ни разу и не поцеловав меня.

* * *

Я училась в технологическом институте на лесохозяйственном факультете. Правда, отец, не считаясь с моим желанием, перед этим настоял, чтобы я поступала в народнохозяйственный. Но, когда он был в командировке, я, уже успешно сдав три экзамена, забрала оттуда документы.

Папа у меня физик, мама — математик. Узнав о моем желании стать филологом или журналистом, папа категорически возразил:

— Журналисты, как и всякие другие писаки — болтуны. Гуманитарии — это несерьезно. Что же, раз не захотела в нархоз на финансовый, выбирай самостоятельно профессию, но ставлю одно условие: поступишь только в технический вуз.

Выбрала лесохозяйственный. Все же природу я любила. Ни финансистом, ни тем более бухгалтером быть не хотела.

Но, хотя я и училась в техническом вузе, иногда писала стихи и рассказы, публикуя их в студенческой газете.

С Федором мы переписывались. Мои письма были длинными, может быть, даже с излишними подробностями. Наверное, так я удовлетворяла свою потребность в творчестве. Писала, словно вела дневник, рассказывая обо всем, что волновало, что чувствовала и о чем думала. Его письма были, наоборот, короткими, крайне лаконичными, написанными мелким неровным почерком. И с ошибками. Федор обычно сообщал, что служба идет нормально, что жив, здоров и скучает. Содержание каждого его письма я знала, прежде чем вскрывала конверт.

Мама была огорчена из-за приходивших на наш адрес писем. Такая переписка, по ее мнению, не делала чести ни мне, ни всей нашей семье. Она ждала, не скрывая от меня своего неприятия нашей с Федором дружбы, когда же вся эта несурезица, наконец, закончится. Как-то мама, недовольно протянув мне очередное письмо, обнаруженное в почтовом ящике — обычно почту я старалась забирать сама, — попыталась меня вразумить:

— Как ты не видишь, что вы — не пара. Вы — очень разные по уровню. Со временем влюбленность проходит, уступая место привязанности, дружбе и духовной близости, которые возможны только при наличии общих интересов. И вот тогда ты почувствуешь, насколько ошиблась в выборе. Пусть он неплохой, но ведь важно, чтобы твой спутник по жизни еще и понимал тебя. Я сомневаюсь, что он будет способен на это. Плюс — гены. Ты уверена, что он снова не станет пить? Тем более, осознав ваше с ним несоответствие, вряд ли он будет счастлив с тобой. Если он не поднимется до твоего уровня — а этого, скорее всего, не произойдет, — то ты опустишься до его.

Мама говорила красиво, не спеша, укладывая слова в тщательно подобранные фразы; непоколебимая уверенность в своей правоте почти всегда исходила от ее слов, когда она меня воспитывала или чему-то учила. Она не советовала, а, как истинный педагог, наставляла. И эта ее тихая, неторопливая, сосредоточенная убежденность в том, что она отстаивала, возвышала ее над происходившими явлениями почти в каждой ситуации. Я знала, что она была человеком честным, очень порядочным, требовательным и строгим не только по отношению к другим, а, прежде всего, к себе, и поэтому свято верила в исключительную справедливость ее доводов.

Я понимала, что мама желает мне добра. И что ей не безразлично, с кем общается ее дочь. Как-то она не выдержала, взяла из ящика моего стола и прочитала письма Федора. Ее покорила его безграмотность. Больше всего она ценила в человеке знания и образованность. Даже папу — своего бывшего одноклассника — она выбрала в мужа за то, что во время их свиданий он увлеченно решал вместе с ней задачи по математике.

— Тот для меня не мужчина, кто не знает математики и физики, — сказала она когда-то в юности — хоть и с юмором, но правду — моему папе. И он, после ее слов, чтобы не оказаться недостойным своей одноклассницы-отличницы, в которую с четвертого класса был влюблен, одержимо стал “грызть гранит науки”.

Не скажу, что меня совсем не смущали ошибки в письмах Федора и некоторая ограниченность в его способностях выражать мысли. Нет, наоборот. То, каким я воспринимала его во время наших свиданий, и его письма — были разные вещи. Тот, с кем я встречалась, меня волновал и восхищал. Автор же этих писем вызывал во мне странное, противоречивое чувство и... разочарование. Однако негативную реакцию я в себе старательно подавляла, рисуя в воображении картинку будущего: “Деревня... Федор — тракторист, я — лесничая, его жена. Уставший, пропахший соляжкой и мазутом, он возвращается домой. Я, радуясь, встречаю его и подаю ему на ужин украинский борщ...” То представляю, как он колет дрова, а я в это время стираю его рубашки. А в холода надеваю телогрейку и повязываю голову цветастым платком. И вижу, что нравлюсь ему... В моем романтическом воображении не было места угасавшим, уступавшим привычке чувствам, а также трудностям, с которыми может столкнуться, живя в деревне, не приученный к тяжелой работе городской человек. Такое мне казалось невозможным.

К концу учебного года недалеко от Минска, в Негорельском учебно-опытном лесхозе я проходила практику. Один из преподавателей — молодой кандидат наук, которому еще не было и тридцати лет, — обратил на меня внимание. Павел Степанович, энергичный и общительный, впридачу ко всему еще хорошо пел и играл на баяне, поэтому свободное от преподавания и научной работы время проводил со студентами.

Я чувствовала, что Павел Степанович относился ко мне не так, как к другим студентам, а более внимательно и уважительно, и даже устраивал для меня индивидуальные экскурсии, во время которых знакомил с разными типами леса и лесными культурами. Это мне льстило. Особенно когда я замечала, с каким интересом и даже с некоторой завистью смотрели на меня однокурсники.

Иногда я приезжала домой и рассказывала родителям, как проходит практика. Маму информация о Павле Степановиче особенно интересовала и радовала. Она то и дело расспрашивала о нем и просила рассказывать по-подробнее.

Я несколько не была влюблена в своего преподавателя, но мне нравилась реакция на его отношение ко мне окружающих. Чувствовала, как постепенно благодаря этому отношению возрастал в среде студентов и даже в глазах мамы мой авторитет. Каждый человек в той или иной степени тщеславен. Я не была исключением.

По окончании производственной практики Павел Степанович вызвался проводить меня и помочь доставить домой мою тяжелую, набитую книгами, одеждой и другими вещами сумку. Я пригласила его на чай и познакомила с родителями.

Павел Степанович стал у нас дома частым гостем. Дружба, которая так неожиданно завязалась, была, пожалуй, не между ним и мной, а между ним и моей мамой. Он неизменно приносил для мамы живые цветы. Вел с моими родителями любезные и умные беседы. Папе Павел Степанович, нельзя сказать, чтобы очень уж понравился, скорее, он относился к нему сдержанно. Папа любил взять рюмку, и вечерами, после работы, обычно себе в этом не отказывал. А Павел Степанович подчеркнуто-вежливо вставал из-за стола, подходил к кухонной раковине и набирал в свою рюмку из крана водопроводную воду.

— Нет-нет, ничего не надо. Я не пью, — говорил он к великой радости моей мамы. — Предпочитаю чистую водичку.

Папа много курил. Причем только крепкие папиросы. “Беломор”, например. Павел Степанович не курил вообще.

Летом, в мои студенческие каникулы, родители взяли отпуск, и мы все вместе отдыхали в деревне. Там же одновременно с нами проводила свой отпуск и папина сестра — моя любимая тетя Марина, мама Тани.

С Таней мы иногда ходили в клуб. Хотя я это делала без прежнего энтузиазма, а только для того, чтобы составить компанию сестре. Мне больше хотелось, когда темнело, посидеть возле нашего двора на лавочке, представляя и почти физически ощущая, как по дороге, со стороны Иолчи, идет на свидание со мной Федор.

Мама мне долго сидеть не позволяла. Она словно уже определила для меня совершенно другой, более серьезный статус.

— Наташа. Иди домой. Садись и пиши ответ Павлу Степановичу.

Тетя Марина поддерживала маму. Они обе просто зачитывались длинными, грамотными, выведенными фигуристым изящным почерком, письмами Павла, в которых он подробно и чуть ли не художественно описывал свои научные исследования, каждый раз подчеркивая, что готовится к защите докторской диссертации.

— Какой умница, — говорила с восхищением тетя Марина. — Я его не видела, но уже представляю по письмам. Это тебе не Доленюк!

— Мне Павел не нравится, даже внешне, — призналась я.

— Глупенькая, — не соглашалась со мной тетя. — В будущем ты поймешь, что внешность — не главное. Будь он Квазимодо, я бы пожелала такую партию для своей дочки.

Мнение тети, известного и талантливое юриста, было авторитетным.

— Садись за стол, — чуть ли не приказывала мне мама, подавая ручку и бумагу. — Пиши.

И я писала. Не такое, как Федору, а коротенькое, в пять-семь предложений, скупое на эмоции письмо — сухой и холодный отчет о том, что я делаю в деревне.

В клубе ко мне постоянно подходила высокая, крупная, с короткой стрижкой, похожая на мальчишку, девушка Аня. Раньше я ее не замечала, вернее, не знала. Она жила в Иолче по соседству с Доленюками.

— Федор тебе пишет? — поинтересовалась она у меня, когда подошла в первый раз.

— Пишет.

— А ты ему?

— Тоже пишу.

— Смотри, жди его.

Мне казалось, что она чуть ли не следит за мной. Аня каждый раз садилась недалеко от меня в кинозале, подходила во время танцев и стояла рядом со мной. Она вела себя, словно парень, и этим смущала меня.

Только спустя несколько лет я узнала, что Федор — ее первая любовь. И до сих пор до щемления в сердце удивляюсь, что без зависти, ревности и эгоизма она с таким искренним рвением опекала, охраняла и оберегала меня для него.

* * *

К началу сентября мы с родителями вернулись в Минск. Павел Степанович, незаметно ставший для нас Пашей, с неизменным постоянством навещался к нам в гости. Он все так же был внимателен, вежлив и приносил цветы.

Мама всегда была рада ему. Я замечала, что благодаря его посещениям она даже становилась счастливее, чаще улыбалась и смеялась.

— Мама, да он приходит не ко мне, а к тебе. Вот ты с ним и общайся, — сопротивлялась я, когда она пыталась вытянуть меня из комнаты, где я готовилась к занятиям или читала книгу.

— Наташа, но это же неудобно. Он — твой гость. А ну-ка, не упрямясь, выходи.

Чем настойчивее и стабильнее он становился своим в нашей семье, тем меньше мне хотелось общаться с ним.

— Ведь это же ты привела его когда-то в наш дом, — упрекала меня мама. — Паша нам очень нравится. А ты поступаешь плохо. Нельзя обижать человека.

Я выходила из своей комнаты, присаживалась к столу. Но чувствовала себя отчужденно, с трудом участвуя в общей беседе. Мне казалось, что Павел, разговаривая, слышал только себя. Да и говорил он больше о своем, хвастливо и увлеченно. И мне все чаще становилось не по себе от его многословия. Выслушав однажды мое мнение о Павле, мама сказала, что я ошибаюсь и упрямясь в своем нежелании его понять. Но Павел какой-то другой стороной, совсем не такой, как маме и окружающим, открывался мне. Я интуитивно чувствовала: было в нем что-то не мое, совсем не мое.

Он приглашал нас с мамой на прогулку. И мы иногда гуляли втроем.

— Ой, Наташенька, надень шапочку, а то простудишься. На улице ветер, — предусмотрительно и как-то не по-мужски суетливо обхаживал меня Паша.

Маму это умиляло: какой заботливый мог бы быть у Наташи муж! Мне же его ухаживания были неприятны. В будущем я не раз замечала, что слащавенькая обходительность в манерах, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов при разговоре и многословие характерны для мужчин с женской натурой, немужественных, угодничающих перед более сильными.

Я маму понимала. Она не только желала для меня такого внимательно-образованного и авторитетного мужа, как Павел, но и, возможно, сама для себя находила в нем отдушину. Тем более что папа был суровым, властным, а порою не в меру жестким. Моему брату доставалось меньше, чем мне и маме, ведь, по мнению папы, Сережа — все же мужчина. Это с “бабами” нужно быть построже. Хотя под рюмку он смягчался, становился ласковее, любил пошутить. Трезвого же мы его побаивались и, когда он был дома, больше молчали.

А тут — Павел, непьющий, некурящий, обходительный.

Тот, наверное, и сам почувствовал в маме искреннего своего союзника. И, то ли интуитивно, то ли намеренно, стал делать на нее ставку: цветы, комплименты, мягко-вкрадчивое обращение... К тому же, что покорило всех, он хорошо пел и играл на баяне.

И вот в начале весны Павел сделал мне предложение. Письменное предложение выйти замуж я получила и от Федора, у которого в мае должен был закончиться срок службы. “Ответь мне честно и конкретно, — просил он в письме. — Мне нужно определиться. Если откажешь — я останусь в армии сверхсрочно”.

Мама вечером, перед тем, как лечь спать, сидела на краю моей постели. Строго смотрела мне в глаза. Ждала от меня правильного решения.

— Я не буду считать тебя своей дочерью, если ты выйдешь замуж за Федора, — категорично предупредила она.

Я молчала, словно не слышала. Отстраненно, мимо мамы, смотрела в одну точку.

Впереди ждали бессонные ночи...

* * *

Свадьбу справляли в мае. Пышно. Широко. Один день — в минском ресторане, и всю неделю — на родине у Паши, в Беловежской пуще.

Отец Павла — главный лесничий. Дед был лесничим. Да и вся их династия из поколения в поколение — лесная. Брат Павла тоже окончил лесохозяйственный, защитил кандидатскую диссертацию. Сам же Паша — молодой доктор наук, накануне свадьбы защитился.

Когда мои родители ему сказали: “Наташе вроде бы выходить замуж еще и рано”, он ответил:

— Я вашу Наташу готов хоть десять лет ждать. Но я тороплюсь. Мне уже тридцать.

Перед тем как подать с Пашей в загс заявление, я написала Федору, что выхожу замуж.

После свадьбы Паша захотел, чтобы мы с ним какое-то время провели в пуще — в деревне у его родителей. В Негорельском учебно-опытном лесхозе, где я прошлым летом проходила практику, у Паши был дом, вернее, ведомственное жилье, предоставленное молодому специалисту. Он сказал, что, когда вернемся, я войду в него хозяйкой.

Свекор, Степан Павлович (у них в роду всё были Степаны да Павлы), возил меня с Пашей на своем “уазике” по запovedным местам пуши, показывал достопримечательности — в несколько обхватов гиганты-дубы, редкие растения, рассказывал о птицах, диких кабанах и зубрах.

Утром Пашина мама, следуя местному десятидневному обряду, который было принято свекрови совершать над невесткой, надевала на меня фартук, повязывала мою голову платком и брала с собой в работу. Я вместе с ней готовила еду, мыла посуду, ухаживала за домашней живностью и помогала на грядах. Тому, чего не умела, она меня терпеливо учила.

Под вечер мы с Пашей прогуливались по пущанским тропинкам, слушая птиц и любясь могучими, вековыми, как в старой доброй сказке, деревьями. Мне нравились белесые пески на дорожках, такие же, как и в моей деревне.

Я незаметно начинала привыкать и отгаивать. Думала: “Не так уж все и страшно, не так и плохо...”

Нам, как молодым, выделили отдельную комнату на втором этаже. Мне запомнился вид из окна: на лес и небо...

Я впервые почувствовала к мужу пусть и не любовь, но какое-то доверие и тепло. Там, в этой комнате, когда мы с Пашей уже легли отдыхать, я, глядя в окно на небо, искренне, торжественно, как что-то сокровенное, очень важное для себя и для него, сообщила:

— Знаешь, я выпишусь от родителей и пропишусь к тебе. Я всегда мечтала жить в деревне. Пусть Негорелое — не деревня, а лесхоз, не имеет значения. В лесу мне тоже нравится...

Вдруг Павел резко вскочил, нервно зашагал взад-вперед по комнате и каким-то незнакомым мне, возбужденно-визгливым голосом ответил:

— Я не для того на тебе женился! У меня впереди — серьезная карьера. Мне нужна прописка в Минске.

Неожиданное, холодно-рассудительное и такое меркантильное признание обожгло больно, в одно мгновение уничтожив во мне только-только начинавшую зародиться душевную близость к нему.

Павел вскоре опомнился, сообразил, что сказал необдуманно резко, поспешно. Подбери он другие слова — все, возможно, воспринялось бы иначе. Но было поздно! Я отвернулась от него к стене.

...Чуть розовели вершины деревьев, скрывая торопливо закатывавшийся за них шар солнца; их мягкие, нечеткие тени в ленивой дреме с каждой минутой все больше и больше вытягивались, оползая на лесные поляны. Я и Павел, как обычно, вечером, прогуливались по пуще.

— Хочешь увидеть вблизи диких кабанов? — спросил у меня Паша.

Конечно, я заинтересовалась. Я не была против того, чтобы взглянуть на агрессивных и опасных для людей обитателей пущи, о которых накануне рассказывал свекор. Меня взбудоражила история, как Степану Павловичу встретившийся по дороге зубр чуть не разбил вдребезги машину. А дикие кабаны, которых я никогда не видела, по описаниям были намного крупнее домашних, и с клыками.

Паша подвел меня к охотничьему вольеру. Глядя на нас, все кабаны, которых за оградой было с десятков, замерли, пока один из них, дернувшись, не развернулся и с громким топотом не помчался в отдаленную часть вольера. За ним, как по команде — все остальные. Деревянное ограждение, к которому побежали кабаны, с грохотом рухнуло на землю. Дикое стадо животных оказалось на свободе.

Я даже не успела испугаться, а только как замороженная смотрела в ту сторону, куда гулко и ошалело, взрывая копытами землю, убегали напуганные до смерти недавние пленники.

Я обернулась — Паши рядом не оказалось. В противоположной стороне от той, куда убегали кабаны, довольно далеко от места, где мы минутой назад еще стояли вместе, я увидела его. У Павла, как говорится, “только пятки сверкали”. Муж струсил, оставил меня одну, от страха даже не оглянулся. Я, не двигаясь, с каким-то неприятным брезгливым удивлением смотрела ему вслед.

Он вскоре вернулся, странно улыбаясь, говорил, что пошутил, проверял меня. Я ему не поверила.

— Хорошо бегаешь, — ответила я мужу.

* * *

Только третий месяц шел, как мы с Павлом поженились, а я все больше ощущала, что в моей душе зреет какой-то разлад. С одной стороны в ней нарастало беспокойство, а с другой — образовывалась пустота. Люди, весь мир, сама жизнь от меня словно отгораживались стеной. Где-то глубоко внутри высасывала из меня силы тоска.

Оставаясь одна в доме, я смотрела в окно: где-то там, за лесом, еще совсем недавно, у меня была другая жизнь. А теперь ниточкой за ниточку я

вплетала в нее что-то совершенно чуждое и немилое. Неужели так будет до самой смерти? Во мне умирала одна и рождалась другая, с разочарованной и связанной в тугой узел души, “я”.

Купив в Минске на базаре маленького, белого в темных пятнышках котенка, я привезла его в Негорелое. Войдя в дом, радостно сообщила Паше:

— Вот теперь у нас — еще одна живая душа. Принимай.

Муж, увидев в моих руках котенка, поморщился:

— Держать в доме животных негигиенично. Вынеси его во двор и вымой руки.

Я с трудом уговорила Павла поселить котенка хотя бы на веранде.

— Раз приобрела — пускай живет. Но только, пожалуйста, не трогай его руками.

Я понимала, что мы с Павлом — очень разные, и с возраставшим душевным отчуждением к нему во мне возникло, и со временем все больше усиливалось, отвращение физическое. И чем сильнее становилось это отвращение, тем настойчивее муж требовал от меня близости. Уступая ему, я чувствовала, как что-то где-то глубоко теплившееся, непознанное, еще не успевшее до конца пробудиться к жизни, через это мое смирение ломалось и умирало во мне.

Сестра Паши приехала как обычно, в пятницу, накануне выходных. Устав от затянувшейся “холодной войны” между нами, я подошла к ней, как только она появилась на пороге, и протянула руки:

— Давай с тобой родниться.

Спрятав свои руки за спину, Инна отвела взгляд:

— Мы слишком для этого несовместимы.

Паша как-то растерянно, виновато посмотрел на сестру и отозвал меня в сторону:

— Разве ты не видишь, что Инна не хочет с тобой общения?

— Но если я ей так неприятна, зачем она приезжает к нам? Мне не нравится, что вы постоянно уходите из-за меня в лабораторию.

— В таком случае, ты будь умной, уступи госте. Чтобы не мешать — взяла бы да и прогулялась. Ты же любишь гулять по лесу.

Мне и в самом деле нравилось здесь, в Негорелом, гулять по лесу. Уходила в лес часто: только бы подальше от дома, подальше от мужа. В лесу я успокаивалась.

Отвернувшись от Паши, я вышла на веранду, взяла на руки котенка и, прижав его к груди, как единственную близкую душу, пошла в лес. Котенок был ласковым, привязался ко мне, привык к моим рукам и не вырывался.

Тогда, в лесу, я чувствовала, что уходила из чужого мне мира в родной. Казалось, что лес без слов разговаривал со мной и, давая свой, особый уют, утешал.

Выйдя на лесную поляну, присела среди папоротников и смотрела, как догорает небо.

Темнело. Было прохладно, а я не взяла кофту. Но возвращаться домой не хотелось. Отыскав большую, с широким пологом, ель, спряталась с котенком под нею. Присела, прислонившись к стволу. Земля была мягкая, усыпанная хвоей. “Здесь меня никто не заметит, — успокаивала я себя, — ни зверь, ни недобрый человек”.

Все же, когда стемнело, мне стало страшно, очень страшно. И холодно. Котенок, наверное, тоже боялся, потому что молчал, никуда не рвался, маленьким комочком замерев у меня на коленях. Сжимала горло обида, гордость не позволяла вернуться домой.

Так, под елью, с котенком, я и просидела всю ночь, пока под утро, когда начало светать, не услышала мамин голос:

— Наташенька-а... Наташа...

Я вскочила и на непослушных, сомлевших от сидения ногах бросилась на голос:

— Ма-ма-а!

Получилось, что мама, как и сестра Паши, приехала к нам на выходной. Дома обнаружила только Инну и Пашу. Подождала меня какое-то время. А когда стало темно, пошла искать. Так и искала всю ночь.

Искал, конечно, и Паша, но...

Наутро у меня открылось сильное кровотечение. “Скорая помощь” забрала в больницу в Минск. Мама поехала со мной. Оказалось — угроза выкидыша, почти три месяца беременности. Врачи предупредили: если лишусь ребенка, то при моем отрицательном резус-факторе могу больше не иметь детей.

Неделю не соглашалась на операцию. Сбивала, скрывая от врачей, температуру. Только когда столбик термометра стал показывать почти сорок, испугалась.

Врачи, уже не спрашивая моего согласия, сказали маме:

— Нужно спасти не будущего ребенка, а вашу дочь. У нее может начаться заражение крови.

После больницы, в августе, я уехала к бабушке, в Прудовицу. Павел приезжал, уговаривал вернуться с ним в Негорелое, но я отказалась.

Родители писали, что он часто бывает у них, переживает, ночует, не снимая одежды, в зале на диване. Уговаривали меня помириться, может, и смириться — Павел все-таки муж, — и вернуться домой. Тем более что вот-вот сентябрь, начало следующего учебного года в институте.

Институт, третий курс дневного отделения... Я понимала, что надо, очень надо ехать. Но ехать не было сил. Силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно за спасительную соломинку, держаться за нее.

С наступлением сентября я получала телеграммы от Павла, письма от родителей. Но под воздействием всего того, что в последнее время так усиленно подавляла в себе и чему теперь позволила вырваться на свободу, я уже не могла подчиняться ничьей воле, кроме собственной. Решила: будь что будет, пусть хоть “мир рушится” — никуда не поеду.

Прошел сентябрь. Наступил октябрь.

Павлу, преподававшему в моем институте, ничего не оставалось, кроме как самому переоформить мои документы и перевести меня на заочное отделение.

В деревню я приехала в августе, и сама не ожидала, что задержусь тут надолго, поэтому теплых вещей с собой не брала. Но настолько я чувствовала себя комфортно в бабушкиных бурках, телогрейке, в ее кофточках и платках, так приятно было греться у знакомой до каждой прожилочки и трещинки беленой печки, такую необыкновенную нежность и успокоение обретала моя душа, что хотелось только одного: чтобы все это продолжалось как можно дольше.

Я много гуляла по окрестностям. Выходя за калитку, вначале вглядывалась в серую безлюдную даль дороги, извилистой лентой огибавшей деревню, переводила взгляд на высокие могучие вербы вдоль гребли, а потом шла на граничащий с болотами, поросшими осокой и камышом, луг. Дикими непролазными островками среди болот разбрасывался ольшаник. И все это, вечерами сливаясь с сумерками, обволакивала осенняя, тоскливая, в легкой дымке дрема.

Когда в деревне стало возможным спокойно, не торопясь, и, самое главное, независимо ни от кого, подумать о своей жизни, я уже не могла и представить продолжения каких бы то ни было супружеских отношений с Павлом. Все, что меня могло ждать рядом с ним, — это пустота. Пустота, не зависевшая ни от множества дел, ни событий, ни планов. Я понимала, что уже не быть нашему с ним будущему. И теперь хотела только одного: как можно быстрее обрести свободу. Уже то, что позволила себе остаться в деревне, было первой, главной ступенькой к этой свободе.

Чем больше моя душа оттаивала для жизни и хотела жить, тем сильнее охватывала ее тоска. Гуляя по знакомым дорогам и тропинкам, я замечала, с какой требовательной настойчивостью возвращала меня в прошлое память. Томясь предчувствиями, я чего-то желала и ждала.

То, что я предчувствовала и чего неосознанно ждала и желала, случилось. Однажды темным октябрьским вечером, это было часов в десять, в дом постучали.

На стук вышел дедушка. Через минуту заглянул в горницу, где я, укутавшись в теплое одеяло, сидя на кровати, читала.

— Какой-то хлопец к тебе. Не знаю в лицо. Пытаецца про Надю, твою подругу. И чего не до Нади пошел, а сюда? Да так поздно? Выйди, поговори.

Заколотилось в груди сердце. Набросив на себя бабушкин платок, я выскочила в сенцы. У распахнутой настежь входной двери на крыльце хаты стоял Федор...

— Матка мне написала, что ты тут, на Прудовице. Давно. И без мужа. Люди говорят, болеешь, — на следующий день, сидя в хлеву на сеновале, куда нас тайком от дедушки провела бабушка, рассказывал мне Федор. — Как получил от тебя письмо да прочитал, что выходишь замуж — я тогда в столовой сидел, обедал, — так у меня тогда весь этот обед... того, обратно... В глазах потемнело... Все! — Помолчав, он продолжил: — Куда мне было и зачем возвращаться? Здесь у меня ничего хорошего. Написал заявление, чтобы оставили в армии. Работать.

У Федора на щеках заходили желваки. Он закурил. Взглянул на меня, смягчился:

— А как получил от матки письмо, что ты тут, да что тебе плохо, стал просить отпуск. Сказал: очень нужно, что, если не пустят, убегу. Отпустили.

Мы сидели рядом и просто, естественно, не смущаясь, впервые смотрели друг другу в глаза при дневном свете, пробивавшемся сквозь щели в стенах и в приоткрытые двери хлева.

— А про Надьку я нарочно придумал, чтобы отвести подозрение от тебя, — Федор усмехнулся. — Хотя дед у тебя не глупый. Мне показалось, что он что-то смекнул.

— Нет, — ответила я, — дедушка не понял.

Проведя бессонную ночь после того, как вечером, на крыльце мы с Федором взволнованно и коротко договорились об этой встрече, я верила и все еще не верила в реальность происходившего. Да и встретились уже не юноша и девушка, а мужчина и женщина. Правда, я была женщиной, не накопившей в своем опыте ничего, кроме разочарований.

Бабушка принесла и подала нам на вышки по кружке молока и горячие, только из печи, олады.

— Не бойтесь, детки. Дед лег отдохнуть. Можно и во двор выйти. Кали что, я предупрежу.

Бабушка, которая раньше была противником наших с Федором отношений, стала нам помогать.

Не сразу случилось то, что уже неотвратимо, по самой естественной логике и законам жизни, должно было случиться. Не сразу и получилось. И я, расстроенная и растерянная, смотрела на вздрагивавшие плечи резко отвернувшегося и севшего ко мне спиной Федора. Минута — и плечи у него перестали вздрагивать. Но он продолжал сидеть ко мне спиной, молча выкуривая сигарету. Потом обернулся, сузив глаза, посмотрел на меня. И я почти не дышала под его тяжелым и жестким взглядом.

— Не думал, что достанешься мне после кого-то, — сказал он, поморщившись, таким тоном, словно хлебнул из тарелки остывшего вчерашнего борща. — А я ведь тебя берег. Не тронул. Жалею теперь, что не тронул. Что не я — первый.

— Ты же знал, что я замужем.

— Знал... — процедил он сквозь зубы. — Но не думал, что трудно будет переступить через это...

Мы с Федором встречались ежедневно. Гуляли в лугах. Ходили к застекленному холодной, осенней, прозрачно-стальной серостью Днепру. Жарили на костре сало и пекли картошку. Срывали с почти голых, с облетевшей листвой кустов дикую подмерзшую ежевику.

В ноябре выпал снег. Я надевала большое, не по размеру, старое бабушкино пальто.

В стогах Федор выгребал, ловко обустривая, уютную норку, после чего коротко командовал:

— Залазь.

Удивительно-заботливая властность этого человека странным образом действовала на меня. Я послушно, покорно, испытывая даже наслаждение от этой своей покорности, с его помощью пробиралась внутрь, после чего забирался, пристраиваясь рядом, и он сам, слегка замаскировывая, закрывая выход сеном. Так мы грелись.

Конечно, я переживала. Точило, разъедало душу понимание собственного греха. Мысленно вставала перед глазами строгая, целомудренная, всегда крайне порядочная мама. Возникал страх перед отцом. В эти минуты я начинала казаться себе очень плохой.

Но когда рядом со мной был Федор, и я смотрела на него, то чувствовала себя просветленной и счастливой, пожалуй, самой счастливой на свете.

Шли дни. У Федора заканчивался отпуск, а мне в любом случае уже было пора домой, тем более что до бабушки стали доползать слухи, чем занимается в деревне его внучка. Оказывается, даже у поля и у ветра есть уши и глаза...

За день до отъезда (Федора — на службу, а моего — в Минск) мы договорились провести нашу единственную — первую и последнюю — ночь вместе, в его хате на чердаке.

Чтобы было в чем мне ехать домой, мама прислала теплую одежду. Несколько летних вещей легко вошли в небольшую дорожную сумку.

Я попрощалась с бабушкой и бабушкой и якобы отправилась на станцию к вечернему поезду.

Бабушка проводила меня за калитку, и мы вместе подошли к ожидавшему у двора Федору. На улице было темно, на что мы и рассчитывали. Только так можно было оставаться незамеченными. Федор взял из моих рук сумку.

Бабушка на прощанье обняла и поцеловала меня, погладила по руке Федора:

— Глядите ж, мои детки. Только аккуратненько.

По приставной лестнице со стороны сада мы взобрались на чердак. Федор там уже заранее все подготовил: настелил сена, принес теплое одеяло, фонарик.

Не успели мы расположиться, как из хаты, услышав шум, выбежала мама Федора:

— Ты что это надумал, сынок? Иди зараз же в хату!

— Я перед дорогой хочу подышать воздухом, мам. Буду спать на чердаке.

— Яки яшчэ воздух у такі мороз?

Она возмущалась, на чем свет ругая сына. Но Федор, негрубо отругнувшись, сказал твердо, что он так решил. Затаившись, я тихонько, боясь дышать, сидела, держала его за руку и слушала.

Наконец его мама смирилась, сходила в хату, взяла еще одно одеяло, вернулась, поднялась по заскрипевшей лестнице, и со словами: “Дурны! Вот дурны!”, забросила его на чердак.

Я еще не знала, не догадывалась тогда, на чердаке, что все пережитое, увиденное, прочувствованное той ночью останется навсегда горячим и цельным потрясением во мне. Нет, не плотская красота и наслаждение изумили меня, а то простое тепло жизни, которое легко, незаметно, до самых сокровенных глубин наполнило меня.

Движения его рук были сдержанны. Но как откликалось и вторило все естество, сама душа моя этим рукам. Прижимая меня к себе, он то и дело проверял, как я укрыта, натягивая, подворачивая и подтыкая, чтобы не замерзла, под меня одеяло.

Утром, только рассвело, мать Федора отправила старшего сына проверить, живой ли их “дурень” и что заставило его ночевать на чердаке.

Таким образом, нас обнаружили. Позвали — сказали спуститься обоим — в хату.

Федор помог одеться, застегнул, одернул и отряхнул на мне платье. А я не сводила с него глаз. Каждое его движение было уверенно и неспешно. Он словно подчинял меня себе. Я никогда раньше не догадывалась, как приятно бывает просто слушаться. И больше не боясь ничего, счастливо доверялась той спокойной силе, терпению и заботливости, которые исходили от него — от человека, как я теперь знала, беспокойного, нетерпеливого и страстного. Все глубже и шире он открывался мне, и, благодаря этому где-то далеко-далеко, казалось, за пределами самой жизни, остались, растаяли и забылись все нанесенные прежде судьбой раны.

Мы спустились в хату, где нас уже ждали чай и только что отваренная, дымившаяся над открытым чугуном вкусным паром картошка. К моему удивлению, отец и мать Федора были мне рады, приняли, словно свою, и отправили погреться на горячую печь. И несмотря на то, что в хате было бедно и не совсем чисто, я себя чувствовала, как дома, и было мне среди этих людей уютно и спокойно.

— Я знаю, знаю, Федька давно любит тебя, — говорил мне его отец. — Правильно, увози, забирай ее, сынок.

Федор, приложив палец к своим губам, показывал мне: молчи.

Никто в тот день в его семье не притронулся к спиртному.

А вечером мы разъехались: я — в Минск, а Федор — к себе в воинскую часть.

* * *

Несмотря на то, что, прощаясь, Федор сказал мне: “Разводись с мужем”, я этого не делала. Подождать, подумать, дать пройти времени, чтобы не смеялись люди, попросил меня Паша. “Да и как на это, — переживал он, —отреагируют в институте?” Родители, хотя теперь и не выражали прежнего сочувствия к Павлу, тоже советовали не торопиться, а сосредоточить все свое внимание на учебе, которую я запустила.

При встрече Павел, подойдя ко мне, в неприятно поразившем меня волнении протянул, пытаясь обнять, руки, но я решительно и с таким откровенным отвращением отстранилась от него, что он все понял.

Я стала жить у родителей, Павел — у себя в Негорелом.

Почувствовав облегчение от обретенной вдруг свободы, я не придавала большого значения тому, что все еще состою в браке, считая развод формальной процедурой, всего лишь отложенной на время.

Учась на заочном отделении, устроилась на работу по специальности, в лесоустроительное предприятие.

Втайне, “до востребования” — чтобы не огорчать маму — переписывалась с Федором.

Дни в плавном однообразном спокойствии сплетались с ночами, и потекли недели, месяцы...

Главной причиной, мешавшей мне принимать серьезные, касавшиеся моей дальнейшей жизни решения, была проблема со здоровьем. После больницы и того, что в первые месяцы после замужества произошло, я, истаявая изо дня в день, все больше и больше худела.

Еще в деревне Федор, оглядев меня с ног до головы, не скрывая своего разочарования, словно плетью ударил: “На кого ты стала похожа... Тебя ж почти не осталось. А какая раньше девка была!” И, увидев, как я застеснялась, расстроилась, опомнился: “Ну, ничего. Ты все равно красивая”.

...Успешно сдав зимнюю сессию, успокоившись и все обдумав, я решила к Дню советской армии сделать сюрприз Федору.

Мой на три с половиной месяца задержавшийся ответ был кратким. Я написала, что подаю на развод. А двадцать третьего февраля, в его про-

фессиональный праздник, сама приеду к нему. И что согласна выйти за него замуж.

На этот раз мама отнеслась к моей предстоящей встрече с Федором с сочувствием. Я даже в дороге ощущала ее трогательное участие.

Провожая меня на вокзал, она сказала:

— Ты, Наташенька, что бы там и как ни сложилось, главное, не переживай. Тревожно мне за тебя.

И рассказала мне сон, который видела накануне.

— Приснилось, что Федор встретит тебя. Хорошо встретит. Но признается, что женат. И ты, несмотря на то, что собралась к нему на три дня, узнав об этом, обменяешь обратный билет и уедешь.

Я рассмеялась:

— Mamочка, ты же никогда не верила в свои сны. А то, что тебе приснилось — быть такого не может!

От автостанции небольшого районного городка, куда я добралась автобусом из Москвы, уточнив, в каком направлении деревня, где располагалась нужная мне воинская часть, пошла пешком.

Остался позади городок. По обе стороны дороги, по которой я шла, стоял, кутаясь в белоснежные кружева зимы, лес. От снега, игольчатого и рыхлого, тяжело нависали над дорогой ветви елей. Весело прыгали по сугробистым пышным обочинам солнечные зайчики. Казалось, сама природа ликовала, радовалась моему приезду. Я смело, решительно и легко, не ощущая под собой ног, спешила к своему счастью.

Вдруг впереди меня остановилась ехавшая во встречном направлении военная машина. Из открытого кузова спрыгнул и направился ко мне в шинели и армейской шапке на голове мужчина. Радостью горели его глаза.

— Пешком ходишь? — приблизившись, приглушенным басом спросил Федор, и рывком притянул меня к себе.

Он посадил меня в кабину рядом с водителем, сам же взобрался обратно в кузов.

— Пока отведу тебя к сестре, — сказал он мне, когда мы вышли из машины. — Она тебя покормит. Ты у нее погуляешь, подождешь меня, пока я освобожусь. Служба, она и в праздники служба.

Я шла следом, любуясь, какой он высокий, широкоплечий, сильный... Мой мужчина.

Тогда, доверчиво следуя за ним по военному городку, я в полной мере ощущала, что значит быть счастливой.

Давно, еще в деревне, мне рассказали, что друг Федора Василий, с которым они вместе служили в армии, зная, как тот переживает за сестру, стал с ней переписываться. Меня удивило, что, ни разу не встретившись с Леной, представляя ее внешне только по фотографии, Василий взял ее в жены. В тот день, когда он приехал за ней в Иолчу, односельчане не остались в стороне — каждый, что мог, принес в дом Доленюков. Кровати застелили чистыми покрывалами. Но Василий, не оставаясь ночевать, увез Лену с собой.

Жили они хорошо, даже более чем хорошо — славно.

Уже предупрежденная Федором, Лена встретила меня, держа на руках годовалую дочку.

И тогда, оставаясь на время у нее, листая предложенный ею альбом с фотографиями, я вдруг оценила, какой может быть мужская дружба. И про себя подумала, что если Василий, общаясь с Федором, так поступил, то каким же человеком должен быть сам Федор?

Гордость за него, за Василия, за Лену сдавливала волнением горло. Как ясно и хорошо было на душе оттого, что я, наконец, сделала свой выбор.

Тепло, просто, словно с родным человеком, общалась со мной Лена. И так непохожа она была на сестру Павла Инну.

Вечером, когда стало темнеть, подошли Федор и Василий. Лена налила им в тарелки борщ. Я сидела на диване в их единственной, служившей одновременно залом, спальней и столовой, комнатке и смотрела, как ел Федор. Лицо у него было суровое, сосредоточенное. Глядя в тарелку, даже не

бросив ни единого взгляда в мою сторону, как будто меня и не было, он жевал медленно, гоняя под скулами комки желваков.

Поужинав, поблагодарил сестру и, по-прежнему не глядя на меня, подхватил на руки племянницу. Незнакомой мне раньше нежностью осветилось в этот момент его лицо. Девочка притопывала у него на коленях, ухватившись своими маленькими ручками за его огромные темные ладони, и радостно смеялась. Потом подергала его за усы. Федор, в шутку пытаюсь ухватить ее губами за пальчик, улыбался. И я в этот момент подумала, как же, должно быть, этот грубый и суровый на вид человек любит детей.

Наигравшись, он опустил малышку на пол и прямо, в упор, посмотрел на меня:

— Ну что, заскучала?

Он поднялся, тут же, у двери, с вешалки, прибитой к стенке, снял мою шубу и подошел ко мне.

— Пора, пойдём.

Я тепло поблагодарила Лёну, и, попрощавшись с нею и Василием, мы с Федором вышли на улицу. Было темно. Федор придерживал меня за руку. Под ногами особенно громко в морозной тишине скрипел снег. На безмолвно глядевшем на нас далекими недоступными звездами ночном небе горел тоненький месяц. Я, идя рядом с Федором, с удовольствием, бесшумно глотала морозный сухой воздух — воздух нового и еще не постигнутого до конца счастья.

Федор привел меня в пустую казарму. В огромной комнате стояло много кроватей. На одной из них, с краю, лежала постель и аккуратно сложенное суровое солдатское одеяло. Федор снял с меня шубу, отвел, посторожив у двери, в тоже большой по площади и не совсем уютный и удобный, мужской туалет.

Вернувшись к нашей солдатской кровати, он выложил из кармана на тумбочку зажигалку и сигареты, снял с руки и положил рядом часы. Зажег свечу, взятую у Лёны, и выключил электрический свет.

Мы сидели на кровати, не раздеваясь. Я повторила то, о чем до этого сообщила в письме:

— Федя, я все решила. Я буду твоей женой.

Молча, не глядя на меня, он курил.

Я привыкла, мне это даже нравилось в нем, что он мог молчать. Но что бы так? И тут я в жалком отчаянии вдруг вспомнила мамин сон...

Федор курил одну сигарету за другой. Я смотрела на него и ждала. Ждала, когда он это скажет.

Наконец, он сказал... просто, обыкновенно, не подыскивая особых слов, не оправдываясь и не юля:

— Я женат.

Какое-то время после этого мы так и сидели, молча, рядом, не глядя друг на друга.

И вдруг Федор, словно опомнившись, повернулся ко мне, попытался меня — оцепеневшую, непослушную — обнять.

— Хорошая моя, ты единственная, кого я люблю. Я даже встречаться ни с кем не мог, потому что каждую из них, забывая, называл Наташей. А тут сверхсрочно остался. Жить на квартиру перешел к бабке одной. А у нее — дочь Наташа. Не знаю, как получилось. Влюбилась она в меня. Да и живой же я!

Федор замолчал, вытянул из пачки очередную сигарету, опять закурил. Посмотрел на меня:

— А ты — замужем... Короче, забеременела она. Сказала мне. — Федор снова затянулся сигаретой. — Я тогда тебе письмо написал, осенью, помнишь? Думал, если ты ответишь “да”, признаюсь Наталье, скажу, что ее не люблю, чтобы сделала аборт... Поеду, тебя заберу, куда-нибудь переведусь. Но ты не ответила. — Федор курил и курил. Таким и запомнилось мне его лицо в ту ночь — подсвеченное горячим огоньком сигареты. — Я все тянул... тянул... Ждал от тебя ответа. А там — уже шесть месяцев почти... Только за неделю до твоего письма и женился.

И, словно угадывая наперед мои мысли, то прижимая, то отстраняя меня от себя, чтобы заглянуть мне в глаза, говорил:

— Никуда я тебя не отпущу. Отведу к Лене, попрошу, чтобы сторожила, пока не вернусь с работы. Не уезжай. Слышишь, не уезжай, Наташка.

Я уехала. Рано утром. В Москве, на Белорусском вокзале, сдала обратный билет и купила на ближайший поезд, как и приснилось маме.

* * *

Теплым майским днем, когда цвели сады и нежной листвой зеленели деревья, Федор, будучи в отпуске, приехал в Минск и пришел ко мне на работу, в лесоустроительное предприятие. И пока я, волнуясь и не совсем отдавая отчет своим действиям, оформляла неделю за свой счет, ждал меня неподалеку в сквере.

На следующий день мы были на Витебщине, где знакомые помогли снять в деревне маленький заброшенный домик, в котором уже год, после того как умерла хозяйка, никто не жил. Сделав уборку, мы провели в нем несколько дней..

Еду готовили в печи. И я, по какой-то злой иронии судьбы, наяву могла наслаждаться картинками из своей несбывшейся мечты, с тоскливой завистью наблюдая, как умело он укладывал дрова, растапливал печь и ловко ставил в нее в чугушки. Я видела его таким, каким когда-то мечтала видеть, и понимала, что все это мне не принадлежит.

В мае, незадолго до того как он приехал в Минск, у него родилась дочь Яна. Когда, узнав об этом, я спрашивала, как он мог оставить жену с маленьким ребенком и вот так отправиться в отпуск, Федор тут же, не отвечая, нервничал, хмурился и начинал курить.

Перед отъездом он сказал:

— Хочу навестить батьку, сходить на кладбище — к могиле мамы. Подем вместе.

Наша станция Иолча по маршруту “Чернигов-Янов” после аварии в Чернобыле уже больше года была последней. Дальше — мертвая зона. Только специальные поезда продолжали следовать в прежнем направлении, доставляя на Чернобыльскую атомную и обратно работавших там людей.

Я и Федор шли от станции в Иолчу. У него в одной руке — две небольшие наши с ним сумки, в другой — моя ладонь. Мы чуть приотстали, пропустив вперед приехавших с нами одним поездом людей, которые, разбившись на группки, шли в направлении поселка. По полю от станции вилась широкая, утоптанная и разъезженная в две колеи, дорога. Вдалеке виднелись выстроенные в ряд знакомые, все такие же, какими я их видела в детстве, высокие осокори. Мимо меня и Федора в сторону станции проехал велосипедист. Кто-то обогнал нас на мотоцикле.

Я нервничала.

Осталось позади поле. Мы вышли на широкий, подбитый с двух сторон зарослями молодой, но уже набравшей силу полыни, в белесой россыпи песков шлях. Я заметила, что навстречу нам бежал человек. Не быстро бежал, тяжело, чуть спотыкаясь. Я почувствовала в руке Федора напряжение:

— Батька...

Запахавшись и прерывисто дыша, отец Федора остановился перед нами.

— Мне сказали, что Федька мой от станции идет... С женой приехал. Вот и побежал встречать.

Невысокий, худой, расправляя на груди взмокшую от пота рубашку, растегнутый ворот которой открывал коричневую, в морщинах, шею, он смотрел на нас удивленными, выплывшими глазами, в растерянности перевода взгляд с сына на меня.

— Ну, здравствуй, отец. Вот и встретил. К тебе идем, — спокойно сказал ему Федор.

— Бачу, бачу. И что не жену за руку ведешь, тоже бачу.

Два дня мы провели у отца Федора. Когда темнело, прячась от людей, бродили по окрестностям, но больше, по моей просьбе — по Прудовице. Близко и, казалось, так недосягаемо далеко была родная хата, где светилося окно, и никто за этим окном не знал, с какой тоской смотрела на него и не смела зайти на огонек внучка.

— Пока нет ребенку двух лет, военному развод не дают, — говорил Федор, когда мы, как и в прошлый раз, в Чернигове, на перроне, в ожидании каждый своего поезда, прощались. — Через два года я разведусь и женюсь на тебе. А до этого все равно можно жить вместе.

Я слушала Федора, а сама была уверена: не переступить нам через его ребенка — его маленькую Яну. Никогда не простит он себе этого. И мне тоже. Тем более что детей он любит, очень любит! Вспомнив, какая нежность разливалась по его лицу, когда притопывала у него на коленях и радостно улыбалась ему маленькая племянница, ответила:

— У тебя есть Яна, Федя. Ты не сможешь спокойно жить, если бросишь дочь. — И, не зная, смогу ли я сама в будущем иметь детей, добавила: — А меня — возненавидишь.

* * *

Человеку, как бы ему тяжело ни было, когда он принимает решение, становится легче. И если он решается закрыть одну дверь, перед ним открывается другая.

Вернувшись в Минск и определившись в своих будущих поступках, я почувствовала, что, наконец, разжали свои когтистые объятия, отпустив на свободу мою душу, сомнения и тревоги.

Спокойными жаркими днями догорало лето, когда в лесоустроительное предприятие пришел устраиваться на работу молодой симпатичный парень. Окинул меня взглядом больших и добрых светло-серых глаз, представился Володей и предложил встречаться.

С Володей было общаться на удивление легко, казалось, что мы уже давно знали друг друга. И о чем бы ни заходил разговор, ни разу никто из нас не попытался показать себя с лучшей стороны, как это обычно происходит на первом этапе знакомства. Мы много, от души смеялись. Ни до, ни после тех августовских дней я больше так не смеялась. И эти непринужденные, не обязывавшие ни к чему встречи и беседы, незаметно становясь для каждого из нас ежедневной потребностью, успокаивали и расслабляли. Общаясь с ним, я совсем не испытывала напряжения.

Володя рассказал, что отец у него — алкоголик. Мама — без образования, даже читать не умеет. Но она у него хорошая, добрая, работает на стройке. Сестра есть, на год младше. И признался, что судим, недавно освобожден — три года отсидел за драку. Подрался с хулиганами, вымогавшими деньги. Но был тогда пьяным. Не обошлось без “скорой помощи” и милиции. Хулиганы оказались детьми высокопоставленных родителей. А Володя...

Возможно, именно своей неустроенностью, неблагополучием в семье Володя мне напомнил Федора. И хотя Федор был угрюмым, молчаливым, цыганисто-смуглым, а Володя — открытым, улыбчивым и добрым, а внешне — блондинистым и светлокочим, эта горестная похожесть судеб в моей душе роднила их и объединяла. И я испытывала к Володе симпатию и сочувствие.

Иногда Володя приходил сильно выпившим. И я поняла, что с этим у него тоже проблема. Как и в случае с Федором, мы принялись ее решать. Получилось. Долгие годы придерживался Володя сухого закона.

Через месяц после знакомства Володя предложил выйти за него замуж.

Я не стала скрывать от него историю своей не совсем удавшейся личной жизни и, ответив на его предложение согласием, оговорила условие: прежде чем подать заявление в загс, я съезжу проститься с Федором.

Через два дня, провозжая меня на московский поезд, Володя уговаривал пассажиров подвинуться, сесть потеснее, чтобы высвободить для меня место в общем вагоне.

Мы с Володей поженились.

Я успешно окончила институт, хотя и не обошлось без неприятных моментов. Руководитель моей дипломной работы, профессор Леонид Смоляк, решил как коллега морально поддержать Павла и со словами: “Что, порядочные не нравятся? Непорядочные будут морду бить”, демонстративно, на глазах у членов комиссии, во время моей защиты покинул аудиторию.

Я не растерялась и не расстроилась. И, уверенно держась перед членами комиссии, несмотря на уход моего руководителя, защитила диплом.

Как раз “непорядочные” мне “морду не били”. Я успокоилась, постепенно набрала в весе и, удивляясь, что с кем-то может быть настолько легко и спокойно, называла Володю своими “валерьяновыми капельками”.

Володя, по характеру “ведомый”, стал, можно сказать, “моей тенью”. Уступчивый, почти полностью лишенный эгоизма в отношениях с теми, кто ему дорог, увлекающийся интересами и успехами близких ему людей, для меня, выросшей в семье, где мужчины были довольно властными и жесткими, он стал настоящей отдушиной.

Родители, которые вначале были шокированы моим выбором — надо же, снова бывший уголовник и пьяница! — тихо за меня радовались.

Володя воспринимал меня чуть ли не как богиню. Узнав, что я когда-то, в школьном возрасте, играла на аккордеоне, он, объездив магазины по продаже музыкальных инструментов, принес мне в подарок баян:

— Вот, Наташка, я хочу, чтобы ты играла. Аккордеона нигде не нашел. Но я уверен, ты справишься.

Мне ничего не оставалось, как ему на радость освоить и баян.

Володя очень гордился тем, что я играла. И когда у нас бывали гости, всегда торжественно подносил и ставил мне на колени инструмент.

— А сейчас Наташа вам что-нибудь исполнит.

На улице он подкармливал птиц, бездомных котов и собак. И я не знала никого, чью душу настолько бы сильно и глубоко терзала, не давая покоя, жалостливость. Единственным недостатком, который я в нем видела, была лень. Часто меняя место работы, где каждый раз его что-нибудь разочаровывало, он делал довольно длительные перерывы и, днями оставаясь дома, углублялся в чтение книг. С этим я ничего не могла поделать, да и особо не огорчалась, так как материальных проблем у нас не было. Я открыла свой бизнес, связанный с фитодизайном, и оформила Володю мастером. Как человек настроения, он то увлеченно работал, то периодами, затягивавшимися на месяц и больше, так же увлеченно читал, без смущения, как будто в этом было что-то естественное, позволяя содержать себя.

Но он был так добр ко мне, так искренне радовался каждому моему успеху, что я чувствовала себя сильной рядом с ним, все больше и больше раскрепощалась и познавала себя новую. Именно благодаря Володе я избавилась от годами изводивших меня неуверенности в себе и необщительности. Я стала вести деловые переговоры, давать интервью на радио, сотрудничать с прессой и телевидением. Даже однажды режиссер и ведущий Владимир Довженко в своей популярной спортивной программе “Асілак”, которую я как фитодизайнер оформляла, представил меня телезрителям: “Самая обаятельная женщина Беларуси”. Это я-то обаятельная, которая до встречи с Володей почти всегда сторонилась людей?

До сих пор не сомневаюсь, что именно благодаря душевному участию и чуть ли не слепой, одержимой вере в меня этого человека я стала успешной и известной в республике “бизнес-леди”.

Шел третий год нашей с Володей невероятно спокойной, без эмоциональных всплесков и потрясений, семейной жизни. Ни притирок характеров со страстными ссорами, выяснениями отношений и перемириями, ни ревности...

Говорят, удобная обувь та, которую при носке не замечаешь, не чувствуешь. Присутствие Володи я словно и не замечала, мне было — не нахожу более точного слова, чтобы выразить свои ощущения — комфортно рядом с ним. Комфортно настолько, что естественно возникавшая при этом душевная леность не позволяла мне тогда это его присутствие хоть как-то оценить.

Во время поездок в Прудовицу Володя, искренне принимая душой все, что мне было дорого, не переча и не уставая, ходил вместе со мной моими любимыми тропками, слушал птиц и кузнечиков и, терпеливо составляя мне компанию, правда, без особого энтузиазма, так как побаивался темноты, смотрел на ночные звезды.

Местом, куда влекло чувство ностальгии, был и клуб. Однажды, придя туда, мы с Володей стояли у стены, наблюдая за танцующими. Это было уже какое-то другое, совсем непохожее на наше, а может, так только казалось, поколение. Но в лицах подростков угадывалось то же, свойственное лишь юности, трепетное волнение. Тот же зал... Такие же, затертые от ног танцующих, деревянные половицы. Те же окна с широкими подоконниками, пестревшими сброшенными разгоряченными танцорами пиджаками и кофточками.

Только уже не те лица, которые так хотелось увидеть... Не та музыка... И мы с Володей — чужие сторонние наблюдатели.

— Здравствуй, Наташа, — вдруг передо мной возникла, не скрывая радости ни в глазах, ни в голосе, крупная, высокая, мужеподобная Аня, та Аня с Иолчи, которая когда-то стерегла, оберегала меня для Федора. — Что ты тут делаешь? Когда приехала?

Я тоже обрадовалась, никак не ожидала встретить ее в клубе.

— Познакомься, Аня, это мой муж, — представила я Володю. Рассказала, что приехали на несколько дней, да вот, захотелось пройтись, посмотреть на сегодняшнюю молодежь.

— А ты что тут делаешь? — задала встречный вопрос Ане.

Она, ничуть не смущаясь, ответила:

— А я девка-вековуха. Не замужем. Вот и хожу до сих пор на танцы, — Аня рассмеялась и пристроилась возле нас у стены.

Какое-то время мы молчали, глядя на танцующих, пока Аня, наклонившись ко мне, тихонечко не спросила:

— Ты что-нибудь знаешь о Федоре?

— Нет. Три года почти, как мы с ним не общаемся.

И тут Аня камнем обрушила на меня новость, которая не просто на время потрясла меня, а в течение полугода выжигала, вымучивала, не позволяя хоть иногда забыть о ней, душу.

— У Федора горе. Недавно под колесами грузовика у него на глазах погибла дочка.

— Яна? — спросила я, с ужасом ощущая, как меня охватывает оцепенение.

— Да. Он с женой, и девочка была с ними, провозжали воспитательницу. Яна так захотела. Она очень любила свою воспитательницу. А та была у них в гостях, с женой Федора дружит. Взрослые заговорились и не заметили, как Яночка выронила мячик, и тот выкатился на дорогу...

После того как Аня сообщила печальную новость о Федоре, я нуждалась в общении с ней, как нуждаются в общении с очень близким и родным человеком. Эта душевная приязнь, желание находиться рядом, особенная, которая возникает только между давно и хорошо знающими друг друга людьми, доверительность были взаимными.

Теперь каждый последующий день, проведенный в деревне, мы с Володей приходили к Ане домой. Ее мама угощала нас домашним молоком и румяными, из печи, “оладками”.

В Минск мы приехали вместе с Аней. Она с радостью приняла приглашение погостить и посмотреть город.

В моем фотоколлаже по сей день находится снимок, который мы сделали в те дни в минском фотосалоне: стоим я, Володя, а между нами, на стульчике — Аня.

С тех пор мы с Аней не виделись. У нее умерли родители, и она куда-то далеко уехала. Говорили — на север.

В течение полугода после того, как Аня сообщила о гибели Яны, мою душу грызла, так неожиданно возникнув в ней и вытеснив собой всякую способность спокойно, а уж тем более радостно воспринимать жизнь, тоска. И это тяжелое, гнетущее чувство, свое подавленное душевное состояние я не скрывала, да и не могла скрыть от Володи. Хотя и понимала, что так, как я, поступают люди, которые думают только о себе. Так поступают эгоисты. Володя же эгоистом не был.

— Что ты, Наташка, мучаешься, — сказал он однажды веселым, подбадривающим голосом, — хочешь, съездим к Федору?

— Четвертый год пошел, как мы не общаемся, — засомневалась я. — Где его искать? Вдруг он уже в другой части? А домашнего адреса его не знаю.

— Нашла проблему. Адрес я возьму у отца Федора, в деревне. Представлюсь другом детства. У отца же должен быть адрес сына.

Сохранился у меня и этот листочек, сложенный вдвое, на котором Володиным почерком аккуратно выведен сначала адрес Лены, а ниже — Федора. Так я и узнала, что брат и сестра живут семьями по соседству, на одной улице и в одном доме небольшого подмосковного городка.

Сейчас, когда пишу эти воспоминания, я больше думаю о Володе, нежели о Федоре. И тогда, уже там, в Подмосковье, видя перед собой Федора, общаясь, разговаривая с ним, я тоже больше думала о Володе, несмотря на свое жгучее, неудержимое перед этим желание встретиться.

Я стояла в подъезде этажом выше, когда Володя позвонил в нужную дверь.

Я волновалась. Федора могло не оказаться дома, он вообще мог быть в командировке. Ведь мы с Володей ехали без предупреждения, на свой страх и риск.

— Федор вот-вот вернется с работы, — услышала я женский голос. — Проходите, подождете его.

— Спасибо, я подожду на улице, — отказался Володя и, когда закрылась дверь, поднялся на мой этаж.

— Федор скоро будет, — сообщил он полупшепотом то, что я уже услышала.

— Кто открыл?

— Молодая женщина.

— Какая она? — тут же, не удержавшись от естественного женского любопытства, поинтересовалась я.

— Высокая, с короткой стрижкой. Наверное, жена.

Через какое-то время хлопнула входная дверь в подъезд.

Володя быстро спустился.

— Вы Федор?

— Он самый.

— Поднимемся этажом выше. Там вас ждут.

Мы стояли и какое-то время молча смотрели друг на друга. Он — в военной форме, в шинели. За его спиной, глядя на нас, Володя.

— Ты?

— Я, Федя. А это, познакомься, мой муж.

Что, как это было — будто в тумане. Неясными, словно все происходило во сне, остались во мне воспоминания о том вечере. Может, расплывчатými они были из-за выпитого нами троими на работе у Федора спиртного. Хотя я пила немного, Федор и Володя меня жалели, не наливали. Сами же пили, как говорится, от души, вровень. Только Федор был крепче и оставался внешне трезвым, а Володя очень опьянел, размяк.

Федор и Володя общались по-мужски тепло, словно давно были друзьями.

— Если бы приехали раньше, — помню из признаний Федора, — я не стал бы вот так с вами общаться. Не смог бы. Жить не хотелось после гибели Яны. Однозначно, не стал бы. А сейчас немного полегчало. После того, как родилась Алеська.

Федор рассказал, что у него снова дочка. Я тихо, в душе радовалась. И выражение лица у него было доброе, мягкое.

— А вам советую, — он посмотрел на меня, словно давая понять, что помнит о моем несостоявшемся материнстве, — если не будет своего, возьмите в детском доме ребенка. Обязательно возьмите. — И снова посмотрел на меня тепло, как на родную. — Девочку берите! Только девочку. — И уже тише, Володе: — Так надо. Тогда она будет счастливой.

И еще запомнилось, врезалось в память, как они, два дорогих мне человека, прежде чем нам пойти в гостиницу, стали друг против друга, и Федор, прямо глядя в глаза Володе, спросил:

— Ты ее любишь?

— Люблю.

— Я ее тоже люблю. Береги ее. Будешь беречь?

— Буду.

— Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, — чуть спокойнее сказал Федор. И тут же ужесточил голос: — Но если обидишь — из-под земли достану.

И Федор крепко пожал Володе руку.

Я стояла, глядя на них, слушала и не знала, радостно мне или горько. Только чувствовала, как что-то сильное, исходящее из глубины души, сжимало мне горло.

По дороге в гостиницу Володе стало плохо. Иногда он останавливался, и его рвало.

Я очень переживала, а Федор меня успокаивал:

— Так бывает. Все будет нормально, это пройдет. Он просто много выпил.

Пожилая женщина-администратор небольшой местной гостиницы, взяв у меня и Володи паспорта, определила нас в двухместный номер на первом этаже.

Федору войти и посмотреть, как мы устроимся, она не разрешила:

— Поздно уже.

Володу шатало. Я помогла ему разуться, снять верхнюю одежду, и он тут же рухнул на кровать и погрузился в сон. Федор подошел к нашему окну, легонько постучал. Я выглянула, приоткрыв форточку.

— Он не умрет? — испуганно спрашивала я у Федора.

— Не умрет, не бойся. Вот увидишь, завтра будет живой и здоровый.

Я то и дело подходила к Володе, прислушивалась, как он дышит, и возвращалась к окну.

— Он точно не умрет? — снова в страхе спрашивала я у Федора.

— Точно. Приспится, и все будет нормально. Я знаю.

Потом он меня уговаривал:

— Открой окно. Оденься и вылезай сюда. Я тебя перехвачу, — Федор протянул ко мне руки, — здесь невысоко.

— Нет, это нехорошо. И нельзя оставлять Володю.

— Поверь мне, с ним ничего не случится, — продолжал уговаривать Федор. — Он будет спать. И даже не узнает об этом. Я ведь ничего плохого тебе не сделаю. Приставать не буду, обещаю. Мы хоть поговорим наедине. Я столько тебя не видел.

Я поворачивала голову к спящему Володе, смотрела на него и чувствовала, что не могу этого сделать — вот так, за его доброту и жертвенность, взять и — предать.

— Если ты боишься прыгнуть мне в руки, думаешь, что я тебя уроню, давай я взберусь в вашу комнату. Впусти меня. Ну, пожалуйста, открой окно. — Нет. Нет, Федор, — я решительно покачала головой и потушила свет.

Убедившись, что Володя спит, легла на вторую кровать. Слышала, как Федор долго еще стоял под окном, а потом ушел.

Рано утром в дверь постучали. В номер вошел Федор. Он был в штатском — в обычных брюках и куртке. Я смущенно подтянула к подбородку одеяло, вспомнив, что не заперла изнутри на ключ дверь.

— Подъем! — бодрым, шутливым тоном приказал нам Федор. — Быстренько умывайтесь, одевайтесь, и съездим к моему другу в Можайск. Я все организовал. Там уже ждут в гости.

У нас с Володей были на руках билеты на вечерний поезд из Москвы в Минск. В запасе оставался день, и Федор успел отпроситься с работы, чтобы провести его с нами.

Володя потянулся, не вставая с постели, заулыбался.

— Ну что, живой? — спросил у него Федор.

— Живой.

— Я же говорил, что жить будет, — Федор пожал Володе руку. — Ты чего пугаешь жену? Только и слышал от нее: “Умрет... умрет...”

В Можайске нас гостеприимно приняли. Накормили обедом. Я заметила, как уважительно и тепло относился к Федору его друг, судя по манере держаться и грамотной, красивой речи, — умный и интеллигентный человек. Узнала, что он занимается с Федором, настраивая после окончания вечерней школы учиться дальше — получить юридическое образование. Видела, что с таким же трогательным теплом и уважением относилась к Федору и жена друга. В душе порадовалась, подумала: “Значит, не ошиблась я в Федоре. Хороший он”. И вспомнила, через какое мелкое сито обидных, несправедливых сплетен и слепой травли просеивалась когда-то его жизнь в родной деревне.

Электричкой “Можайск—Москва” мы с Володей едем до Москвы. Федор сойдет на своей станции раньше. Вагон полупустой. Я сижу рядом с Володей. Смотрю на Федора, который сидит напротив. Он же смотрит в окно. Мы все трое молчим.

“Неужели он даже не взглянет в мою сторону? И так ничего не скажет?” — в отчаянии думаю я, не своя с Федора глаз.

Лицо у него словно каменное. Он сидит, не меняя положения, без единого движения, не отрывая взгляда от окна.

“Ну что же, что он там хочет видеть? Мелькающие деревья? Он же вот-вот сойдет с поезда, и на этот раз, скорее всего, мы расстанемся навсегда. Неужели он так и не посмотрит в мою сторону?” — лихорадочно продолжаю думать я, чувствуя, как нарастает напряжение.

Наконец, когда объявили станцию Федора и поезд начал сбавлять ход, я отвела от него взгляд и посмотрела в окно. И тут меня обожгло. Мы встретились... глазами... в отражении окна. Так и замерли, глядя друг на друга. Как оказалось, все это время, не отрываясь от окна, он смотрел на меня.

Впервые в жизни я увидела, чтобы у Федора — неожиданно, в тот самый момент, когда пересеклись, благодаря отражению в стекле, наши взгляды — навернулись на глаза слезы.

Он резко поднялся, кивнув на прощанье, быстро пожал Володе руку и вышел в тамбур.

Поезд остановился. Я смотрела в окно, надеясь увидеть Федора на перроне, но так и не увидела.

Больше мы не переписывались и не встречались. Только и остался зарубкой на сердце тот острый, с внезапно навернувшимися на глаза слезами, взгляд в окне.

* * *

Володя в меня верил. И благодаря этой вере я сумела организовать и сделать успешным свой бизнес. Сформировала коллектив, обучив у отечественных и зарубежных мастеров по аранжировке цветов своих сотрудниц, и с ними озеленили больницы, детские сады, предприятия, министерства, банки, резиденции президента, Дворец Республики... С артистами эстрады, оформляя их концерты, объездила полстраны. Почти во всех крупных универмагах Минска открыла цветочные отделы своей фирмы. Легко и естественно, как будто всегда была к этому готова и всего лишь примерила новый костюм или платье, восприняла собственную популярность.

Рядом находился Володя. Слово было и не было. Так я его воспринимала.

Повторюсь, какой бы грубый смысл это ни заключало, что удобную обувь не замечают. А она служит. И ею — пользуются. Любой удобной, комфортной вещью пользуются. А человеком? Тем более, если человек не про-

тестует, не возмущается и не обижается, а принимает твои интересы и твою жизнь как собственные.

Тогда, вернувшись из Подмосковья, несмотря на то, что я и Володя прожили в браке еще около девяти лет, мы, ни единым словом не обговаривая этого и не объясняясь, не позволили больше себе тех отношений, которые связывают мужа и жену в полноценный союз — физической близости. Скорее, инициатива исходила от меня, а Володя, как всегда и во всем, согласился со мной. Но произошло это, как что-то естественное, для нас обоих одинаково назревшее. Мы относились друг к другу так, будто были братом и сестрой. Даже сегодня, спроси кто-нибудь: “Есть ли у тебя брат?” — я прежде вспомню не о родном, я подумаю о Володе.

Я становилась все увереннее в себе и выстраивала свою “лестничку вверх”. И, не устояв перед искушением поверить людской хвале, уже не сомневалась в собственной исключительности. А Володя, открыто и искренне восхищаясь мной, сам того не осознавая, потворствовал этому.

Я и Володя... Два человека рядом... Только один из нас жил для себя — им была я, — а другой — для того, кто жил для себя. Две жизни — ради одной. Справедливо ли это?

Шли годы, перелистывая, словно страницу за страницей, дни. Рано или поздно, но в человеке начинает пробуждаться, требовать своего, неважно по каким причинам замолчавшая, затаившаяся до времени природа. Мне было уже больше тридцати, когда, избалованная лестью и вниманием окружающих меня людей, я вдруг почувствовала, что во мне не только все еще жива женщина, но и что эта женщина, обнаружив себя, не желает сопротивляться своей капризной природе и готова переступить через ближнего.

Лавина страстей и моего неукротимого эгоцентризма, пока еще не распознанная внутренним зрением, толкала меня на поступки, о которых потом жалела.

Я позволила взять верх в себе женщине и предложила Володе расстаться. Он и на сей раз уступил мне...

Павел, Федор, Володя... Какой след я оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения прошлась по их судьбам?

Каждого из них я предала. Одного — выйдя замуж за него не по любви, уступив собственному безволию. Другого, наверное, все-таки любя, — подчинившись своей слабохарактерности и трусости.

И Володю... Более десяти лет его присутствие в моей жизни было не только не обременительным, но и позволило почувствовать себя уверенно, не страшиться ударов и засад, которыми так часто угрожают люди и мир. Его, словно спасательный круг, бросила мне в трудный момент судьба.

Где они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потрясений, сомнений и угрызений совести? Я еще не знала тогда, в какую муку может превратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убережешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе. И когда из темных подземелий твоей души неожиданно, не позволяя опомниться и все обдумать, поднимутся, вырвутся наружу неведомые ранее желания, и ты, уступив их силе, не в состоянии будешь вернуть их в, пусть теперь и принудительное, заточение, вот тогда и осознаешь, как приговор себе, как окончательное, самое страшное для себя наказание, которое уже не позволит почувствовать себя прежним и успокоиться: “Я предатель”.

А после того как Володя, когда я призналась, что мучаюсь чувством вины перед ним, милосердно ответил: “Я благодарен тебе за годы, проведенные с тобой, — это лучшее, что было в моей жизни”, — моя боль стала только острее.

Восемь лет после развода он жил один. А теперь приходит со своей гражданской женой к нам с мужем в праздники и на Новый год. Она называет меня сестрой. И я этому рада.

В своей жизни я совершила немало плохого. И мне страшно сознавать, что больше я жила для себя, чем для других. И сегодня, когда за плечами столько поступков, ошибок, пережитых боли и радостей, поняла одно: предавая ближнего, прежде всего ты предаешь себя, потому что, совершив предательство, никогда не сможешь почувствовать себя счастливым.

ТАТЬЯНА БАТУРИНА



ИДУ ПОД НЕБОМ РУССКИМ...

* * *

Как больно, Господи, как жалко
Всего, что спрятано в груди!
У дома вдруг вскричала галка...
Что, Куликово впереди?

Да сколько ж можно свято поле
Пытать копытом и огнём!
Доколе, Господи, доколе...
Ответил Бог: “Перемогём”.

МОИ ДЯДЬКІ-ХОХЛЫ

...Идут по шляху, не пыля,
Как память иль туман,
Не ямят житные поля
Павло и Иоанн.

За дольный дол, за крайний край
Течёт родная рать,
А как её встречает рай —
С земли не увидеть.

БАТУРИНА Татьяна Михайловна — автор 16 стихотворных сборников, лауреат Всероссийской литературной премии “Сталинград” (2005 г.). Имеет награды Русской Православной Церкви: орден Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги и медаль св. Иннокентия Московского. Автор журнала “Наш современник”.

Для смертных веси вышних сил
Безвидны и пусты,
Зато в овершиях могил
Печалются кресты.

Но средь каких подрайских жит,
Надеясь на талан,
Павло невидимо лежит
И рядом — Иоанн?

Да на Руси же на родной!
Быть может, у ветлы,
Куда приносит ветер ржаной
Пуха́ половы пострадной? —
Здесь, поминаемые мной,
Лежат мои хохлы.

Уж сколько лет наследный крик
Печёт мои уста:
Не вечный огонь — бессмертный хрип:
“За Родину! За Ста...”

СТАРУХИ

По чёрточке, по звуку убывали
Их некогда роскошные черты
За то, что их сынов поубивали,
За то, что их мужья поумирали,
За то, что так красив и молод ты.

Пойдём к старухе, что подслеповато
Чужому внуку вяжет тёплый шарф.
Висят на стенках карточки покато
И карта — осиянный полушар.

Тревожные и радостные вести —
А уж вестям на всей Руси почёт —
Старухой уточняются на месте,
Берутся на взыскательный учёт.

Легко приемля юное веселье,
Бранит за легкомысленную прыть —
Не потому ли помнится доселе
Её рассказ?
Он вечен, может быть...

ДОЛ

Зелёный дол. Протяжный клёкот стай.
Расстанный крест дороги-вековухи...
Ликует колокольчиковый май,
Покруживают пчёлы-повитухи.

Наверно, здесь — и более нигде! —
Всего вольнее древнее звучанье
Земли — и в пёстрой галочьей галде,
И в тучном строе стадного мычанья.

Коровий пастырь, в благостный простор
Картинно упираясь кнутовищем,
Хорош, что сокол: жёлтый взгляд остёр,
Но с тайной, как с ножом за голенищем.

Иду под небом Русским не спеша —
Куда из вольной воли торопиться?
Здесь выросла глазастая душа
На красных звонах памяти и ржицы.

А скрип колёсный, а смотрящий крик,
А звёздный вздох над святостью ночлега?
Всея природы шелестный дневник
От корня до распевного побега

Смальства хочу пропеть ли, пролистать,
Но что моё наивное хотенье
Земле, привыкшей сызмалу блистать
Узорочьем Божественного пенья?..

ПОСМЕРТИЕ ГЕРОЯ

На красном листе поскользнулась душа,
Кроваво-берёзовой гарью дыша,
И, падая в даль пропадания,
Сдержать не сумела рыдания.

Но тут же очнулась в сиятельной мгле —
Такой не знавала зимы на земле:
Снега без конца и без края
Под блещущей радугой рая.

И ўзрила душенька: нет, не снега —
Сугробы теплыни, светлыни луга!
И радуги многая лета —
Как орденско-славная лента.

ПОЭЗИЯ

К 90-летию Ф.Г. Сухова

“Впервые держу, озираю документ (паспорт), который мне предоставляет возможность на три месяца покинуть пределы своего Отечества и в некий день очутиться на Ближнем Востоке, в одной из арабских стран, а именно в Иордании.

В далёком мальчишестве в тёплую летнюю пору, чаще всего перед сенокосом, когда над высоко вымахнувшими травами случаются проливные дожди, когда раскатисто грохочет гром, пел я со своими сверстниками незатейливую песенку:

Дождик, дождик, перестань,
Я уеду в Иордань,
Богу помолиться,
Христу поклониться.

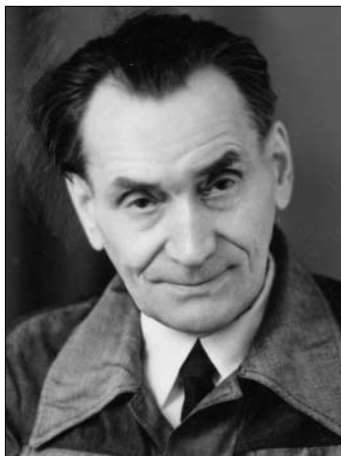
Разумеется, я тогда не знал, не мог знать, что такое Иордань, но я знал — зимой, в Крещение некоторые обитатели нашего села окунали себя в озёрной проруби, а из незамерзающего родника даже малые ребятишки набирали в чисто вымытые бутылочки студёную воду, несли её в церковь святить. Приносил из своей моленной святую воду и мой дед, Пётр Матвеевич, отдавал её бабушке, Анисье Максимовне, на сохранение. Потом садился и читал: “Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан ко Иоанну крестится от него...” 1 июня 1990 года”.

Строчки эти я выписала из общей тетради отца, в ней он начал писать свои записки — воспоминания под заглавием “Хождение за три моря”, к сожалению, написаны всего две главы. Но поездка на Ближний Восток состоялась, я сопровождала отца в ней, с нами были и две моих дочери — Елизавета и Маргарита.

Эта было единственное путешествие Ф. Сухова за рубеж нашей Родины, не считая, конечно, военной поры, когда он, старший лейтенант, победоносно шествовал в составе Красной армии по дорогам Польши и Восточной Пруссии. Записок об этом интереснейшем путешествии отец не успел дописать, но остался небольшой цикл стихов, родившийся во время этого путешествия, в круизе Одесса–Латакия–Одесса на теплоходе “Башкирия” летом 1990 года.

Е. Ф. Сухова

ФЁДОР СУХОВ



ОТ РОССИЙСКИХ БЕРЁЗ ВДАЛЕКЕ

* * *

Море Чёрное черно от хмари
Тихо вечеряющего дня,
Что так рано усмирил, умаял,
Своего угомонил коня.

Моего убаял иноходца,
Породнился иноходец мой
Не с замшелой глубиной колодца, —
С черноморской мрачной глубиной.

А когда завечерело небо,
Просияла первая звезда,
Улеглась невозмутимо-немо,
Уходилась мрачная вода.

Только возле дивного Царьграда
От короткого очнулась сна, —
Встала на ноги былая радость,
Возвратилась давняя весна.

Киевской Руси, её княгини
Синие возвысились глаза...
Милые, родные, дорогие,
Есть ли в мире эдака краса?

Есть ли в мире эдакое диво?
Дива эдакого в мире нет.
Солнце златолобо восходило,
Отдалённый озидало Днепр.

Киевской Руси, её княгини,
Блѣклые ласкало зелены,
По морской, безбрежной луговине
Гнало белогривого коня.

21 июня 1990 г. Пароход "Башкирия",
Чёрное море, Босфор

* * *

Бирюзовое море. И бирюзовое,
Прямо с неба сошедшее слово.
Что сроднилось с рассветными зорями,
Синевой упилося васильковой.

Я и сам васильково разведрился,
Не туманю себя, не печалю.
Чайка — близкого берега вестница —
К моему воскресила молчанью.

К моему пригреблась одиночеству,
Одиноко плыву я по морю,
Вижу я, как резвится, как топчется,
Веселится вода за кормою.

Я приветствую это веселие,
Сам охотно бы повеселился,
Обласкал бы берёзовым севером
Юга знойного милые лица.

Уроженца Алжира, Аравии
Освежил бы водой родниковой...
Да пребудет во славе, во здравии
Тот, кто конской запаса подковой.

Не утратит благополучия,
Не познает горчайшей полыни...
Никакая морока ползучая
Из кромешной ночи не нахлынет.

Бирюзовое море и бирюзовое,
Прямо с неба сошедшее слово
Не расстанутся с ясными зорями,
Со своей синевой васильковой.

23 июня 1990 г. Пароход "Башкирия",
Эгейское море

* * *

Не дельфины выгибают спины,
Выгибают спины острова.
Сладкой горечи родной рябины
Не теряют русские слова.

Посреди иноплемённой речи
Слышу я российский говорок...
Далеко и вроде недалече
Закипает, пенится горох.

За кормою — то ли от гороха,
То ль от этой кипени — бело.
Зимняя мерещится дорога,
Будто снегом всё перемело.

Передуло, переполошило,
Запуржило полевую Русь...
Потому-то остро так, так живо
Всякую воспринимаю грусть.

Боль разлуки и тоску разлуки
Я стараюсь испытать, постичь, —
Я свои заламываю руки,
Свой потайный складываю стих.

Сладкой горечью родной рябины
Сдабриваю тихие слова, —
Не дельфины выгибают спины,
Выгибают спины острова.

Кажут вечеряющему морю
Молодой Эллады терема.
Ну а за бортом, а за кормою
Русская мерещится зима.

23 июня 1990 г. Пароход "Башкирия", Средиземное море

* * *

Если бы ведала, если бы знала
Мать моя, боль моя, песня моя,
Что от зелёной тоски сеновала
Вдруг укачу я в иные края.

Вдруг окажусь я в иной Палестине,
К обетованной причалю земле...
Как о несчастном, потерянном сыне,
Мать моя стала б вздыхать обо мне.

А ведь и вправду потерян, затерян,
На отдалённом живу берегу.
Тихо гляжу на возвышенный терем,
Боль свою в грустных зрачках берегу.

Грустно брожу я по берегу моря,
Море-то радугой озарено.
Белые-белые камушки моет,
Блещет, трепещет, сияет оно.

А над сиянием этим восходит
Месяца остро блистающий серп.
Вроде бы вечер надвинулся, вроде
Всяк человек милосерд, добросерд.

Всяк своего перевозносит пророка,
Да не унизит свой посох пророк!
Не зарастёт диким тёрном дорога,
Что на родной возвращает порог.

Что веселит, молодит подорожник,
Благоухает травой-муравой, —
Через любые прорвётся таможни,
Проколесит голубой колеёй.

25 июня 1990 г. Сирия, Латакия

* * *

“Да будет свет!” — сказал Господь,
Свет разлился над всей землёю,
Обрёл ликующую плоть,
Пурпурной просиял зарёю.

Явил небесную лазурь,
Лазурью одарил озера.
Он виноградную лозу
Упас от пагубного взора.

От жадных уберёт очей,
Не узрят дня лихие очи...
Во мраке потайных ночей
Сова зловещая хохочет.

В кромешной тьме таится зло,
Добро — всегда на свет выходит,
Оно прозябло, проросло,
Как злак в укромном огороде.

Во храмине святой любви
Слезится кроткая лампада.
Слышней ликуют воробьи
На стогнах солнечного града.

Взыскуемый открылся град,
Прибежище добра и света,
Где вечно зреет виноград,
Среди зимы блистает лето.

Как иней стекленеет зной,
Как изморось — роса на травах.
Воркующей голубизной
Цветёт целебная отрава.

Горчит полынью солончак,
Грустит усохшею рекою,
В овечьих светится очах
Библейской ласковой тоскою.

26 июня 1990 г. Сирия, Латакия

* * *

Где-то рядом земля Ханаана,
И Арама добреет земля...
Может, поздно, а может быть, рано
Озаренье нашло на меня.

Вдалеке от родного порога,
От российских берез вдалеке
Мне иная открылась дорога,
Я к иной устремляюсь реке.

Я иной освежаюсь прохладой,
Сам себя укрываю в тени...
Да не знают ни жажды, ни глада
Тяжким зноем сморённые дни!

Пастухи аравийской пустыни
Упасутся от чёрной беды,
Воссияет небесный гостинец —
Капля с неба сошедшей звезды.

Обернётся в росу, осчастливит,
Увлажнит эта капля уста.
В неоглядном песчаном разливе
Есть своя басота, красота.

Даже горечь усохшей полыни
Услаждает дыханье земли.
И никто-то, никто не повинен,
Коль тоскуют мои журавли.

Знают — рядом земля Ханаана
Своего перевозит царя,
Потому-то как давняя рана
Восходящая рдеет заря.

27 июня 1990 г. Сирия, Латакия

* * *

Во всех глазах одни и те же слёзы,
Во всех песках — печаль усохших рек.
Когда цветут, благоухают розы,
Добреет, молодеет человек.

А тут ещё и олеандр возносит,
Животворящую дарит росу,
Небесной умиляет бирюзой
Тихонько просиявшую грозу,

Ушедшую к неведомому морю,
К иной печали, к радости иной...
Не ведаю, что сделалось со мною, —
Рассветной упиваюсь тишиной.

Розовизной ухоженного сада
Досужие дивуются глаза,

Встречаются — тихонько — с Шахразадой,
Пусть ведает, пусть знает Шахназа!

Пусть Бухара простит мои берёзы,
Опущенных не поднимает век, —
Когда цветут, благоухают розы,
Добрее, молодеет человек.

28 июня 1990 г. Кипр, Средиземное море

* * *

У арабов — коровьи глаза,
Мухаммед перевозит корову!
По его благоверному слову
Виноградная зреет лоза.

По правдивому слову пророка
С неба льётся не дождь — молоко.
Лишь идущему скажет дорога,
Что до Мекки дойти нелегко.

Совершится великое чудо,
Коль к Аллаху взывают уста,
Отзовется его высота
Нестихающим рёвом верблюда.

Тьма кромешная выбрежит свет,
Воссияет заря-заряница.
Не оставит в беде Мухаммед
Тех, кто к истинной правде стремится.

Устремляет себя на восток,
На востоке рождается утро,
Раскрывается тихо и мудро
Волоокого дня лепесток.

По правдивому слову пророка
С неба льётся не дождь — молоко.
Лишь идущему скажет дорога,
Что до Мекки дойти нелегко.

До Медины дойти нелегко,
Надо много отваги и риска, —
То, что было когда-то так близко,
Стало вдруг далеко-далеко...

29 июня 1990 г. Средиземное море

* * *

Так тихо на сердце и на душе так тихо,
Как будто в мире мир, не знающий вражды,
Добро перемогло, добро попрали зло,
Широколиственные здравствуют сады.

Плодами радуют зари рассветной щебет,
Щебечут воробьи, льют неуёмный дождь...
Давно всё ведают не на земле — на небе
Благоухающая прозревает ночь.

Купает не себя, своё купает чадо,
Рассветную зарю крестит в святой воде,
Прохладою широколиственного сада
Новорождённый упивается младень.

Он встанет на ноги, он свой возвысит голос,
Он в возраст свой войдёт, он мудрость обретёт.
Тогда униженный возрадуется колос,
Воспрянет ото сна обманутый народ.

Безмолвствующие обретут языки,
Давно утраченные возвратят права,
Поляжет под ноги взывающей ослихе
С небесных луговин сошедшая трава.

Животворящую увлажнена росой,
Трава на алчущих безмолвствует губах,
А кто-то попирает, мнёт ногой босою
Былого ужаса рассыпавшийся прах.

Жарой умаянные веселит дороги,
От давнего освобождает забытья, —
Исчезнут лжеучители и лжепророки,
Новорождённое возвысится дитя.

Возвышенное возговорит слово
Над всей-то, всей землёй, над всем материком,
Чтоб златорогая расщедрилась корова,
Серебруструйным раздождилась молоком.

3 июля 1990 г. Поезд Одесса—Москва

* * *

Был я на Босфоре, плыл я по Босфору,
Видел я воочью сказочный Царьград.
Восходил тихонько на святую гору,
Поднимался к блеску каменных палат.

Я к Святой Софии свой приблизил посох,
Боже мой, неужто я и вправду зрил
Звёзд неугасимых золотое просо,
Яблоки высоко поднятых светил?!

Оглядал объятый дивным светом купол,
Видел я сполохи сумрачной грозы,
Сонными глазами долго-долго щупал
Капельки сошедшей на землю росы.

А роса — как утра воробьиный щебет,
Щебетало утро сладкою росой,
Прозревало утро на царьградском небе,
Улыбалось кроткой, тихой бирюзой.

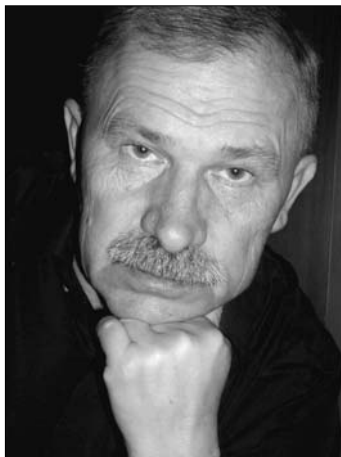
Радугой — легко так — стыло над Босфором,
Радуга — так зримо — подняла себя.
Верую — ни коршун, верую — ни ворон
Щупленького не обидит воробья.

Не затмит прозревшей молодой лазури,
Да восторжествует мир между людьми,
Если даже море дружно голосует,
Ратует за горечь попанной любви!

Двигается в объятия ласковых купальщиц,
Катит прямо в ноги прыткую волну,
Омывает утра розовые пальцы,
Нежит в белой пене тонкую луну.

9 июля 1990 г. Н. Новгород

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



МАРЬЯ МОРЕВНА

РАССКАЗ

Свою Аню он отличал от других женщин по цоканью каблучков. Она всегда носила шпильки. И объясняла с жаром:

— Разве это женщины? Мамонты! Бульдозеры! На модных утюгах не идешь, а почву утрамбовываешь. На шпильках — по воздуху летишь.

Она широко растопыривала руки и от этого действительно становилась похожей на птицу.

В молодости цоканье ее каблучков было мягким, осторожным. Ныне же, увы, решительным, как будто она, отодвинув зеленоглазый калькулятор, готовилась к серьезному бухгалтерскому отчету и по старинке щелкала на темных счетах.

В ритме ее походки и сейчас можно было угадать настроение. Вот она взлетает по лестничной клетке: “Цок-цок-цок”. Это — мелодия. Значит, все прекрасно — на улице блестит солнце, проткнулись почки на деревьях, и ее начальник, главбух Филимонов, в связи с теплом погрузился в летаргию.

Было и другое цоканье — усталое и раздраженное. Аня, кроме всего прочего, была и природным барометром, чутко реагировала на капризы природы: на улице пасмурнеет, и у нее лицо с припухлыми веками, в теле вялость и сонливость. А если на воле сияет все, ветерок скользит по телу и лепит к ногам юбку, то она легуча, светла, так дробно каблучками прищелкивает, хоть садись и спишивай музыку.

ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.

Но, несмотря на сбивы в настроении, от нее всегда пахло свежими сосновыми стружками. Запах детства. Дед у Рублева был столяром. Дед дедом, но почему от нее так пахло сосновой смолой? Загадка!

Вот и теперь, когда она нагнулась над кроватью, Рублев с жадностью втянул хвойный воздух, и в голове все полетело. Она склонилась еще ниже, касаясь пальцами подушки:

— Всё в тумбочке. Пей-жуй, Копейкин. У меня — отчеты. Не обессудь. У Филимонова опять полицейский зуд, даже цифры нохает. В углу яблоки, на нижней полке — пирожки, хавай!

И она сдула с глаз челку, словно челка была тем прилипчивым “главным бухалом” (ее выражение) Павлом Петровичем Филимоновым. Все — была и нету. Каблучки выбивали по длинному коридору полное равнодушие.

Он опять привычно уперся глазами в капельную систему. Кап-кап... Это жизнь скудеет с каждой бисеринкой, жизнь тает, как жидкость в бутылке.

Рядом качнулась медсестра. Почему у нее французское имя Люси? Люси — кровная родня своего главного медицинского инструмента. Лицо Люси никогда ничего не выражало. Хотя нет, однажды он видел Люси за листанием скользкого журнала, насыщенного снимками бройлерных парней и девиц. Девушка за этими страницами побелела еще больше.

Медсестра покрутила барашек на прозрачной пробирке и скользнула глазами по лицу Рублева.

Его-то Аня лучше всех жен, всех женщин и девушек. Врут, что красота глупа. Аня была драгоценным сплавом из ума и красот. Когда они познакомились, Рублев долго не верил в свое счастье. Он никак не мог взять в толк, что в руках его оказался небесный хрусталь, оживленный карими глазами. Сравнение, конечно, не из удачных, ну, хоть какое. Однажды в Доме книги он листал альбом репродукций “Женский портрет XVIII века”, и случилось такое, — он даже вздрогнул от неожиданности. И книга шлепнулась. Под названием “Портрет незнакомки” сияли ее глаза. И нос — копия, и — губы. Одежда, естественно, старинная. Его кареглазка, его.

Он рассказал про схожесть жене. Аня загадочно улыбнулась, сжала веки и потерялась носом по его собственной щеке, как будто глупая собачка.

Аня любила разгадывать всякие загадки, шарады, головоломки. И вот — чудеса ребячества: после любви она водила ногтем по спине: “Угадывай, читай, что я записываю”. И он шептал по слогам: “Де-не-жка моя, зо-ло-тая!”

— А ты, а ты — Анна — королева Франции, задушу-у-у!

Он (надо же, какие дурацкие шутки) легонько брал ее за горло. Она всерьез пугалась, почему-то показывала на свое плечо, на единственный свой дефект. На плече — незагораемое пятно вроде паучка. История пятна, как во французском романе, удивительна. Ее беременная мама разбирала на военном складе противогазы и напугалась паучка, прилипшего к гофрированной трубке. Родилась Аня, и паучок отпечатался, как на фотографической пленке — скобочка вроде брошки. Даже пикантно.

Вечно счастливым не проживешь. Где-нибудь да укроется поруха, как тот паучок в пыльном складе. Жили в блаженстве, но какое-то тревожное сосущее существо в нем нет-нет да схватит. И вроде твердит: “Так не бывает! Таких женщин в природе нет. Не может быть. Ведь все — разговоры, анекдоты, книги, кино — говорили о другом. В сахаре — перец. В меде — деготь. В правде — ложь”. И кто это твердит, какой завистник?!

Он заглядывал в Анютины глазки, и в них, не всегда, нет, не всегда, но изредка все же видел фальшь, слаборазличимую хитрость.

Так абсолютно здоровый человек в черный час, поглядев на себя в зеркало, вдруг отшатнется, увидев смертельную бледность. И взвешиваться. А там — недостаток веса. Паника: точно — рак. Ему бы со всех ног мчаться от зеркала, но отражение уже ухватило мнимого больного и теперь будет пихать его по врачам.

Фальшь, да, фальшь! Все они одним миром мазаны. И Аня. От этой мысли хотелось стукнуться своей башкой о стенку или по сильнее сжать пальцы на ее порочном горле.

Постепенно Рублев втянулся в эту разрушившую жизнь игру, в эту химеру. Он стал придирается к ее крохотным задержкам с работы и к якобы

расточительству — сорит деньгами по мелочам, к пегой челке, модной в те годы, к духам. От духов смердило похотью. Аня морщилась, терпеливо объясняла задержки с работы и все исправляла — выкидывала духи, перекрашивалась. Из нее можно было вить веревки. Но это еще подозрительнее. Он почему-то решил, что она ослабнет и раскается, выдаст себя.

Жизнь казалась грязной. И Рублев сам понимал это. Чем больше он шпынял жену, тем больше было ему самому. Больше и слаще. Только любимых пытают с упоением, других — с канцелярским унынием.

После “выучки” или, точнее, “отчитки” он делался угрюмым, нутро ныло, как отсиженная нога. И в конце концов его стала мучить неутолимая жажда. Никак ничем не мог он запитать горечь, во рту — великая сушь. Рублев, почуяв неладное, записался к врачу. Когда пришли результаты анализов, веселый доктор Роман Васильевич выдохнул ему в лицо: “Диабет!” Потом доктор тот, с выющимися бакенбардами, смешался и стал успокаивать: “Сейчас уйма лекарств. Они из могилы вытащат. Сорбит, фруктовый сахар, шприц-ручка”. И ввернул, словно выскочил из книги какого-нибудь Писемского: “Не извольте беспокоиться, доживете-с до самой старости. Как Ной! Знаете, сколько Ной прожил?”

Рублев застыл. Он еще не все понял.

— Библейский Ной плодотворно прожил девятьсот пятьдесят лет. И даже от Потопа спасся. Так-ссс! — подытожил доктор.

Милая, золотая, единственная, королева душистой Франции и задумчивой России! Когда он объявил ей о своей опасной хвори, Аня тут же жалостливо опустила глаза, и все же на миг он увидел там, в самой глубине глаз, частичку радости. Она ничего не умела скрывать. Рублев же еще четче увидел притворство. И еще — удовольствие. Может, и это — драгоценный сплав?

Он не выдержал и хлестнул ее по лицу, совсем по-скотски, а когда сам же, испугавшись, поднял ее с ковра, Аня улыбнулась: ничего, ничего — нервы, ничего не произошло. От нее крепко пахнуло сосновыми стружками.

— Правильно! — отчеканила Анна. — Ты болеешь, надо чтобы все вокруг чахли. Закон природы!

Этой же ночью, после какой-то надрывной любви, она выскочила из-под простыни, подлетела к книжному шкафу. Оттуда — на цыпочках, виляя бедром, как танцевала, к нему. В руках — бумажная карточка.

— Теперь, милый мой, я тебя переименовала, как Ленинград в Петербург. Ты теперь не Рублев, а Копейкин. И по этой причине дарю календарь. По нему, как по графику, будешь ко мне прикасаться. Я бухгалтер, точность люблю.

— А я.. я.. я что, маршрутный автобус? Железка? — задохнулся он.

— Именно. Металлический лом! Жаль, пионеров упразднили!

В ночных сумерках Аня смотрела на него твердо, без фальши. Он вдруг понял, что всегда, всегда, всегда, даже когда они, прижавшись, катались на придурочном мотоцикле “Панония”, когда он совал ей в рот сушеную землянику, а она понарошку кусалась, когда на вокзале в Тихорецке он, боясь пошевелиться, держал на плече ее голову, всегда, всегда она врала. Даже если у нее и нет никакой посторонней любовной утехы, все равно она безбожно врала.

Жизнь после анализов, табель-календаря для механической любви, пощенины стала другой, совсем другой. Еще горше. Рублев превратился в желчного ворчуна, напрочь забыл о нижнем ящике стола, в котором томились невероятные чертежи. Там почти все закончено. Ну и что? Дочертит — ахнут в Москве: провинциальная голова. Дом Советов!

Открой он хоть новый закон Ньютона, все равно этим не поправишь. Свой диабет он теперь ощущал, как свое я. А лицо, кожа, руки, ноги — маска для диабета. Диабет обжигал грудь, как будто его плотно к костру подтащили и держат, не вырвешься. Лекарства помогали на время, зато потом разбивали Рублева и отупляли.

Однажды он поехал на объект. Строили дом для офицеров, от которых внезапно отказалась армия. И под лестницей в цементной пыли он нашел

уворованную банку с краской. В сердцах он лягул ее. Банка ничего, катнулась, а на ноге — синяк. Распухло. Вскоре чернота поползла вверх. Раньше такую болячку звали антонов огонь. Медицина все же была красочнее. Доктора, как соревнуясь, прописывали то одно, то другое — прямо противоположное. Меняли кровь, пока не отпилили ногу.

Можно было прыгать на костылях, но в припадке злорадства Рублев приказал Анне: “Вот и ладненько! Постепенно я уменьшаюсь. Вначале ногу отчикали, потом другую сломят, потом руки отсекут турецким ятаганом! Ладненько. Коляску покупай! Вот и адрес я нашел, вроде на Вишняхках, в павильоне за мебелью”.

— Какие вы, мужики, трусые! — возмутилась жена. — Из вас только скорпионы молодцы. Они, чуя смерть, жалят сами себя.

Так вот она чего хочет? — изумился он. И не поверил.

— От своего яда гибнут. Безмозглые твари, а сколько благородства! — Тут же она покрасилась белыми пятнами и потерлась носом о щеку.

Она все еще могла быть нежной. А может, распирала похоть? Бухгалтера и патологоанатомы самые страстные люди. Днем им надоедает мертвечина, цифры, трупы, так они ночью скидывают весь жар. А самые вялые люди — художники.

Про членистоногих он знал только одно, из детских книг, из Майн Рида: от скорпионов в пустыне отгораживаются пеньковыми веревками.

Куплена инвалидная коляска на шинах из натурального каучука, куплены и костыли. Ковыряй земную твердь, Рублев!

Вот она умчалась со свистом и цоканьем своим, беги за этой пружинкой. Может быть, еще что-то выяснишь? Может быть, и надо было бежать? Лягнуть единственной ногой присосавшуюся к сердцу капельницу, прыгнуть на коляску. За ней! За ней!!! Да нет. Только не сегодня, она сегодня особенно холодна, что-то недосказанное в этой бравате: “Пей-жуй, Копейкин”. И угрожающее.

Самого главного он ей так и не сказал. Никогда, никогда не осмелится. Он, элементарный ревнивец, мавр, Отец без ноги. Живешь на вокзале в ожидании какой-то другой, новой жизни. А ее и не будет, другой-то. От дикой ревности диабет произошел. От нее же и ногу отчикали. Инженер, а логики простой не понял, не разобрался в схеме.

За плечо трясла Люси. Ах, да? Капельницу еще не отцепила.

Люси вежливая, поджала выкрашенные темно-красным губы.

— Вот вам жена... Спешила... Вот!

В руках у Люси открытка. На новогодней открытке снегирь со снегирихой под елочкой. Художник думал, что эти две птички целуются. Готовятся клонуть друг друга — вот что. На обратной стороне открытки танцующий Анин почерк: “Знаешь что, Копейкин?! Мне сказали, что к Новому году тебя выпишут. Лучше тебе поехать сразу к матери. Я же не могу возле тебя сидеть. У меня работа, встречи...”

В коридоре стучали другие каблуки. Звенели стеклом. Рядом сосед по койке Елянюшин шаркал тапочками, собирался на уколы. Он чего-то хотел от Рублева:

— Ты что пожух, выше нос. Эта, твоя-то, с картинки списанная. На коробке конфет видел. Марья Моревна — морская царевна.

АНАТОЛИЙ ШАВКУТА



ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ

* * *

Мы в жизнь пришли с весёлыми глазами,
С надеждой честь и верность сохранить,
С восторгом и счастливыми слезами,
С вопросом вечным — быть или не быть.

Казался мир огромным и прозрачным,
Роса смеялась в травах на заре,
И каждому из нас был предназначен,
Был приготовлен праздник на земле.

Сады цвели. Созвездия сияли.
Снега сверкали на вершинах гор.
Нас не страшили вёрсты расстояний,
В глаза небес смотрели мы в упор.

Сады цвели. Шумели в поле травы,
Мы к цели шли, себя в пружину сжав.
Строители неистовой державы —
Прекрасной самой изо всех держав.

ШАВКУТА Анатолий Дмитриевич родился в 1937 году в селе Благодатном Ставропольского края. Окончил Грозненский нефтяной институт. Выпустил книги рассказов “Такие разные люди”, “Красоту жалко”, “Рассказы старого мастера”, “Жизнь на миру”. Лауреат премий имени А. П. Чехова, Н. Островского, “Золотое перо”.

Ах, как светло, как трепетно и нежно
Любили нас подруги наших дней
В садах любви, в долинах белоснежных,
В мечтах великой родины моей.

ПОСЛЕ СМЕНЫ

Я к тебе в малиновом берете
Приходил на розовой заре.
Не припомню, хоть меня убейте,
То ли в марте, то ли в октябре.

Серебрились звёзды над домами,
Полыхал оранжевый восток,
Лёд ли был, трава ль под сапогами —
Не припомню. Помню свой восторг.

От зари волшебной, от сиянья,
Тронувшего нежный небосвод,
От любви, от страстного желанья
В срок пустить химический завод.

Ты на стук распахивала двери.
Я входил, стремителен, высок.
И смолкали люди, птицы, звери,
Замирал неистовый восток.

* * *

— Прощай! Навеки твой!
— Прощай! Твоя навеки!
От горя чуть живой.
Опухли твои веки.

— Прощай! Сумей забыть!
— Прощай! Я буду помнить!
Как трудно разлюбить,
Другим себя заполнить.

Как трудно отрубить
Всё, что надежду полнит.
— Прощай! Сумей забыть!
— Прощай! Я буду помнить!

* * *

Как радостно ты уходила.
Так ношу снимают с плеча.
Горячее лето чадило,
Потрескивая, как свеча.

Как празднично ты уезжала,
А я оставался один.
Недвижные своды вокзала
Обрушились: — Не уходи!

Под матерный крик гармониста
Прощались, почти не любя.
Не мог я, как надо бы, — чисто
Порадоваться за тебя.

Гармонь гармониста визжала,
Сиял светофор впереди,
Прокишие залы вокзала
Ворочались: — Не уходи!

Звезда над составом всходила.
Душа моя билась, скорбя.
Не мог я — ведь ты уходила! —
Порадоваться за тебя.

* * *

Слишком много давал обещаний,
Слишком многим я верил всерьёз
В этой чудной стране, обнищалай,
Доводящей до крика и слёз.

Понимаю, что в гуле событий
Я надежду свою упустил.
Не судите меня, не судите —
Я себе ничего не простил.

* * *

Я в жизнь играл. В разорванном сознании
Смешались люди, даты, города.
Придумал я высокое призванье,
Свою судьбу придумал навсегда.

Я в жизнь играл. Она мне отомстила.
Я складывал волшебные слова,
Не зная, что её слепая сила
Всегда права. Всегда была права...

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

РАССКАЗ

В пятницу, шестого ноября, часов в семь вечера в деревне Шабурново, что на тракте, остановился автобус. Это был старый и обветшалый автобус. Один из тех, кои вместо того, чтобы прямёхонько отправиться на слом, по сей день колятся по российским дорогам, извиняя своё долголетие извечной бедностью Отечества нашего.

Автобус шёл со станции. И пока не кончился город, останавливался довольно часто, выпуская одних пассажиров и набирая новых. Пассажиры толкали друг друга, кричали и переругивались. Но когда высокие каменные коробки за окнами сменились зелёными шалами ёлок и белыми шарфами берёз, все как-то успокоились и притихли, точно это город так возбуждающе действовал на людей. Остановки стали редкими. И чем дальше от города, тем малолоднее становилось у павильонов.

В Шабурново, когда двери со скрежетом распахнулись, из автобуса вышли четыре женщины, одетые в довольно бесформенные куртки с капюшонами и в резиновые сапожки. В руках у каждой было по два тяжёлых, набитых до отказа пакета. Оказавшись на улице, женщины первым делом заматались из стороны в сторону — нужно было перейти дорогу, а они никак не могли решиться, с какой стороны лучше всего обойти автобус. Наконец, громыхая и бренча, автобус неуклюже тронулся с места, выпустив при этом в лица своим бывшим пассажирам струю чёрного дыма.

Женщины перестали метаться, пропустили автобус и тогда только перешли дорогу.

ЗАМЛЕЛОВА Светлана (Макеева Светлана Георгиевна) родилась в 1973 в г. Алма-Ата. Окончила Российский государственный гуманитарный университет. Автор книги прозы "Гностики и фарисеи". Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Давно стемнело. Снег ещё не выпал, и деревня освещалась лишь редкими тусклыми фонарями да окошками домов. Едва женщины вступили на деревенскую улицу, как в ближайших дворах залаяли, загремели цепями собаки. А вскоре уже не осталось такого двора, где бы не шумели обеспокоенные охранники.

Женщины шли скорым шагом, время от времени останавливаясь и перекладывая пакеты из одной руки в другую. Между собой они почти не разговаривали. И лишь изредка обменивались какими-то замечаниями. Было видно, что они очень торопятся.

И вот кончилась деревня. Кончился разбитый асфальт, кончились тусклые фонари. Женщины шагнули в темноту и вскоре исчезли из виду.

А спустя недолго жёлтые пятна фонарей в лужах покрылись мелкой зыбью. Собаки, попрыгавшие от дождя в конуры, затихли. И Шабурново снова погрузилось в тишину, позабыв о женщинах с большими пакетами. И только дождь шептал о чём-то, пробегая по крышам, голым деревьям и блестящему асфальту.

Женщины, так неожиданно появившиеся в Шабурново и взволновавшие окрестных псов, были известные в городе сёстры Свинолуповы.

Звали сестёр так: Алевтина Пантелеймоновна, Лукерья Пантелеймоновна, Валентина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна. Старшей из них, Алевтине Пантелеймоновне, было не больше шестидесяти двух лет. Младшей, Неонилле, — не меньше пятидесяти семи.

Каждая из сестёр была чем-нибудь замечательна. Так, об Алевтине Пантелеймоновне сёстры говорили, что “она у нас самая добрая”. Это была очень высокая и худая особа с испуганными глазами в рыжих ресницах и похожим на пуговицу носом. Доброта её заключалась в том, что она всегда кого-нибудь жалела и плакала при этом так горько, что, случалось, заражала слезами окружающих.

Лукерья Пантелеймоновна, вертлявая и подвижная, как мартышка, считалась “самой деловой”. Если где-то поблизости случалось продаваться задёшево хорошей вещи, можно было не сомневаться, что Лукерья Пантелеймоновна не просто изыщет деньги, но, изыскав, купит, а после перепродает с такой наценкой, что останется только развести руками и сказать: “Дал же Бог талант!” Дом Лукерьи Пантелеймоновны был битком набит редкими, необыкновенными вещами, на вопросы о происхождении которых Лукерья Пантелеймоновна небрежно отвечала: “Так... Купила по случаю...” И делала неопределённый жест рукой.

Валентину Пантелеймоновну называли “самой умной”, потому что “она всё, ну, абсолютно всё знает!” И действительно, Валентина Пантелеймоновна могла поддерживать разговор решительно на любую тему. Речь свою она всегда начинала словами: “А вы знаете, что...” При этом она склоняла голову набок, поднимала брови и насмешливо смотрела на собеседника из-под полуприкрытых век. Высказывания её носили исключительно сенсационный характер. Объяснялось это просто. Отовсюду, из всех источников информации: будь то книги или газеты, радио или телевидение, слово, брошенное случайным прохожим, или рассказ экскурсовода — отовсюду Валентина Пантелеймоновна пыталась извлечь что-нибудь необыкновенное, поражающее воображение. И всё для того только, чтобы потом, при случае, удивить, сразить, произвести впечатление. Случалось, Валентина Пантелеймоновна попадала впросак. Выхваченные ею факты оказывались зачастую либо недостоверными, либо неверно ею же истолкованными. Но это никогда не смущало Валентину Пантелеймоновну, и на недоумённые вопросы она отвечала коротко: “Не знаю...” Внешностью своей Валентина Пантелеймоновна напоминала пингвина, потому что при ходьбе широко расставляла носки, а плечи зачем-то сводила вперёд, отчего и руки её оказывались торчащими вперёд, как у пингвина крылья. К тому же Валентина Пантелеймоновна была маленького роста и, что называется, “в теле”.

Неонилла Пантелеймоновна была высокой, статной и очень степенной. Служила она в Москве, где-то в Министерстве образования, и слыла среди

сестёр “самой культурной”. Ходила она медленно и с большим достоинством. Говорила мало, а всё больше вздыхала, закатывала глаза и, казалось, всегда бывала чем-нибудь недовольна. Если же Неонилла Пантелеймоновна и поддериживала разговор, то с одним условием: чтобы разговор этот был на “умную тему”. Речь свою она неизменно пересыпала цитатами и почти всегда предлагала собеседникам либо назвать автора приводимых ею строк, либо же, начав цитировать, предлагала остальным закончить. Если вдруг среди присутствующих находился хоть один, способный справиться с её заданиями, Неонилла Пантелеймоновна очень удивлялась. Если же таковых не оказывалось, Неонилла Пантелеймоновна принималась вздыхать и закатывать глаза, давая понять тем самым, как невыносимо тяжело бывает человеку культурному оказаться в обществе невежд. Глядя на Неониллу Пантелеймоновну, можно было подумать, что у неё есть свои особые взгляды на то, как пристало вести себя чиновнику её уровня. И она этих взглядов неукоснительно придерживается.

Выросли сёстры Свинолуповы с матерью и бабушкой. Отец же их погиб в Великую Отечественную.

Сказалось ли на том отсутствие мужчин в семье, а может, были иные причины, но только личная жизнь каждой из сестёр как-то не заладилась. Алевтина Пантелеймоновна рано овдовела, Лукерья Пантелеймоновна недолго пробыла замужем, разведясь после нескольких лет брака. Валентина Пантелеймоновна имела и мужа, и дочь, но отношения её с домашними оставались почему-то всегда прохладными. Что же касается Неониллы Пантелеймоновны, она, несмотря на своё общественное и служебное положение, так и осталась вековухой.

Как бы то ни было, сёстры Свинолуповы предпочитали держаться друг друга. Выходные и праздники они проводили все вместе, здесь почти не было исключений. И именно поэтому как-то в начале ноября Лукерья Пантелеймоновна сказала:

— А поедимте на праздники ко мне на дачу, в Толстоухово!.. Седьмое — суббота. Шестого приедем, переночуем. Седьмого там, восьмого обратно... Отдохнём, погуляем...

Сначала предложение Лукерьи Пантелеймоновны показалось остальным сёстрам нелепым. И Лукерью Пантелеймоновну подняли на смех. Ещё бы! Отправиться на дачу поздней осенью да ещё на несколько дней. Жить в доме без электричества, без газа и водопровода, самим топить печку, самим колоть для этого дрова!.. Но Лукерья Пантелеймоновна, от природы речистая и восторженная, так сочно описывала прелести деревенской жизни, что мало-помалу сёстры сдались. И уже видели себя то с коромыслами — идущими по воду; то с охапками хвороста и дров — собирающимися топить русскую печку; то с огарками свечей — глядящими из тёплой горницы на проливной дождь за окнами. Другими словами, сестёр привлекало именно то, что обычно привлекает в подобных, рискованных на первый взгляд, мероприятиях: умышленное и самовольное нарушение привычного порядка и образа жизни.

— Дровишки постреливают, от печи жар идёт, — прищурив чёрные лукавые глаза, живописала Лукерья Пантелеймоновна, — на улице-то холод собачий, дождь ливня льёт, а мы сидим себе в тепле, посмеиваемся... Еды с собой возьмём, шампанского! Ночевать там есть где — места полно!..

И вот в назначенный день сёстры отправились в Толстоухово.

Надобно сказать, что деревушка Толстоухово — действительно прелестный уголок. До ближайшей автобусной остановки, что в Шабурново, три версты. Три версты широкой колеи, заполненной в летнее время мягкой серой пылью. Идешь, а ноги утопают в горячей пудре. Рядом тихонько скользят голубые тени облачков. Вдоль дороги расселись грачи, погрузив свои белые клювы в землю. Пёстрые жаворонки то камнями падают вниз, то снова взмывают и разливаются в небе серебряными трелями.

А сколько звуков кругом, сколько запахов! Всякая тварь радуется теплу и поёт, не стесняясь, тем голосом, что Господь дал. Поёт, прославляя, как может, Его волю. Всякая травинка, всякий лепесток спешат заявить о себе своим неярким и подчас неказистым запахом. Но как милы все эти деревенские

запах! И даже запах навоза кажется приятным и чем-то необходимым, без чего и деревня-то показалась бы ненастоящей, а точно какой-то бутафорской.

С трёх сторон окружено Толстоухово густым смешанным лесом, где в чаще день и ночь кричат птицы, а в овраге бежит ручей. Вода в ручье железистая, и даже береговые камни покрыты как будто ржавчиной. А во рту после той воды остаётся металлический привкус.

С четвёртой же стороны, слева от дороги, если идти в Толстоухово, к деревне вплотную подступает колхозное поле. И на межу, что разделяет наделы и ниву, серебристо-зелёной волной набегают овёс. Справа же, ближе к деревне, выходит к дороге сосновая роща. Душистой прохладой доносит оттуда в жаркие дни. В час предзакатный, когда не скупится светило на краски, стволы сосен занимают красным сиянием...

В деревне две слободы, по пяти дворов в каждой. Дома здесь большие, старые, из тёмного выщербленного кирпича. Границей между слободами служит зелёный пруд, что в самом центре деревни. Пруд имеет заводь, заросшую ракитником. А ещё растёт на берегу пруда старая берёза. Ствол её так причудливо изогнулся и навис над водой, что кажется, будто берёза собралась усесться в пруд.

Когда-то, польстившись на тишину, уединённость и разнообразность ландшафта, Лукерья Пантелеймоновна купила в Толстоухово полдма и совсем небольшой кусочек земли, намереваясь обустроить здесь дачу. Но поскольку добраться до Толстоухова было непросто, Лукерья Пантелеймоновна так и не сделалась дачницей. А дом, простояв несколько лет нетопленным, очень скоро как-то весь сжался, точно состарился раньше срока, и покосился.

Сначала свет шабурновских фонарей ещё светил им в спины, выхватывая из темноты стволы деревьев, бликуя в лужах. Но потом дорога резко ушла вправо, и за поворотом сразу вдруг стало темно. Всё слилось в густую тьму: небо, поле, деревья. Ни единого силуэта нельзя было различить кругом. Тьма — крошечная, первозданная тьма — окутала путников.

Шёл мелкий, занудный дождь. Небо, очевидно, было сплошь затянуто тучами, и ни луна, ни звезды не показывались. Навстречу дул холодный, мокрый ветер. Пахло грязью и прелой листвой. То, что летом было ласковой пылью, превратилось теперь в тёмную, вязкую жижу, немилосердно хватавшую за ноги и норовившую стянуть сапоги.

Шли молча. И только изредка перекликались, чтобы не заблудиться и не потерять друг друга. Благо, дорога лежала не вровень с полем, а чуть ниже. И уклонявшийся с дороги в сторону всякий раз чувствовал, как упираются носки сапог в мягкую, мокрую землю. Чувствовал и возвращался в колею.

Обогнув сосновый лесок, дорога опять повернула вправо. И тут уж идти стало легче — показались светящиеся окошки Толстоухова. Свету они давали мало, но зато, точно маячки, указывали верный путь и обозначали собой конец утомительному и не очень приятному путешествию.

Предчувствие тепла и отдыха, предвкушение сухой одежды и горячего чая заставили сестёр прибавить шаг. И вскоре они уже шли по деревне, которая встретила их собачьим лаем. Сначала из крайней усадьбы донёсся недовольный брех, потом откуда-то издалека, из другой слободы...

И вот сёстры стоят возле большого, в пять окон дома, уже снаружи разделённого на две половины неким подобием пилястры. Лукерья Пантелеймоновна долго возится с ключами и даже роняет их на землю. И долго потом нащупывает ключи в мокрой траве. Наконец, ключи найдены. Лежат они в заполненной водой ямке чьего-то следа.

Кто-то из сестёр предлагает Лукерье Пантелеймоновне белый носовой платок, сложенный вчетверо. Не глядя, Лукерья Пантелеймоновна принимает и, отерев ключи, суёт его себе в карман.

В доме холодно, темно и так влажно, что трудно дышать. Кажется, вот-вот закапает с потолка вода. К тому же, едва распахнули дверь, как в лица ударяет тяжёлый запах сырости и гнили. Тот самый запах, что всегда охотно селится в старых необитаемых домах.

Войдя, Лукерья Пантелеймоновна шарит рукой за притолокой и достаёт оттуда спички и кусок жёлтой свечи. Отсыревшие спички шипят и гаснут.

Наконец, на одной пламя задерживается, и Лукерья Пантелеймоновна успеет разжечь свечу. И так, впереди Лукерья Пантелеймоновна со свечой в приподнятой руке, за ней остальные, продвигаются сёстры в глубь дома.

Дом состоит из двух помещений. В довольно больших сенях, служащих кухней, к противоположной от входа стене приколочен, непонятно откуда здесь взявшийся, ряд театральных кресел с откидными сиденьями. Кресла, их штук десять, обтянуты красной тканью; сиденья, как во время антракта, прижаты к спинкам. И только на одном сиденье стоит большая тёмная корзина. Пройдя через кухню, сёстры попадают в комнату с русской, красного кирпича печью. Прямо из печки, из щели в кладке, торчит высохший цветочек ромашки. А с лежанки смотрит на вошедших большой букет таких же сухих ромашек. И от букета исходит терпковатый запах. Пахнет летом.

За печкой спряталась железная кровать. У стены напротив примостились в ряд низенький шифоньерчик, трельяж без зеркал, диван с приколотой к спинке вязаной салфеткой и горбатый сундук. Посреди комнаты стоят круглый стол и несколько разномастных стульев. Ещё в комнате есть круглое кресло с оборванной синей обивкой. Влажное и необыкновенно зловонное, так что и садиться в него неприятно. Однако при всей своей непривлекательности синее кресло имеет легенду. Поговаривают, будто бы кресло стояло в некоей усадьбе, где во время оно случалось бывать Николаю Васильевичу Гоголю. Но, как не представляющее интереса и не подлежащее восстановлению, кресло из усадьбы, уже давно ставшей музеем, списали и совсем уж было собрались выбросить. Но тут-то его и перехватила Лукерья Пантелеймоновна. И кресло переехало в Толстоухово.

С тех пор всякому, кто попадал к ней на дачу, Лукерья Пантелеймоновна рассказывала, будто бы в этом рваном, заплесневелом кресле сиживал сам Николай Васильевич Гоголь, и предлагала незамедлительно присесть, чтобы таким образом приобщиться к великому...

По стенам, вопреки деревенской традиции развешивать фотографии, висят пастели в белых рамках. На каждой написаны полевые цветы. Изображения тусклые, так как стёкла покрыты слоем серой пыли и чёрными точками — следами мушиной жизнедеятельности.

Войдя в комнату, сёстры пристраивают свои пакеты в гоголевское кресло и тотчас начинают обустриваться.

Алевтина Пантелеймоновна достаёт привезённые с собой свечи, а Лукерья Пантелеймоновна приносит из кухни майонезные банки. Свечи в банках расставляют по всей комнате: на стол, на трельяж, на подоконники и даже на шифоньер. Становится светло. Неонилла Пантелеймоновна отправляется за водой, а Валентина Пантелеймоновна, вызвав у Лукерьи Пантелеймоновны, где топор, — колоть дрова, сваленные в кучу прямо на открытом дворе.

И вскоре мокрые поленья уже покоятся аккуратной горкой возле топки. А сёстры, поминутно отжимая в ведре с водой тряпки, выданные всем Лукерьей Пантелеймоновной, отмывают горницу.

Неонилла Пантелеймоновна и Валентина Пантелеймоновна, сложившись пополам и широко расставив ноги, размашисто моют пол, продвигаясь навстречу друг другу. Неонилла Пантелеймоновна движется от окна к двери, Валентина Пантелеймоновна — от двери к окну. Лукерья Пантелеймоновна мелкими, беличьими движениями трёт подоконники. Алевтина Пантелеймоновна любовно, точно поглаживая, обчищает мебель. Сначала работают молча. Слышно только, как по временам плещется вода в ведре, да шуршат тряпки. Потом вдруг Алевтина Пантелеймоновна запекает. Поёт она низким, каким-то деревянным голосом. При этом лицо у неё вытягивается, а брови складываются “домиком”.

Скоро о-осень. За окнами а-август!..

Почему-то на словах “осень” и “август” Алевтина Пантелеймоновна не сразу попадает в ноты. А подыскивая нужные, постепенно перебирает всю октаву, отчего пение её в этих местах сильно смахивает на подвывание.

Другие сёстры на секунду оставляют работу, смотрят на Алевтину Пантелеймонову, но тут же подхватывают, запевают в схожей манере.

*От дождя-а-а потемнели кусты-и-и.
И я зна-а-аю, что я тебе кра-а-авлюсь,
Как когда-а-а-то мне нравился ты-и-и-и...*

С песней работа идёт веселее. И несмотря на то, что в доме всё ещё холодно — печку не начинали топить, — и от воды ломит руки, становится как-то уютнее и как будто теплее. Запахло свежeweымытым полом, цветы на пастелях сделались ярче, исчезли со стола мёртвые мухи — горница начинает обретать жилой вид. Лукерья Пантелеймоновна достаёт откуда-то старые газеты. Ими набивают топку и поджигают. Влажная бумага сначала горит неохотно, но потом листы просыхают и разгораются хорошим, жарким огнём. И Лукерья Пантелеймоновна пристраивает в топку несколько мокрых поленьев.

Поленья сохнут медленно и никак не хотят разгораться, так что первое время огонь приходится поддерживать при помощи газет. Но вот одно полено занимается огнём, потом другое... Возле печи становится по-настоящему жарко. Сёстры суетятся, радуются и все разом заговаривают. Достают из пакетов и выкладывают на стол хлеб, масло, варёную картошку в маленькой кастрюльке, яйца, жареную курицу в большой жестяной коробке из-под конфет, две бутылки шампанского, термос с чаем.

Лукерья Пантелеймоновна приносит две раскладушки и тюфяк для железной кровати. Раскладушки разбирают и устанавливают на ребро возле печки; тюфяк тоже пристраивают поближе к теплу, но так, чтобы не попали искры, вылетающие из раскрытой топки. Комната постепенно прогревается. И вскоре уже сёстры решают, что можно раздеться и повесить сушить одежду. Так и делают. С собой привезли всё сухое, и теперь с удовольствием переодеваются. И так приятно ощутить на себе свежее, сухое бельё, пахнущее не то мылом, не то ещё чем-то душистым и уютным — домашним! А после того, как переделались и развесили промокшую одежду у огня, сразу вдруг все чувствуют голод и усталость.

Валентина Пантелеймоновна ставит на печку чайник: “На всякий случай, вдруг в термосе не хватит...” Лукерья Пантелеймоновна принесла было из кухни тарелки, но Неонилла Пантелеймоновна, предварительно нафыркавшись, велит унести “эту грязь” и достаёт из пакета свои тарелки и свои приборы. Разворачивают, раскладывают еду и усаживаются вокруг. Валентина Пантелеймоновна открывает бутылку с шампанским и наливает всем в пластмассовые стаканы, тоже привезённые с собой.

— Ну, — поднимает она свой стаканчик, — с праздником!

— С праздником...

— С праздником...

Бесшумно чокаются мягкими стаканчиками, отпивают и с удовольствием закусывают.

В комнате пахнет чистыми полами, горящим деревом, свечками, домашней одеждой и едой. Запах сырости почти исчез. Становится жарко.

От жары, оттого, что устали и проголодались, как-то быстро пьянеют. Без причины вдруг делается весело, все говорят в голос, смеются. Хочется шампанского!

— За ревалосью! — кричит Валентина Пантелеймоновна, ударяя своим стаканчиком о стаканчики сестёр и расплёскивая золотистую жидкость.

— Уррра-а! — вторит ей Неонилла Пантелеймоновна, позабыв про чиновничью гордость.

— Да здравствует велик актяпська сасиалисиська ревалосья! — подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.

Смешно всем до слёз, до боли в животе, до немоты, когда уже не можешь смеяться, а только безмолвно сотрясаешься и стонешь.

И только Алевтина Пантелеймоновна, относящаяся всерьёз и к Октябрьской революции, и ко всем её вождям, не смеётся, а только в ужасе смотрит на сестёр. Всё то, что они выкрикивают, кажется ей страшным кощунством.

— Как не стыдно! — пробует она увещевать сестёр. — Как не стыдно! Великая Октябрьская социалистическая революция принесла освобождение народам царской России! Если бы не Революция... вы бы... вы бы сейчас пахали! Вы бы читать не умели!

— Урра-а-а! — пуще прежнего кричит Неонилла Пантелеймоновна. — Да здравствует всеобщая грамотность и освобождение женщин Востока! Да здравствует электрификация всей страны и восьмичасовой рабочий день! Урра-а-а!

— Да здравствует велик актяпьска сасиалисиська ревалюсыя! — кричит Лукерья Пантелеймоновна. И, пихая Алевтину Пантелеймоновну в бок локтем, просит:

— Не плачь, Алька! Лучче Расскажи, как Зимний брала!

— Урра-а! — подхватывает Неонилла Пантелеймоновна. — За взятие Зимнего!

— Как не стыдно! — не унимается Алевтина Пантелеймоновна. — Вот послушайте, что писал Антон Павлович Чехов... — и, закрыв глаза, она цитирует по памяти. — “А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба...” Это мальчик пишет письмо своему дедушке!.. И вот ещё: “меня все колотят, и кушать страсть хочется”. Понятно вам?! “Кушать страсть хочется!” — и Алевтина Пантелеймоновна многозначительно кивает на стол. Все умолкают, точно всем вспомнился вдруг Ванька Жуков, а Валентина Пантелеймоновна, воспользовавшись паузой, обводит сестёр насмешливым взглядом и произносит:

— А вы знаете, что Лев Толстой называл рассказ “Письмо Ваньки Жукова” самым лучшим рассказом Чехова?

Сёстры внимательно слушают её, но долго думать о серьёзном и неприятном им не хочется, и Неонилла Пантелеймоновна вдруг начинает притворно плакать и завывать:

— Ми-ильый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!

— Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы! — подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.

А Валентина Пантелеймоновна, глядя на то, как дурачатся сёстры, снова принимается хохотать, раскачиваясь на стуле, то наклоняясь вперёд, то откидываясь назад и держа всё время руками за край стола.

— Ми-ильый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!

— Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы!

И только Алевтина Пантелеймоновна, сумевшая сама себя разжалобить, тихонько смахивает слёзы и всё качает головой, точно сиюсь отделаться от истомивших её воспоминаний и мыслей.

Насмеявшись, принимаются пить чай. А после пятой чашки, когда прошло уже опьянение, угасло веселье, становится скучно и начинает хотеться спать. Вспоминают вдруг, что за окнами идёт дождь, и прислушиваются. Дождь бегаёт по крыше, стучит по стёклам, шебаршится в траве. А в комнате жарко, постреливают дрова, потрескивают свечки в майонезных банках, и ещё что-то такое потрескивает и поскрипывает в доме, но никто не понимает, что именно. И, прислушавшись к шуму дождя, осознают, что сидят в тёплой комнате, где чисто, где в изобилии еда и чай, а ещё совсем недавно шли по тёмному полю, где ноги увязали в грязи, и где невозможно было укрыться от дождя. И осознав, прочувствовав всё это, вскакивают из-за стола, суетятся. И всё только с одной мыслью — поскорей улечься спать. Думать о сне кажется им блаженством, точно осталось последнее неизведанное удовольствие. А их было так много за сегодняшний день — жаркая печка, сухая одежда, горячий чай. И вот осталось последнее — мягкая постель.

Лукерья Пантелеймоновна, на правах хозяйки, выбирает для ночлега диванчик с кружевной салфеткой на спинке. Валентине Пантелеймоновне, как “самой миниатюрной”, достаётся железная кровать за печкой. Алевтине Пантелеймоновне и Неонилле Пантелеймоновне приходится довольствоваться раскладушками, которые ставят посреди комнаты, аккуратно напротив двери. С собой привезли и постельное бельё, так что можно не отказывать себе в удовольствии спать раздевшись.

— Раздевайтесь! Раздевайтесь! — призывает Алевтина Пантелеймоновна. — Неллочка, сними рубашку — пусть тело дышит! В одежде не выспишься — тело должно дышать... Снимайте с себя всё! Пусть тело дышит!

Стелая постели, закладывают в печку все оставшиеся поленья, проверяют, открыта ли вьюшка, гасят свечи, раздеваются и с радостным криком укладываются. И потом, блаженно пожимаясь и улыбаясь от удовольствия, засыпают.

Но спать недолго. Очень скоро дрова в печке прогорают, и дом начинает остывать. Из-под двери, из щелей в летних рамах ощутимо тянет сыростью и холодом.

Первой начинает ворочаться на своём диванчике Лукерья Пантелеймоновна. Ей снилось, будто она голой бежит по деревне и втолковывает сама себе: “Пусть тело дышит! Тело должно дышать!” Но чем дольше она бегала, тем сильнее замерзала.

Проснувшись, она пытается укутаться, подоткнуть со всех сторон одеяло, но это ничего не даёт. Тогда она решает одеться. Вылезши из-под одеяла, она, стуча зубами, нащупывает на стуле рубашку, спортивные брюки, носки и, натянув на себя всё это, снова кутается в одеяло.

В то же самое время одна за другой просыпаются Неонилла Пантелеймоновна и Алевтина Пантелеймоновна. Поворочавшись немного и тщетно попытавшись согреться, они следуют примеру сестры.

— Это Алька всё! — ворчит Лукерья Пантелеймоновна. — “Пусть тело дышит!” Надо же додуматься!.. Майская дачница...

В комнате так темно, что даже окон не видно, и только в топке то и дело вспыхивают красными огоньками тлеющие угли. И тогда кусочек печки озаряется слабым красноватым светом.

На какое-то время сёстры стихают и даже начинают задрёмывать. Но угли в печке темнеют, всё реже вспыхивают красные огоньки, и холод всё более безнаказанно чувствует себя в комнате.

Лукерья Пантелеймоновна снова просыпается. Теперь уж она замёрзла и в одежде. Других одеял в доме нет, куртки не успели просохнуть, и Лукерья Пантелеймоновна никак не может сообразить, как же теперь согреться. От безысходности ей делается страшно и как будто бы даже холоднее. Но чтобы выйти на двор, принести дров и растопить печку — такое даже не приходит Лукерье Пантелеймоновне в голову.

— Что это так холодно? — недовольно спрашивает проснувшаяся Неонилла Пантелеймоновна. — Лукерья, ты не спишь?

— Не сплю! — раздражённо отвечает Лукерья Пантелеймоновна.

— Почему так холодно? — повторяет Неонилла Пантелеймоновна и поёживается.

— Почему, почему... — злится Лукерья Пантелеймоновна. — Дрова прогорели, дом настыл — вот и холодно.

— А больше дров нет? — отзывается Алевтина Пантелеймоновна.

— В доме нет...

— А где есть?

— На улице... Колоть их надо...

— Дык сходи, наколи, — недоумевает Алевтина Пантелеймоновна.

— Дык сама и сходи... Умная!.. — огрызается Лукерья Пантелеймоновна и отворачивается к стенке.

Поджав ноги к груди и накрывшись с головой одеялом, она, чтобы хоть как-то согреться, дышит себе на руки. Но очень скоро под одеялом становится душно, и она принуждена высунуть голову наружу.

— Луш!.. Луш! — тихо зовёт Алевтина Пантелеймоновна. — Луша! Я не умею дрова колоть.

— А я умею? — снова огрызается Лукерья Пантелеймоновна.

Она отлично знает, кто предложил провести выходные в деревне. К тому же долг хозяйки — обеспечить гостей приятный отдых. И, говоря по совести, Алевтина Пантелеймоновна права — надо бы встать, наколоть дров, снова растопить печку и провести остаток ночи в тепле. Но сама мысль о том, чтобы оказаться сейчас на улице, где так холодно и темно, где льёт бес-

конечный дождь, кажется ей отвратительной. И от одной этой мысли её начинает подташнивать.

Но делать всё-таки что-то нужно.

— Валька умеет дрова колоть! — вспоминает она. — Разбудим Вальку, пусть она наколет.

Некоторое время проходит в молчании. Потом Алевтина Пантелеймоновна вздыхает:

— Жалко!

— Чего тебе жалко? — не понимает Лукерья Пантелеймоновна.

— Вало жалко будить.

А и правда! Валентина Пантелеймоновна, волею судеб оказавшись в тёплом закутке за печкой, не успела ещё замёрзнуть и теперь сладко посапывает со своей железной кровати.

Лукерья Пантелеймоновна, привстав на локте, с завистью смотрит в её сторону.

— Ну, если жалко, — обращается она к Алевтине Пантелеймоновне, — мёрзни дальше...

Сказав, она снова ложится и кутается в своё бестолковое одеяло. Внезапно в голову ей приходит замечательная идея.

В два прыжка она оказывается возле шкафа, распахивает створки и долго стоит так, точно силится вспомнить о чём-то. А из шкафа тем временем выползают запахи нафталина и сырости. Лукерья Пантелеймоновна несколько раз визгливо чихает, а после, схватив в охапку вещи, покоящиеся на одной из полок, направляется к раскладушкам.

— Сейчас я вас укрою! — обращается она к сёстрам.

Те напряжённо всматриваются в темноту, стараясь угадать замыслы Лукерьи Пантелеймоновны, и охают, когда на Алевтину Пантелеймоновну сверху падает грудa влажного и отвратительно пахнущего тряпья.

— Луш, что это?! — в ужасе шепчет Алевтина Пантелеймоновна. — Что это так пахнет?

Но Лукерья Пантелеймоновна не отвечает. Она снова исчезает в темноте, а вскоре за тем и Неонилла Пантелеймоновна оказывается равномерно засыпанной какими-то тряпками.

— Фу! Ну и запах! Что это у тебя такое, Лукерья? — доносится из-под тряпок.

— Это вещи из шкафа, — поясняет, наконец, Лукерья Пантелеймоновна.

Кто же не знает, что обычно хранится в дачных шкафах? Конечно, тот самый хлам, который давно уже непригоден в городе, но который бережливые хозяйки не решаются препроводить на свалку. Здесь, в дачных шкафах, находят свой последний приют чинёные простыни, давно вышедшие из моды сарафаны, проеденные молью свитера и кофточки, прожжённые уютного блузы и ни на что не годящиеся отрезы ситца. Всё это, во избежание окончатального тлена, как следует пронафталинено. А, кроме того, не будучи востребованным, никогда не покидает пределов шкафа, где год от года отсыревает и пропитывается тем запахом, что расплзается по дому после неоттапливаемой зимы.

“Укрыв” вот эдаким хламом сестёр, Лукерья Пантелеймоновна вслепую, вытаращив в темноту глаза, пробирается в тот угол, где стоит горбатый сундук. Для себя, очевидно, Лукерья Пантелеймоновна приберегла нечто другое. Подняв тяжёлую, скрипучую крышку, она долго роется в сундуке, на ощупь отыскивая нужную ей вещь. Наконец, извлекает из сундука что-то большое и, судя по тому, как она кряхтит, управляясь с вещью, очень тяжёлое. Потом она встряхивает это что-то, визгливо чихает и тащит к себе на диванчик.

Почувяв новую и сильнейшую струю нафталина, Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна шумно двигают носами и негодуяще отфыркиваются. Но Лукерья Пантелеймоновна от объяснений уклоняется. Взвалив свою ношу на диванчик поверх одеяла, она сама подлезает под эту кипу и скрывается под ней.

Валентина Пантелеймоновна просыпается только под утро, когда за окнами уже виднеется серое, беспросветное небо, на стёклах заметны следы

дождя, а из деревни доносятся первые звуки, напоминающие о том, что новый день начался.

Валентина Пантелеймоновна просыпается от холода — только сейчас она замёрзла. Проснувшись, она некоторое время лежит без движения, пытаясь припомнить, где она и как сюда попала. Наконец, сообразив, что к чему, она собирается встать и одеться, но останавливается в замешательстве. То, что она видит в комнате, не поддаётся объяснению. Дверцы шкафа распахнуты, а рядом на полу валяются какие-то вещи. Крышка сундука откинута, и через край свешивается чёрное пальто с каракулевым воротником и драным рукавом, с торчащим из дыры ватином.

В целом впечатление такое, будто бы ночью в комнате производили обыск.

Но самое интересное представляют собой спальные места. Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна погребены под грудой тряпья: мужские кальсоны и рубашки, носки, какие-то цветастые тряпки, куски марли, предметы женского туалета, рваные брюки — словно скифские курганы, возвышаются над телами сестёр.

Лукерья Пантелеймоновна, как старый боевой генерал, спит, укрывшись серой красноармейской шинелью. Самой настоящей суконой шинелью со складкой и хлястиком на спине и с широкими красными нашивками на груди.

Дом окончательно настыл, и в комнате нестерпимо холодно. Но Валентина Пантелеймоновна забывает о холоде — так сильны впечатления нового дня.

— Бат-тюшки! — и это всё, что приходит ей на язык. — Бат-тюшки!

В ответ тряпье на раскладушках шевелится, из-под него появляются головы Алевтины Пантелеймоновны и Неониллы Пантелеймоновны. Под красноармейской шинелью тоже происходит какое-то движение, и в следующую секунду из-под неё выглядывает Лукерья Пантелеймоновна.

Уже за завтраком Валентина Пантелеймоновна узнаёт подробности прошедшей ночи. Ей радостно, что она не мёрзла во сне, и смешно, оттого что сёстры, раздевшись до исподнего с тем, чтобы “тело дышало”, среди ночи принуждены были не просто надеть на себя всё, что только можно было надеть, но и укрыться вонючим хламом.

А после завтрака сёстры, не стовариваясь, начинают собираться в обратный путь. Никто и не вспоминает, что намеревались провести на даче выходные. Все грезят только о том, чтобы как можно скорее оказаться каждая в своей тесной квартирке. Там, где не нужно думать о тепле и о воде. Где можно безмятежно спать всю ночь под тёплым мохнатым одеялом, а вовсе не под шинелью и не под ворохом старых тряпок. Где можно запросто готовить пищу, мыть посуду и хоть всю ночь сидеть при ярком свете электричества.

Серое небо, сырость и стынь больше не кажутся сёстрам чем-то незначительным и легкопреодолимым. Напротив, им, городским жительницам, оказалось не под силу бороться с деревенским ненастьем. Что и говорить! В городе не замечаешь ни дождя, ни холода, которые, как оказалось, способны совершенно обессилить человека, не приспособленного к деревенской жизни, да к тому же нагнать хандру.

Насколько хорошо в русской деревне летом, настолько уныло и безрадостно, когда приходит осень. Нет! Не молодая осень в жёлтом платье. Не опрятная старуха. Одежда её — грязные лохмотья. Злитесь она и срывает костлявой рукой яркие платья с деревьев. Топчет босыми ногами пахучие травы, сминая цветы. Завистница! Не поёт, не шумит она, не смеётся. Только хмурится тучами, шепчет о чём-то дождём или чавкает грязью.

И вот обнажились деревья. На перепаханых полях торчат тут и там колючие злые соломины. Красно-золотой ковёр из листьев смешался с мокрой землёй и, прогнив, стал бурой грязью. Давно не слышно ни щебета, ни стрекотанья, ни даже тоскливой журавлиной песни. Безрадостно в деревне. И только неунывающая ёлка порадует глаз своим тёмно-зелёным кафтаном. Да рябина тряхнёт карминной серьгой, укрывшейся от завистливых глаз старухи-осени...

Сёстры, поджидающие Лукерью Пантелеймоновну, которая возится с

ключами, натянули поглубже кашпоны и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, как застоявшиеся в конюшне лошади.

Когда, наконец, Лукерья Пантелеймоновна управляется с дверью и присоединяется к остальным сёстрам, все вместе они идут по деревне в ту сторону, где начинается дорога, ведущая в Шабурново, к автобусной остановке.

У крайнего дома стоит дед с сигаркой в разноцветных — жёлтых, стальных, золотых — зубах; одет он в потёртый ватник и высокие кирзовые сапоги. На голове у него выцветший картуз. Лицо у деда красное, сморщенное и, точно слезами, покрыто дождевыми каплями; щеки сплошь заросли серебристой щетиной.

Деревенские жители обычно с любопытством и настороженностью относятся к приезжим. Вот и теперь старик не сводит своих прищуренных глаз с сестёр. А когда сёстры ровняются с ним, говорит:

— Здравствуйте...

А тон, с которым он произносит своё приветствие, значит: “Кто такие? Откуда будете? К кому приезжали? Зачем?”

— Здравствуйте... Здравствуйте... — бормочут сёстры, стараясь отчего-то не смотреть на старика.

Только Алевтина Пантелеймоновна встречается с дедом глазами и даже робко улыбается.

— С праздничком... — уже более примирительно добавляет старик, точно хочет сказать: “Кто бы вы ни были, а уж зла-то я вам не желаю...”

— И вас также... И вас также... — кивают в ответ сёстры. А Алевтина Пантелеймоновна даже останавливается, и они со стариком молча смотрят друг на друга. Старик с хитрой ухмылкой в прищуренных глазах, а Алевтина Пантелеймоновна с виноватой улыбкой. Но длится это недолго, Алевтина Пантелеймоновна спешит за сёстрами.

И вскоре они уже выходят из деревни, и перед ними предстаёт всё то, что вчера было сокрыто осенним сумраком.

Вот раскинулось чёрное изрытое поле. Вот выбежали навстречу промокшие сосенки. А в дали, подёрнутой серым туманом, показалась неровная полоска леса, точно кто-то провёл по горизонту широкой кистью. Заурчала под ногами бурая грязь, а в сосновых ветках громко зашуршал дождь, доселе не прекращавшийся, но едва слышимый в поле.

— Уж осени холодною рукою главы берёз и лип обнажены... — с умилением вздыхает Неонилла Пантелеймоновна. И тут же оживает, точно вспомнив о чём-то приятном, и громко спрашивает:

— Кто написал?... Так! Кто продолжит, тому дам сто долларов!

Но никто ей не отвечает. Тогда Неонилла Пантелеймоновна снова вздыхает, но уже с сожалением, и произносит:

— Как странно!.. Вот уж ноябрь, а снега всё нет... А раньше, я это прекрасно помню, к демонстрации обязательно лежал снег. И даже в конце октября, к маменькину дню рождения, случилось выпасть снегу... Я это прекрасно помню!

Сказав, она пожимает плечами, потом с печальной улыбкой обводит глазами поле, рощицу, смотрит на небо и несколько раз уныло кивает, точно хочет сказать: “Всё изменилось!.. И ничего уж тут не попишешь...”

— А вы знаете, что через несколько лет зимы вообще не будет? — насмешливо спрашивает Валентина Пантелеймоновна.

— Почему? — ужасается Алевтина Пантелеймоновна.

— Ну, а что ты хочешь? — притворно удивляется Валентина Пантелеймоновна. — Глобальное потепление, за несколько лет становится теплее на десять градусов. Вот и посчитай, сколько лет осталось... — и она смеётся неприятным и невесёлым смехом, от которого всем делается не по себе. — Раньше-то зима была — сорок градусов, не меньше. А снегу-то навалит! Такие сугробы, что не приведи Господи! В два человеческих роста, во какие сугробы! А сейчас что? Если по колено насыплет снегу, то и слава Богу. И морозы не те. Тут как-то к Новому году дождь шёл! Где это видано, чтобы к Новому году дождь шёл? А?... А всё почему?

— Почему? — опять ужасается Алевтина Пантелеймоновна.

— Да потому что продукты сгорания создают в атмосфере дополнительный слой, который не даёт Земле охладиться, потому что образуется парниковый эффект. Этот слой, как плёнка, обволакивает Землю, и она не успевает остынуть. А человечество тем временем ещё Землю подогревает, ведь какой огромный выброс тепла в атмосферу происходит ежедневно! Так что скоро мы будем в тропиках жить. И не видать нам больше русской зимы! — и она снова смеётся своим зловещим смехом.

Наступает молчание. Все думают о том, что рассказала Валентина Пантелеймоновна. Слова её кажутся всем серьёзными и убедительными. Они многое проясняют, но главное, наводят на любимую мысль большинства немолодых людей: мысль о том, что прошлое несомненно лучше настоящего.

Первой не выдерживает и нарушает молчание Алевтина Пантелеймоновна:

— Раньше вообще лучше было, — вздыхает она. — И погода была лучше, и еда... Сейчас-то вон травятся все. А если и не травятся, так всё равно не вкусно стало. Никогда я не сравню окорок, что раньше-то продавали, с нынешним. Нынешний-то и не пахнет ничем... А раньше?.. В магазин зайдёшь, а уж пахнет окороком. Аромат такой, что не хочешь, а съешь кусочек. А сочный какой! М-м-м! Положишь в рот кусок, а он тает. Прямо сливочный!

Слово “сливочный” она произносит так смачно, так отчётливо и звонко проговаривает каждую букву, что и впрямь на языках у остальных возникает вкус свежих жирных сливок.

— А сыры? — продолжает Алевтина Пантелеймоновна. — Какие были сыры!.. Советский, швейцарский, пошехонский... А сейчас что? Да разве ж это сыры? Смешно говорить!.. Нет! Хороших сыров нынче не достанешь!

Голос у Алевтины Пантелеймоновны начинает дрожать, и она умолкает. Но на смену ей приходит Лукерья Пантелеймоновна:

— А как мы весело жили! Помните? Летом, вечерами, — на танцплощадку. Нарядишься!.. У меня одно-единственное платье было, но зато какое! Помнишь, Алька, ты в нём сначала ходила, а потом тебе новое сшили, а мне перешло твоё креплешинное, чёрное в белый горошек?

— С белым воротничком и плиссированной юбкой? — радостно переспрашивает Алевтина Пантелеймоновна.

— Ну да!.. Вот я его надену, и на танцы! Шестнадцать копеек заплатишь, пройдёшь, а там уж оркестр играет. Мы и вальс танцевали, и фокстрот... А сейчас что? Пойдут на дискотеку, а там — дын! дын! дын! Они патлы развешат и дрыгаются, как припадочные. Называется, танцуют! Тоже мне, танцы!.. Не-ет! Мы веселей жили. Интересней как-то...

И снова наступает молчание. Сёстры с грустными улыбками погружаются в какие-то свои мысли, вспоминая, как хорошо они жили когда-то, как были счастливы; как много было денег, хорошей и вкусной еды, добрых друзей и весёлых праздников. И куда всё ушло? Почему так круто повернулась жизнь? Почему стали тёплыми зимы, бледными закаты и узкими дороги? Как могло случиться, что всё, что было хорошего, исчезло безвозвратно, уступив место худшему?

А дорога меж тем круто взяла влево, и вот уже впереди показалось Шабурново. И точно в подтверждение тому, что раньше было лучше, показались длинные, унылые коровники, разбитые, пустые, с торчащими кусками арматуры из обрушившихся местами стен. Показались вросшие в землю ржавые коряги — пришедшая в негодность или просто брошенная техника. Кто и зачем выбросил эти машины, разбил коровники, куда делись сами коровы — всё это неясно. Ясно другое: раньше всё это работало, а теперь вот кажется, что ещё недавно здесь шли бои и велись бомбёжки.

— Да, другая жизнь настала... — тихо говорит Валентина Пантелеймоновна.

В Шабурново, несмотря на праздник, народу на улице почти никого. И всё же ощущается всюду суета. Во дворах беспокоятся собаки. Откуда-то доносится музыка. Звуки магнитофона, мешаясь со звуками гармонии, образуют весьма странный и неприятный музыкальный лад.

То и дело в окна выглядывают круглолицые тётки и провожают глазами сестёр. Попадается навстречу совершенно пьяный гражданин, очень об-

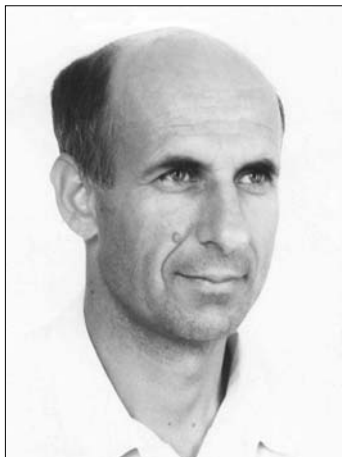
радовавшийся и оживившийся при виде незнакомок. Потом из магазина выходят ещё два гражданина с гремящими сумками. Бежит навстречу большой рыжий пёс, очень похожий на овчарку, деловитый и насупленный.

У автобусного павильона, где висит расписание — жёлтая табличка с чёрными столбцами цифр, — выясняется, что следующий рейс только через полчаса. Тогда заходят в пустой павильон, расставляют на скамеечке пакеты. Лукерья Пантелеймоновна достаёт из кармана пригоршню семечек и делит между сёстрами.

Образовав полукруг возле пакетов, сёстры Свинолуповы щёлкают подсолнухи, отправляя шелуху себе под ноги, и изучают надписи на стенах павильона. На уровне глаз большими буквами нацарапано: “Я В ШАБУРНО-ВО РОДИЛСЯ И В ШАБУРНОВО ПОМРУ”.

По крыше настукивает дождь, а когда по дороге проносится грузовик, то брызги из-под его колёс долетают до павильона. О Толстоухово сёстры уже не вспоминают.

АНАТОЛИЙ ОБЪЕДКОВ



ГДЕ СИНЕВА НЕБЕС ЧУТЬ-ЧУТЬ ДРОЖИТ...

* * *

Какие выдались денёчки, —
В прозрачной сини ангелочки
Мелькают, с ними — серафимы...
Идут по свету пилигримы,
Глядят горячими глазами
На мир, что ярк небесами,
Спешат в распахнутые дали,
Где облака собором встали.

СОСНЫ

Их зимний шум тревожит и пьянит,
Он гул таит исчезнувших столетий,
Он говорит, что мы одни на свете,
И, как отшельник, дремлет древний Скит.

ОБЪЕДКОВ Анатолий Романович родился в 1949 году на Тамбовщине. Автор семи поэтических сборников. Стихи публиковались в еженедельнике "Литературная Россия", в газете "День литературы", журналах "Север", "Невский альманах", "Наш современник", в альманахах "День поэзии", "День русской поэзии". Член Союза писателей России. С 1974 года живет в Великом Новгороде.

Покорно в нём послушницы живут,
Мечтая о разумной райской жизни.
Хоть счастья нет в растерзанной отчизне,
Но есть, возможно, в мире высший суд.

Чего желать? Уходит быстро день,
И сумерки сдавили наши плечи.
Как хорошо, что наступает вечер,
И нас накрыла снежных сосен тень...

* * *

Под ветвями кряжистого дуба
Звякнет цепь колодезного сруба,
Разлетится прах сухого пепла...
Жизнь ещё, как видно, не поблекла,
Проплывая тихо, островками,
Вместе с грустью, синью, облаками
Над рекой, над ригию крылатой,
Где вставала радуга когда-то.

* * *

Свечение часовни родовой
Не видел я, не помню и не знаю.
Степь шелестит засохшею травой,
И ветер кружит по родному краю.

Могилы за деревней... Много их.
И предков голоса звучат всё чаще.
О Господи, что в помыслах твоих,
В дороге сей, разлукою горчащей?

Но всё ж она не мучит, не страшит,
В ней — завершенье лишь пути земного,
Где синева небес чуть-чуть дрожит
В прозрачных струях отблеска былого.

* * *

За скитом, в урочище лесном,
Спят медведи богатырским сном,
Ищут белки жёлуди в снегу,
Я разрою снег — им помогу.
Пробую на вкус, они горчат,
Спят дубы, и сойки лишь кричат,
Оглашая молчаливый лес.
Здесь, в глуши, я заново воскрес...

* * *

Гром отгремел, открылись тучи,
Лишь ручеек журчит под кручей.

За буйнотравьем, за калиткой
Сарай покажется улиткой...

Вдали, за рыжими стогами,
Речушка сжата берегами.

Но щучий всплеск не потревожит
Всех тех, кто радоваться может

Тому, как синий колокольчик
Звенит меж муравьиных кочек,

И травы разливают свежесть,
И зарождается здесь нежность

К земле, где старая дорога
Уходит в небо от порога.

ЮЛИЯ НИФОНТОВА



СПАСИ МЯ

РАССКАЗ

Ольге Михайловне снова приснилась бабушка. И хоть умерла она, родимая, полгода назад, приходила она во сне к Ольге Михайловне регулярно, а последний месяц так и вообще каждую ночь. Но если раньше являлась доброй и улыбчивой, какой и была при жизни, то нынче казалась всё больше печальной, то плакала и жаловалась, мол, сердце болит, то просила хлеба: “Внученька, кушать сильно хочу!”, то искала свою гребёночку и никак не могла найти.

Несмотря на занятость и спокойное отношение к религии, Ольга Михайловна зачастила в церковь. За несколько недель благодаря бабушкиным ночным посещениям стала Ольга Михайловна почти завсегдатаем иконной лавки. И теперь на правах постоянного покупателя сама могла раздавать советы, как подавать поминальные записочки и куда ставить свечи “Об упокоении”.

Старания не приводили к желаемому результату. Уж и сорокоуст, и молебны заказывала несчастная Ольга Михайловна, но настырная бабуля еженощно посещала одинокие внучкины покои, печалась и жалуясь पुще прежнего.

Вчера, уже под утро, бабушка с глазами, полными слёз, показывала Ольге Михайловне свои рваные калоши и сетовала, что не пустят-де в таком виде в столицу, а её давненько уж в Москве заждались. Но минувшая ночь предупредила, что бабушка от тщетных жалоб и слёз переходит к решительным действиям.

НИФОНТОВА Юлия Анатольевна родилась в г. Барнауле, окончила живописно-педагогическое отделение Новоалтайского художественного училища, Алтайский государственный институт культуры и искусств. Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Барнауле.

Блуждая по сонному своему государству, забрела Ольга Михайловна в прежний свой старый домик, где жили они с бабушкой до переселения в трёхкомнатную квартиру на центральном проспекте.

Бабушка квартиру никогда не жаловала, обзывала “казёнщиной” и “купированным вагоном”, постоянно тосковала по “беленькому” домику в дебрях забуддыжного частного сектора. Ольга Михайловна любви к “Осипухе”, так называли посёлок имени Осипенко, с огородным рабством, удобствами на улице и печными заботами не понимала, но там, во сне, испытала удивительную радость от посещения родового гнезда.

Тем более что предстал “беленький” домик необыкновенно нарядным. Крохотная кухня была украшена по-новогоднему. Причём ёлка не стояла в традиционной крестовине, сваренной собственноручно ещё молодым дедушкой, всю жизнь проработавшим сварщиком в депо. Душистые колючие пихтовые ветки, увешанные послевоенными игрушками и мишурой, торчали прямо из стен, заполонив всё пространство.

Вдоволь насмотревшись на знакомые с детства ёлочные домики, зверушек, скрученных из проклеенной крашеной ваты, Ольга Михайловна намеревалась покинуть родные пенаты и уже перешагивала порог, как сзади её схватила за рукав до крайности рассерженная бабушка:

— Внучка, да ты когда ж мне лекарство-то купишь? Сколько ж можно ждать? Или ты не видишь, как баба мучится! Сто раз сказала, купи мне таблетки: от головы... от сердца... от глаз... от дыхания... и коришные — “Сенну”, штоб на двор сходить!

Ольга Михайловна за всю жизнь, прожитую вместе с “мамой старенькой”, ни разу не видела её столь агрессивной, поэтому очень испугалась. Этот “страшный” сон укрепил в Ольге Михайловне решимость сходить хоть раз в жизни на исповедь и причаститься. Это, как последнее средство избавления от ночных кошмаров, посоветовали престарелые соседки — бывшие бабушкины подружки. “Ну, что ж, выхода другого не вижу, — вздохнула несчастная ночная страдалица, — придётся испробовать все способы!”

Внезапное и неприятное пробуждение помогло начать утро долгожданной пятницы, её выходного дня, раньше обычного, и не празднично нежиться в постели, тупо просматривая неинтересные оздоровительно-семейные телепередачи, а поторапливаться к службе.

К исповеди Ольга Михайловна подготовилась со всем учительским усердием. Прочитала брошюрку “В помощь кающемуся”, молилась и постилась, как рекомендовала литература. Выписала свои грехи, чтоб ничего не пропустить. Рассовала по карманам мелочь, чтоб не подавать крупную купюру, когда начнут обходить мирян старушки с белыми тазиками для пожертвований. Затем, подумав, взяла свежий носовой платок, так как заметила за собой некую странность — с неизменным постоянством плакать во время службы.

Впервые со времён самой нежной юности Ольге Михайловне предстояло выйти на улицу без макияжа, да ещё повязав бабушкину “шалёнку”: “Только б никого из учеников не встретить!” Но даже этот ужасный “прикид” не портил спелую красоту женщины. Уходя, Ольга Михайловна глянула на себя в зеркало и вспомнила разговор с бабушкой:

— Бабуля, вот ты скажи, чем я плохая? Почему всегда одна? Я ж всех наших школьных мужних жён по всем статьям лучше, почему мне счастья нет?

— Всем ты, внучка, хороша. Красотуня ты моя! Просто кукла каменна, только судьбы тебе нет! Без судьбы, вот и всё.

— Неужели я родилась только для того, чтобы плакать?

— Не расстраивайся — у других вон ещё хуже бывает!

Выходя из подъезда, Ольга Михайловна вновь не избежала неприятной встречи с врагом, точнее, с его автомобилем. Соседский джип, нагло заехав колесом на клумбу, как огромный синий кит, казался, занял половину двора. И хоть скудный бывший бабушкин “розарий” ещё покоился под ноздреватой чёрно-белой коркой наста, надутый мрачный “хозяин жизни” всем своим видом показывал дворовому планктону, что ему здесь дозволено всё.

Недели две назад Костик — хозяин этого жуткого монстра, имел неосторожность залить квартиру Ольги Михайловны, живущей этажом ниже. Когда вода хлестала с потолка, подобно майскому ливню, Ольга Михайловна, словно весенний первый гром, билась в бронированную дверь хамоватого соседа. Прощедший свои университеты в бандитские девяностые, а ныне директор некоего мифологического пиар-агентства, Костик ответил сообразно полученному воспитанию и занимаемой должности:

— Кто бля? Чё нна? Пошла нна...

Чудесный дождь продолжался, пока аварийка не перекрыла воду во всём доме. Когда Ольга Михайловна осмелелась заикнуться о компенсации за ремонт, Костик повторил уже слышанную ею ранее фразу в тех же уничижающих интонациях.

— Слышала, Костика-то ночью на “скорой” увезли. В дурдом с белой горячкой, — жизнерадостно сообщила скачущая по лужам с мусорным ведром соседка-сплетница по кличке Гостелерадио, — Анжелка-то его месяц назад бросила, вот он и пьёт, как бешеный слон.

— Есть всё-таки справедливость на свете.

— Ох, и не говори!!! Прости, Господи, мою душу грешную и спаси мя!

...У высоких ступеней храма паслась стайка попрошаек, которых Ольга Михайловна демонстративно игнорировала: “Ишь, наглые морды! Самой бы кто подал!” Перед входом она с достоинством перекрестилась и выключила мобильник, как того требовала инструкция на массивной двери.

Высокий приятный женский голос шелестел молитвы, в которых поначалу невозможно было разобрать ни слова. Прихожане постепенно подтягивались, как нерадивые ученики с обеденной перемены. Где-то сверху, с небес ударил колокол, сотрясая основы дарвинизма; священнодействие началось...

* * *

Таюшка не понимала, за что её так жестоко истязают и кто эти строгие люди, что смотрят за ней и которых невозможно слушаться. Впрочем, наказание было не столь болезненным, сколько унижительным. Вон, другие гуляют себе свободно в красивых нарядных одеждах, а ей приходится стоять в одной фланелевой ночнушке босиком на высоком постаменте посреди огромного зала.

То, что по всему бескрайнему мраморному пространству ярко освещённого белоснежного помещения в хаотичном порядке разбросаны такие же показательные возвышения с наказанными, девочку мало заботило. Ведь, может, эта публика, что томится на других позорных подиумах, состоит сплошь из закоренелых преступников, которые заслуживают наказания и пожёстче. Но она-то, худенькая двенадцатилетняя девочка с белокурыми кудряшками и невинными синими глазами, за что?

Но вон та чернявая ровесница тоже мало походит на закоренелую преступницу. Хотя, судя по тому, как негрityночка стрижёт по сторонам быстрыми масляно-чёрными глазами, стянуть что-нибудь может запросто.

Эшафоты с узниками были оборудованы индивидуально. Словно безумный архитектор придумывал каждому заключённому неповторимый гармонирующий с личностью обитателя дизайн. Таюшкино место представляло собой каркас авангардного глобуса, внутри которого, как в клетке, и скучала пленница. Глобус был эллипсообразно вытянут, а его параллели и меридианы из благородных сортов дерева переплетались в самых немыслимых направлениях.

Но это гораздо лучше, чем быть прикованной цепями к письменному столу или сидеть в металлической клетке, как соседи неподалёку. Таюшкино наказание: стоять подолгу в одном положении, вытянув руки вверх, пока всё тело не начнёт ныть. Тогда двое надсмотрщиков, не говоря ни слова, позволяют ей сменить позу. Маленькой узнице иногда даже разрешается покидать деревянный остов и разминать затёкшие руки и ноги, не отходя от своего подиума. Но как только боль проходит, и Таюшка начинает глазеть по сторонам

на праздно шатающихся счастливиц, два её стража, мужчина и женщина, непостижимым образом мысленно загоняют девочку на прежнее место.

Вот и соседская чернушка тоже не прикована, не связана, да и клясть у неё комфортабельнее — как будто из мягких, обитых бархатом перил террасного балкона. На такие прутья и опереться — удовольствие, не то что на голые деревяшки, хоть и из карельской берёзы.

Разговаривать вслух нельзя даже с собой, сразу рот сковывает судорогой и голос пропадает. Услышать, о чём переговариваются люди вокруг, невозможно, шелест слов складывается в тихий неразличимый гул. Единственное занятие — прислушиваться к своим мыслям и внутреннему голосу.

Когда посетители гигантского манежа с выставленными на всеобщее обозрение живыми экспонатами равнодушно проходят мимо — это ещё полбеды. Хотя становится немножко обидно — значит, все другие “Картинки с выставки” занимательнее, чем она, трогательная, нежная и незаслуженно обиженная девочка. Если же вокруг постаamenta вдруг скапливается многолюдная толпа зевак, что начинают бурно обсуждать обитательницу деревянного эллипса, беззастенчиво разглядывая и тыкая в неё пальцами, Таюшка начинает волноваться. Но позу менять нельзя, поэтому появляются слёзы стыда и бессилия, от которых ещё конфузнее стоять перед зрителями.

* * *

В коллектив кающихся грешников Ольга Михайловна влилась сразу. Робеющая группа жаждающих отпущения грехов держалась чуть обособленно и обладала незримой, но явно ощутимой солидарностью. “Пусть хоть что вопят атеисты, а мне хорошо чувствовать себя маленькой частичкой великого чуда. Или, как сказала бы одна наша “рехнутая” историчка: тянет присоединиться к великому эгрегору, стать составляющим звеном мирового разума. Пусть так. Главное, что тут нет этого гнетущего, высасывающего душу одиночества!”

Ольга Михайловна быстро втянулась в ритм молитв и поклонов. Монотонным действо можно было назвать только на первый невнимательный взгляд. На самом деле постоянно что-то менялось. То присоединялись к песнопению новые голоса, то резко замолкали, но потом вновь возвращались. Плотный юноша в золочёном облачении сосредоточенно окуривал храм ароматом ладана под переливы серебряных колокольчиков. Постоянно что-то двигалось, менялось.

Наконец к страждущим вышел исповедник. Его слова утонули в молитвенной мелодии с клироса, перекрывающей тихий голос. Но то, что он говорил, было и так понятно: к исповеди допускаются те, кто готовился.

Время потекло медленнее, в душе стало расти волнение. Как язык повернётся рассказать все тайные пакости? К тому же батюшка уж слишком молод и хорош собой...

Глаза Ольги Михайловны то и дело наполнялись слезами. И тогда перед взором плыли длинные сверкающие нити. Всё сливалось в переливающиеся пятна: золото иконостаса, парчовые одежды священнослужителей, пульсирующие живые сердечки свечей.

Кто-то из церковных бабушек приоткрыл боковую дверь для того, чтобы немного проветрить помещение. На улице кипел рабочий день. За фигурными прутьями церковной ограды виднелось крыльцо юридического колледжа. Молодые люди и девушки высыпали во время перерыва подышать свежим весенним воздухом, точнее — отравиться сигаретным дымом.

Ольгу Михайловну поразил контраст между тёплым уютным мерцающим интерьером храма и холодным серым прямоугольником видимой улицы. Женщина почувствовала себя под защитой непобедимой заботливой материнской силы, которой лишены маленькие человечки там, на заплёванном, полюбрушенном крыльце.

Студенты жадно курили, гоготали и задирались, как пятиклашки из класса выравнивания... Особенно неприятно было смотреть на девушек в по-

стыдно-коротких юбках (как бабушка говорила: “Ажно до самой матушки!”). Привычная студенческая распушенность вскрикивала на разные голоса:

— Дай сигаретку, не жопься!

— Щас чё у нас?

— Барыгу закрыли наглухо, слышь...

“Надо же! Обезьяний питомник похлеще нашего среднего звена!” — удивилась про себя Ольга Михайловна и вздохнула спокойно, когда двери в реальный мир заботливо прикрыли.

Меж тем несколько человек уже получили отпущение грехов. В первую очередь по церковной традиции вперёд пропустили всех немногочисленных мужчин. Как в любой компании, сразу выделился лидер — самый знающий и активный, им оказалась коренастая бабка в шляпе. Она одна знала, кому пора идти, а кому ещё нужно подождать, подравнивала всех и следила, чтоб никто не заступал воображаемой линии. По её распоряжению вперёд была пропущена беременная прихожанка. А также устранены разнообразные нарушения дисциплины: перестали стучать каблуками “две кобылы”, одна глупая девчонка отправлена за “общественным” платком, а пожилая тётя отчитана за то, что догадалась заявиться на исповедь в брюках. “Наверное, эта бабка — завуч бывшая, — догадалась Ольга Михайловна. — Хотя, как говорится, бывших завучей не бывает”.

Рядом с собой Ольга Михайловна заприметила необычную прихожанку. Девушка в нежно-голубой куртке имела ярко выраженные африканские черты. Тем не менее, экзотическая для сибирских широт внешность не лишала её обладательницу права приобщиться святого таинства причастия. Ольга Михайловна искоса поглядывала, отмечая про себя оливковый оттенок кожи, пухлые вывернутые губы, чёрные, густые ресницы при полном отсутствии туши.

Постепенно Ольгу Михайловну словно засасывало в воронку. Куда-то утекли раздражение на усердно падающих на колени старушек, на подлого соседа и протёкший потолок. На предстоящую в следующем году защиту категории и непослушных семиклассников, к уроку с которыми нужно целую неделю готовить себя морально, как к посещению стоматолога. Вскоре её перестали отвлекать мелочи: скрип дверей, служки, просеивающие через ситечки песок в чашах для свечей, и вообще всё на свете отошло на задний план, стало совершенно несущественно.

Вместе с тем крепло в душе ощущение словно бы раскрывающегося цветка. Радость наполняла её, как пустой сосуд золотиносным живым светом, а голодная душа напивалась им, как новорожденный телёнок материнским молоком. Вскоре в мыслях не осталось ничего, кроме молитвы, плавающей в спасительной пустоте.

Утренняя служба шла быстро, но батюшка не торопился, с каждым вкрадчиво беседовал, прежде чем накрыть голову прихожанина краем чёрной материи и перекрестить. К исповеди Ольга Михайловна пошла одной из самых последних, пропустив и активистку в шляпе, и афро-сибирячку в голубой куртке.

Поклонившись оставшимся собратьям и как бы прося у них позволения идти на исповедь, Ольга Михайловна подошла к священнику. Слова пришли сами, хоть батюшка никак не помогал исповеднице, а только внимательно слушал. В первые секунды Ольга Михайловна совсем не узнала своего голоса, он стал чужим и скрипучим. С большим трудом она выдавливала из себя фразу за фразой, но чем дальше продвигалась, тем легче лилась речь, крепились связи, возвращался голос:

— Батюшка, я грешна во всех грехах. Первое и самое главное, несколько лет жила с женатым мужчиной. Понятно, что не венчаны, не расписаны. Потом после разрыва с ним ещё встречалась с двумя. Грешила. — В носу предательски засвербило. Потекло одновременно из глаз и из носа. Ольга Михайловна едва успевала промокать потоки носовым платком.

Молодой батюшка словно не замечал её жалкого положения, уважительно кивал, глядя как бы сквозь неё необыкновенными вишнёво-кариими глазами, изливающимися волны искреннего сочувствия и нежности. “Как же он

похож на иконописные образы! Почему глаза словно вишнёвыми кажутся? Таким не соврёшь — в душу смотрят. Вроде как издалека совсем другим казался, не таким красивым”, — промелькнуло удивление Ольги Михайловны.

— Ещё, батюшка, зло меня съедает. А одного мужчину — соседа я прямо ненавижу. Постоянно зла ему желаю, а иногда даже смерти. Хотя молось, пытаюсь убрать такие мысли, а ничего с собой поделывать не могу. Да и вообще всего до кучи: и чревоугодие (с поста постоянно срываюсь), и жадность какая-то развилась в последнее время. И ещё не могу противостоять несправедливости — трушу сказать, что кто-то не прав, или когда сплетничают про кого-то, не могу сказать — прекратите, молчу и всё, не знаю почему... А ещё я вот забыла. Пока тут стояла в очереди, поняла, что постоянно осуждаю людей! Даже здесь, в храме критикую, а сама критики не терплю. Но чаще всего завидую. Страшно завидую женщинам, у которых есть мужья, особенно если хорошие, непьющие. Я их тоже ненавижу временами и злорадствую, если у кого-то мужик запьёт или загуляет... Дети меня страшно раздражают. Но я вынуждена с ними работать. Срываюсь, бывает, на них. Одновременно завидую тем, у кого дети удачные. У меня-то так теперь уже и не будет никогда... Уныние, пессимизм заедают, не верю я в лучшее. Не верю, что может измениться моя жизнь к лучшему. Плачу каждый день. Жалею себя ужасно. Сегую на судьбу... — всхлипывания прервали исповедь, и Ольга Михайловна уткнулась в мокрый платок, не в силах побороть сдавленные рыдания.

Сначала Ольга Михайловна не понимала, что говорит светлый лик, просто было очень тепло и приятно от причастия к непобедимой энергии света и справедливости, чему-то в наивысшей степени доброму и любящему именно её — Ольгу. Постепенно она успокаивалась, и смысл сказанного стал доходить до сознания:

— Поймите, матушка, ведь это не от того Господь посылает вам столь суровые испытания, что хочет наказать вас. Наоборот, посылает вам их от любви, чтобы открыть путь вашей бессмертной душе в Царствие Небесное. Ваш крест тяжёл, очень тяжёл, полон скорбей и испытаний. Но не каждому даётся такая великая радость и столько Господней любви. Чем больше испытаний Он вам посылает, тем больше доказательств Его особой о вас заботе...

Однажды Святитель Амвросий и его спутники, как рассказывает блаженной памяти старец Паисий Святогорец, посетили в странствиях дом одного богатого человека. Видя роскошь обстановки, Святитель спросил хозяина, испытывал ли тот скорбь хоть раз в жизни. Хозяин ответил, что живёт настолько прекрасно, что никакие скорби, болезни и печали никогда не посещали его дом. Тогда Святитель, горько заплакав, сказал своим спутникам: “Уйдём отсюда поскорее, потому что этого человека никогда не посещал Господь!” И как только они вышли на улицу, дом богача рухнул... Вам, матушка, нужно жить церковной жизнью. Господь не оставит вас. Каетесь в своих грехах?

— Каюсь!

* * *

Казалось, Таюшка уже вполне смирилась со своей участью и даже начала испытывать тихую радость от постоянного диалога с самой собой. С недавнего времени к этому внутреннему голосу добавилась и внутренняя музыка, поначалу тихая, часто прерывающаяся, она крепла и теперь звучала в голове постоянно, меняя тональность в зависимости от настроения. Тревожные мятущиеся скрипки сменил величественный орган. Под эти многоголосые фути Таюшка “поплыла” — расслабилась, и терзающие её обиды и непонимание ослабили свои железные клещи.

Таюшка теперь без злости и зависти смотрела на проходящих мимо людей. И находя наблюдение как никогда занимательным, пыталась представить судьбы людей, их настроение и характер. Занятие столь увлекло, что Таюшка прозевала тот момент, когда удалились её строгие стражники. Незнакомый резкий голос нарушил гармонию созерцательности, Таюшка

вздрагнула от неожиданности и удивления — непривычно было слышать, а главное — понимать, что тебе говорит кто-то другой:

— Привет, соседка!

— Здравствуйте, — автоматически ответила Таюшка и ещё больше удивилась, услышав свой собственный не внутренний, а самый обыкновенный голос. Оказывается, она умеет говорить!

Неожиданной собеседницей оказалась та самая чернокожая девочка с ближайшего бархатного постамента.

— Я Иза.

— Иза? Это значит Изольда или Изабель?

— Срочу не угадаешь! Это всё причуды моей безумной мамочки.

— ?

— Сначала она родила меня от какого-то негра из бродячего цирка, а потом ещё вдобавок назвала Изадорой, потому что фанатела от пластического театра такой же сумасбродной Дункан. Но я её надежды сделать из меня балерину не оправдала. В хореографическом училище, куда она меня затолкала, комиссарша сказала, что я буду слишком контрастировать с белой пачкой, зрители засмеют. — Иза заливисто захохотала, обнажив крупные ровные, как добрый чеснок, зубы.

— Всё это очень странно... И то, что мы раньше ни с кем не разговаривали, и то, что за нами больше никто не следит?

— Я-то давно заметила, это ты ворон ловишь. Я к тебе за этим и пришла.

— ?

— Давай сбежим?

— А разве это возможно?

— Конечно! Я сто раз видела, когда конвой бросает своего клиента, а тот покидает эшафот. Ну, чего ты рот открыла, я тебе говорю, мы свободны! Можем просто так уйти, а можем вообще за одну секунду оказаться в другом месте, далеко-далеко.

— ?

— Ну, ты тормоз! Вот ты куда, например, хочешь?

— Я н-не знаю... Я ещё не вспомнила, что я люблю...

— Тогда держись крепче!!!

Таюшка по примеру новой знакомой уцепилась за изогнутые деревянные дуги эллипса. Проворная, как мартышка, Иза стала, отталкиваясь одной ногой, раскручивать конструкцию подобно детской дворовой карусели. К удивлению, бывшая тюрьма быстро поддалась и набирала обороты с невероятной скоростью. Девочки закружились внутри колеса, как будто на чудной центрифуге готовились в отряд космонавтов.

— Мы сейчас напоминаем человека, нарисованного Леонардо да Винчи, — пришла в Таюшкину голову неожиданная мысль. — Он там так же в каком-то колесе торчал, растопырив руки и ноги. Да-а... нам тут не до золотого сечения...

Скорость зашкаливала, ветер свистел в ушах. Привычная картина эклектичного интерьера гигантского выставочного зала: мраморный пол в шахматную клетку, колонны мыслимых и немислимых ордеров, многосвечные и многоламповые помпезные люстры, пёстрые компании посетителей... — всё слилось в одну разноцветную полосатую дорожку, а примолкнувшие на минуту в Таюшкиной голове органные фуги сменились на небесные перезвоны хрустальной гармоникки...

* * *

Причащаться святым даром Ольга Михайловна шла за чернокожей девушкой. Все допущенные к таинству больше не спорили, кому идти первому, а степенно и умиротворённо подходили к чаше, держа руки скрещёнными на груди.

Проглотив маленький красный кусочек, вынутый длинной ложечкой, Ольга Михайловна, как все, поцеловала край золотой чаши и пошла совер-

шенно счастливая. На пути выплыл квадратный столик, похожий на тумбочку, застеленный белой скатертью и уставленный угощением. Две добрые женщины протянули ей маленький, будто игрушечный ковшечек, с каким-то вкуснейшим напитком. И как самую большую драгоценность, Ольга Михайловна осторожно взяла два крошечных кусочка нарезанной булочки.

Блаженно улыбаясь, Ольга Михайловна словно поплыла под куполом, перебирая взглядом гитарные струны золотых лучей, что пронизывали спокойный сумрак храма. К ней вдруг вернулось давно позабытое детское знание бесконечности жизни и того, что смерти нет вовсе, и нет на свете ничего непоправимого, и, возможно, завтра всё может измениться самым волшебным образом... и непременно к лучшему...

Служба закончилась, а Ольга Михайловна не торопилась уходить. Сначала она пошла в иконную лавку — написать любимые записочки, которые всегда подавала, посещая храм. Неожиданно для себя самой на бумажке, озаглавленной “О здравии”, вписала последним, под номером десять, имя — Константин. Что Костик крещёный, она не сомневалась, сосед любил мыть свою машину обнажённым по пояс с “вервием на вые”... Поражая как могучим борцовским торсом, так и массивностью золотых украшений.

Служительницы копошились у Распятія, готовя место для поминальной службы. Ольга Михайловна кушила большую восковую свечу, источающую тонкий медовый аромат, и поставила её на заупокойный подсвечник, читая молитву, прикреплённую, как простое объявление.

Она прочитала молитву трижды, кося глазом на листок на стене, как всегда не удержавшись от собственных дополнений: “Упокой, Господи, души рабов Твоих: сродственников и благодетелей моих и всех православных христиан. И прости им согрешения вольныя и невольныя и даруй им Царствие Небесное! А особенно прошу Тебя за мою милую любимую бабушку — Таюшку!”

ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА



ПРИРОДА МУЗЫКИ ПОЛНА

ОСЕНЬ НА ВЯТКЕ

В городах тревожней год от года,
И война раскалывает мир...
Ну, а здесь — царит ещё природа,
Закатив опять роскошный пир.

Где-то за холмом вражда уснула,
И поплыли мысли не спеша...
Но поля бурьяном затянуло —
И болит на празднике душа.

А природа ласковое шепчет,
А природа музыки полна,
И глядит глазами русских женщин
Щедрая родная сторона.

Синь да синь — от края и до края,
И поют под ветром тополя...
До свиданья, осень золотая,
До свиданья, родина моя!

КОРОСТЕЛЁВА Валентина Абрамовна родилась в Кирове (Вятке). Окончила Литературный институт им. Горького. С 1982 года живёт в Подмосковье. Член Союза писателей России. Автор 15 книг поэзии и прозы. Среди них "Мартовский снег", "Хлеб и мёд", "Моя божественная Русь", "Звёзды на снегу", "Между небом и землёй". Лауреат премии им. А. П. Платонова.

ТАКИЕ ВРЕМЕНА

В. Меньшову, режиссёру

То распри, то бураны, —
Такие времена...
Но снова за Уралом
Рождается весна,

Она навстречу солнцу
Идёт, как век назад...
России сердце бьётся,
Цветёт забытый сад

И дарит нежной силой,
И песня хороша:
Останется Россия —
Великая душа!

Она ещё расскажет
Про беды и быльё,
Она ещё покажет,
Ещё возьмёт своё!

И, сколько б ни косило,
Ни жгло её — враньё,
Останется Россия,
И глубь, и высь её!

ЗА ВСЁ

Ещё восходит радуга,
И день ещё высок,
И сердце даже радует
Бодрящий холодок,

Ещё тепло спасительно
И ласкова трава...
Но так шумят пронзительно
Под ветром дерева!

И даже птичье резвое
Утихло голосьё,
И спросит осень трезвая,
Как водится, за всё!

СКАЗКА

Помню это чудо из чудес:
Из тумана дивный храм воскрес
В золотых и лёгких куполах, —
И автобус встрепенулся: “Ах!..”

Разгорался подмосковный день,
И спешить автобусу не лень...
А в окне, где долго плыл пустырь,
Расцветал под солнцем монастырь.

Позади — Москва, Волоколамск,
А ещё чуть ранее — Кавказ,
Едем срочно чествовать друзей,
И дорога — мимо сказки сей...

Много лет промчалось с того дня.
Сказка эта бережёт меня.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

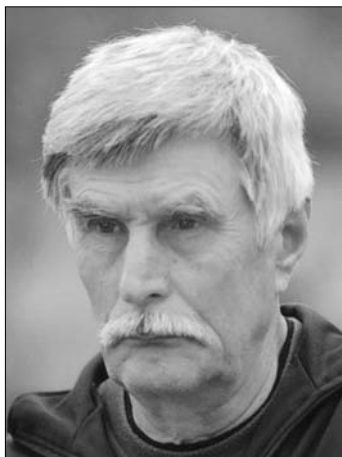
Хорошо, если это приснится,
Если память бессонна в крови:
Нас будили рассветные птицы
И настойчиво звали к любви.

И пускай та мелодия длится
Среди многих желаний и дел —
Дом в колоннах, певучие птицы
И хмельная отзывчивость тел.

Станет день беспокойный милее,
Только вспомнишь подарок судьбы:
И тенистые эти аллеи,
И былинные эти дубы,

Как всходили на травах рассветы,
Развевая фантазии пух...
Это щедрое русское лето
И Малеевки творческий дух!..

ВИКТОР МАНУЙЛОВ



ВОЗВРАЩЕНИЕ

РАССКАЗ

Проخور с трудом приподнялся на руках, посмотрел в сторону остановки автобуса: четверо крепких парней в кожаных куртках пересекали дружной стайкой дорогу, над ними встухали голубоватые дымки. Никто из них даже не обернулся — настолько он был им неинтересен. Вспомнилось, как один из них сказал, и тоже равнодушно, но с нотками превосходства над другими:

— Хватит его месить: нам за лишнее не платят.

Тогда самый молодой и особенно ретивый последний раз ткнул Прохора ногой по ребрам и, сплонув, хохотнул:

— А я только разошелся, блин!

И после этого Проخور еще некоторое время лежал, не шевелясь, парализованный всем случившимся, слыша лишь удаляющиеся шаги.

Его били недолго. Он даже не пытался сопротивляться: и потому, что ничего не понял, а более всего — не успел. Они, четверо русских парней, встретили его, когда он, покинув рынок, свернул в переулок, направляясь к автобусной остановке, и тот, по чьей команде закончилось избиение, плотный, рослый крепныш, спросил равнодушным голосом, заступив Прохору дорогу:

— Тебя предупреждали, чтобы ты здесь больше не появлялся? Предупреждали. А ты не вял... — И тут же коротким, но таранным ударом под дых заставил Прохора согнуться.

МАНУЙЛОВ Виктор Васильевич родился в 1935 году в Ленинграде. Закончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Печатался в журналах "Молодая гвардия", "Воин России", "Юность", "Подъём" и др. Живёт в Москве.

А потом удар под коленки, по ребрам. Он даже не понял, как очутился на грязном асфальте: то ли его сбили, то ли сам лег и теперь лишь прикрывал лицо руками да поджимал к животу ноги, не зная, что именно так и должен поступать в подобных случаях — руки и ноги сами знали, что им делать.

Прохор был мужиком здоровым и сильным, таким добродушным сорокадвухлетним увальнем. Он шутя поднимал десятиведерную бочку с солеными огурцами или квашеной капустой и, может быть, поэтому никогда не занимался спортом, полагая, что его силы хватит на все — в том числе и на то, чтобы постоять за себя, и теперь, лежа на холодном асфальте, грязном, в слякоти растаявшего снега, чувствовал себя не просто избитым, а униженным и оскорбленным.

Мимо него шли люди, шли торопливо, никто не остановился, не спросил, в чем дело, — и это тоже было тем новым, что пришло в их жизнь с новыми порядками.

С трудом поднявшись на ноги, Прохор постоял, крихтя и оглядываясь: болели ребра, спина, особенно сильно под коленом, дышать приходилось через боль. Подняв свою сумку, он пошел к автобусу. Парни ничего не взяли: ни деньги, ни сумку. Они не были грабителями. Да, его предупреждали, чтобы он не ходил на вещевой рынок со своими пирожками. Так ведь он продавал их не в открытую. Он разносил их по точкам, исключительно по заказу: одним пять пирожков с картошкой, другим десяток с капустой, третьим с яблоками или творогом. Пирожки пекла жена, а она умела это делать отменно: ее пирожки, пироги и торты хвалили все, кто их пробовал, и поначалу она же и носила продавать, но ее как-то прижали в темном углу, вырвали сумку, оставшиеся пирожки вытряхнули в грязь и предупредили: еще раз появишься, будет хуже.

— Все, — произнесла Дарья устало и обреченно, бросив пустую сумку возле порога. — Отторговалась. — И, не раздеваясь, села на ящик для обуви.

— Кто? — спросил Прохор, сжимая огромные кулаки. — Мы сейчас с тобой пойдем туда, и я их...

— Не выдумывай, — отмахнулась Дарья. — Пырнут ножом — вот и все твоё геройство. А у нас дети, родителям помогать надо...

И тогда Прохор, привыкший во всем слушаться более практичную в житейских делах жену, предложил:

— Ладно, я буду разносить: меня-то уж не тронут. Пусть попробуют.

Дарья долго не соглашалась, с содроганьем вспоминая грязный, вонючий контейнер, куда ее впихнули, когда она проходила мимо, вспомнила тот ужас, который испытала, понимая, что находится в полной власти этих чужих в ее городе людей, валяющиеся под ногами пирожки. Она даже не решилась закричать, понимая, что не успеет открыть рта, как ее... как ей... она готова была исполнить любое их приказание, лишь бы ее отпустили. А ведь с Прохором они церемониться не станут.

Но Прохор настаивал, доказывая, что с ним ничего не случится, и она сдалась в конце концов: может, и правда, не тронут. И почти неделю Прохор ходил на рынок со своей сумкой, и все ждал, что вот сейчас подойдут, окружают или еще что, и он... Что будет дальше, он представлял с трудом, но был уверен, что рассчитается и за жену и за себя, если они посмеют только... только посмеют поднять на него руку.

Конечно, был указ, что без лицензии, санитарного контроля и прочего торговать съестными товарами нельзя. Но куда деваться, если ничего другого они с женой придумать не смогли? А лицензия, контроль — это ж черт знает что такое! — в том смысле, что попробуй-ка походить за всякими справками, да тому дай на лапу, да этому. А еще потребуются крыша и со стороны бандитов, и со стороны милиции. Это сколько же времени пройдет! А жить надо сегодня, сейчас. И самим кормиться, и детей кормить, одевать-обувать. А с чего? Завод, на котором Прохор работал токарем высшего разряда, а Дарья — контролером ОТК, закрыли, все его помещения раздали под склады и офисы. Когда вся эта мутота с приватизацией начиналась, им внушали, а они верили, — и Прохор вместе со всеми, — что если завод станет акционерным обществом, дело пойдет лучше, потому что свое, не дядино. И акции раздали всем работникам в зависимости от стажа, и совет акционеров создали, но стало не лучше, а хуже: продукция их оказалась никому не нужной, отсюда ни работы, ни зарплаты. А вскоре объявились какие-то тем-

ные личности, стали скупать акции, завод обанкротился и пошел с молотка.

Нет, когда Прохор с женой и сотнями других таких же оказались на улице без гроша в кармане, до пирожков они еще не додумались. Вернее, Дарья не додумалась, потому что сам Прохор ни до чего додуматься не мог. Дарья поначалу взялась “челночить” то в Турцию, то в Польшу, покупая там всякое тряпье. А Прохор занялся частным извозом, но не прошло и месяца, как “жигуль” его сожгли, а тесть свой “москвичонок” пожалел. Да и то сказать: дача без машины, считай, пустое место. И Прохор вынужден был идти в напарники к своей жене. Из нужды вроде бы вылезли. Деньжата появились, подумывали о новой машине. Но они занимались куплей-продажей сами по себе, еще по старым, совковым, правилам: пришел на рынок, заплатил за место, разложил свой товар и торгуй. Да только вскоре обнаружили, что на барахолке все места заняли приезжие с Кавказа, и теперь, куда ни ткнись, везде они, и если хочешь торговать, то плати им же, делай то, что велют, иначе... Короче говоря, дело это стало невыгодным и опасным: помойся-ка по аэропортам и вокзалам, где тоже царят волчьи законы, и не только в России, но и за границей, где можно лишиться и товара, и денег, и жизни, выдержи-ка всю эту нервотрепку. Поэтому пирожки стали как бы следствием их пятилетнего опыта. И все шло более-менее нормально, пока об их новом бизнесе не прознали новые хозяева рынка. И не потому они на них ополчились, что ревностно блюли российские законы, а потому что отнимали едоков их чебуреков, шашлыков и цыплят-гриль, бог знает из чего сделанных и в каких условиях.

Прохор брел домой, с трудом переставляя ноги, стараясь дышать ровно, едва-едва, и более всего боясь, что Дарья, увидев его избитым, беспомощным, потеряет к нему, такому сильному и уверенному в себе, всякое уважение. И не только она, но и дети, и все, кто его знает.

Он брел, то и дело останавливаясь и отдыхая, оглядываясь и пытаясь понять, почему в этом мире все продолжает стоять на своих местах или двигаться, как стояло и двигалось до этого, в то время как он... как его... и почему он сам принимал так равнодушно сообщения о том, что где-то кого-то ограбили, убили, изнасиловали? Не верил, что это может случиться и с ним самим? Или потому, что все эти годы со всех сторон, изо дня в день так и сыпались всякие ужасы, так что люди, как и он сам, привыкли к чужим страданиям и покрылись коркой равнодушия? И получается, что кто-то очень старался и старается до сих пор, чтобы все они сделались равнодушными к чужому горю, ни во что не вмешивались, все мерзости принимали как должное.

Каждый за себя, один Бог за всех... Разве это правильно? Разве это человечески? Да и какое до них дело Богу? И есть ли он на самом деле? Раньше не было, а теперь, говорят, появился вновь. Теща, например, вдруг стала верующей. Ходит в церковь, приносит домой то святую воду, которую если пить, то избавишься от всех хворостей, то свечки какие-то особые, то бумажки с заговорами от всех бед и напастей, на даче, в столовой, повесила икону. Правда, крестится редко, да и тесть на нее ворчит, не веря ни в водичку, ни в свечки, ни в поминальные и заздравные записочки.

— Деньги зря переводишь, — ворчит он, но всякий раз все реже и тише, видя, как жена с каждым разом все упрямее поджимает губы.

Прохор переступил порог своей квартиры и сразу же наткнулся на испуганный взгляд Дарьи.

— Что случилось? — прошептала она, прижимая руки ко рту, удерживая крик.

— Ничего, — ответил он тоже шепотом.

— Как же ничего! — вскрикнула Дарья, всплеснув руками. — Ты посмотри на себя в зеркало! Тебя били?

— Не кричи: дети услышат, — постарался успокоить ее Прохор, а сам вдруг почувствовал, что вот-вот расплчется.

— Детей нет дома: они в школе. Так что же все-таки случилось?

— Мне бы умыться, — давился он словами, не отвечая на Дарьины вопросы, лишь теперь осознав в полной мере, что с ним произошло. И не только с ним, но и с Дарьей, и с детьми.

Жена помогла ему раздеться, приготовила ванну, заварила какой-то травы и хлопотала над ним, как над ребенком, обмывая его тело, покрытое синяками и ссадинами. Она обтерла его махровым полотенцем и принялась смазывать ссадины йодом, а синяки какой-то заграничной мазью.

— Я их еще встречу, — грозился Прохор, хотя вряд ли узнал бы кого-нибудь из своих обидчиков. — Я им покажу, где раки зимуют. Они у меня помнят...

— И не думай, горе ты мое луковое, — ворковала Дарья, точно рада была возможности поухаживать за своим мужем, вдруг ставшим таким беспомощным. — Одного ты, может, и поколотишь, а потом они тебя так разделают, что я и-и... и не знаю, что с тобой будет. Они ж все боксеры да каратисты, а ты в жизни своей ни в какие секции не ходил. Где уж тебе, горе ты мое. А еще, не дай бог, за нас примутся, за детей... Что тогда? По телеку вон каждый день показывают...

— Что ж, по-твоему, простить? — перебил жену Прохор.

— Не простить, а плюнуть. Ты нам живой и здоровый нужен.

— А такой вот, значит, не нужен? — обиделся он.

— Ну что ты такое говоришь? — возмущалась Дарья. — Сам-то ты себе такой нужен? А калекой ты себе нужен? Они же звери! В них ничего людского не осталось! Их, может, убивать надо. Но не тебе же. Ты, вспомни, даже курицы зарезать не смог — к соседу пришлось идти...

— Значит, тебе я уже не нужен? — упрямо гнул свое Прохор, задыхаясь от обиды.

— Да что ты заладил одно и то же? — всплескивала руками Дарья. — Да ты мне даже без ног, не дай бог случись такое, будешь нужен! Да я тебя никаким не брошу!

И вдруг уткнулась ему в плечо и разрыдалась.

Прохор гладил волосы жены своими большими руками и, запрокинув голову, смотрел в потолок ванной комнаты, и потолок этот, давно не знавший ремонта, шевелился в его глазах белой пеной.

На другой день они отправились в травмпункт. Доктор-хирург, торопливо сунув в карман протянутую Дарьей купюру, осмотрел Прохора, ни о чем не спрашивая, и направил на рентген. Там выяснилось, что у него сломаны два ребра, а из внутренних органов вроде бы ничего не пострадало, но действительно ли не пострадало, выяснится лишь какое-то время спустя.

— Покой и никаких физических нагрузок, — сказал доктор. — Рекомендую бальзам Сидорова, хвойные ванны, витамины и глюканат кальция. А вообще — и так пройдет: организм у вас здоровый, сильный, он с этими болячками справится сам.

— Ну вот и хорошо, — сказала Дарья, едва они покинули травмпункт. — Скоро у детей летние каникулы, поедем в деревню, надо на зиму запастись овощами. Заведем кур и кроликов, может, поросенка. Наделаем колбасы, сала засолим. Я носки стану вязать, из кроличих шкурок можно будет делать шапки... Помнишь, какая у меня в детстве была заячья шапка с длинными такими ушами? — воскликнула она и радостно рассмеялась. — Помнишь? Ты еще любил дергать за эти уши. — Прохор молчал, и Дарья, вспомнив детство, грустно улыбнулась и вздохнула. — Таких теперь не делают. А мы возьмем и сделаем. Правда? Ничего сложного... А можно продавцом куда-нибудь устроиться. Или нянькой, — тараторила она, стараясь отвлечь Прохора от мрачных мыслей. — Вон Ленка Кулакова, посмотри: устроилась нянькой в китайскую семью и очень довольна. Правда, все у них там расписано по часам и минутам и чтоб ни-ни-ни, так они за это и деньги хорошие платят...

— С трудом представляю тебя нянькой, — проворчал Прохор.

— А торгашкой ты меня лет десять назад мог представить? А себя с пирожками? Мы всегда смотрели на этот народец с презрением. Я и на себя точно так же смотрела совсем недавно. Гляну в зеркало — и аж в дрожь бросит. И сама себе же и скажу: “Дашка, до чего же ты докатилась!”

— Теперь все поставлено вверх ногами: торгашу почет, а работяге плевки да подзатыльники, — проворчал Прохор.

— Ничего! — воскликнула Дарья с непобедимым оптимизмом. — Ничего, ничего! Все образуется — вот увидишь. Как-нибудь переживем это гнус-

ное время, а дальше... Не век же вся эта мерзость будет продолжаться. Да и власти, похоже, стали за ум браться. Поняли, что на нефти да газе не проживешь. Давеча по телевизору президент так и сказал...

— Говорить-то они все горазды. Толку-то с их говорильни никакого. Им главное — свои карманы набить, а чуть что — собрали манатки и за границу.

— Ах, Проша, ну ты опять за свое. А Варюхе на следующий год в институт поступать. Вот и думай, в какой.

— Сама выдумает. Нас не спросит. Мы-то не спрашивали...

— Да, все это так, — потухла Дарья.

И до самого дома они шли молча.

Тут как раз подошли школьные каникулы. Ребра у Прохора если еще и не срослись окончательно, то и не болели, хотя дышать в полную силу не позволяли. Зато он в эти дни вынужденного безделья по винтику перебрал старенький “Москвичок” своего тестя, без которого и дача не дача, а одно сплошное мучение. Дарьины родители еще раньше уехали в деревню, так что Прохору особенно и не пришлось в земле ковыряться, но все остальное: полив, окучивание, удобрение, строительство курятника и клеток для кроликов — он взял на себя. С поросенком, правда, не получилось: поздно спохватились, когда поросят уже и не осталось. А кушать подростка не хватило денег. Потом, уже в начале июня, когда ребра срослись окончательно, Прохор присоединился к тестю, который подряжался на всякие работы у богатых дачников: кому лужайку расчислить, кому дорожку выложить плитками, кому что-то по плотницкому делу. Правда, и здесь была конкуренция со стороны заезжих арбайтеров из бывших “братских республик”, но не такая жестокая, как на рынке, то есть пока еще без драк и поножовщины.

А еще Прохор вкопал за избой толстый столб, обмотал его старым матрасом и долбил его кулаками, пинал ногами, имея в виду когда-нибудь встретить своих обидчиков и расчесть с ними по полной программе, а более всего так, на всякий случай.

* * *

Утро выдалось серое, мглистое, но без дождя. В последнее время неделями так длится и длится, при этом ученые предсказатели погоды каждый день уверяют, что вот-вот она изменится к лучшему. Но погода не хотела внимать заклинаниям небритых предсказателей и длинноногих предсказательниц, и серые дни и ночи тянулись нескончаемой чередой. Хоть бы ветерок подул откуда-нибудь, хоть бы гроза разразилась какая. Нет и нет. Серое равнодушное одеяло висело над головой, заслонив и солнце, и звезды, нагоняя тоску.

Была среда. Дарья вдруг с утра пораньше засобиралась в город посмотреть квартиру — не обобрали ли? — купить лекарств и кое-каких продуктов, потому что в здешних магазинах, прилепившихся к дачным поселкам, все вдвое дороже и хуже.

— Может, на машине поедешь? — спросил Прохор.

— А бензин? Или не знаешь, сколько он нынче стоит? — вскинулась Дарья. — На автобусе дешевле.

Прохор вызвался ее проводить, а уж потом идти на работу. Они с тестем недели две назад подрядились к одной денежной бабе, служившей в нотариальной конторе, спланировать дачный участок на английский манер, вырыть и устроить фонтан с небольшим бассейном по картинке из какого-то специального журнала. Большая часть работ была выполнена, оставалось немного, и тут тестя скрутил радикулит, так что Прохору теперь надо было отдуваться за двоих.

— Ты что-то там завозился... у этой нотариуши, — произнесла Дарья, искоса поглядывая на Прохора, когда они вдвоем шли к автобусной остановке.

— Завозился... Скажешь тоже. Это ж все перелопатить и передвинуть, что там машинами разворочено. А у ней пятнадцать соток. А бассейн забетонировать да облицевать плиткой — такую-то ямищу. И обваловать вокруг... Я и так стараюсь, чтобы побыстрее, да выше головы не прыгнешь.

— Да видела я, как ты стараешься. Пять минут работаешь, а полчаса перекуриваешь. А эта... толстомордая... так вокруг тебя и вьется, так и крутится, хапуга конторская. Вот уж наплодилось всякой дряни, так наплодилось. И откуда только взялись такие наглые? В телевизор как ни глянешь, так одни мордovorоты, одни жулики на тебя пялятся — плюнуть некуда...

— Ну чего ты, Даш, в самом-то деле? Я что, виноват, что ли? Она меня и обедать оставляет, и ужинать, я ж не остаюсь, домой хожу. А ты... это самое... выдумываешь все.

— Ничего я не выдумываю! — озлилась вдруг Дарья. — Это ты ничего вокруг себя не видишь! Она клинья под тебя так и подбивает, так и вколачивает. У ней денег куры не клюют, а уж мужиков-то она перетаскала к себе самых разных, да, видать, сквалыга та еще, никто возле нее не держится...

— А я-то тут при чем? — хмурился Прохор. — Нужна она мне, как собаке боковой карман. Мне и тебя хватает по самую маковку...

— Вот-вот... То-то же вчера вечером... я к нему и так, и этак, а он хоть бы что, будто я уже и не женщина...

— Да устал я, — оправдывался Прохор. — Потаскай-ка тачки с песком да гравием, да бетонные плиты, да все остальное. Рук и ног не чую к вечеру. А ты... это самое.

— Раньше чуял, а теперь вдруг перестал. Ты мне мозги не пудри.

И Дарья вдруг хлопнула носом и отвернулась.

Прохор шел, хмурился и молчал. Думал: "Всегда у этих баб одно на уме, мужику подумать и порассуждать о жизни как следует не дадут со своими бабскими затеями".

Проводив Дарью, Прохор свернул к дачному кооперативу. Тропинка вилась среди столетних сосен, могучие стволы которых, покрытые панцирной корой с сиреневым отливом, уходили в поднебесье и там бронзовели, окутанные зеленой хвоей. Затем тропинка нырнула в темный ельник и выбежала на поле, на котором когда-то растили хлеба. Теперь здесь грудились двух-трехэтажные кирпичные коттеджи с высокими крышами под цветной черепицей и глухими заборами.

Прохор остановился у знакомой калитки из кованого железа, открыл замок собственным ключом и сразу же направился к сараю, где хранились все необходимые для его дела инструменты: механический культиватор, лопаты, ломы, кирки и грабли. Хозяйка, Инесса Аркадьевна Воловец, дама лет тридцати пяти, обладающая пышными формами, которые распирала ее платье во все стороны самым решительным образом, приезжала на дачу по выходным, но в последние дни, когда Прохор стал работать один, без тещы, появляется по вечерам и в будни, и Прохор, как ни занят работой и по природе своей ненаблюдателен, почувствовал, что Инесса Аркадьевна приезжает сюда исключительно ради него. Тут Дарья совершенно права, и ей для своих выводов хватило всего лишь одного раза побывать на даче у нотариуши. Бабы, они, известное дело, соперницу чуют за версту. Но Прохору эта толстомая хозяйка коттеджа и с большой приплатой не нужна, тем более что если поставить ее рядом с Дарьей, то и подумать даже смешно, кто из них лучше.

В этот день Прохор работал как проклятый: он до обеда закончил выкладывать дно бассейна кафельной плиткой и сразу же, без долгого перекура, начал обваловку его бортов снаружи гравием и песком. Оставалось уложить вокруг бетонные плиты и соединить бассейн бетонной же дорожкой с другой такой же. Затем прокультивировать прилегающий к бассейну участок и засеять семенами газонных трав. И все. И работа закончена. Если поднажать, то дня через три-четыре он ее и закончит.

И все-таки Дарьины обидные попреки сидели в его голове и странным образом поворачивали мысли к Инессе Аркадьевне, как бы защищая ее перед Дарьей и даже оправдывая.

"Ну и что? — думал Прохор, трамбуя деревянной трамбовкой землю и гравий. — Ну и что, что подбивает клинья? На то она и баба, чтобы подбивать. Тем более что холостая. И главное — не дура какая-нибудь. Эвон какой домище отгрохала. Дворец, да и только. А что она работает в нотариальной конторе, так в этом нет ничего худого. Было бы у меня или у Дашки соответствующее образование, и мы, может быть, работали там же. И зашибали б деньги, какие нам и не снились. Ведь она же, Инесса эта, не с но-

жом к горлу подступает к своим клиентам, чтобы ей платили, а по тарифу. А без нужной справки попробуй-ка куда-нибудь сунуться. Вот и дантисты тоже гребут лопатой, а без зубов попробуй-ка походи. Пожуй-ка без зубов-то. То-то и оно. И нечего тут завидовать и проклинать”.

Прохор отер пот со лба тыльной стороной ладони и огляделся. Хотел было закурить, но передумал: после курения дыхалка уже не та, а трамбовка — в ней два пуда с гаком. Сам такую соорудил, по собственным силенкам. Однако помаши-ка ею с полчаса, и руки отвالتها у какого хочешь силача. Но Прохору нравится чувствовать себя сильным, а прямо-таки могучим. Возьмешь ее, Дашку-то, на руки, а она как перышко невесомое; обнимешь, а она как былинка прильнет к тебе, и хочется ее защищать от кого-то, прикрывать своим телом, чтобы и видно не было со стороны. И никогда он не жалел, что взял ее в жены, хотя, если быть честным с самим собой, это Дарья взяла его в мужья своей настойчивостью и ласками. А он и не сопротивлялся. И ни разу ей не изменял, ни разу не... Впрочем, нет, иногда засматривался, но дальше этого дело не шло, хотя глазки ему строили многие. Но нынешние бабы не чета прежним: у тех главный интерес в удовольствии, а у нынешних — в этой самой... как ее? — в меркантильности. А какой с него меркантилист... при его-то достатках? Никакого. То-то и оно.

Обедать Прохор, как всегда, пошел домой. И как всегда, за ним прибежали его ребятишки — по Дарьиному, ясное дело, наущению.

— Папа, бабушка уже обед приготовила! — кричала еще издали тринадцатилетняя Натаха, такая же самостоятельная — вся в мать, хотя обличьем в Прохора. А одиннадцатилетний Антон — копия матери, характером — в отца, подходил молча, останавливался рядом и ждал, когда на него обратят внимание. Вот только старшая, Варвара, ни в мать, ни в отца, а, скорее всего, в обоих сразу. Да еще от дедов и бабок что-то прихватила: серьезная не по годам, рассудительная, и в то же время мягкая, как нагретый на солнце воск.

Бог знает, что из них получится при таком противоречивом сочетании содержания и формы.

Мысль эта принадлежит не Прохору, и даже не Дарье, а отцу Прохора, архитектору по профессии. Вот и Прохор пошел ни в отца, ни в мать, не взяв от них ничего, разве что мелочь какую-нибудь, и судьбу выбрал совсем другую. Так в чем тут его вина? Ни в чем. Шел, куда вели обстоятельства. Повели бы в другую сторону, пошел бы в другую. Легко шел по жизни Прохор, и все у него получалось, чего он хотел. А хотел он, если по мерке “новых русских”, совсем немного: семью, дом и работу. Да только жизнь вдруг повернулась к нему боком, как и к миллионам других, и путь стал тернистым, и не видно, что там, впереди. И никакая свобода при таких порядках не нужна. Что с нее толку, если свобода эта не у тебя, а у других, и заключается в том, что эти другие могут тебя грабить, а ты не можешь этим грабителям ни только морду набить, но даже приблизиться к ним на короткое расстояние.

Натаха держала шланг, поливала отцу спину и оглаживала ладонью, Антон ожидал с полотенцем. Вытершись, Прохор поочередно покидал ребятишек вверх, слушая с неизъяснимым наслаждением их визг, радостный и испуганный, чувствуя их легкие тела своими огромными ручищами. После этой обязательной процедуры вышли за калитку, Прохор навесил замок, повернул ключ, и они отправились обедать.

Но и во время обеда смутные мысли не покидали Прохора. И когда возвращался на дачу Инессы Аркадьевны, они бежали наперегонки, сея в его душе растерянность перед тем, что могло бы быть, если бы он захотел. Но все дело в том, что он и сам не знал, чего хочет и зачем суетается в его голове все эти мысли и видения. А все Дашка со своими ревнивыми подзрениями.

Инесса Аркадьевна приехала, когда Прохор, уложив большую часть плитки вокруг бассейна, сидел на чурбаке, докуривая сигарету. Серая пелена в небе потемнела и не двигалась, точно зацепившись за бронзового петуха, восседающего на перекладине над замысловатой башенкой, выполненной в средневековой манере. Прохор слышал, как на улице затормозила машина, но даже не повернулся на этот звук. Во-первых, не обязан; во-вторых, он почему-то боялся сегодня встречи с Инессой Аркадьевной.

Сзади лязгнул открываемый замок, громыхнули железные ворота, заурчал въезжающий на территорию дачи черный лимузин. Затем все повторилось в обратном порядке: ворота, замок, а уж потом по бетонным плитам дорожки зацокали каблучки, все ближе и ближе. И вот она, Инесса Аркадьевна, собственной персоной: в короткой юбке, прозрачной блузке, несколько выпирающий животик, высокая грудь, слегка прикрытая кружевами, густые черные волосы падают на плечи, спадают на высокий лоб, из-под тонких бровей смотрят на Прохора насмешливо черные глазницы; полные губы кричатся лукавой улыбкой, дорожку попирают довольно стройные ноги с полными икрами и круглыми коленками; ну и... то, что выше, тоже вполне соответствует остальному. Очень даже симпатичная баба, и просто удивительно, что не может обзавестись мужем при таких-то достоинствах и деньгах.

— Добрый день, Прохор Алексеевич, — прозвучал певучий голос хозяйки коттеджа.

— Здравствуйте, Инесса Аркадьевна, — ответил Прохор севшим вдруг голосом и медленно поднялся на ноги.

— Боже, как вы много сделали за эти дни, что я не была здесь! — воскликнула Инесса Аркадьевна. — И как это теперь здорово смотрится!

Прохор пожал плечами: не была-то Инесса всего лишь два вечера, — и поискал глазами футболку. Хотя он не впервой предстает перед взором Инессы Аркадьевны в одних только шортах, сегодня почувствовал себя особенно неуютно под ее откровенно изучающим взглядом.

— По-моему, вы заслужили премию за ударную работу, — продолжала хозяйка, обходя бассейн и приближаясь к Прохору.

Она остановилась в двух шагах от него, и он почувствовал терпкий запах ее тела, увидел влажную глубокую ложбинку в вырезе ее блузки, обрамленную тонкими кружевами, отдернул взгляд и произнес:

— Да я что, я не ради премии, а чтобы побыстрее закончить.

— Я понимаю, Прохор Алексеевич, но ведь это и мне выгодно. Согласитесь. К тому же, если мне положены бонусы за ускоренную подготовку документов, то и вам они тоже положены. Таков незыблемый закон, определяющий отношения работодателя с наемным работником. И в этом нет ничего зазорного. Все мы попеременно становимся то тем, то другим. Вы согласны со мной?

— Да-да... То есть я как-то не думал над этим. Но... чем быстрее я сделал одну работу, тем у меня больше остается времени для другой, — отбиваясь Прохор от каких-то там бонусов, боясь показаться жлобом, хотя лишняя сотня совсем не помешала бы...

— Это уж ваше дело. Мое дело — результат, и чем быстрее, тем лучше. Ведь билет на самолет потому и стоит дороже, что быстрее. Не правда ли?

— Да, конечно, — согласился Прохор, вспомнив, что раньше, при коммунистах, зарплата, даже сельщика, мало зависела от быстроты и качества, она зависела от тарифа, от разряда, от фонда заработной платы, который устанавливали сверху и который сокращали, снижая тарифные ставки, в плановом же порядке, будто бы стимулируя тем самым рост производительности труда. Все это были дебри, в которые Прохор не вникал, инстинктивно стараясь не слишком торопиться и не ловить микроны там, где в этом не было особой нужды. А нынче, значит, вон как... Впрочем, эту работу свою он работой не считал: халтура — вот что это такое.

— Так я это... на сегодня все, пошабашил, — пробормотал он, переминаясь с ноги на ногу, хотя, если бы не приезд хозяйки, он бы еще поработал.

— Вы примите душ, Прохор Алексеевич. Не идти же вам в таком виде. А я сейчас включу подогрев...

— Да ничего, спасибо, я так... из шланга.

— Ну зачем же? Все можно сделать по-человечески, цивилизованным образом... Вы идите в душевую, через пять минут вода там будет горячей.

И Инесса Аркадьевна пошла к дому несколько тяжеловатой, но все-таки величественной походкой, а Прохор смотрел ей вслед, видел, как шевелятся и подрыгивают ее ягодицы, как колышется спадающая на плечи густая копна черных волос.

Инесса Аркадьевна вдруг остановилась, оглянулась и, улыбнувшись лукаво, спросила:

— Вас не затруднит принести из багажника сумки? Я буду вам очень признательна.

У Прохора на миг сбилось дыхание. Он вообще-то думал, что вот она сейчас войдет в дом, он отнесет в сарай инструменты, за сараем же опрокинет на себя ведро воды, вытрется полотенцем и пойдет домой. А уж дома примет душ, как это обычно и делал. Но нельзя же отказать женщине в ее пустяковой просьбе. И он, почувствовав себя как бы приговоренным к чему-то неизбежному, что вытекало из причитаний Дарьи на пути к остановке автобуса, ее бесновательных попреков и подозрений, пошел к машине, открыл багажник, вынул из него две сумки и несколько пакетов и потащил их к дому, уже ни о чем не думая и ничего не решая.

— Вот спасибо, дорогой мой! — воскликнула Инесса Аркадьевна каким-то особенным, журчащим голосом, появляясь в дверях в легком халате, по которому были разбросаны пальмы, хижины дикарей и сами дикари, танцующие какой-то свой дикарский танец. — Занесите, пожалуйста, в дом. Если вам не трудно.

Прохор молча переступил порог и вошел в просторный холл с кирпичными стенами, ажурной деревянной лестницей наверх, двумя дверьми, ведущими куда-то, с бронзовыми канделябрами, камином в углу, лосиными рогами, плетеными креслами, напольными китайскими вазами, икебанами из засохших веток и трав и еще какими-то причудами, ему совершенно непонятными. Он бывал здесь пару раз, но не дальше этого холла, и всякий раз чувствовал себя крайне неудобно, будто забрался в чужой дом с преступными намерениями.

Хотя Прохор вырос в семье известных в городе архитекторов, работающих в собственной мастерской, где все эти дачные причуды богатых горожан рождались на бумаге и к чему его готовили сызмальства, он так ничего и не почерпнул из этих премудростей, не проявив способности ни к рисованию, ни к лепке, ни к музыке. В школе учился кое-как, но в старших классах неожиданно обнаружил в себе тягу к математике, и, едва закончил школу, был отправлен родителями в Москву, в университет, на физмат. И не просто так, а с рекомендательным письмом к какому-то профессору, с которым когда-то то ли учились вместе, то ли работали его родители. Однако Прохор к профессору не пошел, сдавал экзамены наравне со всеми и как раз по математике он и провалил экзамены. И не очень огорчился из-за этого. К тому же Москва ему не понравилась своим шумом-гамом, спешкой, многолюдством и невозможностью от всего этого скрыться. То ли дело в их городе, хотя и не самом маленьком в России, но и не таком большом, как Москва.

Из столицы Прохор вернулся домой, где ему грозила армия, которой панически боялись его родители, но почему-то совсем не боялся Прохор. Может, потому, что не задумывался об опасностях, которые его там подстерегали, о возможности попасть в Афганистан, где убивают и калечат. Родители делали все, чтобы их единственное чадо оставалось при них. Они никак не могли допустить, чтобы их сын стал служить обыкновенным солдатом. Даже если бы не было никакого Афганистана, дедовщины и прочих безобразий. Они, на худой конец, согласились бы, если бы он пошел в военное училище, скажем, в политическое или инженерное, но Прохор никуда идти не хотел. Он вообще не знал, чего хочет, и не думал о своем будущем. Он не стал прятаться, “косить” от армии, “отмазываться”, то есть ходить по хорошо знакомым его родителям врачам, которые могли бы обнаружить в нем болезни, несовместимые с армейской службой, и когда пришла повестка, отправился в военкомат. Его, к ужасу матери, призвали во флот, где по непонятным причинам топили подводные лодки и сталкивались надводные корабли — особенно часто в последние годы. На флоте Прохор познакомился с живой техникой, познал радость подчинения этой технике своей воле и, вернувшись на гражданку, устроился на завод и стал токарем. Всего-навсего. Чем отрезал для себя доступ в те круги местного “света”, в которых вращались его родители.

Поставив сумки у порога, Прохор попытался было назад, но Инесса Аркадьевна удержала его.

— Прохор Алексеевич, да вы проходите, не стесняйтесь! Вот там у меня душ, ванна... Можете принять ванну, если хотите...

— Да мне... мне инструмент еще надо убрать, — стал отговариваться Прохор. — Да и грязный я, в цементе весь, напачкаю там у вас, — и он стал отколупывать ногтем прилипшую повыше колена цементную лепешку.

— Нет, ну право же, какой вы, однако... несмелый, — заворковала Инесса Аркадьевна. — Такой большой, сильный, а такой робкий. В наше время нельзя быть робким. В наше время надо быть не только смелым, но и нахальным, наглым даже, циничным, иначе сотрут в порошок... — И она вдруг повернулась как-то неожиданно и стремительно, хотя в этом вроде бы не было никакой нужды, легкие полы ее халата взлетели вверх и открыли ее ноги, бедра, охваченные кружевными трусиками, а на одном из бедер замысловатую татуировку в виде завитушек, листьев и переплетенных стеблей.

Ах, зря Инесса Аркадьевна так разоткровенничалась с ним, напомнив ему слякотный весенний день, темный переулочек и размешанную ногами грязь у самого лица. А татуировка — или как там она сегодня называется — лишь подчеркнула принадлежность этой бабы к тем парням, нахальным, наглым и безусловно циничным. И в душе у Прохора что-то поднялось темное и мохнатое, он сжал кулаки, повернулся и вышел на крыльцо.

Убрав инструменты, он даже не стал обмываться и переодеваться, собрал свою одежду, сунул в сумку и решительно пошагал домой, повторяя одно и то же, как привязавшийся мотив какой-нибудь глупой песни: “Значит, нахальным? Значит, наглым и циничным? Вот оно, оказывается, как. А я-то думал, что все они против своей воли. Жертвы обстоятельств, так сказать...” И останавливался и мотал головой в изумлении, точно вся суть нынешней жизни открылась для него только сейчас, после слов Инессы Аркадьевны. Затем шел дальше, и снова те же слова, только в другой последовательности, возникали перед ним некой светящейся рекламой, тускнели и вновь проявлялись среди темных стволов деревьев.

Но дальше этих слов Прохор не углублялся, хотя в них и не было ничего необычного, но произнесенные Инессой Аркадьевной, они неожиданно приобрели особенно зловещий смысл, будто лишая Прохора будущего, обещающая еще большую власть над ним и его близкими каких-то темных сил, возникших в его стране будто бы из ничего, прочно ухвативших своими грязными руками все рычаги власти и обыденной жизни, контролируя каждый его, Прохора, шаг, не позволяя отойти в сторону ни на миллиметр, хотя сами давно обосновались в каких-то запредельных даях, в стороне от жизни народа, понастроили себе яхт, понакупили дворцов и замков, даже заграничные футбольные команды, и кривляются там, в этих даях, и похихикивают над ним, над Прохором, и ему подобными людьми, уверенные в своей безграничной власти над ними и безнаказанности.

И по-новому Прохор взглянул на окружающий его мир, ставший вдруг чужим, и кулаки его сами собой сжимались до боли в пальцах, и скулы свело от переполнявших его чувств отчаяния и ненависти, каких он не испытывал в своей жизни еще ни разу. Даже и после того, как его побили. Но что делать, чтобы как-то изменить свое положение и обеспечить будущее своих детей, Прохор представлял весьма смутно, хотя и понимал, что дальше так продолжаться не может, что однажды что-то случится страшное и с ним, и со всем этим миром, потому что... потому что куда ж ему деваться, если все останется так, как оно есть, как задумывалось и осуществлено как раз теми самыми наглыми и циничными?

Прохор не прошел и половину пути, не додумал свои тяжелые мысли, как на лесной дорожке появилась сама Дарья, да еще с детьми, — всеми тремя сразу, — словно шли они спасать его от когтей и лап неведомого чудовища.

— Господи! — воскликнула Дарья сварливо. — Мы уж ждем-пождем, а тебя все нет и нет. Загулял мужик... Вот решили проведать, как ты тут управляешься...

— А чего проведывать? Маленький я, что ли? — сердито ответил Прохор, еще не отойдя от своих сердитых мыслей.

— Ну, не маленький, а все-таки... Устал, поди, — сразу же перемени-

ла тон Дарья, увидев, что муж ее даже не ополоснулся после работы. — Небось, проголодался...

— Есть маленько.

— Ну, пошли, пошли... Дома помоешься.

Вечером, после ужина, сидели всей семьей перед телевизором. Только что закончилась очередная серия бесконечного сериала, в котором бесконечные любовные треугольники сменяли друг друга, кого-то убивали, кого-то ловили и разоблачали — все то же самое, что и в других сериалах. Затем стали передавать местные новости: заседания, совещания, дорожные происшествия, убийства, ограбления, пожары, рекламу машин, колбас, чудодейственных напитков и таблеток. И вдруг диктор, молодой парень, сообщил, — как о событии весьма заурядном, то есть наравне с квартирными кражами и дорожными происшествиями, — что на местном станкостроительном заводе контрольный пакет акций выкупило государство, что в самое ближайшее время намечается возобновление производства металлообрабатывающих станков с программным управлением, что заводу требуются инженеры, техники и рабочие соответствующих специальностей.

— Чего-чего-чего? — векинулся Прохор, возившийся с сыном.

— Наш завод открывают, — с изумлением произнесла Дарья и обвела всех испытующим взглядом, словно хотела удостовериться, что это сообщение ей не померещилось. И тут же, по обыкновению всплеснув руками: — Боже мой, так надо ж ехать! Бросать все и ехать в город! А то наберут кого ни попадя, а мы останемся с носом.

— Так ты ж ездила, неужто никто и ничего? — изумилась Прохорова теща, Таисия Егоровна.

— Да откуда ж, мам? — воскликнула Дарья. — Мне и в голову не пришло спрашивать. И к заводу я не ездила. Чего бы я там делала? Все по магазинам да аптекам. И никто ни словом, ни полсловом об этом не обмолвился...

И старики тоже заволновались, тем более что тесть всю жизнь проработал на этом же заводе сначала слесарем, затем мастером, а теща, хотя последние годы не работала на самом заводе, зато работала медсестрой в заводском детсадыке. И все продолжали тарашиться в телевизор в надежде, что повторят еще раз, объяснят подробнее, что и как, но молодого человека сменила молодая женщина, которая стала рассуждать о том, что модно в этом году на турецких, кипрских, тайских и прочих пляжах. Однако рассуждения эти лишь раздражали своей вопиющей неуместностью, и телевизор переключили на мультики.

— Эдак, того и гляди, и я там понадобится, — сказал тесть, Николай Степанович, и, держась одной рукой за поясицу, повернулся и посмотрел с надеждой на свою жену.

— И не думай, и не мечтай! — отмахнулась Таисия Егоровна. — Мы свое оттрубили. Хватит. Вы, значит, подадитесь в город, а я одна с детьмиковырайся? Да огород на мне, да сад. Да живность. Это как понимать? Нег уж. Чай не молоденькая, силы уж не те. А они, сорванцы этикие, на месте и минуты не посидят. Где уж мне за ними усмотреть. Да Петька своих притащит, да Анька... Хоть ложись и помирай. Особенно с Анькиными балбесами...

— Мам, — вступилась за брата и сестру рассудительная Дарья. — Петру-то с какого боку наш завод? Он как шоферил, так и дальше шоферить будет. И Анне тоже ни к чему: она на цветах и так неплохо зарабатывает. И дети у свекрови пристроены. Да и вообще... Вы-то чего всполошились? Если мы с Прошей вернемся на завод, то все наладится...

Но, несмотря на столь решительное заключение, весь вечер разговоры только и вертелись вокруг сообщения и возможных изменений в их неустроенной жизни. И даже тогда, когда легли спать, Прохор все вздыхал и ворочался, вставал, выходил покурить, и Дарья слышала, как на крыльце бубнили два мужских голоса. Это продолжалось до тех пор, пока Таисия Егоровна не разогнала мужиков по спальням.

И тут Прохор, едва улегшись на кровати рядом с женой, почувствовав тепло ее тела, вдруг так отчетливо увидел взлетевшие полы халата Инессы Аркадьевны, что, не мешкая, повернулся к Дарье, притворившейся спящей, осторожно обхватил ее своими лапами, прижал к груди, и оба засопели, копошась под одеялом.

Утром, за завтраком, решили, что в город снова, и сегодня же, поедет Дарья, все разузнает, как и что. И Дарья тут же засобиралась, волнуясь, точно на собственную свадьбу.

Прохор, как и вчера, пошел ее провожать.

На остановке автобуса собралось народу больше, чем обычно. И все разговоры вертелись вокруг вчерашнего сообщения об открытии завода. Даже бабки — и те туда же. Да и то сказать: сколько многие из них себя помнят, их жизнь была связана с этим заводом, с каждым годом прираставшим новыми производственными корпусами, так что его корпуса и прилегающие к нему жилые кварталы захватили несколько деревень и окружающие их поля. И вот, когда никакой надежды не оставалось, она вдруг явилась в лице молодого человека с телевизионного экрана, который, скорее всего, даже и не представлял, что за весть он сообщил постепенно умирающему заводскому поселку.

Посадив Дарью в автобус, Прохор пошагал на дачу Инессы Аркадьевны с твердым намерением закончить всю работу послезавтра, и ни днем позже, хотя бы для этого пришлось расшибиться в лепешку. Затем воскресенье посвятить своей даче, чтобы в понедельник, с самого утра... Он шел с той спокойной уверенностью в себе, когда твердо знают, что ждет их впереди. А впереди его ждал завод, где не будет места таким стервам, как эта Инесса — и всем прочим тоже, — где не нужно становиться ни нахальным, ни наглым, ни циничным.

Хотя был четверг, то есть рабочий день, машина Инессы Аркадьевны стояла на своем месте под навесом, но самой хозяйки видно не было: спала, наверное. И Прохор, стараясь особо не греметь, приступил к работе. Он перетаскал из штабеля у ворот оставшиеся цементные плиты, разложил их вокруг бассейна и вдоль будущей дорожки, чтобы потом, начав укладку, иметь их под рукой, затем принялся дорожку засыпать песком, и когда уже почти закончил, на крыльце появилась Инесса Аркадьевна, все в том же халате, в босоножках и соломенной шляпе.

— Доброе утро, Прохор Алексеевич! — издали поприветствовала она его своим певучим голосом.

Прохор разогнулся, глянул на хозяйку, усмехнулся с видом человека, которому известно нечто такое, что не известно никому.

— Добрый день, Инесса Аркадьевна! — весело откликнулся он. А про себя подумал, снисходя к человеческим слабостям: “Время уж скоро двенадцать, а ей все еще утро”.

— Не хотите ли кофе, Прохор Алексеевич?

— Нет, спасибо. Я уже пил.

— Ну, это когда было! Тем более что работа у вас такая тяжелая, столько калорий требует...

— Работа как работа. Ничего особенного, — не стал кочевряжиться Прохор: пить, действительно, хотелось, и перекусить не помешало бы тоже. В конце концов, что тут особенного? Ничего. В иных местах он не отказывался от угощений, видя, что это доставляет хозяевам удовольствие. Да и как же иначе? — русские же люди, у которых хлебосольство в крови. Он бы и сам на их месте поступал точно так же. Правда, Инесса Аркадьевна совсем другое дело, но сегодня и она не имела над ним былой власти, которая могла бы возобладать, позволяй он себе сделать в этом направлении хотя бы один шаг.

А с другой стороны рассудить, он ведь об этой бабе ничего не знает: ни где и как она росла, ни кто ее родители, ни в каких условиях она обретается в настоящее время. Неизвестно, каким бы стал он сам, окажись на ее месте. Опять же, вряд ли она счастлива со всеми теми качествами, которые считает необходимыми для современного человека. Уже хотя бы потому, что живет одна, как перст, в этих своих хоромах. Да и в городе, поди, квартира не хуже. А счастья нет. Вот и кидается на мужиков, потому что для бабы счастье — это когда семья, дети, муж, на которого можно положиться. Если бы ему, Прохору, предположим, подарили такой же вот дом и сказали, чтобы жил в нем один, без Дарьи и детей, он бы лишь посмеялся на такое предложение. А Инесса живет и, посмотреть со стороны, в ус, похоже, не дует.

И Прохору даже стало жалко эту неудачницу.

А Инесса Аркадьевна уж рядом, в руках поднос, на подносе кофейник, маленькая изящная чашка и большая кружка, и все прочее, что положено для кофе.

Прохор разогнулся, отряхнул с рук песок.

— Ну что ж, кофе так кофе, — произнес он благодушно.

Инесса Аркадьевна поставила поднос на борт бассейна, предложила, беря в руки кувшин:

— Давайте я вам солью на руки.

— Давайте.

Они пили кофе, сидя на углу бассейна, и Прохора уже не смущали взгляды хозяйки коттеджа, точно он был заговоренный. К тому же Инесса Аркадьевна вела себя не так развязно, как обычно. В ней даже выказывалась некоторая робость: она то и дело поправляла расплзающиеся полы халата, прикрывая им колени, и верхняя пуговица на халате была застегнута, так что виднелась лишь часть ложбинки между грудями, уходящая под халат. Возможно, это была игра опытной самки, но Прохор так глубоко не вникал в ее поведение.

— Вот вы у меня закончите через несколько дней, — заговорила Инесса Аркадьевна, когда половина большой кружки Прохором была выпита и съедены две калорийных булочки. — И что будете делать дальше?

Прохор хотел сказать, что дальше будет завод, но вдруг с испугом подумал, что это еще только, как нынче говорят, сообщение о намерениях, а когда эти намерения воплотятся в жизнь, не знает никто. Да и найдется ли ему, Прохору, там место? Вдруг не найдется? Вдруг заменят арбайтерами? Им же платить надо меньше, им и общежития хватит, а чуть что — и за ворота... Все может быть. К тому же не стоит загадывать заранее — нехорошая примета.

И он лишь пожал плечами, дожеввал булочку, допил кофе и лишь после этого открыл рот:

— Еще не знаю. Там будет видно.

— А у меня есть к вам предложение. Только вы дайте мне слово, что не станете отказываться, хорошенько не взвесив все за и против.

— Хорошо, даю, — великодушно согласился Прохор.

— Мне нужен садовник, сторож, короче говоря, человек, который бы следил за моей дачей, поддерживал здесь порядок и охранял ее. Я бы хорошо платила за эту работу.

Прохор в душе изумился столь неожиданному предложению, настолько оно показалось ему нелепым, унижительным и черт знает каким. Даже и за хорошие деньги. И он уж хотел все свое изумление выплеснуть на голову этой... этой бабы, но Инесса Аркадьевна выставила вперед раскрытые ладони, как бы защищаясь от его слов, готовых сорваться с языка и все испортить. И Прохор лишь передернул плечами.

— Спасибо за предложение. Я подумаю, — произнес он и широко улыбнулся, довольный, что сдержался и не наговорил дерзостей, а главное — не выдал своей тайны. — И за кофе спасибо тоже, — спохватился он, уже встав на ноги.

— Ах, какая у вас хорошая улыбка! — воскликнула Инесса Аркадьевна, и полы ее халата разъехались, открывая загорелые ляжки и знакомую татуировку.

— Извините, но мне надо работать, — произнес Прохор, с трудом отрывая взгляд от ее ног.

— Да вы отдохните немного! — продолжила Инесса Аркадьевна, тоже вставая. — Нельзя же вот так сразу... после еды: это очень вредно для здоровья.

— Мне можно, — не согласился Прохор. — К тому же на днях обещают дожди, а тут еще работы...

И он решительно подхватил тачку и покатыл ее за очередной порцией песка.

Он не видел, с какой тоской смотрела на его широкую спину Инесса Аркадьевна, как теребили в растерянности пальцы ее рук витой поясok халата. И даже не чувствовал этого ее призывного взгляда. В Прохоре все ликовало и пело, точно он совершил нечто невероятное, или открыл что-то в самом себе и окружающем его мире, или освободился от чего-то такого, что и названия не имеет в человеческой речи.

Он кидал в тачку песок совковой лопатой и не чувствовал ее веса. А тут неожиданно выглянуло солнце, мгла разошлась, превратившись в легкие облачка, открылось синее-пресинее небо. Прохор глянул в это небо, будто видел его впервые, и тихо рассмеялся. И подумал сам про себя: “Дурак ты, Прошка!” — но подумал с радостью, даже с гордостью и глубоко вдохнул воздух, густо напоенный запахом цветущего жасмина, и запах этот напомнил ему сегодняшнюю ночь, Дарью, с таким неистовством целовавшую его, как не целовала в далекой молодости.

Когда от ворот он катил к бассейну тачку, с горой нагруженную песком, Инессы Аркадьевны уже не было видно.

— А я с хорошей вестью, — встретила Прохора Дарья, едва он вечером переступил порог их избы. — Была на заводе. Отдел кадров работает, людей набирают. Видела кое-кого из наших, из сборочного. Работают такелажниками, распаковывают оборудование, монтируют. Старый конвейер еще раньше растащили на металлолом. Даже провода и те повывдирали. Теперь все делают заново. Строители работают, стены новые кладут, штукатурят. А в твоем цехе осталось всего несколько станков, и то самых старых: все растащили, разворовали. Говорят, начальник производственного отдела Скоков у себя на даче целую мастерскую открыл: там у него и токарные станки, и фрезерные, и какие хочешь. И всякого металла тоже натаскал. Делает кинжалы, сабли, мечи там и прочее и продает новым русским. А, помнится, был членом парткома, такие слова красивые говорил — и на тебе: жулик и вор.

— Так чего уж тут, — решил заступиться за бывшего начальника Прохор. — Жить-то и ему тоже надо как-то. Не челночить же. Вот он и крутился. А воровали все...

— Мы-то с тобой даже гвоздя с завода не принесли. Гайки паршивой! — воскликнула Дарья не то с возмущением, не то с сожалением.

— Так у кого было больше власти, тот больше и украл. А мы с тобой в это время ушами хлопали... И нечего об этом жалеть.

— Ладно, чего там! — махнула рукой Дарья. — Иди мойся, а то ужин стынет.

За ужином Дарья продолжила докладывать о том, что видела и узнала:

— Я в отделе кадров себя и тебя записала. Чтобы, значит, имели в виду. А открывать завод официально намечается к концу года. Но подготовительные работы идут уже полным ходом. Мне там работа по специальности пока не светит, говорят, что технических контролеров переучивать будут. А только курсы по переподготовке в октябре заработают. Можно, конечно, и мне устроиться: где чего помыть, почистить, убраться. Но там арбайтеров и без меня хватает. И платят мало. А ты хоть завтра можешь работать в инструментальном. Зарплата от двадцати тысяч и выше. Начальником там Васька Чугунов, ты его знаешь. Говорит, пусть приходит, с радостью возьму. Так что сам решай, что делать.

— Конечно пойдю, — удивился Прохор непонятливости жены. — Вот завтра-послезавтра закончу у Инессы — и домой. Чего мне тут зря околачиваться? А ты тут пока...

— Вот еще выдумал! — возмутилась Дарья. — Ты там, а я, значит, тут?

— И правда, поезжайте вместе, — поддержала Дарью Таисия Егоровна. — Без вас как-нибудь управимся с внуками. Не беспокойтесь. А то мало ли — займут ваши места, будете кусать локотки, да поздно.

На том и порешили.

На другой день Прохор на дачу к Инессе Аркадьевне пришел вместе с тестем. Тот вроде бы оклемался от своего радикулита после интенсивной терапии своей жены, а таскать культиватор хотя тоже не легкое дело, однако и не такое уж тяжелое. Вдвоем, глядишь, они сегодня и закончат все подчистую.

Так оно и случилось. И даже раньше, чем Прохор рассчитывал. Они убрали инструмент, собрали мусор, протерли бассейн и подмели вокруг, включили фонтан, отрегулировали струю, полюбовались немного и только после этого Прохор позвал Инессу Аркадьевну, загоравшую в шезлонге за домом, посмотреть и принять их работу.

Инесса Аркадьевна отложила книжку, встала лениво, с неохотой. Так же лениво, без всякого интереса окинула взором произведенные работы,

покивала головой, ушла в дом, вернулась и вручила Прохору конверт с деньгами.

— Здесь вам, Прохор Алексеевич, и за работу, как договаривались, и за досрочное исполнение. Проверьте.

— Да чего там! — отмахнулся Прохор. — Я вам и так верю.

— Доверяй да проверяй, — произнесла Инесса Аркадьевна, но без былой убежденности, а как бы по привычке. А потом добавила без всякой надежды на понимание: — И все-таки вы не забывайте о моем предложении, Прохор Алексеевич.

Глаза Инессы Аркадьевны при этом были тусклыми, безжизненными какими-то, так что Прохору снова стало жаль ее, и до такой степени, что в нем даже шевельнулась мыслишка: “А может, надо было... того самого... человек все-таки... можно сказать, несчастный человек... и меня бы не убило”, — но мыслишка в голове его не задержалась, промелькнула и пропала без всякого следа.

— Вот нынче считается, что деньги — это все, — заговорил тесть, когда они отошли от дачи Инессы Аркадьевны на почтительное расстояние, открыли конверт и пересчитали полученные деньги: все было так, как уговаривались при найме, и даже порядочно сверх того. — А для чего человек живет? Для денег? Нет, не для денег. Для счастья человек живет — вот для чего. У этой бабы денег куры не клюют, а счастья ни на грош. Я это еще два года назад заметил, когда она только начинала строить свой дворец. — И пояснил: — Я у нее тогда тоже подхалтуривал по земельной части. — Затем продолжил: — И парень какой-то возле нее крутился, лет на десять-пятнадцать моложе... из этих, из нынешних: муж не муж, а черт знает кто. Ха-халь, одним словом. Ходит, поплеывает, все ему трин-трава. Он бы эту Инессу и убил бы за милую душу: такая у него, если приглядеться, рожа бесовская. Если бы тюрьмы не боялся. И если бы знал, что это все ему достанется. Да. И вот скажи мне на милость, как это они, молодые, настраивают себя на таких баб? Может, какие таблетки глотают, чтобы, значит, желание появилось? А? Как ты сам-то на это смотришь?

— Может, и глотают. Кто их знает, — ответил Прохор и полез в карман за сигаретами, чтобы отогнать прочь воспоминания об Инессе Аркадьевне, которые, как он ни старался, продолжали будоражить его душу чем-то, что могло быть, но не случилось.

— Я бы ни в жизнь не сумел, — продолжал тесть, которого проблема эта задела за живое. И не сегодня, видать, она его задела, не сейчас то есть, а жила в нем давно. — А теперь у ней даже хахали перевелись, — добавил он будто бы даже с сожалением. И заключил: — Такая вот, брат ты мой, жизнь пошла по нынешним временам. — И захекал отчего-то, словно в горло мошка попала или еще что.

И Прохор догадался, что тесть подумал о том же самом, о чем полчаса назад шевельнулась в его голове бесполезная мыслишка, вызванная жалостью к одинокой бабе, но разубеждать тестя не стал, решив, что тесть, скорее всего, лукавит: он бы от Инессы не отказался, да только вряд ли ему и таблетки бы помогли.

Прохор шагал, тяжело переставляя ноги, не глядя по сторонам и ни о чем не думая. Он чувствовал себя уставшим до крайности и постаревшим лет на десять, если не больше, но почерпнувшим из жизни некую мудрость, которая примиряла его со всеми сразу.

* * *

На оформление по специальности у Прохора ушло часа три. Во-первых, начальница отдела кадров была знакомой женщиной, когда-то рядовой сотрудницей принимавшая его на работу. Во-вторых, народу в отделе кадров оказалось совсем немного, а Прохор-то думал, что там непременно образуется очередь. И в медсанчасти его продержали тоже не слишком долго, потому что там имелась его медицинская карточка еще с давних времен, и ни терапевт, ни окулист, ни хирург не нашли у него никаких отклонений от нормы, мешающих стоять за станком, — чай не в космонавты напрашивался. Затем

его сфотографировали, и через десять минут он получил новехонький пропуск на завод, с магнитной полосой и еще какими-то ухищрениями. А завтра, значит, с утра на работу. Вот так вот сразу — с разбитого корабля на бал. Но на бал ли? — это как раз завтра и станет видно.

Утром Прохор проснулся рано, маленько помахал руками, затем тщательно выбрился и принял душ. А завтрак уже ждал его на столе. Дарья, тоже подымавшая ни свет ни заря, помогла ему одеться... не то чтобы как на праздник, но все-таки, тем более что не на халтуру собирался ее муж, а на работу. И сидела рядом, подпершись по-старушечьи рукой, и глаз с него не спускала, так что Прохору даже стало неловко.

— Ну чего ты уставилась на меня, будто я на войну собираюсь? — не выдержал Прохор.

— Да как же? — вздохнула Дарья. И добавила: — Даже и не верится. Еще дня три назад ломала себе голову, как зиму перекантоваться, а тут вот на тебе. Я уж и забыла, как это — идти на работу. Смотрю на тебя и думаю: пойдешь, а там опять что-нибудь придумают. Или банда какая-нибудь захватит завод. Или еще что. Все эти годы на нервах жила, казалось, что другой жизни будто бы и не бывает.

— Ничего, привыкнем, — утешил жену Прохор, который был почему-то убежден, что с того самого дня и даже часа, как передали по телевизору о возрождении завода, он поверил в это возрождение накрепко, и потому никакие сомнения его не мучили.

Выпив кофе, Прохор встал из-за стола, поблагодарил, пошел в прихожую, обулся, надел куртку. Дарья его огладила, что-то сняла, что-то поскребла ногтем, вздохнула еще раз и сказала:

— Ну... иди. Если что, позвони. Я ждать буду.

И Прохор, чмокнув жену в щеку, вышел на лестничную площадку.

Лифт был занят. Он то поднимался где-то там, внизу, то останавливался, то снова опускался, и Прохор, потоптавшись в нетерпении пару минут, потопал вниз: стоять на одном месте и ждать казалось ему делом совершенно невозможным.

Начальником цеха, действительно, оказался Васька Чугунов, теперь, правда, уже Василий Степанович. С ним они когда-то начинали работать на соседних станках, затем он, Васька то есть, выучился заочно на инженера, стал сперва технологом, затем начальником участка, а перед самым развалом, который назвали перестройкой, — заместителем начальника цеха. Теперь вот и в начальники выбился. Поэтому и встретил Прохора как родного, буквально с распростертыми объятиями. И даже предложил пойти работать мастером, но Прохор отказался:

— Не умею я, Степаныч, людьми командовать. Пробовал — не получилось у меня. Я даже женой командовать не умею, — признался Прохор и поковырял мозоль на своей ладони.

— Так ты, Прохор Алексеевич, если насчет зарплаты, так не сомневайся. Теперь не старые времена. Теперь мастеру платят больше, чем самому квалифицированному рабочему, потому что от него, от мастера, зависят и производительность труда, и моральный климат в коллективе.

— Вот-вот, именно поэтому.

— Ну, тебе, как говорится, виднее. Пока могу предложить работу на инструментальном участке. Надо оснастку для основного производства делать, без хорошей оснастки, сам знаешь, поточное производство не наладишь. А потом, когда все утрясется, посмотрим, куда тебя определить. Пойдем, покажу тебе твой станок, познакомлю с мастером.

Они вышли из кабинета и пошли по цеху, где гремело железо, вспыхивали огни электросварки, тянули провода электрики, бетонщики готовили под станки фундаменты, стекольщики вставляли новые стекла в огромные окна, под потолком ползала кабинка крана... — и ни одного шатающегося без дела, ни одного дымка сигареты.

Инструментальный участок располагался в каком-то закутке. Здесь уже работало человек пять — все старики, все хорошо известные Прохору люди. Но он не стал останавливаться, лишь помахал им рукой, шагая вслед за начальником цеха, и ему в ответ помахали, а кто-то крикнул:

— Привет, Проша! С праздником тебя!

И это было так хорошо, так легло на душу чем-то теплым и большим, что Прохор даже испугался: вдруг начальник цеха или еще кто увидит, как повлажнели его глаза.

Мастер инструментального участка был молод, долговяз, узок в плечах, носил очки. Прохору он был совершенно неизвестным человеком, в том смысле, что в заводском поселке Прохор знал всех, а этот, стало быть, со стороны.

— Павел Антонович Судариков, — представил мастера Василий Степанович. И, слегка подтолкнув Прохора к мастеру, пояснил: — А это Прохор Алексеевич, лучший токарь нашего завода. Прошу, как говорится, любить друг друга и жаловать. Дай ему, Павел Антонович, станок и обеспечь работой. А там посмотрим. — Тиснул Прохору руку, пожелал успехов, повернулся и пошел.

Павел Антонович подвел Прохора к станку, далеко не новому и не самому лучшему из тех, на которых Прохору доводилось работать, и, проведя пальцем по покрытому пылью зеленому боку, сконфуженно произнес:

— Вы уж извините, что такое старье, но новые ждем со дня на день, и как только придут, мы все это старье... а пока ничего не поделаешь...

— Все нормально, — постарался успокоить мастера Прохор. — Работать можно и на этом.

— Так вы пока приведите его в порядок, а я подберу вам работу... — И спохватился: — Да! Вы же еще не получили спецформу! Пойдемте, я распоряджусь.

И через полчаса у Прохора была не только форма, очень похожая на ту, в каких ходят космонавты, то есть красивая и хорошо подогнанная, но и шкафчик в раздевалке, и талон на обед, и карточка для посещения бассейна.

Пока он возился со своим станком, к нему подходил то один рабочий, то другой. Жали руку, спрашивали, как и что, и он тоже спрашивал, и выяснилось, что из старых рабочих пришли на завод немногие: одни вышли на пенсию, другие неплохо устроились и не хотят покидать доходные места, а на заводе еще неизвестно, как получится, третьи чего-то ждут в надежде на лучшее.

Но все это было не главное. Главное началось тогда, когда Прохор, в новенькой форме, в какой не стыдно показаться и на людях, пошел в инструментальную кладовую, получил там штангеля и микрометры, разные ключи, напильники, молотки, отвертки, наждачную бумагу, затем, разложив все это по ящикам в железной тумбочке, ветошью протер станок, вычистил поддон, залил масло, нажал на черную кнопку — и станок зазвучал, что твой симфонический оркестр, где, если прислушаться, можно различить и шелест шестеренок, и гул мотора, и тонкий посвист приводных ремней.

А тут как раз мастер принес чертежи и, несколько стесняясь, попросил сделать кое-какие детали дня за два... если это возможно.

Прохор глянул в чертежи и, усмехнувшись, спросил:

— А вы, Павел Антонович, до этого где работали?

— Нигде, — вскинул голову мастер и поправил на длинном своем носу очки. — Но я, когда учился, проходил практику на мясокомбинате, — поспешно сообщил он. И пояснил: — Там тоже есть ремонтный цех, и станки имеются, и все прочее. Конечно, это не завод, но так уж вышло. — И спросил с тревогой: — А что, что-нибудь не так?

— Да нет, все так. Привыкнете. Тут работы на два-три часа, не больше.

— Да? Вот как! Но у нас, знаете ли, пока нет нормировщика, а сам я еще плаваю в этих вещах.

— Ничего, не все сразу, — успокоил его Прохор. — Разберетесь.

— Спасибо вам, Прохор Алексеевич. Я постараюсь.

И мастер отошел от станка, длинный, нескладный, какой-то чужой в этом гуле, грохоте и суете.

А Прохор, отрезав от болванки механической пилой нужные ему по размеру стальные диски, — заготовительный участок еще не работал, — вернулся к станку, зажал заготовку в патрон и вдруг почувствовал, что в груди у него все как-то сжалось, перебив дыхание, и все поплыло перед глазами, закружилось и не сразу встало на свои места. Он полез в карман, достал пла-

ток и сделал вид, что ему в глаз попала какая-то соринка. Потом огляделся. Но все были заняты своими делами, никто на него не смотрел, никто не заметил его минутной слабости.

И Прохор, глубоко вздохнув, нажал кнопку, установил нужные обороты и подвел к вращающейся заготовке резец. И только после этого почувствовал, что вернулся в родную стихию, где все понятно, где каждое его движение как бы освящено десятилетиями труда миллионов таких же, как он сам, тружеников. И каждый поступок, и каждое желание — тоже.

Резец коснулся заготовки — и стальная стружка, свиваясь в сизую спираль, поползла вниз... как и много-много лет тому назад.

18 декабря 2007 — 20 январь 2008 г.

ЮЛИЯ АРТЮХОВИЧ



ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЗИМА...

НИТИ СУДЕБ

В белой дымке олимпийская вершина.
День и ночь стрекочет швейцарская машина.
Разложив цветные нитки на скамейке,
Людам судеб шьют богини-белошвейки.

Нитью розовой на белую одежду
Пришивают благодарность и надежду.
Жёлтой нитью — злобу, зависть и разлуку.
А зелёной — одиночество и скуку.

Не пойму, в чём перед ними виновата,
Только стала мне судьба великовата.
Наступаю на подол большого платья,
Спотыкаюсь о потери и проклятья.

Ты навстречу мне спешишь, раскинув руки.
Хороши твои отглаженные брюки.
Расстегнулась ремешка тугая пряжка,
И сдавила плечи тесная рубашка.

Попрошу я белошвеек неумелых:
“Одолжите нам немного ниток белых.
 Пристрочите нас друг к другу рукавами,
 Чтобы больше никогда не расставались!”

АРТЮХОВИЧ Юлия Васильевна, доктор философских наук, автор многих научных книг и двух стихотворных сборников. Беженка из Чечни. Живёт и работает в г. Волгограде (бывший Сталинград).

* * *

Такая долгая зима свалилась с неба!
Поймала грустные дома в капканы снега,
Легла дорогой без конца над сонной степью,
Сковала нищие сердца морозной цепью.

Коротких дней седая тьма необозрима.
Такая долгая зима — для нелюбимых,
И у меня на сердце мгла, душа раздета.
Прошу хоть капельку тепла, хоть лучик света!

Но если в сердце нет тепла, то и не стоит
Ее, коли она пришла, и беспокоить.
Зачем случайный луч ловить остывшим взглядом?
А если в сердце нет любви — то и не надо.

На белом кладбище любви среди надгробий
Зима уснула в эти дни, как пьянь в сугробе.
Туманом кутает дома и ветром свищет —
Смеется долгая зима над сердцем нищим.

ВЬЕТНАМ

Край улыбок и солнца и тепла.
Я здесь раньше жила, и счастливой была.
А теперь тебя вижу я только во сне,
Но всё чаще и чаще приходишь ко мне.

Вижу: в строгой печали деревьев и трав
Меня снова встречает и манит гора.
Словно мать, меня держит на тёплой груди
И тихонько зовёт: “Приходи, приходи!..”

Вижу серую дымку вечерней поры,
Когда мы вместе с солнцем спускались с горы:
Солнце огненной птицей садится на мель
И на отдых ложится в морскую постель.

Там вдали корабли залегли в темноте,
Огоньки их мерцают и тонут в воде,
И качается ночь на качелях волны,
Прогоняя на дно бледный отблеск луны.

Помню липкую влажность твоих вечеров
И случайную ласку залётных ветров,
Утра сонную тяжесть, заката пожар,
Раскалённого пляжа полуденный жар,

Сумасшедшую ярость коротких дождей
И спокойную ясность на лицах людей,
Благодарность судьбе и прощальную грусть
От того, что к тебе никогда не вернусь.

ОТЪЕЗД

Мы уезжаем, мы твёрдо решили:
Там — тёплое море, дома и машины
В неоновом золоте.
Здесь — сотни людей без имён и без отчеств,

Сотни отчаянных одиночеств —
В страхе и холоде.

Холод вокзала, дворца и помойки —
Всё продувает сквозняк перестройки.
Но негде согреться.
Холод жестокости новых законов,
Холод ножа в переулке знакомом.
И некуда деться.

Сытых вождей равнодушные лица,
Стынувших очередей вереница
Под грохот парада.
Вас не ограбил любезный чиновник,
Не застрелил “настоящий полковник” —
И вы уже рады.

Впрочем, в заманчивом царстве далёком
Тоже придётся нам жить одиноко,
Тоскливо и голодно.
В мире исчезли нейтральные зоны,
Где мы могли бы играть в Робинзонов.
Там пусто и холодно.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕЧНЕ

I

Я — чужая на грозненском празднике жизни.
Не больна, не пьяна, не грязна. Но — одна.
Мы так мирно и дружно с соседями жили,
Но потом оказалось — другая страна.

Помню, раньше соседи меня уважали,
А сейчас не желают общаться со мной.
Потому что я русская. Значит — чужая.
И уже никогда им не стану родной.

Вечер. Город окутан сиреневой дымкой.
Скоро первые звёзды прорвутся сквозь тьму.
По родному кварталу бреду невидимкой —
Неизвестно — куда. Непонятно — к кому.

II

Соседка тётя Маша — старуха в сорок лет.
Угрюмо шваброй машет, царапает паркет.
А дома, после смены, садится в уголке
С бутылкой неизменной в натруженной руке.

Они сегодня снова — который день подряд —
С подругой-поллитровкой о сыне говорят:
Как Родина послала Серёжу на войну,
Как поздно мать узнала, что он погиб в плену,

Царапается ветка в распахнутом окне.
Усталая соседка вздыхает в пьяном сне.
Серебряной головкой блестит из темноты
Подруга-поллитровка — лекарство от беды.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ПОЛЕ БИТВЫ — СЕРДЦА ЛЮДЕЙ

Беседовал писатель Игорь Шумейко

Творчество самого известного русского писателя Валентина Григорьевича Распутина как нельзя лучше подтверждает слова Ломоносова о том, что “российское могущество прирастать будет Сибирью”. И русский созидательный дух, и русская совесть, и русское философское постижение жизни — всё это “прирастает” книгами, трудами великого сибиряка, с которым мне выпадала удача неоднократно беседовать.

Игорь ШУМЕЙКО: То, что русский писатель Валентин Григорьевич Распутин начинал свой творческий путь как журналист в сибирских газетах, — известный факт. Однако поступали Вы на историко-филологический факультет Иркутского университета с намерением стать учителем.

Валентин РАСПУТИН: Даже практику на старших курсах проходил — преподавал литературу в иркутской школе. Но примерно тогда же я стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. И вот журналистика увлекла. Тот период — строительство магистрали Абакан–Тайшет, гидроэлектростанций, заводов Иркутска, Братска — будоражил общество, ставил столько острых вопросов...

И. Ш.: Ваши очерки сразу же вызвали огромный интерес, многократно перепечатывались: “Костровые новых городов”, “Продаётся медвежья шкура”, “Край возле самого неба”. А вслед за очерками пошли и рассказы, сборники рассказов, повести “Деньги для Марии”, “Последний срок”, “Живи и помни”. Вас отметили первой Государственной премией СССР. Ну а повесть “Прощание с Матёрой” сделала Вас всенародно любимым и всемирно известным русским писателем. В то же время внимание к школе, российскому образованию вообще остаётся важной струной Вашей жизни.

В. Р.: Мне много пишут учителя, благодаря чему я хорошо представляю ситуацию в нашей школе — вплоть до самых современных тенденций и печалей. Самыми благородными могу назвать сегодня усилия учителей Тайшета, Красноярска, Московской области, которые, несмотря на все директивы, разнарядки Министерства образования, на свой страх и риск ведут дополнительные уроки по русскому языку, литературе, позволяя своим ученикам продолжать расти гражданами, культурными людьми.

ШУМЕЙКО Игорь Николаевич родился в 1957 году. Кибернетик по образованию. Автор рассказов, очерков, стихов в центральных литературных журналах.

И. Ш.: Что лучшее из советского образования Вы бы взяли в сегодняшний день?

В. Р.: Многое. Мне ближе гуманитарные предметы, и могу твёрдо сказать, что литература, письменность, история преподавались у нас на прекрасном уровне. Взять то же заучивание наизусть — достойных, конечно, произведений, — ведь это и тренировка памяти, и пополнение багажа знаний, и развитие души, когда этот текст начинает жить в тебе...

И. Ш.: Мы видим, что эта традиция классического образования подтверждается несколькими столетиями мировой педагогической практики. В Царском Селе, Итоне, Оксфорде наизусть заучивались огромные фрагменты, в том числе на “мёртвых” языках. Валентин Григорьевич, расскажите о своей школе.

В. Р.: Я с благодарностью и не иначе как чудо вспоминаю свою школу. В маленькой деревне учеников было 15 человек — первый, второй, третий и четвёртый классы. Только какие там классы! Одна комната, правда, просторная, и занятия вёл один учитель, обращаясь по очереди к каждому. Я, например, до школы читать не умел, но быстро втянулся в такой ритм и стиль учёбы. Это же радость, когда ты отвечаешь и свой урок, и потом можешь что-то сказать по уроку, который проходят старшие. Постоянный интерес, не сухая, не сонная атмосфера в классе.

И. Ш.: Ну а после начальной школы Вы переехали в школу-интернат, похожий на тот самый из рассказа “Уроки французского”. А прообраз той учительницы, Лидии Михайловны...

В. Р.: С нею вышла интересная история. В 1973 году, когда выходил рассказ, я не знал, где она живёт. А накануне публикации “Уроки французского” были как раз сороковины (сороковой день после смерти) моего земляка и большого друга Александра Валентиновича Вампилова, который, кстати, сам из учительской семьи. И рассказ я посвятил его матери, светлой женщине Анастасии Прокопьевне Копыловой-Вампиловой. А потом, когда рассказ перевели и издали, в том числе во Франции, эту книгу в магазине увидела и сама Лидия Михайловна. Так вышло, что она жила уже во Франции и совершенно не знала, что её бывший ученик стал писателем, выпустил рассказ о ней. Прочитав его тогда, она и написала мне.

И. Ш.: Да... “Уроки французского”... на французском. Тут прямо второй рассказ. Знаю от нескольких педагогов: ваша Лидия Михайловна в галерее тех образов, что помогают помнить о достоинстве русского учителя — в любые времена. Теперь вопрос о том, что сегодня порой подменяет Учителя. Телевидение, интернет...

В. Р.: Я странный человек — изначально не люблю телевидение. Даже когда оно было ещё “приличным”. “Доставка на дом” всего и вся меня не устраивает. Спектакль нужно смотреть в театре, книгу обсуждать с друзьями, на футбол ходить на стадион. Сидеть несколько часов подряд, уставившись в светящийся угол, и потреблять то, что на тебя вываливают, — это неестественно и как-то глупо. Можно было с самого начала не сомневаться, что огромные возможности телевидения будут использованы во вред человеку. Как есть женщины, не способные к постоянству, так есть искусства, придуманные в недобрый час, предрасположенные к уродству. А сегодняшнее российское телевидение — самое грязное и преступное в мире. Я его перестал смотреть, разве что изредка новости, и участвовать в нём желания не испытываю... Там — “свой”. Одержимые одной задачей, составляющие один “батальон” лжи и разврата.

“Дьявол с Богом борются, и поле битвы — сердца людей”, — эти слова Достоевского будут вечным эпитафием к человеческой жизни. В каждом человеке сидят два существа: одно низменное, животное и второе — возвышенное, духовное. И человек есть тот из двух, кому он отдаётся. Да, многие привыкли к той телевизионной “жвачке”, которой пичкают их с утра до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом в обнимку с Гоморрой, и пошлость Жванецкого с Хазановым, и эпатажи Пугачёвой, и “Поле чудес”, и прочее-запрочее. Ну что же — на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно сказать: жалко их, сидящих то ли на крючке, то ли на игле.

И. Ш.: А к другой сети — интернету — как Вы относитесь?

В. Р.: Плохо. Потому что в сети не прочтёшь “Войну и мир”, нет там места и другим серьёзным произведениям. Не хочу никого наставлять, но нужно остерегаться того, что может вымазать изнутри.

Нас потихоньку начинают встраивать в глобалистический порядок. Молодёжь не случайно бунтует против него в Европе. Это бунт против выравнивания, когда сущность каждого народа уничтожается, разрушаются все его культурные особенности.

И. Ш.: Ваше писательское кредо?

В. Р.: Я понимаю себя и всегда понимал всё-таки как писателя русского. Советское имеет две характеристики – идеологическую и историческую. Была Петровская эпоха, была Николаевская, и люди, жившие в них, естественно, были представителями этих эпох. Никому из них и в голову не могло прийти отказываться от своей эпохи. Точно так же и мы, жившие и творившие в советское время, считались писателями советского периода. Но идеологически русский писатель, как правило, стоял на позиции возвращения национальной и исторической России, если уж он совсем не был зашорен партийно. Литература в советское время, думаю, без всякого преувеличения, могла считаться лучшей в мире. Но она потому и была лучшей, что для преодоления идеологического теснения ей приходилось предъявлять всю художественную мощь вместе с духоподъёмной силой возрождающегося национального бытия. Литературе, как и всякой жизненной силе, чтобы быть яркой, мускулистой, требуется сопротивление материала.

И. Ш.: Ваш взгляд на литературу сегодняшнюю.

В. Р.: Сверхбыстрый и глубокий сброс интереса к книге говорит о неестественности этого явления, о каком-то словно бы испуге перед книгой. Именно этот испуг и нужно считать одной из причин резкого падения числа читателей. Главная причина здесь, конечно, – обнищание читающей России, неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина – общее состояние угнетённости от извержения “отравляющих веществ” под видом новых ценностей, состояние, при котором о чём-либо ещё, кроме спасения, думать трудно. И третья причина – что предлагает книжный рынок. Не всякий читатель искущён в писательских именах. Вот он идёт в библиотеку... В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало... Но все поступления последних лет – “смердяковщина”, американская и отечественная, и для детей – американские комиксы. Раньше в нашей словесности смердяковы могли быть литературными героями, но не авторами.

На мой взгляд, девять из десяти сегодняшних книг можно отложить без урона для себя. Не принимаю я сегодняшнего торжества зла, духовредительства, которые навязывают нынешние представители писательского цеха. На мой взгляд, герой нашего времени – тот, кто выстоял, остался при себе.

Читатель правильно делает, когда от греха подальше обращается к классике. А нас читать снова станут лишь тогда, когда мы предложим книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать.

И. Ш.: А изменения самого читателя?

В. Р.: За короткий исторический миг число читателей сократилось чуть ли не в тысячу раз. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня пухнет книжный рынок. Это наркотические таблетки в книжной обёртке. Мне кажется, что сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения. Вернуться к настоящему сейчас – наитруднейшее дело. Может, настолько трудное, что если и можно его с чем-то сравнить, так только с тем, что нам пришлось преодолеть в Великой Отечественной войне. И может, легче было победить фашистов, чем врага, который внутри нас самих.

И. Ш.: Валентин Григорьевич, самый важный вопрос – о сегодняшнем состоянии нашего народа.

В. Р.: Жив народ. Его долготерпение не надо принимать за его отсутствие. В нём вся наша мудрость. И народ не хочет больше ошибаться.

Это начало начал – власть национального доверия. Россия, свалившись в заготовленную для неё яму, ушиблась жестоко, переломала кости, в её теле травма на травме, но не убилась, поднять её можно. Антинародная политика властей того времени привела к тому, что не только стали растаскивать государственные богатства, но и принялись уходить из государства люди, притом в массовом порядке. Я имею в виду не эмиграцию в Америку или Израиль, а устраниение от своих обязанностей по отношению к государству, то есть эмиграцию внутреннюю. В избирательных списках эти люди присутствуют, но из агонизирующего государственного организма они вышли и живут

только своими интересами, занятые собственным спасением. Это граждане автономного существования, сбитые в небольшие группы, сами себя защищающие, сами себя поддерживающие материально и духовно, как старообрядцы в прежние времена, не желающие мириться с чужебием нового образа жизни. Если бы удалось вернуть их на государственную службу, — а для этого надо, чтобы власть признала и сказала им, что России без них нет, — когда они убедятся, что положение меняется и государством управляют патриоты, то не смогут не влиться в самую деятельную и здоровую силу. Народ силён подъёмным, восходятельным настроением, появившейся перед ним благородной целью.

А национальная униженность — это ведь не только предательство национальных интересов в политике и экономике и не только поношение русского имени с экранов телевидения и со страниц журналов и газет, но и вся обстановка, в том числе бытовая, в которой властвует, с одной стороны, презрение, с другой, уже с нашей, — забвение. Это и издевательство над народными обычаями, и осквернение святынь, и чужие фасоны ума и одежды, и вывески, объявления на чужом языке, и вытеснение отечественного искусства западным ширпотребом самого низкого пошиба, и оголтелая (вот уж к месту слово!) порнография, и чужие нравы, чужие манеры, чужие подметки — всё чужое, будто ничего у нас своего не было. Русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и душу развращают и убивают вот уже более двадцати лет, но чутьё-то, чутьё-то, если не разумный взгляд!.. У нас в крови это всегда было — издали распознавать злодейство.

Последний век явился для России веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ломок, потерь, напряжений, какие достались народу нашему, не выдержал бы, я уверен. Ни времена татарского ига, ни “смута” XVII века ни в какое сравнение с лихолетьем России в XX веке идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека — в вере, идеалах, нравственном, духовном прямостоянии. В прежние тяжёлые времена это прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй мировой войне Германии и Японии, что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущемлённое национальное чувство — ущемлённое, а не проклятое и не вытраваемое — стало в этих странах возбудителем энергии.

Исключительно страшен психический надлом от погружения России в противоестественные, мерзостные условия, обесценивание и обесцеливание человека, опустошение, невозможность дышать смрадным воздухом. Вымирающая Россия — отсюда, от этого выброса без спасательных средств в совершенно иную, убийственную для нормального человека атмосферу. Здесь причины эпидемии самоубийств, бездомности, кочевничества, пьянства, болезней и тихих нераскрытых смертей — от ничего, под тоскливый вой души.

Да и что такое сегодня народ? Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают всё население или всего лишь престонародье. Он — коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, вручённые нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определённого часа, в который и способна взбуриться, словно под давлением формировавших её веков.

Достоевским замечено: “Не люби ты меня, а полюби ты моё”, — вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему. Вот эта жизнь в “своём”, эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная “утварь” национального бытия и есть мерило народа. Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлечь за собой многих. Всё, что могло купиться на доллары и обещания, — купилось; всё, что могло предавать, — предало; всё, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, — согласилось; всё, что могло пресмыкаться, — пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию ни за какие пряники не отдаст.

Специалисты считают, что с той экономикой, которая у нас осталась, Россия уже не должна жить, и если она худо-бедно живёт, то только за счёт того, что проматывает наследство предыдущих поколений и расхищает наследство, которое необходимо оставить поколениям будущим. Россию обдирают как липку и свои, и чужие — и конца этому не видно. Для Запада “разработ-

ка” России — это дар небес, неслыханное везение, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни ещё несколько десятилетий. Ну, а “домашние” воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально всё, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения.

Национальную идею искать не надо, она лежит на виду. Это правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую силу, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации. Это покончить с обезьяньим подражателем чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой “культуры”, создать порядок, который бы шёл по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. Прав был Михаил Меньшиков, предреволюционный публицист, предупреждавший, что никогда у нас не будет свободы, пока нет национальной силы. К этому можно добавить, что никогда народ не будет доверять государству, пока им управляют изворотливые и наглые чужаки!

От этих истин стараются уйти — вот в чём суть “идейных” поисков. Политические шулеры всё делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы.

И. Ш.: Как Вы понимаете подлинный патриотизм?

В. Р.: Мне не однажды приходилось говорить о патриотизме. Напомню сейчас, что патриотизм — не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землёй, но прежде всего долг перед нею, радение за её духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с её страданиями и радостями. Человек в Родине словно в огромной семейной раме, где предки взыскивают за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в сердце своёю Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдёт способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст.

Мы, к сожалению, неверно понимаем воспитание патриотизма, принимая его иной раз за идеологическую приставку. От речей на политическом митинге, даже самых правильных, это чувство не может быть прочным, а вот от народной песни, от Пушкина и Тютчева, Достоевского и Шмелёва и в засушенной душе способны появиться благодатно-благодарные ростки.

Родина прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом “территория”. Слишком многое в этом звуке!.. Есть у человека Родина — он любит и защищает всё доброе и слабое на свете, нет — всё ненавидит и всё готов разрушить. Это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рождения и до смерти согревающее нас тепло.

Для меня Родина — это прежде всего Ангара, Иркутск, Байкал. Но это и Москва, которую никому отдавать нельзя. Москва собирала Россию. Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной пустыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильнее нас. Добрее нас. Сегодня её судьба вручена нам — будем же её достойны.

И. Ш.: Валентин Григорьевич, Вы были инициатором и активным участником уже много лет проводимых в Иркутске “Дней русской духовности и культуры “Сияние России”. В прошлом году, благодаря Вашему приглашению, мне тоже посчастливилось принять в них участие. К нашему стыду, мы, жители центральной части России, не так хорошо знаем сибирский край. Мне показалось, что участие в таких праздниках затрагивает писательское воображение, побуждает взяться за перо. Мне эти “Дни...” помогли реализовать давний замысел, книгу “Таков Дальний” — о судьбе Сибири и Дальнего Востока от времён Хабарова до наших дней.

В. Р.: Значит, наши труды не пропали даром. У нас в России много талантливых писателей, которым нужно помогать и поддерживать их творческие

порывы. Я знаком с Вашими книгами, начиная со “Второй мировой Перезагрузки”. Уверен, “дальневосточная” книга будет не менее интересна.

И. Ш.: Каким Вы видите будущее России?

В. Р.: Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится всё больше. А если бы и загнали – гробы поднялись бы стоямя и двинулись на защиту своей земли. Такого ещё не бывало, но может быть.

Я верю – мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тысяча лет. Однако лёгкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства – слишком лакомый кусок...

И. Ш.: А что Вы скажете о новом поколении?

В. Р.: У меня впечатление, что молодёжь-то как раз не “вышла” из России. Вопреки всему, что на неё обрушилось. Из чего я делаю эти выводы? Из встреч с молодёжью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними, из наблюдений, из того, что молодые пошли в храмы, что в вузы опять конкурсы – и не только от лукавого желания избежать армии, что всё заметней они в библиотеках. Знаете, кто больше всего потребляет “грязную” литературу и прилипает к “грязным” экранам? Люди, близкие к среднему возрасту, которым от тридцати до сорока. Они почему-то не умеют отстоять свою личность. А более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвёрдо, интуитивно, но всё-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству.

Молодёжь теперь совсем иная, чем были мы, – более шумная, открытая, энергичная, с жадной шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чуждость. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас – за глаза, что, возможно, воспитывает её лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких мерзостей доходят “воспитатели” из телевидения, и они помогают ей осознать своё место в жизни. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за “свободу”.

Ещё раз повторю: сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причём самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию. И я по мере сил буду взывать к тому светлому и чистому, что упрятано в нас, россиянах.

К 75-летию Валентина Григорьевича Распутина

“ИЗБЕГАЙТЕ ВЫСОКИХ СЛОВ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАШЕЙ ГРЕШНОЙ ЖИЗНИ...”

**Письма Валентина Распутина
начинающим литераторам**

В России писатели всегда пестовали молодых авторов. Считалось долгом опытного литератора — выслушать молодого собрата, прочитать его рукопись, дать профессиональный совет, творческую консультацию. Так с помощью мастеров мужали все таланты.

Этому доброму правилу придерживались и писатели Иркутска. Стоит заглянуть в архивные папки областного отделения творческого союза — и вы найдете там доброжелательные письма Алексея Зверева, Иннокентия Луговского, Елены Жилкиной, Марка Сергеева. Все они искренно, тепло, но и строго, и требовательно разбирали первые рукописи начинающих литераторов.

В год юбилея двух наших земляков — корифеев русской литературы Валентина Распутина и Александра Вампилова я поинтересовался их письмами, хранящимися в областном архиве. Оказалось, что в шестидесятых — начале семидесятых годов прошлого века оба активно участвовали в той работе писателей, о которой идёт речь.

Правда, писем Александра Вампилова сохранилось только два. А вот многочисленных отзывов Валентина Распутина о сочинениях начинающих прозаиков пока не касалась рука исследователя. Между тем в них — этих письмах тогда еще совсем молодого писателя к своим братьям по творчеству — уже видны и понимание сложности жизни, человеческой души, и необходимость точного, выверенного и согревающего слова, и ответственность за него. А еще в этих письмах — забота о каждом пробивающемся таланте, дружеское участие в его судьбе, задушевность творческого разговора. То есть все то, что отличает Валентина Распутина, выдающегося человека и мастера слова.*

Андрей Румянцев

* Они будут опубликованы в журнале к юбилею А. Вампилова.

“ЛУЧШЕ ВСЕГО У ВАС НАПИСАНА ПОВЕСТЬ...”

Уважаемая тов. Уланова!

Отвечаю на присланный Вами рассказ “Недописанная страница”.

Рассказ, я считаю, недостаточно продуман с самого начала, отсюда и идут его беды. Он нечеток, расплывчат, расплывчаты его герои, расплывчата в нем авторская позиция.

Давайте разберемся в этом подробнее.

В общем-то нетрудно понять, о чем Вы хотели написать рассказ. По-видимому, он о нашей жизни вообще и о семейной жизни — на примере одной семьи — в частности, о человеческом счастье.

Тридцатилетняя женщина отправила письмо в домовый комитет, в котором на что-то жалуется. На что, понять трудно; даже общественник домового комитета, от лица которого ведется повествование, не разобрал. По-видимому, на мужа, поскольку при встрече речь идет и о нем, на свое прозябание в семье — об этом тоже кое-что говорится, даже не говорится, а только упоминается. Именно упоминается, потому что сказать что-либо внятное о своем положении женщина не может. Она говорит настолько неопределенно и отвлеченно, что это раздражает и общественника домового комитета, и меня как читателя. Право же, плохо верится в женщину, написавшую жалобу в домовый комитет, которая затем, при проверке этой жалобы, читает стишки и вздыхает следующим образом: “— Запахи талого снега и утренней росы... Птичье щебетанье в голубом рассвете... Березка в белом инее... А еще: музыка, театр, грустный восторг Левитана... Можно жить без этого?”

Неужели, чтобы сказать это, необходимо было приглашать постороннего, чужого человека? И ладно бы, когда эти вздохи происходили от скуки, от нечего делать — нет, женщина работает, у нее ребенок, т. е. она занята с утра до вечера. Откуда тогда они? Едва ли можно подозревать в героине неудовлетворенные эстетические запросы, поскольку, во-первых, ее неопределенных томлений для этого явно маловато, а, во-вторых, для удовлетворения столь высоких желаний не пишут письма в домовый комитет.

Можно бы предположить, конечно, что в рассказе как раз и выводится такая вот пустая мечтательница, невесть о чем томящаяся и невесть чего хотящая женщина. Поначалу такое впечатление складывается, но нет — затем автор решительно становится на ее сторону, находит в ней нераскрытые глубины, которые надо только раскрыть, чтобы женщина ожила и расцвела на благо всех нас. В старину говорили: не то счастье, о чем во сне бредишь, а то, на чем сидишь да едешь. Эта поговорка как нельзя лучше подходит, по моему, к героине Вашего рассказа.

Повторяю, рассказ нечеток, он не сделан даже в авторском замысле. А писать Вы, конечно, можете, язык у Вас чистый. Только избегайте красивостей и высоких, не в меру высоких слов для изображения нашей грешной жизни. Это все равно что на работу выходить со знаменами.

С искренним уважением В. Распутин

Уважаемый тов. Грешнов!

Рассказ — я имею в виду “Сибирские звезды” — написан, в основном, чисто, те небольшие шероховатости в языке, которые я подчеркивал, в общем-то легко исправимы. Жаль только, что Вы, поддавшись газетной моде,

поездку в Сибирь двух молодых людей на постоянное местожительство, расцениваете как проявление романтики, жажду экзотики. Ох, уж эти романтика да экзотика! Сколько вреда принесли они Сибири и всей нашей стране, когда тысячи людей едут в дальние суровые края в поисках чего-то необыкновенного, душещипательного, и, не найдя его, бросаются обратно. У Вас подобная ситуация повторилась, хотя я не думаю, что рассказ Вы писали именно об этом. Сложнее тут другое. Взяв за основу рассказа классический “треугольник”, Вы почему-то прибегли к самому облегченному пути его решения – легче, пожалуй, и не бывает. Тамара не знает, что Володя любит Аню, Володя не знает, что Тамара пишет письма отцу и просится обратно в Ленинград, собираясь оставить мужа в Сибири, в школе никто ничего не знает о тайнах Володи и Тамары. И только секретарь райкома партии совершенно необъяснимыми путями узнает о связи учителя и фельдшерицы из дальнего села и вызывает Володю для разговора (почему, кстати, это должен делать секретарь райкома?) – в это время Тамара, воспользовавшись отсутствием мужа, сбегает в Ленинград. Простите, но получилась некая странная для рассказа игра в прятки вместо сложного и открытого (хотя бы для автора) решения той извечной и всегда важной проблемы, которая встала перед героями рассказа.

Вопросы только поставлены, да и то очень робко, а ответов на них нет совсем – впечатление такое, что Вы их сознательно избегали, но от этого работа Ваша стала просто пересказом одной случайной и довольно мелкой истории.

С уважением В. Распутин

Уважаемый Анатолий Макарович!

Ваши “Три дня на постоялом дворе” решено дать в третьем номере альманаха “Ангара” (май-июнь). К сожалению, мы так и не дождалась от Вас хотя бы маленькой справки о Хайларе и Маньчжурии теперешних (помните, я просил Вас?). Пришлось делать небольшое вступление к “Трем дням...” самим. Оно очень небольшое, и ошибок в нем произойти не может. А очерк пока идет в полном виде, если, конечно, не считать редакторской правки.

Что касается последних рукописей – их, как видите, приходится возвращать обратно. У рассказа “До финиша близко” явное несоответствие между первой половиной и второй – он начат широко, эпически, подробно, фундамент подготовлен для большого здания, а закончен быстро и поспешно, психологическая достоверность материала нарушается, появляются сомнения именно в этом повороте темы, именно в этом исходе. Вы и сами признаетесь, что начинали писать роман, затем решили перевести его в рассказ, и это, конечно, не могло не сказаться.

“Чудная поездка” могла бы пойти среди других, подобных же материалов, где она стояла бы вполне на месте, лучше всего в книжке о Трехречье (хорошая и нужная, кстати, была бы книжка). Но, согласитесь, публиковать ее отдельно, причем на материале чуть ли не стороннем, требующем специального и немаленького разъяснения, покажется несколько странным и непонятным.

Мне показалось, что лучше всего у Вас написана повесть “Кровная месть”. Может быть, иногда слишком подробно и обстоятельно, что делает отдельные места чуть скучноватыми (особенно в сценах, когда русские охотники выбирают из тайги), но в общем все равно добротно. Но это все так или иначе наш, сибирский материал, или очень близкий нашему, подобные вещи у нас уже были. Вот почему повесть не произвела на членов редколлегии особого впечатления.

И последнее. Было бы очень хорошо, Анатолий Макарович, если бы Вы сделали для нас большой очерк о русском Трехречье – не этнографический, нет, а скорее, социальный – о жизни русских в стороне от России, об их отношении к ней, о связях между собой, о внутреннем управлении, об отношении к японцам, китайцам, к своим старым авторитетам (к Семенову, например) и т. д., и т. п. Хорошо, если будут фамилии, конкретные люди. Насколько возможно, будьте откровенней и свободней в нем – я думаю, что мы сумеем напечатать весь Ваш материал.

С искренним уважением к Вам В. Распутин

Уважаемый Михаил Яковлевич!

Все присланное Вами в альманах носит, на мой взгляд, случайный характер. Две юморески — “Мудрый заяц” и “Охотничьи были” — принадлежат к тем анекдотическим устным рассказам, которые давно уже кочуют от одного охотничьего костра к другому. В более или менее похожем виде слышал их и я. В Вашем изложении, перенесенном на бумагу, они потеряли непосредственность, тот слегка грубоватый и все же милый юмор, который дополняется мимикой, голосом, жестами, и не вызывают теперь ни смеха, ни улыбки. Особо — “Охотничьи были”.

Попытка на серьезную, уже далекую от анекдотов прозу сделана в рассказе “Тысяча извинений”. К сожалению, эта попытка так и осталась попыткой. Рассказ, мне кажется, не состоялся. Нельзя на нескольких страничках раскрыть всю глубину той темы, за которую Вы взялись, и нельзя так легко, с ходу, в двух-трех фразах показать нравственное убожество одного человека и нравственное богатство другого. Слишком это серьезно. Каждый поступок и каждый характер в литературе нуждаются в доказательстве, и в не меньшем, чем какое-либо положение в математике или физике — только здесь в художественном доказательстве. Посмотрите, как встречает у Вас Раечка своего дядю, человека, который заменил ей в жизни родителей и на деньги которого она существует, который души в ней не чаёт и мечтает о встрече с ней, как о самом большом и радостном событии:

— А, дядюшка, здравствуйте! — поприветствовала она. — Что же вы не предупредили, даже телеграммы не подали? — В голосе ее теперь ясно слышались нотки досады.

— Да хотел экспромтом, как снег на голову.

— Вот уж действительно, как снег на голову...”

И сразу же выпроваживает его:

— Ах, дорогой дядюшка, мне, право, неудобно. Тысяча извинений! Но приходите к нам как-нибудь в другой раз. Сейчас мы вас принять не можем. Еще раз тысячу извинений!”

Даже самый черствый и неблагодарный человек, обязанный в гораздо меньшей степени другому человеку, чем Ваша Рая, скроет, замаскирует свою неблагодарность и не станет выказывать ее в столь категорической, прямо-таки враждебной форме. Тут у Вас большой психологический провал.

Сказка “Танкага-Басутук” выдержана в тоне северных сказок — на первый взгляд, наивных, но по-своему мудрых, неторопливых, степенных. Из четырех Ваших вещей она, пожалуй, интересней всего остального, но, к сожалению, она остается в гордом экзотическом одиночестве. Если у Вас есть еще что-нибудь похожее, пожалуйста, присылайте.

С уважением В. Распутин

Уважаемый тов. Тютрин!

У итальянского писателя Альберто Моравиа есть одноименный с Вашим рассказом роман, в котором показывается, насколько это сложная и серьезная штука — презрение. У Вашего героя это чувство слишком скороспешно и однозначно, и не потому, что оно ошибочно, как раз нет, а потому, что оно должно быть само собой разумеющимся, естественным. Если Андрей нормальный, порядочный человек, то его презрение (это, пожалуй, даже слишком сказано; обыкновенное отвращение) к этой девице является нормальной защитной реакцией уважающего себя человека.

Едва ли стоило писать рассказ, чтобы сказать, что зрячий видит свет.

Видимо, у Вас это первый опыт в литературе. Пока он неудачен. Но уже сейчас надо искать в человеке более сложные чувства, а в жизни — более сложные проблемы.

С уважением В. Распутин

Уважаемый Илья Иванович!

С искренним сожалением возвращаем Вам рукопись “Истории одной любви”. Пожалуй, она все-таки несколько конспективна — я говорю о той поспешности, с какой следуют в ней друг за другом описываемые события без их

психологического и художественного обоснования. Отсюда и сомнения в некоторых фактах: как Петрикина, например, достаточно хорошо скрывшая свое прошлое, а в замужестве с профессором старающаяся скрыть его еще более, чтобы быть совсем спокойной, могла решиться на столь жестокое и выдающее ее с головой преступление? Уж очень неосторожно, грубо она действует. И как профессор без любви столько времени поддерживал эту связь, для чего? Я не утверждаю, что этого не могло быть в жизни, как раз жизненная достоверность подобных страстей не вызывает сомнений, но в литературе это обязательно нужно доказывать очень подробно, описывать человеческие чувства, а не только предполагать их. Случай действительно жестокий, страшный и поучительный, но подан он схематично, голо и оттого читается без интереса.

Не обижайтесь, пожалуйста, на эти откровенные замечания и присылайте нам что-нибудь новенькое.

С искренним уважением В. Распутин

Уважаемый тов. Шинкарев!

Ваша рукопись "О чем говорят могилы" вызвала во мне двойственные чувства. С одной стороны – банальная история, из тех, которые бывают часто и о которых уже знаешь-перезнаешь и слышал-переслышал; с другой стороны – эта банальная история рассказана интересно, вдумчиво и волнующе, хотя и с некоторыми претензиями на детективные сверхинтерес и сверхволнение, особенно в начале рукописи. С одной стороны (я продолжаю говорить о двойственности своих чувств) – хорошие, порой даже прекрасные картины Байкала и природы; с другой – неправдашние, какие-то театральные отношения между героями и конечная сентиментальность всей вещи в целом. Автор – поэт и мудрец, когда он остается один, он зорок, наблюдателен, психологичен, умеет понять движения человеческой души. Но как только ему приходится остаться со своими героями с глазу на глаз, то есть когда идут непосредственные их отношения друг с другом, связанные прямой речью, это совсем иной человек, который кажется неопытным и наивным, знакомым с жизнью только по книжкам. Я понимаю, что не прав в последнем своем предположении, и все-таки впечатление такое остается – впечатление, что эту вещь писали два разных человека.

Вы пишете, что эта история, когда Вы ее рассказываете в аудиториях, производит на слушателей большое впечатление. В этом не приходится сомневаться, как не приходится сомневаться в ее подлинности. Девушка – славная, умная, добрая – любит парня, он тоже относится к ней далеко не равнодушно, даже ревнует к другому парню, и все-таки не хочет, не может (и Вы на этом настаиваете – не может!) связать с ней свою судьбу, потому что по-прежнему и чуть ли не навеки любит другую – уже умершую. История как будто знакомая, но она всякий раз должна быть новой, поскольку случается с новыми людьми, у которых свои чувства и свое отношение к жизни, и поскольку передает ее новый человек. Все мы часто повторяем, что двух одинаковых людей, как, впрочем, и двух одинаковых людей и двух одинаковых страданий не бывает. В Вашем изложении эта история получилась, на мой взгляд, волнующей и... старой или почти старой. Почему? Да потому, что упор в ней Вы сделали на самой истории, на самой трагедии, а не на людях. Прежде всего – она, потом – они. Они приложены к ней, а не она к ним. Вы рассказываете ее с надрывом, стараетесь разжалобить слушателя и читателя ее трагедийностью, и это Вам, надо признать, удается. И все-таки это не долгое волнение, это не боль, потому что мы не узнали и не полюбили людей, с которыми она происходит. Они просто люди, взятые наугад из тысяч и тысяч других, а не характеры. Вот почему я говорю, что герои у Вас неправдашние, не живые – при всей подлинности истории, в которую веришь от начала и до конца.

Ясно, что литературные способности у Вас есть. И, мне кажется, не стоит считать неудачей эту работу, хоть напечатать в таком виде ее мы и не сможем. Будем ждать от Вас новых работ.

С уважением В. Распутин.

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

СТРАТЕГИЯ-2020

Важным “срезом” рационального сознания является способность *предвидеть* состояние и поведение важных для нас систем и окружающей среды.

Способность предвидеть будущее – свойство разумного человека. Прежде чем сделать шаг, человек представляет себе его последствия, строит в сознании образ будущего.

Предвидение позволяет власти *проектировать будущее*. Это – едва ли не важнейшая обязанность государства. В цивилизованном обществе только государство способно координировать усилия огромных масс людей, задавая им общий вектор и критерии успеха. Это соединяет людей в народы и нации, наполняет действия каждого общим смыслом.

Проектирование будущего, определение общего вектора развития и конкретное целеполагание, осуществляемые властью и принимаемые (или отвергаемые) обществом, требуют постановки и осмысления *фундаментальных* вопросов бытия.

Власть формулирует их в форме национальной повестки дня, как череду “перекрестков судьбы”, актуальных исторических выборов, давая и обоснование своего выбора той или иной альтернативы. Снижение качества власти и управления во время реформы выразилось в настойчивом уходе от постановки и осмысления фундаментальных вопросов. Это было неожиданно видеть у образованных людей, наделенных властными полномочиями. Для них как будто и не существовало неясных вопросов, не было никакой возможности поставить их на обсуждение.

Можно даже сказать шире. Современный кризис России замечателен тем, что между властью и обществом как будто заключен негласный договор: не ставить не только фундаментальных, но и вообще трудных вопросов, уже не говоря о том, чтобы отвечать на них. Депутаты не задают таких вопросов правительству, избиратели депутатам, читатели газете и т. д.

Уже М. С. Горбачев принципиально отверг целеполагание как одну из главных функций государства. Он с самого начала заявил: “Нередко приходится сталкиваться с вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки, к чему прийти? На этот вопрос вряд ли можно дать детальный, педантичный ответ”.

Никто и не просил у него педантичного ответа, спрашивали об общей цели, о векторе движения страны в *переходный* период. Когда писатель Ю. Бондарев задал разумный вопрос (“Вы подняли самолет в воздух, куда садиться будете?”), его представили чуть ли не фашистом.

Здесь возникает особая проблема, в которую мы углубляться не будем, но обозначим. Отказ от явного целеполагания может быть избран как тактический прием по разным причинам. Первая – желание уйти от ответственности (или смягчить эту ответственность) при провале авантюрной программы достижения вполне позитивной цели. Если авторы программы видят ее де-

факты, создающие высокий риск провала, то цель не объявляется, а после провала говорится, что “мы этого и хотели” — с идеологическим оправданием того, что реально “получилось”. Если в руках сохраняется контроль над СМИ (и организованной “оппозицией”), то катастрофу всегда можно представить как следствие “тоталитарного прошлого”, “отсталости народа” и пр.

Вторая причина — принятие властью целей, настолько противоречащих интересам подавляющего большинства населения (“страны” как целого), что их было невозможно огласить вплоть до надежного ослабления, подавления или разрушения страны и народа. Иными словами, истинная цель оглашается только после достижения необратимости.

Какая из двух причин является исходной, выяснить в ходе событий трудно. Часто эти причины совмещаются — начав авантюрную программу и заведя страну в тупик, власть может пойти с повинной не к собственному народу, а к правителям геополитического противника и “сдать” страну.

В любом случае уход власти от ясного целеполагания — очень плохой симптом. За ним скрывается фундаментальная угроза для России.

У нас сейчас, говорят, “переходный период”, власть нас ведет куда-то. Первая обязанность ведущего — объяснить людям, куда идем, какое болото у нас на пути, по каким кочкам или мосткам будем переправляться. Однако наша власть молчит. А если говорит, то так, что каждое слово порождает кучу недоуменных вопросов.

Речь власти стала не средством *объяснения* (от слова “ясно”), а средством *сокрытия* целей и планов, если таковые имеются. Недаром при власти кормится целая рать толкователей (“политологов”). Сама власть, как сфинкс, на вопросы не отвечает и в пререкания с обществом не вступает. В самом начале, когда власть стала уходить от фундаментальных вопросов, это выразилось в смешении ранга проблем, о которых идет речь. Причем, как правило, это смешение имело не случайный, а направленный характер — оно толкало сознание к *принижению* ранга, представлению проблем как простого, хорошо освоенного явления, не сопряженного ни с каким риском для страны.

На деле мы раз за разом сталкиваемся с принципиально новыми явлениями, которые требуют ответственного осмысления совместно государством и обществом. Этого нет. Не определив цели движения, власть становится слепой и вместо определения стратегического курса захлебывается в ситуативных решениях.

Это ведет к деформации понятий и нечувствительности даже к очень крупным ошибкам. Например, во время перестройки и в начале реформы власть стала подменять понятие “замедление прироста” (производства, уровня потребления и т. д.) понятиями “спад производства” и “снижение потребления”. На этом основании оправдывали слом всей хозяйственной системы.

В последние годы важной темой политических деклараций стали *программы развития*. Это понятие обозначает процесс созидания новых структур, укрепляющих страну и улучшающих фундаментальные показатели ее бытия. Лейтмотивом служит формула: “Следует принять долгосрочную программу развития...”, — а дальше обозначается какая-то сфера (дороги, судостроение и пр.).

Каждый раз эта вводная фраза противоречит реальности, ибо вслед за ней речь идет о *деградации* или *разрушении* этой сферы или отрасли. Иными словами, ход реальных событий направлен противоположно развитию. Если так, то и цели программы должны соответствовать совсем иному процессу, нежели *развитие*. Какой смысл принимать программу развития, если продолжает действовать механизм разрушения! Прежде надо выполнить программу по остановке и демонтажу этого механизма.

Вот аналогия: в 1941–1945 гг. в нашей стране действовал механизм разрушения нашего хозяйства — нашествие фашизма. И приоритетной была программа по уничтожению этого механизма — “Всё для фронта, всё для победы!” Эта цель была всем понятна, и потому “долгосрочная программа развития”, начатая сразу *после* победы, сплотила общество не меньше, чем война, и была замечательно эффективной.

Более того, программа развития и вырастает только из программы борьбы против сил разрушения. Но власть не говорит этой очевидной вещи — и нет веры в эти программы. Вдумаемся в слова В. В. Путина: “Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских портов. В то же время, ситуация

практически не улучшается...”. Руководитель страны жалуется на исполнителей – что с ними можно поделаться?

И так по всему кругу вопросов. “Существенным фактором... должно стать развитие речных перевозок”. Какое развитие! Развитие было с 1970-го по 1990 г. – объем речных перевозок вырос тогда в три раза. А за 90-е годы произошел спад в 6 раз, и никакого подъема не наблюдается. Но ведь созданный в 90-е годы механизм по уничтожению водного транспорта никуда не делся! Его надо демонтировать, чтобы стало можно вновь *развить* речной транспорт. Именно этой цели и этой программы общество ждет от государства, но о ней нет и речи.

Такая же нечувствительность наблюдается в отношении процессов, идущих в социальной сфере. В одном из выступлений Владимира Владимировича сказано: “Разрыв между доходами граждан **ещё** недопустимо большой” [выделено мной. – Авт.].

Слово “ещё” искажает реальность. Оно соответствует процессу *сокращения* разрыва между доходами, а направление реального процесса противоположно. В действительности после 2000 года этот разрыв *увеличивается*, а не уменьшается. Если Путин хотел дать верную картину динамики распределения доходов в России, то фраза должна была бы звучать примерно так: “Разрыв между доходами граждан **уже** недопустимо большой, но **ещё** не достиг показателей Конго”.

Так же и с характеристикой социального положения пенсионеров. Вчитаемся: “В тяжелые годы реформ многие, а если сказать по-честному – подавляющее большинство – пенсионеров фактически оказались за чертой бедности... Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять все усилия для гарантии достойной жизни пенсионеров в будущем”.

Мы не вправе повторять ошибок прошлого – но почему же мы этих ошибок **не называем!** Раз не называем, значит, никаких гарантий от повторения подобных ошибок старикам не даем.

Неверные определения вектору процессов давались и во время обострения кризиса. В разгар кризиса В. В. Путин заявил на заседании Совета ЕврАзЭС (12 декабря 2008 года): “В последнее время мы, конечно, сталкиваемся с замедлением роста объемов экономики”. Но на деле *речь шла не о замедлении роста, а о спаде, о сокращении* объемов производства. Это противоположно направленный вектор! В ряде важнейших отраслей спад уже был катастрофическим. Так, в ноябре 2008 г. производство минеральных удобрений составило 48,4% по отношению к ноябрю 2007 г., а производство грузовых автомобилей 41,9%.

Разрушение методологической базы экономической политики быстро шло уже во время перестройки – сейчас страшно читать даже академические труды “ведущих экономистов” того времени. Это бессвязная мешанина марксистских и неолиберальных понятий с отходом от элементарных норм логики и последовательности шагов в рассуждениях.

Но ведь с тех пор существенных изменений в методологическом оснащении не произошло! Следуя такому подходу, Россия и не может обрести эффективное управление, качество решений будет заведомо низким, поскольку в этой сложной деятельности необходимо применение целого арсенала инструментов, которые были испорчены или ликвидированы в 90-е годы. Этот арсенал надо восстановить и модернизировать, но об этом и речи нет.

Такая неопределенность *целей, средств, индикаторов и критериев* продолжает быть присущей всем изменениям, которые власть пытается внести в хозяйственную или социальную сферу. Это движение без компаса и карты грозит России многими бедрами.

Так, власть несколько раз ставила вопрос о “переходе России на путь инновационного развития”. Политики говорили о проблеме колоссального масштаба – смене “пути развития” страны, но говорили походя, не додумав ни одного тезиса. Целеполагающее слово потеряло смысл!

Сегодня инновационное развитие вместо сырьевого – императив для России, узкий коридор, чтобы вылезти из болота кризиса. Но этот тип развития и нынешняя хозяйственная система – вещи несовместные. Сейчас даже вообразить невозможно в России кабинета, где бы ежедневно собирались два десятка “генералов хозяйства”, которые готовили бы планы операций по такому “переходу”. Проблема обсуждается на уровне афоризмов и “импровизаций на тему”.

Подумайте: в 2009 г. вузы России выпустили 25 тыс. специалистов по всем естественнонаучным и физико-математическим специальностям и 790 тыс. специалистов по гуманитарно-социальным специальностям, экономике и управлению. Тонкий слой потенциальных молодых ученых (часть которых к тому же изымается западными вербовщиками) просто поглощен морем “офисной интеллигенции”. Какое тут может быть инновационное развитие! Дух творчества, новаторства и напряженного беззаветного труда убивается самим воздухом наших мегаполисов и супермаркетов. Россия – страна гламура...

Большую тревогу вызывает общая установка, что Россия якобы уже преодолела кризис и находится на пути к процветанию. Из этого следует, что никаких стратегических решений принимать нет необходимости – все идет хорошо. Сказано: “Россия полностью преодолела длительный спад производства”.

Встает вопрос: какими показателями пользуется власть? Или власть не может называть вещи своими именами и ставить задачи, соизмеримые размеру этих вещей? Если верить Росстату, объем промышленного производства в России к 2007 году лишь на 3% превысил уровень 1980 года. В дореформенном 1990 году промышленное производство было почти на треть больше, и нам еще очень далеко до того, чтобы этот спад преодолеть, мы пока лишь слегка оживили старые парализованные мощности. А производство машиностроения в 1990 г. было на 46%, то есть почти в полтора раза больше, чем в 2006 году. А в 2008 году – новый кризис. С сельским хозяйством дело еще хуже – нам еще далеко до уровня 1980 года, и мы к нему приближаемся медленно, ежегодные приросты малы. Провал колоссальный, ряд отраслей почти утрачен. Нужна мобилизационная *восстановительная* программа – но способна ли верховная власть ее предложить?

К чему мы пришли, показывает очередная инициатива Правительства – “Стратегия-2020”. Кратко рассмотрим положения этого документа, претендующего задать основные цели на предстоящее десятилетие.

Доклад “Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика” был опубликован в августе 2011 года. Он подготовлен большой группой экспертов под руководством ректора Высшей школы экономики Я. Кузьмина и ректора Академии народного хозяйства и государственной службы В. Мау. Эти две организации – “мозговые центры” реформы, которая ведется в России с 1992 г. Здесь формулируются принципы большей части конкретных программ в разных частях хозяйства и социальной сферы.

Этот доклад, который готовился по поручению В. В. Путина как стратегическая программа для выборов, заслуживает того, чтобы граждане вникли в его главные установки и обсудили между собой. На мой взгляд, этот документ – единственный в своем роде за все время реформ. Впервые разработчики ее стратегических программ изъясняются столь откровенно. Даже оторопь берет.

Доклад большой, его надо читать и перечитывать. Ведь его установки будут влиять на политику и внедряться в практику. Нас редко посвящают в планы сильного мира сего, так надо пользоваться случаем. В этом Докладе поражает какое-то дерзкое, хладнокровное презрение к истине и тоталитаризм мышления. Не поймешь, то ли мы уже впрямь живем как на разных планетах, то ли им такой странный имидж политехнологов придумали. В начале 90-х годов, когда люди были контужены перестройкой, такие вещи проходили, не до них было. Но теперь, через двадцать лет реформ, подобные доклады странно читать.

Большие цитаты из доклада взяты в кавычки и выделены курсивом.

Прежде всего, доклад так представляет ситуацию в России:

– “Цели социально-экономического развития и его условия выглядят совсем иначе, чем они выглядели после предыдущего кризиса 1998 года. Тогда перед страной стояла задача: в экономическом плане – выхода из трансформационного спада, а в социальном – преодоления бедности, которой было охвачено более трети населения страны. Теперь задача в выходе на траекторию устойчивого и сбалансированного роста в целях модернизации и догоняющего развития, перехода к инновационной стадии экономического развития и создания соответствующей ей инфраструктуры постиндустриального общества”.

Это ложная трактовка. Ни проблема “выхода из трансформационного спада”, ни проблема “преодоления бедности” вовсе не решены после 2000 года. Эти проблемы только сейчас и встают в полный рост – когда запасы совет-

ских ресурсов подходят к концу. Показатели годового ВВП — мелочь по сравнению с износом основных фондов и культуры, здоровья и квалификации населения и пр. Доклад исходит из ложных понятий, индикаторов и критериев.

Говорится: *“В 2000-е годы российская экономика продемонстрировала впечатляющие успехи. Динамичный экономический рост 2000-х годов...”*. Это фундаментальная ошибка или сознательная демагогия*. В 2000-е гг. не было никаких “впечатляющих успехов” и “роста экономики”. Было лишь оживление омертвленных в 90-е годы производственных мощностей. Авторы доклада путают разные категории: “поток” (например, годовой объем производства или даже годовой ВВП) и “основные фонды” (база экономики, производственные мощности, кадровый потенциал). Экономический рост — это рост **базы**, а тут пока преобладают процессы деградации.

Рост экономики определяется динамикой инвестиций в основные фонды, а эти инвестиции только в 2007 г. достигли уровня 1975 года, а в 2009 г. опять упали ниже этого уровня. Вряд ли и до 2020 года они выйдут на уровень 1990 года. Чтобы преодолеть “трансформационный спад”, надо хотя бы вернуть в народное хозяйство изъятые из воспроизводства основных фондов инвестиции, хотя бы стабилизированные на уровне 1990 года (а это более 3 триллионов долларов).

К тому же авторы не сообщают, что даже “поток” (рост объема производства) в 2000-е гг. был более медленным, нежели в 1980–1990 г. — а ведь тогда реформаторы требовали сломать всю экономическую систему из-за “медленного роста”.

Россия в докладе постоянно сравнивается с Китаем, Бразилией и Индией, вместе с которыми она якобы готова к “переходу в постиндустриальное общество”, но это — ложное сравнение. Те страны завершают двадцатилетний период **индустриализации**, а Россия завершает двадцатилетний период **деиндустриализации**. Оба процесса инерционны, и еще два десятилетия эта инерция будет гнать упомянутые страны по их траектории. Никакого подобия с Китаем нынешняя Россия не имеет, и ее задачи на 10 лет совсем иные.

— *“Новая модель роста предполагает ориентацию на **постиндустриальную экономику** — экономику завтрашнего дня. В ее основе сервисные отрасли, ориентированные на развитие человеческого капитала: образование, медицина, информационные технологии, медиа, дизайн, “экономика впечатлений” и т. д.”*.

Это совершенно ложная, демагогическая цель, утверждение просто лишено смысла. Известна формула: **“Постиндустриальная экономика — это гипериндустриальная экономика”**. Структуры постиндустриального производства базируются на мощной промышленной основе, прежде всего, на машиностроении и производстве материалов нового поколения, на технологиях с высокой интенсивностью потоков энергии (в том числе новых видов), а вовсе не на “экономике впечатлений” и фантазиях дизайнера с карандашиком в руке. Прежде чем России переориентировать свое хозяйство на “сервисные отрасли, медиа и дизайн”, она должна восстановить свою промышленность, подорванную проведенной в 90-е годы **деиндустриализацией**. А ведь восстановительная программа еще и не начиналась!

В докладе поставлена странная цель:

— *“Переход от экономики спроса к экономике предложения”*.

“Экономика предложения” — это благозвучная замена ставшего одиозным термина “общества потребления”. Нет никаких оснований заменять в бедствующей России “экономику спроса” на “экономику предложения”. Страна еще не пресытилась жизненно важными благами, чтобы бросить ресурс на изобретение и производство интригующих новшеств. Эти необычные “предложения” элита и так купит себе за границей. В России именно базовый массовый спрос обеспечивает более сильные мотивы к инновации и развитию, нежели изощренное предложение в пресыщенном обществе потребления.

Далее говорится, что *“переход к экономике предложения невозможен без роста внутренней конкуренции... Только высокий уровень конкуренции может создать реальный спрос на инновации”*. Это неверно ни логически, ни истори-

* Вообще, в докладе концы с концами не вяжутся. Утверждается, что “российская экономика продемонстрировала впечатляющие успехи”, и тут же сообщается: “В целом динамика структуры занятости отражает неблагоприятные тенденции в российской экономике: отсутствие движения в направлении модернизации и недостаточный рост эффективности производства”.

чески, представления доклада о движущих силах развития очень ограничены и предвзяты. Подъем инновационной активности, как правило, наблюдается именно на стадии выхода из кризиса в обществе, переживающем массовое чувство солидарности (пример – СССР 30–50-х гг., США после Великой депрессии, Япония после Второй мировой войны).

В современном российском обществе, которому требуется консолидация для преодоления разрухи, более эффективные формы хозяйства складываются на основе кооперации и взаимопомощи, нежели внутренней конкуренции. Конкуренция – эффективный механизм, который преследует иные цели, и представление о ней у авторов доклада мифологизировано.

Авторы мыслят в терминах классового подхода. Но они не говорят о той классовой структуре общности трудящихся, которая, по их прогнозам, станет к 2020 году коллективным субъектом “новой, постиндустриальной экономики России”. Они создают утопический, совершенно нежизненный образ “класса креативных профессионалов”, который и станет локомотивом прогресса. Средством срочного создания креативного класса должны служить деньги, “конкурентоспособная (?) оплата труда”.

Вот что говорится в докладе:

– “Необходимый вклад государства в формирование класса креативных профессионалов – **конкурентоспособная оплата труда в бюджетном секторе**. Надо довести до конца движение к “эффективному контракту”, начавшееся в 2004–2010 гг. с государственных служащих и распространившееся в 2011 г. на школьных учителей. Задача 2012–2016 гг. – эффективный контракт с врачами, преподавателями вузов, работниками культуры”.

О чем это? Какой “эффективный контракт” распространился на школьных учителей? При чем здесь “класс креативных профессионалов”? По таким стратегическим программам будет жить Россия?

В докладе говорится:

– “Ключевой особенностью новой социальной политики является **опора на самодеятельность профессиональных сообществ**. Сообщества профессионалов творческого труда – инженеров, ученых, учителей, врачей, юристов – выступают гарантом качества социальных и государственных услуг, профессионального уровня производства в самых разных отраслях экономики”.

Каков смысл этих туманных выражений? Как “опора на самодеятельность” может быть “ключевой особенностью новой социальной политики”, которая должна перевернуть Россию? Что такое “самодеятельность юристов”? Вчитайтесь, ведь это бессмыслица!

Если уж говорить всерьез, то профессиональные сообщества РФ как раз рассыпаны реформой. Эти сообщества переживают дезинтеграцию, разрушены их когнитивные матрицы и системы социальных норм. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС устранила последние сомнения. Задача государства и общества – восстановить нормативные системы профессиональных сообществ, вернуть им самоуважение и общественный престиж, социальный статус и механизм воспроизводства и государственной аттестации. А то по всем станциям метро расклеены объявления, а в газетах (например, в “Московском комсомольце” или “Из рук в руки”) можно прочесть объявления такого типа: “Кандидатские и докторские диссертации для занятых. Недорого. Быстро”.

Что же касается действительно важных положений социальной политики, то вот несколько рекомендаций доклада:

– “Принципиальным условием политики, нацеленной на обеспечение условий устойчивого экономического роста, является отказ от попыток регулирования рынка труда (в частности, с помощью формальных и неформальных препятствий сокращению занятости)”.

Это даже не требует комментариев. Предлагается дикий капитализм превратить в людоедский. При этом постоянно проталкивается принятая в неизвестном теневом синклите установка на “замещающую этническую миграцию”, на завоз в Россию больших масс иммигрантов – при огромной безработице местного населения почти на всей территории страны. В докладе присутствует такой императив:

– “**Политика повышения иммиграционной привлекательности России, политика привлечения высококвалифицированной и низкоквалифицированной иностранной рабочей силы... необходима разработка долговремен-**

ной стратегии, направленной на превращение России в страну, комфортную для иммиграции”.

Если вспомнить приведенное чуть выше требование “отказа от попыток регулирования рынка труда (в частности с помощью формальных и неформальных препятствий сокращению занятости)”, то ясно, какая “новая социальная политика” закладывается в “Стратегию-2020”. Своих граждан станут без “формальных и неформальных препятствий” увольнять, а вместо них завозить покладистую и дешевую “иностранную рабочую силу”.

И ведь все эти целевые установки не вызвали ни слова критики или сомнения ни в Правительстве, ни у Президента, ни в Госдуме. Во всяком случае, слов критики не было слышно.

Нож точат также на работников бюджетной сферы и на пенсионеров – тут готовятся меры радикальные:

– “Предложение: сократить численность госслужащих к 2020 году до уровня 2000 года, т. е. примерно на 30%. До 50% полученной экономии средств можно направить на увеличение оплаты труда оставшихся сотрудников...”

Реформированию пенсионной системы нет альтернативы... Реформирование пенсионной системы позволит сэкономить к 2020 году от 0,69% ВВП до 1,22% ВВП... Предложенные меры по реформированию пенсионной системы носят принципиально комплексный характер: повышение требований к минимальному стажу с 5 до 15 или до 20 лет; более или менее быстрое повышение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов”.

И это называется “стратегия”! Никаких определений цели, никаких альтернатив и прогнозов последствий, никакого поиска индикаторов, критериев, оптимальных соотношений. Стиль Хлестакова.

И так, какую сферу ни возьмешь – хоть ЖКХ, хоть образование или транспорт. Вот пишут о системе образования:

– “Риски для стабильности системы образования и шире – социальной стабильности – заключаются в том, что **содержание и объем социальных обязательств государства в сфере образования недостаточно конкретизированы... Образование перестает выполнять функцию социального лифта, начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию**”.

Зачем наводить тень на плетень! Вот главный источник риска для социальной стабильности – **образование начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию**. “Недостаточная конкретизация обязательств государства” никакого отношения в проблеме не имеет, само это понятие определенного смысла не имеет. Риски возникли в результате смены вектора социальной политики и критериев справедливости.

Поскольку главной стратегической идеей доклада является переход России к постиндустриальной экономике, большое место в нем отведено науке. Этот раздел полон принципиально ошибочных суждений, показывающих тривиальную неосведомленность авторов о характере научной деятельности. Они пишут:

– “В 2015–2020 гг. акцент рекомендуется перенести на опережающее развитие конкурентоспособных на мировой арене направлений фундаментальных и поисковых исследований, современных форм организации ИР, инфраструктуры науки на прорывных направлениях”.

“Конкурентоспособные” научные направления – термин негодный, но не будем цепляться. Главное, что “успешные” научные направления – это не изюм, который можно выковыривать из булки. Как только они утратят поддержку “заурядных” направлений, вместе с которыми они только и могут существовать, от их “конкурентоспособности” не останется и следа. Такая нечувствительность к сути систем в XXI веке просто поразительна.

Вот еще более фантастическая сентенция:

– “**Отечественная наука продолжает функционировать в рамках традиционной (индустриальной) модели, не отвечающей современным реалиям и характеризующейся доминированием самостоятельных научных организаций, обособленных от вузов и предприятий. На них приходится свыше 80% затрат на науку, тогда как в рыночных экономиках костяк НИС – компании и университеты. Почти 3/4 организаций, выполняющих исследования и разработки (ИР), находится в собственности государства**”.

Что значит “отечественная наука не отвечает современным реалиям”? Чьим реалиям – США или Китая? Отечественная наука России соответствует именно отечественным реалиям. Разве может быть иначе? Пусть бы авторы

доклада объяснили, почему наша наука должна “функционировать не в рамках традиционной (индустриальной) модели”, если отечественная экономика является именно индустриальной, причем в состоянии деградации? Как это было бы возможно? И что станет с 3/4 организаций, если государство вдруг от них откажется? Стратеги предлагают их ликвидировать?

В докладе так сказано о состоянии важного элемента инновационной системы: *“Быстрая деградация фундаментальной науки, выступающей драйвером профессионального образования...”*.

Пусть фундаментальную науку России назовут драйвером (хотя странное словечко подыскали), но ведь в стратегическом докладе невозможно уйти от вопроса, почему же в России происходит “быстрая деградация фундаментальной науки”. Без выяснения причин такого поистине катастрофического процесса, без описания того механизма, который его воспроизводит уже 20 лет, главные рекомендации доклада теряют смысл.

Сами же авторы похода делают замечание, без объяснения которого все рассуждения об инновационной экономике ничего не стоят: *“Несмотря на то, что поддержка науки из средств федерального бюджета в 1998–2009 гг. выросла четырехкратно... это не сказывается на динамике ее результативности в части прикладных и фундаментальных исследований”*.

Удивительно, что сами же авторы высказывают важное положение, которое опровергает практически все их стратегические инновации:

– *“Активное и масштабное разворачивание институциональных реформ в последние годы натолкнулось на ограничения системы, не готовой воспринять и “переварить” многие новые нормы”*.

Как же вы собираетесь *продавить* свою стратегию, если система не готова воспринять предлагаемые вами новые институциональные нормы? Ведь ограничения – это те рамки, которые и определяют для реформатора *поле возможного*. Ваша стратегия вся стоит на утопии нарушения ограничений – и никаких предложений о том, как такое противоречие можно было бы разрешить. Как будто забыли самые элементарные правила.

Кроме методологических вопросов рассмотрим маленький сюжет – стратегию улучшения пассажирского транспорта в России. В современном виде эта система сложилась в послевоенный период – была создана промышленность транспортных средств, начато большое строительство дорог – за 1981–1990 гг. в СССР построено 278 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Вводились в действие трамвайные и троллейбусные пути, метрополитены в городах-миллионниках, сеть местных аэропортов. Подвижность населения быстро росла, тарифы были доступны, и с 60-х годов даже самолет стал обыденным средством передвижения на большие расстояния.

В целом **пассажирооборот** транспорта (произведение числа отправленных пассажиров на дальность поездки) быстро возрастал, в 1988 г. уровень 1940 года был превышен более чем в 10 раз. В 1960 г. один человек из населения СССР в среднем совершил 122 поездки на общественном транспорте, а в 1988 году 288 поездок.

В 1991 г. ликвидировали СССР и его социальную систему – началась реформа, которая стала быстро отрезать от транспортных услуг один слой населения за другим. Большинство лишилось доступа сначала к самолету, потом и поезд стал многим не по карману. Богатые и зажиточные пересели на автомобиль, но, поскольку дороги перестали строить и даже ремонтировать, они, можно сказать, надолго застряли в пробках. Рост подвижности населения был резко остановлен, а у большинства она снизилась.

В “Стратегии-2020” признается: “Население России распадается по фактору мобильности на полярные кластеры: высокомобильный (подвижность 15% населения приближается к американским стандартам) и маломобильный. **Подвижность основной части населения находится на уровне эпохи гужевого транспорта**. К числу регулярных пользователей авиалиний относится не более 2–3% населения”.

Как же объясняют наши рыночные стратеги такой откат в ранний феодализм? Вот их трактовка: *“На ряде территорий (как правило, рудиментах искусственной (социалистической) системы расселения и размещения производственных мощностей) происходит объективно обусловленный процесс сжатия пространства, обслуживаемого массовыми видами транспорта – железнодорожным, авиационным, речным, автобусным*.

Повсеместно в стране идут динамичные процессы развития частного автомобильного транспорта и автомобилизации населения, которые обеспечили транспортную самодостаточность значительной части домохозяйств и малого бизнеса и компенсировали тем самым снижение объема услуг массовых видов транспорта”.

Раньше такие приемы называли демагогией, и они считались неприличными. К тому же эта демагогия совсем уж наивная. Какой там “ряд территорий”! Вся Россия и есть, в их терминологии, “рудимент искусственной (социалистической) системы расселения и размещения производственных мощностей”. Что же ей теперь, через 20 лет рынка и демократии, – отказано в транспортном обслуживании? Приехали!

Но тут к демагогии примешана еще и ложка лжи. Деревня Ивантеевка где-то в Рязанской области стоит со времен Ильи Муромца и никаким “рудиментом искусственной социалистической системы расселения не является”. Зачем ее лишили автобусного сообщения с райцентром? И ведь одновременно ее лишили и колхоза, который в случае чего помог бы с транспортом. Вот справка Росстата (2009): “Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, в 2009 г. по сравнению с 2000 г. сократилось по Российской Федерации на 19,5 тыс. (на 24,9%). Число сельских автобусных маршрутов уменьшилось на 3,4 тыс. (на 22,8%), их протяженность – на 197,0 тыс. км (на 27,8%)”.

Этот способ удушения деревни стратеги “развития России” определяют как “объективно обусловленный процесс сжатия пространства, обслуживаемого массовыми видами транспорта – железнодорожным, авиационным, речным, автобусным”! Господа, это безумное определение, простите за откровенность. Ничего в этом “сжатии пространства” нет объективного – это результат сознательных политических решений конкретных лиц, и готовили эти решения коллеги В. Мау и Я. Кузьмина (а может быть, и они лично).

И какая примитивная, детская хитрость – утверждать, будто “транспортная самодостаточность значительной части домохозяйств и малого бизнеса” компенсировала лишение доступа к общественному транспорту домохозяйств, не купивших себе автомобиль. На что рассчитывают авторы этого доклада, – что люди уже на все махнули рукой?

Но давайте на момент встанем на точку зрения этих стратегов и допустим, что владельцы автомобилей и малый бизнес как раз и есть соль земли и “новая Россия”, а остальные граждане – рудименты. Они пожили в “социалистической системе расселения”, покатались на автобусе – и хватит. Что же говорит “Стратегия-2020” о хозяевах жизни, о нашем славном среднем классе? Чего ему ждать в ближайшем будущем?

Читаем в докладе: *“Латентное дотирование потребителей в форме искусственно заниженной цены владения автомобилем – одна из главных причин хронических заторов на улично-дорожной сети крупнейших городов и головных участках федеральных дорог... Во всех вариантах фискальная компонента в цене владения автомобилем должна вырасти в среднем на 20 тыс. рублей в год: в том числе в мегаполисах – на 45–50 тыс. рублей, в средних и малых городах – на 11–13 тыс. рублей”.*

Вот тебе раз. Автомобиль и мобильник – почти единственное, чем порадовала реформа продвинутую публику, а теперь предлагается увеличить “цену владения автомобилем”, следовательно, отрезать значительную часть уже и “среднего класса” от возможности пользоваться автомобилем. И это – при резком сокращении “услуг массовых видов транспорта”! Ученые экономисты установили, что сами автомобилисты виноваты в пробках (и, конечно, советская система). Профессура ВШЭ не утруждает себя изобретением новых мифов и поет старую песенку: “Потенциал автомобильных дорог и городских улиц, сооруженных в советскую эпоху, был рассчитан на уровень автомобилизации населения в 60 автомобилей на 1000 жителей; сегодня автомобилизация городов и регионов страны в 4–6 раз больше; накопленный ранее потенциал дорожной сети полностью исчерпан”.

Проклятые коммунаки – не построили им шоссейных дорог на все времена. Вот он, оскал социализма!

В СССР потенциал автомобильных дорог увязывался с уровнем автомобилизации, это были элементы одной системы и развивались они совместно, по мере накопления ресурсов. Реформа разорвала эту связь. В РСФСР в 1990 г. было построено 12,8 тыс. км больших шоссе и 28 тыс. км местных,

а в 2009 г. – всего 2,5 тыс. км. Раскрутили автомобилизацию, а про дороги “забыли”? Пробки и разруха на дорогах – следствие безответственности проектантов реформы, а В. Мау и Я. Кузьминов представляют этот провал каким-то природным феноменом.

Что же советуют Правительству эти стратеги? Запустить руку в кошелек населения: “Повышение в 2012–2015 гг. акцизов на моторные топлива в размере не менее чем 7–8 рублей в расчете на 1 литр. Перспективная налоговая конструкция должна предусматривать, что “целевые дорожные деньги” (“road money”) должны составлять порядка 30% от розничной цены бензина... Повышенную цену за бензин придется платить немедленно. При этом, как показывает практика, реальное повышение цен на моторные топлива всегда будет заметно выше, чем номинальный прирост фискальной нагрузки, включенной в эти цены”.

Надо же, какое оригинальное решение. Рекомендации стратегов таковы: акцизы на бензин взвинтить и все дороги сделать платными – обязать всех установить в машине навигатор GPS и взимать плату согласно пробегу. В докладе есть такой пункт: “Вводится универсальный налог за километр пробега, дифференцированный в зависимости от категории и местонахождения дороги. Размер платежа определяется по результатам обработки GPS-трека автомобиля (наличие необходимого для этой цели бортового оборудования становится обязательным)”.

Представляете, во что превратится Россия согласно этой стратегии? Буйная фантазия авторов нередко выходит из берегов: “Будет снят вопрос о “платных” и “бесплатных” дорогах: дороги станут различаться только своими покิโลметровыми тарифами. Отпадет необходимость в каких-либо особых решениях для регулирования доступа в городские центры и экологически уязвимые зоны: достаточно будет дифференцировать покิโลметровый тариф по территории города/региона”.

Владимир Владимирович! Уймите своих стратегов, только, ради Бога, каким-нибудь гуманным способом! О чем они мечтают – проедет мужик полверсты на телеге по дороге своего региона, а из-под моста вылезает инспектор и требует показать трек GPS, а потом выписывает платежку в Европейский банк развития. Да еще с наценкой за экологически уязвимую зону (других-то у нас нет).

Соответственно, предлагается сделать платными все стоянки в городах – установить законом “обязанности автовладельца платить за использование территории муниципальных образований для хранения и паркования автомобиля”.

Все это в приложении к реальной “России-2020” выглядит нелепо. Тут нет проблемы “социализм-капитализм”, тут нет никакой вины либеральной философии, ЦРУ или Вашингтонского консенсуса. Тут наша общая национальная беда – интеллектуальную элиту наших энтузиастов-рыночников реформа как будто ударила пыльным мешком по голове. Перетрудились. Это тяжелый случай, и что-то надо делать. Может, травами какими-то или грязями...

Этот сюжет – маленький штрих в докладе. Можно сказать, самый безобидный. Но он совершенно типичный по установкам, по аргументам и по логике. Ведь если уж собрали целую армию лучших экспертов сочинять стратегию, от них требовалось прежде всего ответить на висящие в воздухе вопросы. Например, как получилось, что новая хозяйственная система (неважно, как ее называют) таит в себе механизм непрерывного и неудержимого **роста издержек**. Одной коррупцией это не объяснить.

Вот – раз уж заговорили о транспорте. Ежегодно растут тарифы на транспортные услуги, рост цены билета намного обгоняет рост зарплат, подвижной состав изношен, но пассажирский транспорт остается убыточным, как будто внутри этой системы какой-то зверь пожирает ресурсы. В Москве в 2011 г. билет на метро стоил уже 28 руб., но это покрывало, видимо, лишь около 70% стоимости поездки (в 2009 г. плата за проезд компенсировала 69% себестоимости). Издержки уже приблизилась к уровню западных столиц – при очень низкой, по их меркам, оплате наших работников транспорта, а конца росту цен не видно. И за двадцать лет реформы можно было убедиться, что это – фундаментальное свойство той хозяйственной системы, которая установилась в РФ. Раскрыть эту тайну – достойная задача для стратегов.

А эту стратегию, я надеюсь, Правительство не примет, до такого мы все же еще не сползли. Может, это такой прием придумали хитрые политтехнологи? Перед выборами подобные стратегии с возмущением отвергаются, и народ счастлив. Он и малому рад.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА
доктор филологических наук

МИФЫ О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ

Размышления филолога

Что есть национальный характер? Действительно ли нас, русских, много-миллионную массу сородичей единят общие черты и склад ума, одинаковое восприятие жизни и схожий порядок действий? Наука этнология сегодня признает, что национальный характер и вправду существует, он объединяет людей в народы и племена и отличает их друг от друга.

Но вот в описание национальных характеров подчас вкрадываются лукавые измышления, которые извне навязываются народу в качестве его собственных представлений о себе самом. Ложь мифов о русском национальном характере прочно засела в наших головах. Мы привычно рассуждаем о пресловутой русской лени, о женственной мягкости и податливости русской натуры, о нашем бесконечном всепрощении и самоуничижительной смиренности, не замечая даже, что программируем собственное поведение, оправдывая собственные человеческие слабости особенностями своей национальности. Но язык наш и история легко соскребают ракушечник клеветы с днища русского корабля, чтобы тот спокойно и плавно двигался наравне с другими народами, уверенный в преимуществах своего величавого хода, наращивая скорость и мощь.

Миф о русском гуманизме

В числе внушаемых нам измышлений навяз в зубах миф о врожденной открытости и всечеловечности русского народа, который-де хлебосолен и радушен для всякого пришлого, встречного да поперечного. Высоким научным штилем эти мифы звучат так: “Черта, характерная для русского менталитета, – это **гуманное мировоззрение**, когда на первом месте в системе ценностей человека стоят судьбы всего человечества, на втором плане – судьба своего народа, на третьем – судьба своей семьи, собственная судьба... Менталитет русских включает в себя **открытость**, то есть любознательность, способность российской культуры открываться внешним влияниям, впитывать ценности разных народов, духовно обогащаться и преобразовывать их” (Егорычев А. М., Нидерер М. В. *Русский мир: составляющие этнического самосознания. \ \ Социальные силы славянского мира, январь 2010, с. 106–107*). Все это как будто звучит комплиментарно для русских: аж плакать хочется, какие мы, русские, распахнутые настезь всему миру, какая у нас переимчи-

вая культура и скопированные с чужих образцов традиции, как мы всё умело повторяем и как ловко всем подражаем.

Нас убеждают со всех сторон, что мы именно таковы, что для того строили свою Империю, открывая двери множеству народов, что и вся культура наша – сплошные перепевы Запада и Востока, и сплав этот уже кто-то подоспел назвать евразийством, то бишь смесью Европы и Азии... И получается, что к подвигам, к подвижничеству в строительстве нашего великого государства и не менее великой культуры русских направляла исключительно всечеловечность. Да нет же! – русские, как и все другие народы, жили и по сей день живут в четком разграничении **своих** и **чужих**.

Вообще этот научно доказанный факт, что без понятия о чужих народах ни один народ, ни одно племя не могут ощутить себя самодостаточным, особенным, отличным от других этносом, тщательно скрывается от не охваченного сокровенным знанием населения, дабы не разжигать “ксенофобских настроений” в обществе, не мешать воспитанию толерантности. На самом же деле ксенофобии – боязни чужих народов, неприятию чужих народов, отстраненности от чужих народов – столько же лет и тысячелетий, сколько самим племенам и этносам. Приведу здесь строго научную формулировку: “В народной культуре отношение к представителям других этносов во многом определяется понятием “этноцентризма”, когда свои традиции, своя религия, свои обычаи и свой язык мыслятся единственно настоящими, правильными и праведными. Этноцентризм не является характеристикой, свойственной только одной нации, представляя собой общекультурное явление” (О. В. Белова. *Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян. М., 2006, с. 3*). Открытость и гуманизм могут быть свойствами отдельного человека, но не целой нации, иначе нация распадается и уничтожается, ведь из ее самосознания в таком случае изымается главный стержень, на который нанизывается все национально значимое, и этот стержень – **любовь к своим и неприятие чужих**. Да, отдельные мятущиеся личности действительно отрываются от священного древа нации и, как сухие листья, летят по миру, гонимые ветром любопытства и жадной приключений, таким, по русской пословице, где хорошо, там и родина, но большинство-то и на чужбине селятся общинами, хранят родной язык, национальные традиции, избегают растворяться в массе чужеродцев.

Русская картина мира изначально разделяется на **своих** и **чужих**, причем понятие **свой**, искони имевшее значение – *родной, ближний*, является ключевым словом русского языка, полагающим пределы всему, чем русские дорожат на этом свете. Слово **свой** прилагается и к языку, и к религии, и к обычаям, которые мыслятся своими, что значит – родными, данными Богом, и потому безусловно праведными и лучшими в мире, в отличие от чужих.

Что же такое – **чужие** для русского человека, так приверженного своим? Слово **чужой** исконно звучало как **туждь**, что буквально означало – человек оттуда, то есть с другой стороны света, из другого, непонятного, заграничного мира, по-русски – из иной страны. Полным аналогом слова **чужой** сегодня является понятие *иностранец*.

Без противопоставления **свой–чужой** русский человек обойтись просто не может, потому что тогда у него расплываются жизненные ориентиры.

Свойским является для нас общение. По наблюдениям лингвистов, русский в беседе предпочитает говорить сначала о событиях, потом о собеседнике и только в последнюю очередь о себе. Последнее у нас неодобрительно называется *ячиться*. Француз же при общении, согласно тем же исследованиям, в первую очередь посвятит беседу себе любимому, потом обратится к текущим событиям, а собеседник интересуется его в самой малой мере.

Противопоставление **свой–чужой** необходимо нам и для того, чтобы правильно, с точки зрения наших национальных интересов, относиться к происходящему в мире. Все, нам неприятное и вредное, враждебное и непонятное мы обычно именуем **чужью**, сегодня уже почти забыв, что в древности это слово звучало как **чужь**, то есть чужое, не свое, пришедшее со стороны, а оттого неприемлемое.

Противопоставление **свой–чужой**, неизменное на протяжении тысячелетий, указывает русскому человеку, где он может укрыться в случае опасности, при трудностях жизни и невзгодах судьбы. Уйти под защиту своих, получить прибежище от преследований чужими, согреться душой в вековых традициях взаимопомощи, национальной поддержки и солидарности – вот что нас ук-

реплет в волнах бушующего житейского моря, которое бороздят не только русские, но и множество чужих кораблей. Это противопоставление указывает нам, где наша защита и опора – среди своих.

Наконец, противопоставление **свой–чужой** указывает нам источник опасности и необходимость национального единения перед лицом чужаков. Когда натиск чужих обрушивается на весь народ, у своих – у русских – срабатывает инстинкт национального самосохранения и сплочения. Этот инстинкт в нашем народе наиболее силен и яростен. Вот почему мы так энергично и жертвенно поднимаемся на борьбу с иноземными захватчиками, вышвыриваем их со своей земли и гоним от своих границ до самых ворот их логова, чтобы убедиться в безвредности обезоруженного и обессиленного оккупанта. Так что противопоставление **свой–чужой** на протяжении веков являлось нашим спасением от инородного владычества, но оно же, – такое тоже случается, – стало ныне преградой не пути национального подъема. Вот почему мы так тяжелы на подъем против своих притеснителей – людей, которые по всем признакам должны быть своими – они с родной нам земли, говорят с нами на одном языке, но по поступкам те же янычары, и гнать бы их давно пора с той же решимостью и силой, как всякого врага, да срабатывает национальный инстинкт **“свой–чужой”**.

И только постепенное осознание, что в политике страны действуют не только свои, но и чужие, явится спасительным для русской нации. Это прекрасно сознают власти, потому и пытаются искоренить так называемую ксенофобию, насадить толерантность, а на самом деле стараются изничтожить национальный инстинкт самосохранения, который убить можно только вместе с народом.

Инстинкт этот ныне в русских нарастает. В советское время мы были национально ослаблены и истощены, во-первых, оголтелой пропагандой интернационализма, нахально эксплуатирующего миф об открытости и гуманизме русского народа, во-вторых, административным подавлением всего национально-самобытного русского в обычаях, культуре, языке, в-третьих, сглаживанием противоречий с соседствующими народами за счет предоставления наших государственных территорий в их суверенное владение. Но вот отпало промывание русских мозгов интернационализмом, и мы видим, как в лоне коммунистической пропаганды подросло и окрепло национальное самосознание наших соседей – прибалтов, грузин, армян, азербайджанцев, казахов, таджиков, туркмен... Ныне и мы вспомнили о своих корнях и традициях, и увидели, что иные народы резко отличаются этим от нас, причем живя по соседству, рядом с нами. И, наконец, эти самые соседи начали притязать на нашу землю, менять наши порядки, нарушать наши обычаи, портить наш язык, захватывать нашу собственность, исказить нашу Веру! Каково терпеть это русскому сердцу! И в противлении тому нет никакой преступной ксенофобии, а обычный для русского народа, да и для любого народа, населяющего землю своих предков, инстинкт национального самосохранения, который сегодня для русских становится последним шансом выживания.

Миф о русской лени

Лень – одна из главных черт характера в представлениях иноземцев о русском народе. Западный человек, а ныне уже и восточный, убежден, что русские склонны к безделью и лени, потому что они-де по природе созерцатели. Наши ближайшие соседи и вечные соперники немцы высказываются о русской лени предельно откровенно: “Русский думает: если ты сегодня можешь чего-то не делать, не делай – авось само собой уладится. Русский невысоко ценит свою деятельность. Он боится, как бы не нарушить этим высший порядок и волю Божию. Поэтому он предпочитает сидеть сложа руки и ждать...”.

Классики русской литературы под обаянием чужих заблуждений тоже роняли небрежные упреки своему народу: “Мы ленивы и не любопытны”, и не понимали того, что благодаря назойливому внушению русские и в самом деле начинали думать, что они ленивы, что в этом деятельном и деловитом мире их место на трибунах и у экранов телевизоров, что их доля – взирать на муравьиную кипучесть окрестных народов, строящих свое благополучие на руинах нашей разваливающейся державы.

Это очень выгодно сегодняшней власти, которая изо всех сил укореняет в нас привычку проводить время в безвольном сидении у телевизора, привычку не возражать, не протестовать, не возмущаться. Нам должно быть все равно, что смотреть в новостях — сюжет о выселении многодетной матери-одиночки из дома за неуплату долгов, отчет о всероссийском конгрессе по спасению кузнечиков или репортаж с шикарного банкета по случаю дня рождения какого-нибудь Вексельберга, Абрамовича или Лисина. Для нас, по замыслу властей, должно быть все одинаково занимательно, и одновременно ко всему этому мы должны быть равно равнодушны — ни гнева и ужаса перед бессердечием судей и чиновников, выгоняющих детей на улицу, ни презрения к олигарху, прожигающему свою никчемную жизнь на уворованной народной собственности, ни отвращения к насекомым конгрессам, когда в стране гибнут миллионы живых людей. Ничто не должно волновать зрителя, ничто не должно подвигать его к действиям против вопиющего бесправия народа.

Разумеется, любому русскому, кто знает собственную историю, заявления о нашей природной созерцательности и лени кажутся смехотворными. Разве русская нация, многие века жившая сверхнапряженной жизнью строителей великого и мощного государства, пребывает в пустом созерцании бытия и ничего не дерзает совершать, чтобы не нарушить порядок во Вселенной? Да о нас ли это написано? И для чего внушать нам мысль о якобы тупой русской лени, слегка подретушированной снисходительной и великодушной созерцательностью?

Ясно, к чему клонит немец или англичанин, не видя в русских деловитости, именуемой у них бизнесом, и оттого презирая нас за отсутствие муравьиной суетливости. Западноевропейец имеет отличный от русского человека взгляд на саму деятельность, потому что у него иная, чем у русских, языковая картина мира.

Как может быть русский человек законченным созерцателем и бездельником, если русское видение мира в грамматике нашего языка опирается прежде всего на глагол? Глагол же в языке выражает действие, и потому мирозерцание русских — деятельное. От глаголов образуется в нашем языке основная масса существительных и прилагательных. Опора грамматики на глагол означает, что русская мысль энергична, что русский язык любит действие и движение, что русская психология не созерцательна и инертна, как на этом сегодня настаивают наши критики на Западе, а подвижна, отзывчива на всякое притеснение, рано или поздно оказывая противодействие и давая отпор.

Стихийная, то есть заложенная языком бытийность русского человека сказывается в том, что он является приверженцем дела — и конкретного (“мое дело маленькое”) или масштабного (“глаза боятся, а руки делают”) — не суть, но именно **дела**, а не пустой болтовни, наивной мечтательности или жадного потребления. Для деятельности у русских предусмотрено три ключевых слова — **дело**, **труд**, **работа**. Русские почитают высокое и целеполагающее **дело**: вспомним здесь “дело всей жизни”, “дело мастера боится”, одобрительное прилагательное “дельный”, то есть надежный в деле, не менее хвалебное “деловой”, что значит энергичный. Русские уважают требующий усилий и **пота труд**: прилагательные “трудный”, “трудолюбивый” говорят об этом, а также наши поговорки, воспитывающие детей в необходимости трудиться — “без труда не выловишь и рыбку из пруда”. Русские сознают жизненную необходимость повседневной, рутинной **работы**: вот к ней-то мы относимся не без вздохов — “работа не волк, в лес не убежит”, недаром слово “работа” происходит от слова “раб”: работа — это труд подневольный, и все русские это хорошо чувствуют. Но все же три понятия в русском мирозерцании — **дело**, **труд**, **работа** — существуют у нас в чести, а не в пренебрежении, все они имеют высокоравственный смысл самостоятельного делания — своими руками, своей головой, крепко стоя на своих ногах.

Приведем еще один довод вперекор лжи о русской созерцательности и лени. Важнейшей частью грамматики нашего языка является глагол **быть**, а вовсе не глаголы **иметь** и **хотеть**, как в западноевропейских языках. Именно глагол **быть**, формирующий грамматические структуры времени русского языка, показывает, что русский человек с рождения воспитывается в условиях деловитой бытийности, а не умозрительной созерцательности. Для прошедшего и будущего времени связкой с действительностью является именно

глагол **быть**. Совсем иная картина мира в других языках. Русское “я был” по-английски звучит: “I have been”, что буквально означает “я имел быть”. Русское “я буду жить” в английском выглядит как “I will live”, что буквально переводится — “я хочу жить”.

Уже не раз лингвисты обращали внимание на то, что формула владения в русском языке тоже бытийная, и это парадоксальный для других народов, не понятный им наш национальный взгляд на мир. Когда русский человек хочет объяснить, чем он владеет, он говорит — “у меня есть”, структура языка заставляет его мыслить, что его собственность дана ему свыше, а не завоевана его жадностью или алчностью, она просто дана и она **есть**, что значит — существует в собственности. Русская грамматическая формула “у меня есть” определяет нашу природную нерасчетливость, наше врожденное и воспитанное родным языком нежелание потворствовать даже собственным прихотям. Действующий вопреки этой формуле русский, вожделем к богатству, алчущий выгоды, поступает не по-русски, мы тотчас же присваиваем ему прозвище *хапуга, рвач, ловчила, мироед, кулак*, мы его презираем, им брезгуем. Даже торговля в русской языковой картине мира рисуется делом не очень благородным, ибо сам корень этого слова **торг-** означает *дергать, вырывать, исторгать*. То есть *торговец, торгаш* тоже отчасти сближается с понятием *рвач*. Неумная страсть к богатству в русском представлении — безумие. Ибо ему есть строгие ограничители: “на наш век хватит”, “будет с нас — не дети у нас, а дети будут — сами добудут”, “богатство с собой в могилу не унесешь”. Поэтому и сегодняшний призыв к обогащению не находит у русских единогодушного отклика. Отдельные безумцы кидаются в пучину рвачества и деличества, но огромное русское большинство печально смотрит на них как на воистину сумасшедших, не понимая, как можно попирать свою русскую натуру и насиловать свою русскую душу алчностью. Не удивительно также, что в одержимой гонке за обогащением русские отстают от других народов в собственной же стране. Им в массе своей не понятно и неприятно вырывать, выторговывать, выцарапывать для себя одного то, что по праву есть и должно быть у всех нас.

И разве не понятно теперь, почему мы в глазах иностранцев выглядим безвольными созерцателями. Мы не стремимся к обладанию миром, мы не желаем проглотить чужую или общенародную собственность целиком или по частям, лишь бы она досталась только лишь нам одним. Нет, мы живем и действуем с намерением пользоваться плодами **своего труда**. Мы полагаемся в деле только на себя, стремясь во всем думать своей головой, все делать своими руками и крепко стоять на своих ногах. Но, видимо, такой образ жизни представляется завоевательному духу Америки, Европы и Азии как бездеятельность и созерцательность, поскольку немец и англичанин, американец и француз, китаец и азербайджанец не увидят в русском трудолюбии того, что они привыкли считать деятельностью.

Наш образ деятельности заключается в том, что в центре внимания нормального русского человека находится не факт чужой собственности или идея поглощения чужого имущества, а собственное конкретное дело, не затрагивающее чужих интересов. “Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец — с идеей: один давит и грабит народы, другой уничтожает в них саму народность”, — такова, по словам русского философа Владимира Соловьева, суть деятельности западноевропейцев. Русский же человек опирается на дело, вся жизнь понимается им как собственные действия в ней. И созерцательность, то есть ленивое прозябание сложа руки, для русского вещь непонятная и неуместная.

Недаром русский всегда стремится **прожить жизнь не зря**. Ведь что такое **жить не зря** — это значит быть не скучающим зрителем, не томным созерцателем, не праздным наблюдателем, а деятельным творцом и энергичным борцом. Только по-русски говорят, что хуже всего на свете — **погибнуть зря**, то есть умереть, стоя в сторонке от схватки, трусливо взирая на тех отважных, кто безоглядно ринулся в бой. Перед нами вновь формула русского поведения, определяющая, что сторонний наблюдатель напрасно — **зря** проживает свою жизнь, и чтобы оставить по себе след в истории, нужно жить не зря, а действуя.

Наверное, еще и потому мы выглядим в чужих глазах наивными созерцателями, что у русских, с одной стороны, и у европейцев с американцами,

с другой, — разное отношение к действительности человеческой мысли. Русский человек мысль рассматривает как дело, вот почему именно в русском обществе и государстве мысль во все времена представлялась опасной, за мысли несправедливая власть судила и по сей день судит, будто за совершенное преступное дело, ибо все мы живем, повинувшись русскому языковому правилу: “сказано — сделано”. А это означает, что однажды задуманное волевым русским человеком неизбежно воплощается в его делах.

Кроме того, есть в русском языке особенное слово **промышлять**, означающее и план действий, и само это действие одновременно. Деловых русских людей звали в старину **промышленниками**, всякое ремесло, а затем и современную индустрию по-русски именуют **промышленностью**! И даже охотники и разбойники поныне отправляются на **промысел**, разумея, что всякое дело — и хорошее, и даже плохое для успешности должно предначинаться глубокой думой и расчетом.

Однако личная мысль не так значима для русского, пока она не овладеет умами многих соплеменников. Если мысль стала общей думой, то есть обрела черты идеологии, русские ее рано или поздно осуществляют, претворят в жизнь. Не случайно именно в России родилось учение В. И. Вернадского о ноосфере, в котором ключевая идея — всепобеждающая сила мысли. Вернадский же сформулировал и важнейший закон человеческого прогресса: “Мысль не является видом энергии, но действует подобно энергии”.

Вот и сегодня мы живем в преддверии всепобеждающего действия русской национальной идеи. Ее главные, сокрушающие неправду современной жизни темы — “Россия для русских и других коренных народов России”, “Россия — русскую власть”. Эти идеи стали ныне общей думой миллионов и миллионов русских людей, которые уже стряхивают с себя летаргическое созерцание, внушенное мерцающими ящиками. Эти идеи действуют подобно энергии, пробуждая в русском народе волю к действию. Они пронзают души желанием прожить жизнь не зря. Они убеждают подняться против несправедливости и геноцида.

Миф о русском анархизме

В летописном сказании о призвании варягов на Русь славяне просят чужаков: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите править и володеть нами”. Эти слова из древней легенды стали основой упорного мифа о неспособности русских управлять собственным государством и о несклонности русского народа к какому бы то ни было порядку. Мнение это первоначально внедрялось немцами, особенно теми, кто жил среди русских. Сейчас же это мнение разошлось не только по миру, но и по родной стране нашей, и уже сами русские вбивают себе в голову — мы-де неспособны ни к какому самоуправлению и самоорганизации. И многие русские теперь уверены, что очень кстати нам чужеродное владычество: где уж русским с собственной страной управиться! Ну, не умеем мы!

То, что немцы не понимали наш русский образ самоуправления, не удивительно. Ведь германская страсть к порядку является национальной чертой немца, которому помимо этого свойственны: “дисциплина, волевое напряжение, предусмотрительность, заботливость”. Вот как немец Вальтер Шубарт описывает своих сородичей: “Немцы — полная противоположность славян, которым более всего недостает типичных немецких черт... У немцев повышенная страсть к нормированию... Порядок любой ценой, даже ценой истины! У немцев — организационный талант. Немцы, пожалуй, самый способный народ на земле в плане организации... Немцы — чрезвычайно методичный народ. Немцы являют собою самых деятельных и волевых людей из всех когда-либо живших. Немец — это фанатик человеческой деловитости...”.

Конечно, на этом идеальном фоне немецкой организованности русские выглядят, что называется, непрезентабельно. Немецкое методичное нормирование или кропотливое планирование русским действительно не свойственно. У нас на все человеческие планы и нормы есть мощный ограничитель, именуемый Божьим промыслом. Русское упование на Бога и на Его промыслительность более, чем на собственные расчеты, выражено в поговорке — “человек предполагает, а Бог располагает”. Но это вовсе не означает, что русские движутся по жизни без руля и ветрил, что они носятся бессмысленно

ными щепками в житейских волнах. Напротив, русский, как и немец, следует к определенной цели, но цель для него важнее пути. Немец предусматривает, просчитывает возможные препятствия и пути их преодоления, русский заранее готов пройти какие бы то ни было препятствия любой ценой. Поэтому ему не надо нормировать и планировать всё до тонкостей и деталей. Достаточно начертать направление движения и составить общий порядок действий. То есть вместо немецкой методичности просчитываемых шагов мы, русские, обладаем трезвым пониманием, что господин случай — внезапный зигзаг или кривизна на пути — такой исконный смысл имеет слово *случай*, — может порушить любые, самые обстоятельные планы. Но это, с русской точки зрения, хорошо, ибо “что Бог ни делает, все к лучшему”. И потому, плавая по “моря житейскому, каменьев подводных исполненному”, мы уповаем на свою смекалку, на волю и мужество, и... на наш русский **авось**.

Ведь что такое **авось** в исконном значении этого слова: это древнее словосочетание **а-во-се**, означавшее настырное русское упорство — **а вот так!** Авось — это готовность встретить препятствие лицом к лицу и лихо, отчаянно, рискованно его одолеть.

Русским **авось** встречали мы всякое непредвиденное обстоятельство, любую опасность, и эта бесконечно удивлявшая иноземцев русская лихость абсолютно естественна для нас, полагающихся в трудностях, что встречаются на пути, на свои догадку, силу, напряжение воли и, разумеется, на удалую молодецкую.

А теперь коснемся всемирной убежденности в отсутствии у русских способностей к порядку и самоуправлению. Так ли это? А может быть, мы просто принцип организованности мыслим иначе, чем немцы и англичане, французы и американцы, чем евреи, наконец?

Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих — это отношения подчинения и послушания. Под-**чин**-ение, если следовать исконному значению этого слова, предполагает преклонение перед законом, пребывание под игом закона. Само слово **чин** есть порядок действий, установленных законом.

Судите сами и по себе: подчинение крайне противно русской натуре, потому что в нем интуитивно, исходя из языковых смыслов, русский человек усматривает скуку регулярности и холод бессердечности. Организация, основанная на подчинении, наиболее эффективна у законников-немцев, которые и верховного вождя своего именовали “конунг”, то есть законодатель. Русскими необходимость подчинения не отрицается, но там, где она применяется, действует у нас из рук вон плохо.

Наш подлинно русский тип организованности основан на **послушании**. Человек, оказывающий послушание другому, свидетельствует своими действиями о том, что тот, другой, достоин его доверия и покорства. Такой тип организации основан не на страхе перед законом, а на доверии, уважении и любви к личности вождя, который должен это заслужить, он должен быть этого достоин. Таков чисто русский тип организованности, чуждый западному представлению об организации и порядке.

В русском понимании иерархия **начальник** и **подчиненный** замещается отношениями, сходными с родственными, то есть это иерархия отца, его сыновей и дочерей, между собой являющихся братьями и сестрами. Причем допускается по-русски, что отец-правитель может быть суров, требователен, даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям. Подданные это чувствуют и добросовестно исполняют самые суровые приказы, что замечательно выразил А. В. Суворов, говоря об “отцах-командирах”, и об этом же сказывается в старинных военных песнях, где поется: “Солдатушки, бравы ребятушки, а кто ваши отцы? — Наши отцы — полководцы, вот кто наши отцы”. Мы видим такой тип русского послушания в организации казацкой вольницы, где тюркское слово **атаман** по-русски означает *человек-отец*, то есть казачье **батя**. И в современной российской армии хорошего комбата зовут **батя**. Мы знаем и типичное обращение отца-командира к солдатам: “сынки”, что тоже наследует древнюю русскую иерархию послушания, а не подчинения.

Ярко выраженная в военных структурах, та же система организации на принципах послушания отлажено действовала в государственном строе России. Царь, верховный правитель Руси-России, у нас всегда именовался царем-батюшкой, а отношения подданных между собой в подобной иерархии

подразумевали **братство**. Благой, уважаемый, любимый всеми вождь, руководитель имел для русских значение, равное у европейцев хорошему закону. Вождя – того, кто вел за собой остальных, слушались беспрекословно, его любили, его встречали с искренними слезами счастья и умиления, его защищали до последней капли крови... Если же царь-батюшка, генерал-губернатор, отец-командир, куренной атаман, генеральный секретарь, президент или премьер-министр, и кто бы ни был еще из руководителей, оказывался не достоин уважения и доверия, то русское послушание со временем непременно сменялось неповиновением, доходившим до бунта. Бунт же могло вызвать невыполнение вождем, князем, царем, словом – отцом-батюшкой, своих отцовских обязанностей, в числе которых не только попечение о народе, как о своих сынах и дочерях, но и отеческая любовь к ним, гордость за них и их успехи. Западная иерархия, основанная на подчинении, не предусматривает ни попечения, ни взаимной любви, ни отеческой гордости, именно оттого подчинение закону по западному образцу холодно, бессердечно и несимпатично русским.

Самобытный тип русской организованности в современном правлении Россией не то что не учитывается, о нем просто не знают нерусские люди, правящие страной. Они полагаются на западный принцип подчинения закону, написали этих самых законов горы немереные, и не перестают удивляться, почему в России они не действуют. Они и не могут действовать в русской среде, где русские не верят в непреложность законов (“закон что дышло – куда повернул, туда и вышло”). Мы, русские, неизменно уповаем на другое: надеемся увидеть в президенте или премьер-министре отца – попечителя о народе. Но никак не можем отеческой заботы в них разглядеть. А коли отец народа о нас не заботится – значит, он нам не отец. А если не отец, то на кой он нам нужен, чтобы его слушаться!

Пиар-технологи, правда, порой спохватываются и изображают наших властителей этакими кормильцами народа, отправляют их колесить по стране, имитируя заботу, уговаривают заглянуть в магазины, чтобы посочувствовать безудержному росту цен, принуждают обещать снизить расценки на дизель и бензин почти разоренным крестьянам, политтехнологи уговаривают властителей дать честное слово пересмотреть школьный курс обязательных наук, чтобы молодежь подрастала не очень безмозглой, пиарщики советуют им регулярно обещать народу доступное жилье, – словом, заставляют президента и премьер-министра ради имиджа отца-кормильца наперебой обещать населению раздачу из своих рук кусков и ломтей всякого добра. Но эти пиаровские ходы не могут скрыть подлинного отношения к народу раздающих подачки правителей, тщетно пытающихся изображать отцовские чувства. Потому что обделенное большинство смотрит на зрелище раздачи кусков отдельным, тщательно отобранным для общения с властью гражданам – кто голодными, кто завистливыми, кто насмешливыми, но все одинаково злыми глазами. И видят все одинаково – что перед ними не отец, а опасливый дрессировщик, стремящийся приручить зверя, которого он и боится, и не любит одновременно.

Наши нынешние “отцы народа” много и дорого отдыхают, каждый отстроил по резиденции под Москвой, да по дворцу в Сочи, да еще кое-что “по мелочи”, вроде Константиновского дворца в Стрельне под Петербургом. Заседания правительства, госсоветы, совещания – все это проходит в кратких перерывах между часами блаженного отдохновения – между купанием в бассейне, промеж тренировок мускулистых тел в спортивных залах. И, разумеется, время от времени наши властители любят пощекотать себе нервы чем-нибудь экстремальным, чтобы оживить увядающую молодость приличной порцией адреналина. Премьер-министр Путин то катается на мотоциклах с байкерами, то целует в морду здоровогоного осетра, то обнимается со свирепыми тиграми, то гарцует на необъезженных жеребцах, то рассекает страну на отечественной полудохлой “Ладе-Калине”... Угасающая, спивающаяся, голодная, нищая Россия смотрит на эти развлечения в скорбном пока молчании, не припоминая на своем троне подобных прожигателей жизни и денег.

Может ли народ оказывать послушание людям, сделавшим беспредельную власть орудием собственного наслаждения и сладострастия? Разве они нам отцы родные? Разве о нас их попечение и забота? Будь перед нами отец-правитель, да разве он дозволил бы своим приспешникам издеваться над

людьми, лишая их крова, работы, последних шансов родить и вырастить детей. Будь у нас батюшка-властитель, разве он допустил бы развращения и растления своих подданных, разгула педофилии и проституции? Будь у нас отец народа, разве он разрешил бы повальное спаивание женщин и детей, наркоманию, травлю населения вредными продуктами и прививками? Мы же все понимаем, что это не отцы сменяют у нас друг друга на российском троне, и даже не отчимы. Не тянут они на отцов нации, на какие бы цыпочки ни становились сами, и на какие бы высокие скамеечки их пиартехнологи ни подсаживали.

Итак, наш русский порядок иной, чем немецкий, французский или английский. Наша русская организованность иная, чем европейская или американская. То, что немцы или американцы не видят у нас своего порядка, вовсе не означает, что русские не способны к организации. Мы просто по-другому организуемся, у нас другие способы достижения цели, как в построении государства, так и в ведении войны. И мы себя в этом еще не раз проявим, когда сами сознательно и трезво выберем из своей среды подлинных отцов-командиров, настоящих отцов нации. И тогда возродится в народной среде России самое настоящее русское братство. Это когда один у нас отец-правитель, и все мы – его родные дети, а между собой – братья и сестры.

Миф о женственности русского характера

О женственности русского характера перетолковано много. Мягкость, уступчивость, всепрощение, терпеливость, интуитивный принцип мышления, – в русской литературе и философии объявлены специфически русским складом природы, который-де и оказался причиной наших многовековых бед, но одновременно признан предметом особого любования и гордости, как, бывает, любят и гордятся очень красивым, хоть и очень физически и духовно слабым человеком. Иностранцы же все эти черты тем более записывают в доказательства неоспоримой женственности русских, а следовательно, их слабости по сравнению с рельефно выраженной мужественностью природы человека западного – немца, англичанина, француза, белого американца, за которыми признается первенство в твердости, рассудительности, расчетливости, жесткости и наступательности характера. Презрение, которое питают к нам на Западе, полагая нас женственным народом, было бы для русских вполне достойно пренебрежения, если бы за этим не стояла постоянная угроза нашей независимости, вызванная искушением всякого, считающего себя сильным, напасть на слабейшего и не умеющего дать отпор. Ведь слабость народа необыкновенно притягательна для тех, кто зарится на его богатства и земли.

Каковы признаки женственности характера, которые в противовес зримой мужественности природы западного человека целенаправленно навязывают нашему сознанию как типично русские? Позаимствуем их из книги того же Вальтера Шубарта “Европа и душа Востока”, тем более что этот немец с огромной симпатией относился к русскому народу и критиковал свой, немецкий, а следовательно, его нельзя обвинить в предвзятости и клевете на русских из чувства заведомой неприязни. “Противоположность между западным и восточным (русским – Т. М.) человеком проявляется как соотношение мужского и женственного. Мужской склад – это воля к власти, доминирование идеи права над идеей любви, действия над созерцанием, рассудка над чувством. Женский склад – самоотдача, благоговение, смирение, терпение. Мужчине свойственны критика, рационализм. Женщине – интуиция, восприимчивость к внушению, вера. Мужчина отделяется от всеобщего и стремится к автономии... в результате становится **личностью**. Женщина чувствует свою соединенность с целостным миром, она укоренена в природе, словно **растение**... Женщина переносит страдания легче, чем мужчина, потому что она не противится им. Она уступает им, приспосабливается. Мужчина, наоборот, упорно сопротивляется и как раз вследствие этого чувствует всю силу страданий”. На основании подобных сопоставлений Шубарт делает вывод о женственной природе русской сущности.

Напор, ум, рационализм – этих приоритетов мужественности русские якобы лишены. Их удел – уступчивость, интуиция, вера, – свойства сугубо женские. По представлению Запада, русский народ по-бабьи мягкотел и иррационален, впрочем, он добр и радушен, в нем много любви, чего хладно-

кровный европеец напрочь лишен. А любовь и есть признак женственности характера, и это представление до сих пор питает иллюзии Запада о нашей национальной слабости. Так ли это на самом деле? Нет. Русский характер не имеет ничего общего с женской слабиной и уступчивостью. Просто мужественность нашей природы иная, чем в характере немца, англичанина, американца. И различия эти отражены в языках русском и других народов.

В 1929 году проницательный отечественный лингвист И. А. Бодуэн де Куртене высказал гипотезу о том, что способ вычленения грамматического рода – мужского, женского, среднего в индоевропейских языках – влияет на мировоззрение носителей языков.

Так, языки с различием трех грамматических родов вводят в картину мира разделение на мужское, женское и детское начала. Весь мир в его явлениях и вещах предстает в таких языках разделенным по роду и полу, а средний род вбирает в себя понятия о детском – то есть беззащитном и кровно родном. Санскрит, греческий, латинский и все славянские языки, в том числе русский, представляют в своей грамматике такую картину мира, где род – то есть отец, мать и дитя – является призмой, через которую человек рассматривает все окружающее. Названия вещей и природных явлений, приобретая через грамматику мужской, женский или средний род, зачастую ассоциируются с образами отца, матери, жены, мужа, ребенка – сына и дочери.

В языках лишь с двумя грамматическими родами – мужским и женским – этим двум признакам живых организмов противопоставлено все неживое. То есть все, что может двигаться и изменяться, противопоставлено тому, что инертно и безжизненно. Так, в романских языках существуют только мужской и женский роды.

В третьей группе языков – в скандинавских и английском – выделяют личный род, описывающий только людей (и это мужчины, поскольку женский род грамматически не выражен), и общий род для всех остальных существ и веществ. В центре внимания грамматики этих языков личность, причем мужского пола, женское и детское начала для этих языков не существенны.

Лингвист Бодуэн де Куртене предположил, что именно на основании способа выражения грамматического рода у носителей разных языков разное и отношение к любви. В русском языке любовь предстает как суть отношения к людям – к отцу, матери, жене, мужу, ребенку, а через них и ко всему окружающему миру. Во французском языке любовь – это образ живой жизни, в отличие от неживой природы, а воспроизведение потомства рассматривается лишь как результат связи полов – пресловутый “лямур”, вызывающий у русского человека отстраненную брезгливость. В английском языке любовь – это конкретное понятие о несущественной для большинства мужчин стороне жизни, с русской точки зрения – это полный цинизм, что так шокирует нас в английском слове “секс”.

Итак, деление мира на три рода, которым пронизано все в русском языке, одушевляет в наших глазах весь мир, делает его живым и заставляет видеть в вещах, в животных, в отвлеченных и абстрактных понятиях признаки живой любви: Родину и родную землю русские любят как мать, дом почитают как отца. Если жилье наше – изба или хата, то в ней вновь обретаются признаки материнства. Береза, ива, осина – девицы красные, образы томящейся, тоскующей души, дуб – могучий богатырь, облако, небо, солнце – сосредоточение воспоминаний о детстве. Все в этом мире для нас одушевлено русской грамматикой – мужским, женским и средним родом, все пронизано образами, которые будят чувство любви – материнской и отцовской, супружеской, сыновней, детской. Эти образы любви многолики, и потому идеалом в нашем языке является платоническая любовь, обобщенный символ, в котором для русского человека сконцентрированы разнообразные воплощения любви. То есть мы можем сказать – я люблю Родину, мать, жену, сына, собаку, своего коня, свой дом, парное молоко, красивую одежду, умные книги, писателя Достоевского – и это все, с нашей точки зрения, любовь. Весь окружающий нас мир дышит любовью к нам. И мы, русские, дышим любовью к миру, одушевленному для нас образами материнства, отцовства, детства и связанными с ними высокими чувствами верности, заботы, доверия, жертвенности. Наша любовь всеохватна и чиста. И слова для зримого нами мира мы наполняем своей особенной русской любовью – “Волга-матушка”, “Дон-батюшка”, “деревня-кумушка”, “город-удалец”, “красавица-зорька”... И друг

друга любящие сердца называют “милый” и “милая”, происходящие от глагола **миловать**, а в русских говорах подчас вместо **люблю** говорят **жалею**.

Естественно, что столь разное отношение к любви в русском и западных народах порождало упорное непонимание нас иностранцами. Видя, как много любви в русском языке и, следовательно, в русской психологии, западные философы и политики настойчиво заговорили о “вечно-женственном в русской душе”, о том, что загадочность русской души объясняется женской ее глубиной, которая находится в состоянии бабьей влюбленности, а следовательно, в хаотическом движении, аморфном развитии и непостоянстве. Исходя из преобладания, с точки зрения англичанина или француза, женского начала в русском характере, русскому народу приписывали и другие женские черты – созерцательность, долготерпение, всепрощение, кротость. Какая наивность и легкое верие иностранцев – видеть чужой народ через призму собственного языка, лишенного тех качеств любви, которые свойственны русскому языку!

Исторические судьбы русского народа на каждом шагу нашей истории опровергают миф о женственности русской природы.

Русский героизм в бесконечной череде войн, которые вела Россия, опровергает представление чужаков о нашей слабости. Ожесточенность, с какой оказывали сопротивление русские в многочисленных восстаниях против угнетения, развеивает утверждения о нашей уступчивости и податливости.

Русский мужской склад ума, способный охватывать огромные пласты природы и социума, устанавливая для них закономерности, открывая физические законы, русская изобретательность, далеко продвинувшая человечество по пути технического прогресса, – все это опровергает упреки русских в женоподобной нелогичности и неспособности мыслить.

Создание великой российской Империи, а потом советской Империи, деятельное строительство городов, промышленности камня на камне не оставляют от утверждения о русской бездейственной бабьей созерцательности.

Революции, восстания, потрясающие Россию в последние два века, вдребезги разбивают тезис о женственном долготерпении русских.

И именно наша любовь к этому миру и видение этого мира через призму любви куют такой русский характер, – решительный, последовательно идущий к цели, логически точный, сильный и напряженный, из любви к Родине и ближним добывающий своего. Но русский жертвенно-мужественный характер совсем не похож на эгоистично-мужественный характер западного человека, оттого не способного понять нашу русскую мужественность, свойственную в трудные минуты даже женщинам, ибо только в мужестве проявляется любовь в минуту испытаний.

Миф о русских угнетателях

Разговоры о нетолерантности русского народа, о его природной агрессивности и враждебном отношении к инородцам идут давно и настойчиво. В нас развивают своего рода комплекс вины, настаивая на том, что русские, простираясь на огромные территории, всегда вели себя как завоеватели-оккупанты, подавляя, порабощая, ассимилируя иные народы. Вспомните, как воспитывали вражду к нам в балтийских этносах – в литовцах, латышах, уверяя их в агрессивных притязаниях русских на исконные земли балтов. Латыши и литовцы несколько подзабыли судьбу пруссов – их балтийских соплеменников, которые оказались стерты с лица земли германскими племенами, и памятью о погибшем племени пруссов осталось лишь название бывшей немецкой провинции – Пруссии. Оккупантами называли нас недавно и грузины, забывая, что накануне подписания Георгиевского трактата, приведшего Грузию под защитительную руку Российской Империи, в самой Грузии было практически исчерпано мужское население, все мужчины старше семи лет уведены в неволю либо беспощадно истреблялись. Геноцид грузинского народа был остановлен русскими.

Ныне и малые народы в составе России частенько намекают на свое рабское состояние рядом с русским соседом и постоянно шантажируют нас нашей нетолерантностью, агрессивностью, экстремизмом. Зависть малых народов к большим вполне понятна, и попытки оправдать свою малость давлением со стороны сильного соседа даже вызывают сочувствие. Легче всего найти

виноватого на стороне. И пусть бы себе объяснялись друг перед другом, но ныне народы, окружающие русских, живущие с нами в ближнем и дальнем соседстве, стремятся вунзить и нам, русским, что мы исконные агрессоры, а Россия была и остается, по зловещему ленинскому определению, тюрьмой народов.

Можно опровергать ложь фактами истории, но мы обратимся за аргументами к русскому языку. Он объективный свидетель того, что мы никогда не поработали другие народы.

Разные народы по-разному понимают рабство, и институт рабства отражен в их языках. Крупнейший французский лингвист Эмиль Бенвенист, привлекая языковой опыт индоевропейских и неиндоевропейских культур, установил, что “единого обозначения для понятия раба нет ни в одном индоевропейском языке”. Раб поставлен вне общества, он всегда “чужой”, так как большинство народов получали рабов из военнопленных: “раб обязательно чужестранец”. В латинском **раб** – это *servus*, вероятно, из имени этрусков, которых завоевали римляне, у французов **раб** – *esclave*, что значит *славянин*, в англосаксонском **раб** – *wealh*, означающее *кельт*, а еще английский язык знает для понятия **раб** слово *slave*, также означающее *славянина*. Западные народы добывали рабов из завоеванных племен, из инородцев, из чужих, причем в большинстве своем этими инородцами были как раз славяне, населявшие Западную Европу и оставившие там немало славянских названий в именовании рек, озер, городов. Ведь что такое Венеция – это город венодов – племени славянского, а Лейпциг – онемеченное звучание славянского слова, нечто похожее на наш Липецк. Знаменитое озеро Балатон – вовсе не венгерское название. Это название славянское, и означает оно, что озеро окружено болотами. Но разве славянские народы живут в Венеции, Лейпциге или на Балатоне? Их давно уже нет, зато остались в языках европейских народов именованию славян в значении – **рабы**.

Итак, в большинстве языков в значении **раб** выступают именовании инородцев. Но на русских это правило не распространялось никогда. Мы, русские и другие славяне, не делали пленных чужеземцев рабами. Вот свидетельство греческого историка Маврикия Стратега: “Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего расположения, при переходе с одного места на другое охраняют их в случае надобности, так что если бы оказалось, что по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, последний потерпел ущерб, принимавший его раньше начинает войну против виновного, считая долгом чести отомстить за чужеземца”.

Русские, унаследовавшие этот обычай всех славян, действительно не использовали чужеземцев как рабов. И слова *раб*, *отрок*, *холоп*, обозначавшие в русском языке подневольное состояние, имеют исконное русское происхождение, а вовсе не означают представителей плененных народов. Все эти слова являются славянскими названиями детей, малолетков, подростков, то есть терминами **родства**.

Слово **холоп** (холпъ) находится в теснейшем родстве со словами *холка* и *холостой*, происходит от глагола *холить*, что искони означало “стричь очень коротко”. Обычай острижения волос у мальчика – это древний обряд посвящения подростка в юноши. И потому слово **холоп** было обозначением юноши – младшего члена рода, используемого в работах.

Наилучшими работниками у славян были молодые – младшие в роду. Русские люди делили свои возрасты по седмицам – семилетьям, это известно из древних рукописных книг: “До семи лет – младенец, до двух седмиц лет (то есть до четырнадцати) – отрока, до трех седмиц лет (значит, до двадцати одного года) – отрок, до четырех седмиц лет (это до двадцативосьмилетия) – юноша, до восьми седмиц лет (до пятидесяти шести) – муж, и оттоле старец”. То есть слово **отрок** обозначало подростка от четырнадцати лет до двадцати одного года, младшего в роду и семье, но которого уже можно было использовать для работы.

Слово **раб** (а по-древнерусски оно звучало как **роб**) показывает, что это тоже термин для младшего члена семьи, используемого в работе. Слово *ре-*

бенок, имеющее истоки в древнем понятии **робя-робенок-ребенок**, сохранило значение “очень маленький член рода и семьи”.

Слова **холоп**, **отрок**, **раб** исконно означали **своих**, членов своего рода и своей семьи, используемых в работниках. **Раб**, или по-древнерусски – роб, был самый младший по возрасту работник, от него произошло слово **ребенок**, **отрок** – это тоже семейный работник, только постарше, с четырнадцати лет до двадцати одного года, и, наконец, **холоп** – это самый старший по возрасту работник в семье, но не достигший двадцати восьми лет.

Вот и выходит, что рабства в понимании других индоевропейских народов у славян и у русских не было. Русские использовали труд младших членов рода, сначала это были младшие по возрасту, потом – по социальному статусу. Но в любом случае это были не пленные, не чужаки, не инородцы. Это были **свои**. Причем издеваться над рабами и холопами, обессиливать их неподъемным трудом так, как это делали в других землях и странах другие народы, русским не позволяло как раз то, что это были свои.

Такой взгляд на подневольный труд и на работников сохранялся у русских на протяжении всей истории, он не меняется и по сию пору, потому что заложен в родном языке. На Руси никогда не было рабовладельческого строя, который пережили все иные человеческие цивилизации, лишь русские избежали эпохи рабовладения, что до сих пор вызывает изумление историков и подчас объясняется отсталостью развития русской государственности. Да и крепостное право никогда не было подлинным рабством в России. Крестьяне чаще всего оставались верными земле, но не лично помещику, злоупотребления, такие как история с Салтычихой, жестоко наказывались и вызывали бурю негодования в общественном сознании. Но если своих, русских, позволялось использовать в подневольном труде (это коренилось в исконно заложенных правилах отношений в семье и роду), то эксплуатация инородцев как рабов была просто невозможна.

Со временем слово **раб** в русском языковом сознании приобрело новые оттенки – безволия, бессилия сдавшегося перед обстоятельствами жизни человека. Слово **холоп** стало обозначать внутреннюю несвободу. А слово **отрок** сегодня именуется лишь юный возраст.

Но языковая установка русского языка – не искать себе работников среди чужих – сказалась на нашем отношении к другим народам. На протяжении всей русской истории мы не рассматривали инородцев как объект завоевания, как источник рабской рабочей силы. Работников славяне, русские искали внутри своего рода, внутри своего племени. Чужие племена для этих целей нам никогда не были нужны. А ныне, когда русский народ ослабел и истощился, как это было когда-то во времена монголо-татарского ига, мы узнали, что такое рабство. Узнали на собственной шкуре. Другие народы, в языках которых **раб** означает иноплеменник, чужак, которого не жалко, показали русским и другим славянам все ужасы рабского состояния. Рабство в чеченском и дагестанском плену, продажа сотнями тысяч наших русских девушек в израильтанский и европейские бордели, вывоз детей на органы в Западную Европу и Америку – это делается представителями тех народов, для которых **раб** – это чужеродец и чужеземец, человек, с которым можно делать все, что хочешь, человек, которого можно не жалеть.

Могут спросить: а разве русские не занимаются сейчас тем же, разве, по примеру иных народов, нет у нас русских хозяев борделей, русских плантаторов, русских коммерсантов, торгующих детьми? Есть такие, конечно. Но во все времена, – и нынешнее время не исключение, они назывались **выродками** и **извергами**. Выродками – потому что вырождались, переставали принадлежать роду русскому, отказываясь от русских правил жизни. Извергами – потому что русские роды и семьи извергали подобную нежить из своей среды. И сейчас, несмотря на натиск чужих обычаев и иноплеменных правил жизни, мы, русские, никогда не примем нерусских законов, по которым живут другие народы. А те, кто предал правила русской жизни, навсегда останутся для нас выродками и извергами.

Миф о русских завоевателях

Мы уже устали слышать о том, что русские – “мертвый народ”, так самоуверенно говорят о нас на востоке, что русские – “народ, утративший волю к жизни”, так считают на Западе, что русские – “окончательно покоренный на-

род”, так презрительно усмеваются в Израиле. . . А может, так и есть? Может быть, мы действительно мертвый народ, ибо только у мертвого народа нет желания рождать детей. С 2001 по 2009 год, по данным Роскомстата, количество детей в России в возрасте до 14 лет уменьшилось на семь миллионов душ. Может, мы и вправду утратили волю к жизни, ведь по числу самоубийств занимаем позорные первые строки в перечне других государств. И, наверное, Израиль правильно считает нас покоренным народом, поскольку, численно преобладая в собственной стране, составляя 85 процентов населения в собственной стране, созданной и укрепленной руками в том числе русского народа, мы боимся выговорить слово *русский*, а за книги, такие как “Иго иудейское”, за фильмы, как, например, “Россия с ножом в спине”, поднимающие русский вопрос, нас бросают в тюрьмы, сами же книги и фильмы запрещают при нашей безработности? .

Способны ли еще русские хоть на что-нибудь, и непонятно, как мы прежде воевали, а ведь победоносно воевали, триумфально побеждали, из века в век отвоевывали свободу, независимость, наказывали захватчиков и оккупантов.

Все больше становится русских, готовых принять для себя и то, что они мертвы, и то, что они утратили волю к жизни, и что покорены окончательно. Хочу их остановить, ибо сдаваться рано, отчаиваться преждевременно, накидывать себе петлю на шею на радость захватчикам не стоит.

Просто осознание войны, – это когда русский человек в массе своей начинает понимать, что против него ведут войну, – такое осознание в наши головы приходит не сразу, не вдруг.

Наше представление о войне в корне отличается от понятия войны в других языках. По-английски слово война *war* происходит от глагола *ware*, что значит “торговать”, и английские войны велись и ведутся ради торговли и барышей, это войны ради прибылей. А по-немецки слово война *der Krieg* происходит от глагола *kriegen*, означающего *добывать, захватывать*. Германские народы воевали ради захвата чужих территорий. А что значит *война* по-русски?

Слово **война** имеет тот же корень, что и слово **вина**. По-русски для того, чтобы вести войну, нужно понять, кто виноват в развязывании войны. Нужно найти виноватого. А когда находят виноватого в войне русские люди, вот тогда – берегись! Русский мужик долго запрягает, да быстро ездит. Не про войну ли эта поговорка? Тем, кто сомневается в истинности этого утверждения, предлагаю вспомнить историю нашего Отечества.

Вслушайтесь только в звучание военных терминов по-русски – они все по смыслу своему нацелены на победу, на неприменное поражение противника. **Битва**, это когда мы бьем врага, **рать** – это когда мы яростно устремляемся на врага (*реть* – по-древнерусски – стремление), **сражение** – это когда врага разим, то есть убиваем насмерть. Таковы языковые смыслы военных слов, таков и русский человек на войне. Он весь устремлен к победе, потому что война для него всегда справедлива, на войне он наказывает виноватого в пришедшей на Русь беде. Почему и добивается рано или поздно победы! Ведь **победа** – это то, что приходит после **беды**, что перебарывает беду.

Если с этой точки зрения взглянуть на наш сегодняшний день, то становится ясно, почему русские опустошены безволием и бессилием. Русские пока не осознали, кто виноват в новой развязанной против них войне. Что ведется война – тихая, коварная, подлая, которая уносит жизней больше, что в дни боевых действий, – это ясно уже многим. А вот кто виноват – понимания нет. Ведь те же немцы, англичане, французы, монголы сразу обнаруживали свои намерения – захватывали территории, уводили в плен, убивали, пытали, продавали в рабство. Сегодня земля захватывается, но это называется мирным словом *купля-продажа*. Сегодня продают в рабство, но это именуют *легальной проституцией*. Сегодня берут в плен, но это оказывается *трудоустройством*. Ныне жестоко убивают даже малых детей, потроша их на донорские органы, но это прикрывают *усыновлением*. Войны как бы нет, виноватых в преступлениях против русских как бы ищут, и народ как бы живет мирно. И чтобы подольше русский человек не понял – кто виноват, чтобы он не определил для себя конкретную цель в этой войне, запрещают вольную русскую мысль и вольное русское слово.

Понимаете ли вы теперь – почему запрещают мысль и слово, и даже фильмы и песни, почему изымают из продажи книги и диски, почему лишают нас **права знать?** – Чтобы подольше мы с вами не поняли – кто виноват в этой

войне. Надеются, что за это время русский народ окончательно истощится и уже не поднимется никогда.

А если все-таки осознаем, что **некуда оглядываться, когда смерть за плечами!** Опомнимся, додумавшись, что **в болоте тихо, да жить там лихо.** Вспомним русскую поговорку, говоренную именно про поражение виноватого – **попался, который кусался!**

О, какое тогда наступит чудесное время – время побед. Ведь в русском языке, а следовательно, и в русском сознании заложен потрясающий героизм поведения. Это про нас говорят – **Тонуть, так в море, а не в поганой луже;** это нашими предками заложено – **Лучше умирать в поле, чем в бабьем по- доле!** Чем мы хуже наших героических предков? Разве они не говаривали – **Эх, была не была,** это они жизни своей подводили итог в трудный час решимости. Разве деды и прадеды наши не зарекались – **Либо пан, либо пропал! На всякую беду страха не напасешься!**

Русский человек, осознавший себя на войне, увидевший, кто виноват в войне, – такой русский неустрашим. Он говорит – **Иду вперед, лучше страх не берет.** Он усмехается – **Нам все нипочем.** Он смеется в лицо врагу – **Увидим еще, чья возьмет!**

Энергия сражения сквозит в русских поговорках, рожденных в бою: мы, русские, – не робкого десятка, не говоря худого слова – да ворову в рожу, за виски да в тиски, за волоса да под небеса... Нам, русским, **хоть на кол – так сокол.** Что еще вспомнить из нашей родной премудрости, чтобы закалить ваши души святой уверенностью: рано сдаваться, стыдно падать духом, крепиться, наше время еще не пришло, виноватого еще не все увидели, потому и война нами пока до конца не осознана. И мы еще застанем чудесное время русской истории. Увидим еще, **чья возьмет!**

Миф о русском всепрощении

Издавна в России считалось, что русский народ незлопамятен, что он легко прощает преступление своим властителям, а обиды – чужеземцам. Это представление о русском характере так въелось во все политические сочинения и дискуссии, что говорить о мстительности или обидчивости русских кажется чем-то наивным. Дескать, Ваня-простак все стерпит, забудет самые изощренные издевательства над собой. И выходит, что любому наглецу и агрессору сколько угодно дозволено над ним изгаляться. К примеру, без всякого наказания остались заявления Виктора Ерофеева из его опуса “Энциклопедия русской души”: “Русских надо бить палкой. Русских надо расстреливать. Русских надо размазывать по стене. Иначе они перестанут быть русскими. Русские – позорная нация. Национальная идея русских – никчемность. Русских надо пороть. Русские – самые настоящие паразиты. Нормальное состояние русского – пьяное. Русских скорее объединяют дурные качества – лень, зависть, апатия, опустошенность”. Попробовали бы вы выпустить тот же самый текст, где вместо слова *русский* значилось бы еврей или чечен, армянин или татарин, мир тотчас услышал бы грозный протест оскорбленной нации, не миновал бы и кровавых последствий автор подобной дерзости. Да, впрочем, и не рискнул бы никакой Ерофеев даже икнуть в сторону любого из этих народов. А оскорблять русских не только смеет, а делает это с нескрываемым наслаждением.

Почему же русские пока так безответны? История наша показывает, что мы никогда не были скотски покорным народом, что мы терпеливы, но до определенной черты. Только как определить черту, когда русские отказываются сносить обиды? Определить предел терпения, за которым неизбежно вздымается волна народного гнева, можно исходя из смыслов русского языка.

Само слово **гнев** имеет укорененность в родственных ему словах **гнет, угнетение, угнетать.** То есть гнев – это наша естественная русская реакция на угнетение, наш ответ на бесконечный гнет. Гнев свойствен русскому человеку, когда его волю подавляют, когда его свободу гнетут, а душу порабащают. Но гнев – это не только свойство отдельной личности. Весь народ может воспылать гневом, если гнет тотальный, бесконечный и беспощадный. И такой народный гнев инициирует в истории народным восстанием.

Слово **восстание** также не случайно оказывается связанным с понятием народного гнева. Ведь гнет разумеет под собой согбенность народа под чу-

жим жестоким ярмом. Сгорбленная, будто сломанная спина — несомненный знак, символ покорности и рабства, потому что покоренный, поработанный человек, с точки зрения славянина, — это человек подъяремный, ходящий под игом, работающий на чужаков.

Язык наш хранит в себе противоядие от поработания, от покорности — это исконное, видимое любому русскому родство слов **сгибаться** и **гибнуть**. Малейшая согбенность в осанке человека — это уже признак слабости, покорности обстоятельствам, подавления воли, преддверие гибели. А согбенность целого народа, попытка нагнуть шеи русских под чужое иго — это знак нам, всем, кто говорит по-русски, что русским грозит гибель.

Восстание же, а по сути — выпрямление народа, выход его из согбенного, то есть гибельного состояния — это единственно возможный для русских способ избежать гибели. Таковы законы национальной жизни, подсказанные нам родным языком.

Как последовательны были всегда русские в исполнении этих алгоритмов, заложенных нашими предками в языковом наследстве. И как страшен был их гнев в пылу национального восстания. Приведу лишь один факт из истории восстания тамбовских крестьян в 20-х годах прошлого века. Тогда отряд китайцев во главе с командиром-евреем внезапно нагрянул в одно большое село, созвав народ на общий сход. Командир убедил русских мужиков, что новая власть готова предоставить им самоуправление, пусть только для этого выберут лучших, самых уважаемых односельчан. Мужики и выбрали с десяток лучших. Их немедленно отвели к стене сельской церкви и расстреляли. Первыми тогда возневались бабы, они с голыми руками кинулись на китайцев. А следом восстали мужики, в ход пошли орудия мирного сельскохозяйственного труда — топоры, косы, вилы и пилы. Китайцев порубали на куски, а еврея-комиссара взвалили на козлы и живьем перепилили пополам двуручной пилой. Я цитирую публикацию документов из журнала “Вопросы истории”. О чем говорят эти документы? О том, что русский народ — хороший, добрый, терпеливый народ, но у его терпения есть черта. Наше терпение можно назвать даже адским, потому что зачастую муки, переносимые народом, превосходят муки ада. Но за этой чертой русские отказывают обидчику в прощении.

Для того чтобы понять, за какую черту в отношении русских нельзя переступать никому, нужно знать, что исконно означает слово **прощение**. Сегодня ошибочно принято считать, что **прощение** по-русски — это забвение обид, нанесенных ближними и врагами твоими.

Так, в русской христианской традиции принято просить Бога **оставить, отпустить грехи** (здесь отражен древнееврейский обычай отпускать в пустыню козла — козла отпущения, возложив на него все прегрешения еврейского народа за год — национально чуждое нам представление о том, что можно взвалить свою вину на кого-то другого, обвинив его во всем плохом, что мы сотворили сами). А еще чисто по-русски у нас принято молить Господа **простить грехи**.

Само слово **простить** восходит к прилагательному **простой**, то есть **прямой, правильный**. В русском языке это значение сохранилось в выражении **простой путь**, что значит — прямой, правильный путь.

В Евангелии сказано: **Да будет око твое просто** — призыв к тому, чтобы взгляд был прямым, без кривизны, правдивый. На Литургии возглашают: **Премудрость, прбсти. Услышим Святаго Евангелия чтение**. Это означает: при слушании Премудрости **будьте прямые**, то есть примите Св. Писание без искажений.

Все эти употребления слова **простой** были возможны потому, что **простить** исконно означало **выпрямить, исправить**. И это подсознательно понимает каждый ребенок, который, провинившись, говорит матери: мама, прости, я больше не буду. Когда мы просим прощения у ближнего, когда взываем — прости, мы тем самым **обещаем исправиться** и обязаны исполнить обещание, ведь закон русской жизни: “сказано — сделано”.

И конечно, русский народ понимал **прощение грехов** именно как исправление грешника, а **прощение обид** — как исправление обидчика. В этом, пожалуй, наша национальная особенность в отношении к собственным грехам и к нанесенным нам чужаками обидам. Там, где другие народы, каясь, оставляют свои грехи в стороне от себя или возлагают свои грехи на каких-нибудь

козлов отпущения, мы, русские, клятвенно обещаем исправиться. В силу законов родного языка мы имеем также и волевое стремление **прощать обиды другим**, то есть **исправлять их, искореняя зло на земле**.

Именно в исконном смысле слова **прощать** кроется ключ к той самой черте долготерпения русского народа. Мы сначала авансом прощаем обидчика, мы прощаем преступника, при этом подсознательно будучи убежденными, что в результате нашего прощения наш обидчик или преступник должен исправиться, должен восстановить справедливость по отношению к нам, должен загладить обиды и покаяться – делом покаяться в своих преступлениях перед нами.

Но если этого не происходит, если обидчик не желает отступать и наглет с каждым днем все больше, – русские начинают исправлять его сами. Ведь он же непременно, с нашей языковой точки зрения, требует прощения. Если не хочет исправляться сам, мы его исправим и тогда с легким сердцем **простим**. Окончательно. Как тамбовские крестьяне.

Сколько таких частных актов русского прощения накопилось уже в наши дни! Кондопога, Харагун, Ставрополь, Сагра... Предупреждаем же каждый раз наших обидчиков в трагические эпохи русской истории – мы, русские, вас простим, но вам же будет лучше, если исправитесь сами.

Миф о русской смирности

Среди русских добродетелей чуть ли не одной из главных считается самоуничтожение, которое в быту еще именуют **скромностью**, а в религиозном плане – **смирением**. Особенно русские ценят и в себе, и в других **скромность**, и означает это слово наше национальное свойство оставаться “на кромке”, с краю, в тени, хотя бы по делам и заслугам ты достоин быть в почестях и хвалах.

Несомненно, у нас, русских, не принято кичиться никакими достоинствами, – ни умом, ни здоровьем, ни достатком, – ничем! И потому даже на обычный житейский вопрос – как дела, у нас обычно отвечают – **ничего**, то есть нормально. А ведь что такое **ничего**, это всего-навсего усеченная формула “ничего нового, ничего страшного”, то есть все по-старому, своим чередом, словно и обсуждать нечего.

При этом русский человек словно боится спугнуть удачу, прогневить Бога излишней самонадеянностью, самоуверенностью, расчетом лишь на свои силы. Обратите внимание: ведь мы с вами таковы во всем. У русских не заведено хвастать детьми, их талантами и успехами, и в самом слове **хвастать** содержится иронический смысл – “выставлять напоказ то, что ухватил”. Русская формула обладания, с точки зрения других народов, тоже очень странная – **у меня есть!** Не то что в других языках: я имею, я достал, я получил, я схватил, я хапнул. Нет! По-русски **иметь** – значит – **у меня есть**, что подразумевает: любое достояние получено свыше, это данность от Бога. И потому у нас существует подсознательная уверенность: что все, данное Богом, при нашей нерачиительности и самонадеянности Бог может и отнять. Отсюда и поговорка, объясняющая всякую тяжкую потерю: **Бог дал – Бог и взял!**

Нет у русских и самовозношения в делах. Упаси Боже нас гордиться своими трудами и подвигами. Не случайно так мало осталось воспоминаний наших русских солдат о былых сражениях, да и мы, потомки, мало что слышали от дедов и отцов о военных буднях Великой Отечественной. Не принято было хвастаться, стыдно было кичиться.

Этот тип национального поведения во многом запрограммирован тысячелетней традицией русских пословиц и поговорок, в которых смирение и скромность возводятся в достоинства человека, а гордыня и чванство зло высмеиваются. Традиция самоумаления возникла не на пустом месте. Русские – потрясающе талантливейший народ, хваткий, умелый, творческий. При тех пассионарных задатках и дарованиях, что есть у русских, они пожрали бы друг друга, если не накладывать на творческие и пылкие их натуры заведомых моральных ограничений. И эти ограничения, выработанные тысячелетним опытом, подкрепленные православным христианством в формулах священного писания **“Гордым Бог противится. Смирением же дает благодать”**, – эти ограничения сохраняли русскую душу от соблазнов внутринациональных распрей, соперничества талантов и дарований.

Поговорки наши предостерегают от неизбежного падения высоко взлетевшего гордеца: **Не смотри высоко: глаза запорошишь; Не подымай носу: спотыкнешься; Выше носа плюнешь – себя заплочуешь; С высока полета вскружится голова; Не смейся, горох: не лучше бобов – размокнешь и сам лопнешь; Высок каблук подломится на бочок.**

Поговорки издеваются над чванью и спесью: **Гордым быть – глупым слыть; Спесь не ум; Не чванься, квас, не лучше нас; Раздайся, грязь, навоз пливает! Посади свинью за стол, а она и ноги на стол; С жиру пес бегится; Вздулся как тесто на опаре; Так зазнался, что и черту не брат; Водяной пузырь недолго стоит; Гроша не стоит, а глядит рублем.**

Но этот естественный для русского человека взгляд на жизнь породил в нашей национальной психологии очень опасные издержки. Скромность как русская природная черта стала повсеместно исподволь подменяться самоуничтожением, добровольным умалением, какой-то мазохистской кротостью. И в быту, и в литературе у нас принялись пропагандировать не героя и не подвижника, нам навязывают не творческий русский тип, уверенный в правоте своего дела, а таких множество на Руси, иначе как бы мы построили Великую Империю. Нет, повсюду типичным русским выставляется так называемый *маленький человек* – этакий русский повсеместный Акакий Акакиевич – слабый, жалкий, безвольный неумеха, а если и умеет что, то надо, чтобы им руководили другие – волевые, сильные, умные, более умелые. В русской среде где таких найдешь, надо призывать инородцев, “приидите править и володеть нами”! И мы, русские, запрограммированные русскими пословицами на скромность и смирение в среде своих же русских, ныне оказываемся оттесненными от хозяйства и культуры в собственной стране, нас оттесняют чужаки, ведь ныне чужеродский элемент, не имеющий, подобного нашему, национального кода скромности, а, напротив, наделенный психологией ревностного выживания в жесткой конкуренции, стремится и оттеснить, и подавить русских скромняг, тем более что наши скромняги не рвутся выставлять свои заслуги и достоинства, послушно пятятся в тень, попускают притязания чужеродного гордеца, памятуя собственные пословицы.

Нас оттесняют в том числе и потому, что мы вбили себе в голову быть смиренными и скромными. Верно, смирение и скромность – это добродетели – **среди своих**. Но наша скромность среди чужих оборачивается сегодня национальной трагедией – устранением русского народа из элиты страны – творческой, властной, финансовой, промышленной, художественной. Мы скромные, куда нам до Церетели, мы смиренные, пусть гордится Абрамович, мы кроткие, пускай возносится Кобзон. Но народ, в элите которого преобладают чужаки, давно назван учеными химерой. Нежизнеспособны химеры, рассыпаются в прах, так учит нас опыт истории.

Русские пословицы и поговорки и эту ситуацию предугадывали, ограничения на нашу скромность и смирение давно наложены предками. Вот послушайте, что говорят они нам из глубины веков: **Сделайся овцой, а волки готовы! Суровый, может, сам на беду наскочет, а на смирного – люди нанесут! На Бога надейся – а сам не плошай! Не запряги, меня не погоняй! Дай черту волю – живьем проглотит!**

Показное смирение строго осуждалось как опасное для русского человека, а попытка чужака унижить его, напомнив о необходимости самоуничтожения, пресекалась злой иронией: **Где нам, дуракам, чай пить! Куда нам с посконным рылом да в суконный ряд! Человек я маленький, шкурка на мне тоненькая!**

Надо понимать нам сейчас, что исконные программы нашего поведения среди своих не работают во благо в условиях национальной катастрофы, когда русские ведут борьбу за выживание в чужеродной агрессивной среде. Русское самоуменение сегодня – это беда, которая может закончиться национальным самоубийством. Участь овцы в стае волков легко предсказать.

ТАТЬЯНА ШИШОВА

МАТЬ ПРОБУЖДАЕТ СОВЕСТЬ

Молодые женщины, выходящие погулять с малышом на площадку, нередко рассказывают, что многие современные мамы не делают своим детям замечания, даже когда те откровенно безобразничают: хватают чужие игрушки, дразнятся, дерутся.

“Пусть учатся сами между собой разбираться”, – говорят они тем, кто выражает удивление такой политикой невмешательства.

А некоторые вмешиваются, но так, что лучше бы они этого не делали. Как тигрицы, кидаясь на защиту безобразников, они тем самым, естественно, им потакают. Да еще и подводят под свое потакание идейную базу: дескать, любящие родители должны всегда быть на стороне своего ребенка! Кто его защитит, если не я? Кому, кроме меня, он нужен в этом жестоком мире?

Если такие установки сохраняются и дальше, ребенок окончательно распоясывается, психика его расшатывается, и заканчивается это плачевно: постановкой на учет в детскую комнату милиции, судимостью (часто не одной!), депрессиями, алкоголизмом, наркоманией – короче, тяжелой, исковерканной судьбой. Совершенно ясно, что такой перспективы для своих детей не хочет ни один родитель. Если, конечно, он в здравом уме и твердой памяти. Поэтому среди убежденных, принципиальных “потакальщиков” (которых, кстати сказать, немного, хотя пропаганда “свободного” воспитания идет уже не первый и даже не десятый год) преобладают люди, мягко говоря, своеобразные. Им самим чаще всего требуется как минимум психологическая помощь.

Гораздо больше сейчас тех, кто вроде бы детей воспитывает, но дальше формирования социально-бытовых навыков и приучения к элементарной дисциплине (убрать игрушки, приготовить уроки) дело зачастую не идет. Воспитание же нравственных качеств, во-первых, происходит “по остаточному принципу”: если хватает времени, которое обычно в дефиците. А во-вторых, при нынешнем “плюрализме мнений”, а точнее – неразберихе в области ценностей, у многих взрослых весьма сумбурные и противоречивые представления о том, какие именно качества им следует поощрять и развивать в своем ребенке, и что для этого необходимо делать.

С двенадцатилетним сыном моих знакомых недавно произошел чудовищный случай. Двое ребят избили его прямо на уроке в присутствии учительницы. Сначала, задираясь, запихнули ему что-то за шиворот, а когда он отмахнулся, повалили вместе со стулом на пол и принялись бить ногами, в том числе по лицу, сломали нос, нанесли серьезную черепно-мозговую травму. Мать избитого ребенка написала заявление в милицию, и тут... мнения родителей разделились. Казалось бы, о чем спорить? Но нет! Нашлись такие, которые ее осудили и приняли сторону Диминых обидчиков. Дескать, не надо было

отмахиваться, сам напросился. Стерпел бы – ничего и не было бы. А теперь из-за него ребят на учет поставили.

А ведь никто из этих людей (даже, наверное, родители обидчиков) не хочет, чтобы их дети выросли подонками и подлецами. И хотя бы краем уха слышали, что лежачего не бьют, тем более ногами по лицу. Не исключено даже, что у этих взрослых есть в родне те, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. И взрослые этим гордятся, а не заявляют, что если бы предки сидели тихо, то садисты, носившие в те времена форму солдат Третьего рейха, быть может, покуражились бы, да и отстали. Но все это как бы рассовано в их головах по разным ящичкам, одно с другим не связывается, не монтируется в целостную картинку. Какие представления о жизни и какие качества характера можно воспитать в детях при такой разорванности сознания? А между тем, именно нравственное воспитание является главной задачей родителей, поскольку их родительский долг – вести детей ко спасению. В этом они в свое время дадут отчет перед Богом.

И есть надежный компас, который не позволит сбиться с пути даже в страшную бурю, когда вокруг царит хаос. Компас этот – наша совесть. Вернее, не совсем наша, ведь совесть – это голос Божий в человеке.

“Этот внутренний голос, называемый совестью, – пишет епископ Александр (Милеант), – находится вне нашего контроля и выражает себя непосредственно, помимо нашего желания. Подобно тому, как мы не можем себя убедить, что мы сыты, когда мы голодны, или что мы – отдохнувшие, когда мы усталые, так мы не можем себя убедить в том, что мы поступили хорошо, когда совесть говорит нам, что мы поступили плохо”. Бог не ошибается, поэтому и совесть безошибочно подсказывает нам, добро мы творим или зло.

Совесть есть у каждого человека, даже у маленького, совсем еще несмышлениша. Он и говорить-то толком не умеет, и понимает лишь самые простые вещи, а укажешь ему на икону, качая головой: “Ай-ай-ай! Видишь, как Бог на тебя смотрит?” И озорник вмиг (пусть и ненадолго!) посерьезнеет, а капризуля, который ничего не желал слушать, криком добиваясь своего, притихнет.

А вот прямо-таки ожившая иллюстрация Ветхого завета. Мой трехлетний внук к вечеру устал и развредничался. “Спать не буду, кушать не буду, убирать игрушки не буду...” С какого бока ни подступись – все без толку! Я прибегаю к последнему, испытанному средству – см. выше про иконы. Но и это не помогает!

– Не смотрит Бог! Не смотрит! – Гриша садится на палас спиной к красному углу и для верности закрывает глаза ладошкой. Ни дать ни взять – Адам, пытающийся спрятаться от Бога...

Я: “Как не смотрит? Смотрит! И все видит!”

Гришка: “Не видит! Не видит!”

А сам украдкой все же посматривает назад.

Я вздыхаю и выхожу из комнаты. А когда через несколько минут заглядываю в дверь, вижу, что игрушки потихоньку перекачывают в коробку. А еще через некоторое время, укладываясь в кроватку, Гриша спрашивает: “Бог видел, что я хороший?”

САМЫЙ ПЕРВЫЙ БУДИЛЬНИК

Совесть есть у каждого человека, но ее голос может звучать отчетливо, а может быть заглушен настолько, что его и не услышишь; в таких случаях кажется, что совести совсем нет. Пробуждение совести и неразрывно связанное с этим формирование нравственных понятий в детстве зависит, в основном, от ближайшего окружения ребенка – его родителей. Прежде всего от матери. “Сблизив мать с ее ребенком, сама природа как бы хочет указать, кому она вручает наше первоначальное нравственное воспитание”, – писал А. Надеждин в книге “Права и значение женщины в христианстве” (СПб, 1873 г., цит. по изданию “Женщина-христианка”. М., “Отчий дом”, 2000, стр. 325).

Около 150 лет назад, когда это было написано, дети, за редким исключением, рождались и воспитывались в полных семьях, роли в семье были не перепутаны, массовая феминизация мужчин и маскулинизация женщин могли лишь присниться какому-нибудь очень большому фантазеру, да и то в кош-

марном сне. Поэтому автор книги очень точно подмечал различия мужского и женского типа воспитания: “Тогда как отец воспитывает более при помощи авторитета и разума, мать достигает того же результата лаской и нежностью сердца. Отец подчиняет себе волю ребенка большей частью посредством уважения к себе, а мать располагает этой волей при помощи любви”.

“В педагогических средствах — гимнастике и музыке — находят как бы некоторое указание на отцовский и материнский элемент в воспитании, — замечает автор. — Гимнастика — это твердая сила воспитания, предлагаемая отцом, которая научает дитя побеждать самого себя, бороться с затруднениями, быть свободным и, в то же время, человеком долга; музыка — это кроткое воспитание матери, которая баюкает дитя нежным словом, заглушает в нем противные порывы и, в то же время, не уничтожает его воли. Не то же ли психологическое основание лежит и в наставлении апостола Павла родителям, когда отец он предписывал не раздражать детей (Еф. 6:4; Кол. 3:21) и тем как бы охочет строгий авторитет отца смягчить добрым и нежным чувством; а матерям, предписывая любовь (Тит. 2:4), дает понять, что это чувство должно быть не простой только естественной привязанностью, доходящей до слабости в нравственном отношении, но разумно-нравственной любовью” (там же, стр. 324–325).

Именно разумно-нравственной любви не хватает многим современным матерям. Внук дерзит бабушке, а мама не пресекает это. И даже может оправдывать сына: дескать, бабушка сама виновата, мало им занимается, не заслужила хорошего отношения. А вот сцена из автобиографической повести прекрасного русского писателя С. Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука”. Два его дяди-драгуна и их адъютант Волков повадились дразнить маленького Сережу и однажды довели его до полного исступления. Осыпав дядю всеми бранными словами, какие он только знал (подъячий, приказной крючок и мошенник), мальчик побежал в столярную, схватил деревянный молоток и запустил им в своего главного обидчика Волкова. К счастью, удар не нанес ему сильных телесных повреждений. Но Сережу все равно строго наказали: демонстративно одели, как арестанта, в серое, толстое суконное платье и поставили в пустой комнате в угол. Для дворянского ребенка такое наказание было весьма унижительным. От Сережи требовали, чтобы он попросил прощения, а он не чувствовал себя виноватым и отказывался. Больше того, он считал, что дядю с адъютантом надо наказывать, разжаловать в солдаты и послать на войну. И что не он, а они должны молить его о прощении!

Инцидент произошел утром. “Мать, которая страдала больше меня, беспрепятственно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель; она имела твердость не входить ко мне до обеда, — пишет Аксаков. — Наконец, она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине. Долго говорила она; ее слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные, ее слезы о моем упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил... но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, пока не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали”.

Разумеется, мать, которая до самозабвения любила маленького Сережу, понимала, на ком лежит основная вина за разгоревшийся скандал. Но — из той самой разумно-нравственной любви, о которой писал автор книги “Права и значение женщины в христианстве” (хотя книга эта появилась гораздо позже истории, рассказанной Аксаковым), взывала к Сережину совести. Потому что благородно воспитанному ребенку, как бы его ни подначивали, негоже было впадать в такую ярость, чтобы поднимать руку на взрослого. Почитание старших было очень важным принципом воспитания. Можно сказать, оно входило в кодекс чести.

Интересно, что, давая оценку этой истории, пожилой Аксаков (он завершил повесть в 67 лет, за год до смерти) пишет: “Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страда-

ний, в настоящее время очень опасных для ее здоровья”. И эти слова так и дышат благородством. Тем самым благородством, которое старалась привить ему любящая мать.

Интересно и другое – то, как завершилась описываемая история. Простояв в углу до вечера (обедом его все-таки покормили), но так и не признав себя виноватым, Сережа от волнения и усталости заболел. Все, конечно, перепугались и раскаялись. Дядя сидел возле него и плакал. Волков стоял за дверью, очень переживал, но не смел войти, чтобы не раздражать большого мальчика. О страданиях матери с отцом нечего и говорить. Но интересно не это, а то, что, выздоровев, Сережа вдруг испытал настоящий катарсис. Хотя его уже, естественно, не принуждали извиняться, он “вдруг почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощение и так примириться с ними, чтобы никто <на него> не сердился”.

Сцена примирения проникнута глубоко христианскими чувствами, хотя слово “христианство” там ни разу не произносится. “Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, чего мне хочется, – вспоминает Аксаков. – Мать обняла меня и заплакала от радости (как она мне сказала), что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое в ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: “Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду”.

Обратите внимание, как женственна Сережина мама. И в то же время какую она проявляет поразительную выдержку и стойкость, взывая к его совести. Хотя мать эта, судя по тексту повести, была отнюдь не железной леди, а очень эмоциональной, ранимой, впечатлительной. Легко себе представить, как разрывалось ее сердце, как хотелось приласкать обиженного мальчика, как негодовала она по поводу глупых задир. Но если бы сорвалась, вышла бы кухонная свара (как часто бывает в наши дни). А Сережа бы скорее всего еще больше укрепился в сознании своей правоты, и ни о каких благородных катарсических чувствах речи бы не зашло.

Поучителен и другой эпизод из аксаковской повести, тоже наглядно свидетельствующий о том, как тщательно воспитывалось в детях благородство. Однажды маленький Сережа наслушался сплетен горничной Парашаи о том, как родственники пытаются обделить их после смерти дедушки по отцовской линии, и пересказал это матери, поскольку привык ей полностью доверять. Мать страшно разгневалась на Парашу, кричала, грозилась сослать в деревню ухаживать за коровами (для дворни, жившей довольно вольготной жизнью при помещиках, это была ужасная угроза). Сыну же она строго-настрого велела не слушать пересудов слуг и не верить им, потому что все это выдумки.

На самом же деле дворня говорила правду, и мать это прекрасно знала. Тем более что к ней родственники мужа относились особенно плохо, и ей, конечно, было обидно. Но она старалась не выдавать своих чувств, понимая, как вредно для души ребенка осуждать своих близких, делить их на “хороших” и “плохих”.

“Только впоследствии я понял, – пишет Аксаков, – за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтоб я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо”. Советская мама из рассказа Н. Носова “Огурцы” более суровая и прямолинейная. Что, впрочем, неудивительно: время другое, среда не та. Хотя вообще-то большой вопрос, кто поступает жестче. Котьку, своровавшего огурцы из колхозного сада, мать не наказывает, а, воззвав к его совести, требует, чтобы он просто пошел назад и положил их на грядку. Котька боится, ведь у дедушки-сторожа, который свистел им с приятелем вслед, ружье. Вдруг он выстрелит и убьет?

“А брать не боялся? – возражает мать и выводит Котьку за дверь. – Или носи огурцы, или совсем уходи из дому, ты мне не сын!”

Вы скажете: при чем тут совесть? Мать просто не оставила мальчику выбора. Однако совесть, казалось бы, совершенно заглушенная самооправданиями и эгоистическим страхом, пусть не сразу, но пробуждается. По дороге Котьке приходит в голову выбросить огурцы в канаву, а матери солгать, но он этого не делает. Тоже из страха. Но уже не за себя, а за сторожа. Вдруг кто-нибудь увидит брошенные огурцы, и сторожу попадет? То есть слова матери,

обращенные к совести сына (“Ну, как тебе не стыдно? Дедушка же за огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват”), все-таки ее разбудили! Не ласковым шепотом, потому что его бы Котькина совесть не услышала, а резким рывком. Но ведь и спящего человека порой приходится расталкивать. А то и вытаскивать из-под него матрас, если он ни в какую не желает просыпаться.

Пробудившись же, Котькина совесть начинает действовать уже по собственному почину. Волнуясь за сторожа, Котька признается ему, что один огурец он по дороге съел. И хотя сторож говорит: “На здоровье!”, не успокаивается. Еще недавно он доказывал маме, что это не воровство, а теперь спрашивает: “Как будет считаться, украл я его или нет?”

И только получив ответ: “Считай, что я тебе подарил его”, уже со спокойной совестью возвращается домой. Так что ни одно из маминых слов не пропало зря. А главное, на душе у Котьки РАДОСТНО.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Среди вопросов, которые чаще всего задают сегодня родители, преобладают прагматические: как подготовить ребенка к школе, какую школу выбрать, как научить учиться и помочь справиться с психологическими трудностями, с какого возраста и в каких количествах стоит давать карманные деньги.

Вопросы морально-этического плана тоже, конечно, возникают. Родителей тревожит, если ребенок агрессивен, обижает братьев или сестер. Они не любят, когда он жадничает, врет и ленится (лень, по их мнению, опять-таки выражается в нежелании учиться, поскольку выполнение домашних обязанностей многие семьи почему-то списали в архив, и от детей этого даже не требуют). И, конечно, нормальная семья не хочет вырастить наркомана. Но наиболее живой интерес, по моим наблюдениям, вызывают следующие темы: как научить ребенка постоять за себя, надо ли его сексуально просвещать и если да, то с какого возраста и в какой форме. А главное, как бы так сделать, чтобы он не чувствовал себя среди сверстников белой вороной, но при этом не пошел вразнос. Нетрудно заметить, что подобные вопросы носят конформистский характер. Признавая, что общество, в котором мы живем, тяжело больно, а современная масс-культура является источником разврата, большинство родителей не пытается изменить порядок вещей, а стремится, чтобы их ребенок в это больное общество как можно успешней вписался. При этом очень многие оказываются совершенно не готовы к вполне естественным последствиям такой “социализации”. Хотя как можно рассчитывать на то, что ребенок впишется в аморальное, расчеловечивающееся общество без ущерба для своей нравственности, характера, поведения?

Если поинтересоваться, каким люди хотели бы видеть своего ребенка в будущем, многие, не сговариваясь, указывают на главные атрибуты успеха, под которыми в первую очередь понимаются хорошее образование и престижная высокооплачиваемая работа. Конечно, так отвечают далеко не все, однако популярность общепринятых еще недавно слов “хочу, чтобы вырос хорошим человеком” заметно снизилась.

Перечисление личностных качеств, необходимых для достижения идеала, более разнообразно. Но есть и некая, опять-таки общая закономерность. В списках этих довольно редко фигурирует СОВЕСТЛИВОСТЬ. Не странно ли? Особенно если учесть, что родители, приходящие на наши лекции, занятия и консультации, в подавляющем большинстве – православные. А какое Православие без покаяния? А покаяние – без испытания совести?

Тогда в чем дело? Почему развитие в детях такого важнейшего качества ускользает от внимания родителей, когда они размышляют о будущем своих отпрысков? Я думаю, это происходит произвольно, как бы само собой. Ведь ход наших мыслей сильно зависит от того, на что именно мы настроены. Те же самые родители, когда их тревожит детское поведение, про совесть (точнее, про ее отсутствие) вспоминают без подсказок. Когда же речь идет об успешном встраивании в современный мир, который весьма далек от христианской морали и нравственности, такое качество, как совесть, “само собой” отодвигается на задний план. Что вполне закономерно, ибо она во многих случаях будет не способствовать, а мешать достижению успеха.

Но совесть не проездной билет, который предъявляется в строго определенных местах. И не музыка, которую, по нашему желанию, можно включить то тише, то громче. Если ребенка не приучают постоянно прислушиваться к голосу Божию в своей душе, а то и позволяют игнорировать его в угоду требованиям века сего, совесть начинает напоминать о себе все тише и реже. И постепенно может заглухнуть совсем. Когда же ребенок “вдруг” совершает некий уже откровенно бессовестный поступок, родители бывают шокированы, растеряны, возмущены. Как же так?! Он не мог этого сделать! Мы его этому не учили!..

А ведь на самом деле он просто пытался добиться успеха, на который его с детства нацеливали мама с папой. Ну, а неразборчивость в средствах... Так ребенка особо и не учили разбираться, делая акцент на результате, а не на процессе! Совесть же, которая могла бы подсказать сама, независимо от внешней направляющей, толком не научилась говорить.

Получается, что родители сами не очень-то понимают, чего они хотят от ребенка, их собственные установки путаны и противоречивы (в психологии это называется “когнитивный диссонанс”). Цельную, гармоничную личность воспитать при этом, разумеется, весьма затруднительно.

“При образовании чрезвычайно вредно развивать рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, — справедливо отмечает крупный православный богослов и педагог Н. Е. Пестов, — на сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце — жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни” (Н. Е. Пестов. Душа человеческая. М., Прав. братство св. ап. Иоанна Богослова, 2003, стр. 33).

Но ведь и раньше далеко не все в обществе было идеально! Хотя пока государственные законы и общественная мораль не шли вразрез с христианством, воспитывать детей в христианском духе было неизмеримо легче. Однако и тогда в жизни нередко преуспевали лицемеры, процелыги и интриганы, а вовсе не порядочные, совестливые люди. Грибоедовское восклицание: “Молчалины блаженствуют на свете!” — недаром стало крылатой фразой. А Салтыков-Щедрин, тот вообще спустя четверть века написал сказку “Пропала совесть”, где остроумно и доходчиво показал, как мешает преуспеянию подброшенная в карманы персонажей совесть, и как все они спешат от нее избавиться. Правда, Щедрин был сатирик (значит, любил гиперболы) и, как нас учили в школе, революционный демократ... Однако и Николай Васильевич Гоголь, который революционным демократом не был, в данном отношении мыслил очень похоже. И даже вкратце обрисовал процесс воспитания человека, с детства ориентированного на богатство и успех.

“Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и талант Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчуй никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой”, — такое наставление дал отец Чичикову, по вполне понятным причинам ни разу не упомянув при этом о совести.

Павлуша намотал на ус, творчески развил папины воспитательные идеи: припрятывал полученное от товарищей угощенье и потом им же его продавал, спекулировал продуктами, беззастенчиво заискивал перед учителями. “Дело, — пишет Гоголь, — имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоверение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами: за примерное прилежание и благонадежное поведение”. Что получилось из всего этого дальше, надеюсь, напоминать не нужно.

Но к счастью для нас и для России, большинство наших предков в те далекие времена придерживалось иной воспитательной стратегии. В этом отношении полезно познакомиться с опытом княгини Евдокии Николаевны Мещерской, урожденной Тютчевой. Она тоже желала дочери счастья и тоже давала

наставления. До наших дней дошла тетрадь, исписанная ее рукой и озаглавленная “Беседы с моей дочерью”. Тетрадку эту мать вручила девочке, когда ей исполнилось 10 лет, и до шестнадцатилетия Анастасии каждый год вносила ко дню ее рождения новые записи, подводя очередные итоги и намечая новые перспективы. В этих беседах говорится и про прилежание в учебе, и про уважение к учителям, и про друзей, и даже про деньги. Но угол зрения совершенно иной – христианский. Никакого когнитивного диссонанса, все цельно, стройно, гармонично. “Держись неуклонно нашего христианского закона (учения), который предписывает смирение, кротость, послушание, искренность, соучастие к ближним как в радостях, так и в печалях, обходительность с каждым, трудолюбие, – пишет мать, – учись избегать гордости и тщеславия, но не быть льстивой, говорить разумно, но не употреблять ума на то, чтобы говорить чего не чувствуешь (это было бы гнусное притворство), соблюдать во всем благопристойность и скромность, столь любезные в человеке, а наипаче в женщине” (“Женская Оптина”. М., “Паломник”, 2007, стр. 25).

Намечен и путь к достижению счастья. Счастья не мимолетного, оставляющего после себя разочарование и тоску, а настоящего, которое никто и ничто отнять у человека не может. “В постоянном стремлении своем к счастью человек должен внимательно прислушиваться к внушениям своей совести, – поучает княгиня. – В несчастьи, в болезни, в бедности, в незаслуженном и обидном забвении от других людей он найдет в своей совести, не помраченной никаким постыдным делом, в ее покое утешение своему горю. Укоризны же совести тяжки безмерно. Человек, имеющий покойную совесть, познается по неуклонному и усердному исполнению своих обязанностей” (там же, стр. 30). Иными словами, совесть – это как бы некая точка кристаллизации, вокруг которой выстраивается цельная, стремящаяся к богоподобию личность.

Говоря об утешении в скорбях, княгиня глубоко прочувствовала это на собственном опыте, ведь через два месяца после свадьбы она в двадцать два года осталась вдовой, и утешали ее лишь мысли о ребенке, которого она носила во чреве. Замуж Евдокия Николаевна больше не вышла, и все тяготы воспитания дочки, ведения хозяйства, управления имуществом и т. п. легли на ее еще юные женские плечи. Когда читаешь наставления Е. Н. Мещерской, кажется, что их дает умудренная опытом старлица. А ведь ей тогда было чуть за тридцать! “По плодам их узнаете их”, – сказал Христос (Мф. 16:18). Плоды были добрыми и обильными: дочь выросла благочестивой, стала хорошей женой и матерью, родила семерых сыновей и пятерых дочерей. А княгиня Евдокия Николаевна воспитала еще несколько сирот и основала Борисо-Глебский женский Аносин монастырь, где была первой настоятельницей. А впоследствии в этом монастыре подвизалась и настоятельствовала ее внучка Евгения (Озерова).

НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ

Совесть тесно связана с понятием стыда. Даже пословица существует: “Есть совесть – есть стыд, а стыда нет – и совести нет”. Со стыдом сейчас из рук вон плохо. Достаточно выйти на улицу и поглядеть на щитовую рекламу, на женские наряды, включить телевизор, войти в интернет.

Характерно, что и сильно возросшая за последнее десятилетие детская демонстративность нередко отличается именно бесстыдством. Дети не просто кривляются, как обезьянки, а имитируют непристойные жесты и повадки. Их интересы, лексика, игры вульгарно сексуализированы; манеры и внешний вид свидетельствуют не просто о желании выделиться, а о желании выделиться своей распушенностью. Не стоит думать, что детская демонстративность всегда выглядела так. Вообще-то она бывает разная и вовсе необязательно предполагает отсутствие стыда (а значит, и совести). Можно “интересничать”, изображая томность и привередливость (в это играть не хочу, в это хочу, сегодня с тобой дружу, завтра – пошел вон), можно пытаться казаться умнее, взрослее, с важным видом рассуждать о вещах, в которых на самом деле еще ничего не смыслишь; можно, наоборот, изображать маленького, сюсюкать. Можно демонстративно обижаться, можно привлекать к себе внимание, изображая котеночка, щеночка, какого-нибудь сказочного персонажа. Короче говоря, существует немало детских форм демонстративного поведения, в которых

нет ничего неприличного, где развратом даже не пахнет. Но поскольку дети раздражают тому, что видят вокруг, а вокруг идет просто оголтелая пропаганда разврата, “смещение акцентов” детской демонстративности неудивительно.

Стыдно бывает перед людьми, а совестно перед собой, ведь совесть – внутренний голос. Никто, кроме самого человека, его не слышит. “Совесть, – как указывает доктор психологических наук Т. А. Флоренская, – более глубокое и зрелое переживание, побуждающее к осознанию нравственного нарушения”. Если голос совести звучит отчетливо, то внешних воздействий в виде поощрений и наказаний не требуется. Сейчас для многих родителей вопросы поощрения и наказания детей вышли на первый план именно потому, что в детях не развиты стыдливость и совесть.

А как они могут быть развиты, если маме самой не стыдно?

Маленькая городская зарисовка: водитель автобуса, то ли с Кавказа, то ли из Средней Азии, видимо, недавно работает на маршруте и перепутал дорогу. Мужчины, человек десять, молчат, ожидая, когда шофер сам вырулит на нужную улицу. Проходит несколько минут. Симпатичная молоденькая мама не выдерживает и, обложив шофера громоздким матом, командует мужу: “Иди покажи этому козлу дорогу!” Полуторогодовалый сынишка взирает на эту сцену из прогулочной коляски и впитывает впечатления.

А вот обрывки разговоров мамочек на детской площадке:

- Я вчера так устала! Пришла домой и вырубилась!..
- Тебе хорошо, у тебя характер такой – ты и в школе не парилась. А я даже в институте из-за оценки на экзамене всех готова была порвать!
- Чего ревешь?! <Это двухлетнему малышу.> Ты же мужик!
- Мой вчера нажрался – лыка не вязал..
- Да ладно! С кем не бывает! (Далее идут воспоминания молодости: как хорошо когда-то сами “погудели”, кто сколько выпил и где валялся; все это рассказывается без малейшего стеснения, а, наоборот, с большим удовольствием.)

И что характерно, с виду это совсем не оторвы, а вроде бы нормальные молодые женщины, что называется “из хорошей семьи”, учились в “нормальных” школах (так сейчас говорят про лицей или гимназии), получили или получают высшее образование. То есть, это не люди низкого пошиба, не полууголовные элементы, для которых всегда были характерны развязность и бесстыдная бравада своими безобразиями, а тот самый средний класс, который, по идее, служит оплотом стабильности общества. А значит, и оплотом культуры, ведь если общество утрачивает культуру, оно автоматически начинает деградировать, распадаться.

Если заглянуть на интернет-форумы, то вообще волосы встанут дыбом. В каких выражениях и подробностях делятся сейчас женщины опытом рождения ребенка и оценивают роддома... Цитировать не буду, желающие могут ознакомиться со “срамными глаголами” сами. И что самое показательное, собеседники они не шокируют! Девушки не видят в такой манере выразиться ничего постыдного. А если кто-то и видит, то предпочитает помалкивать. Наверное, чтобы не нарваться на хамство или не прослыть ханжой.

Некоторые актрисы, которых СМИ (да они сами) называют православными, снимаются голыми. На вопрос, как относится к этому их ребенок, отвечают: “Нормально. Это работа”. Еще больше женщин мечтает о карьере модели для дочек. Во всяком случае, соответствующие агентства не испытывают нехватки кадров. Одна такая мать упорно искала хорошего психолога, причем обязательно православного, поскольку (она это особо подчеркивала) дочь с детства в церкви, и не нужно, чтобы какой-нибудь светский специалист задурил ей голову. Что же волновало маму? Может быть, то, что дочь, которую она с десяти лет отдала в модельный бизнес, рекламирует бикини и даже фотографируется обнаженной, но с крыльями за спиной, изображая ангела? – Отнюдь. Мама расстраивалась, что дочка выросла... закомплексованной, не уверена в себе, и от этого находится в состоянии хронической депрессии.

Другая мама, интеллигентный человек, кандидат наук, зачем-то согласилась принять участие в телепередаче, где родственники (вместе с ней в студию пришли ее уже весьма пожилая мать и взрослая дочь) склочничают и предьявляют друг к другу претензии за свою неудавшуюся жизнь. А потом выясняется, что все их беды проистекают от неумения модно одеться и создать привлекательный имидж.

– Зачем она туда пошла? – неумевала моя подруга. – Зачем позорилась? Я же эту семью сто лет знаю. Нормальные люди, ничего похожего на то, что говорилось в передаче, про них не слышала. Что они там плели?! Как теперь людям будут в глаза смотреть?

А так и будут – спокойно и даже с гордостью. Их же никто не заставлял участвовать. Я даже допускаю, что на самом деле это был постановочный эпизод. Кто-то из знакомых, работающих на телевидении, предложил сняться в передаче, озвучить заранее заготовленный текст и получить в награду комплект модной одежды, которая якобы должна разрешить все жизненные и семейные трудности. И люди подумали: “А что такого? Ну, поучастуем. Мы же не взаправду будем друг с другом ругаться”.

А то, что в такой телескопке в принципе участвовать стыдно, независимо от того, всамделишной там обливают друг друга грязью или нафантазированной сценаристом, уже ускользает от понимания. На фоне откровенного повседневного разврата это в порядке вещей.

ПОНЯТИЕ ГРЕХА ОБЛЕГЧАЕТ ВОСПИТАНИЕ

Между тем дети очень рано и без подробных объяснений понимают слово “грех”. Меня всегда это поражало, ведь и слово не из сегодняшней жизни, и смысл его не такой уж простой. Сколько взрослых грешит “бесстыдно, беспорочно”, а пойдешь докажи, что грешат. Сколько ни бейся – ничего не докажешь, если у человека “своя правда”. Но детская душа, еще не замутненная страстями и пороками, проявляет куда большую мудрость и легко понимает то, что потом, во взрослом возрасте, может отказываться воспринимать.

Когда моя дочь была маленькой, слово “грех” в обиходной речи почти не употреблялось. Конечно, его все знали, но оно было непопулярно, пахивало “религиозным мракобесием”, а значит, неблагонадежностью, которую тогда тоже называли иначе: про благонадежного человека принято было говорить, что он политически грамотен и морально устойчив.

Я не помню, из-за чего разгорелся сыр-бор, что именно натворили мои дети. Вряд ли нечто из ряда вон выходящее, они вообще-то были не хулиганистые. Но тем не менее провинность была, и – это я запомнила хорошо – мне никак не удавалось донести до них, что так себя вести нельзя. Восемилетний сын доказывал свою правоту и кивал на товарищей: дескать, их за то же самое не ругают. Я приводила аргументы, но они казались ему неубедительными, он все больше входил в раж, спор грозил затянуться до ночи. Трехлетняя дочка с силу возраста в наших дебатах полноценно участвовать не могла, но внимательно наблюдала за их ходом и, судя по выражению лица, поддерживала брата. Я почувствовала себя в тупике. Можно было, конечно, наказать ребят и тем самым положить предел дискуссии. Но воздействовать силовыми методами, не добившись понимания, мне не хотелось, поскольку я не сомневалась, что в этом случае все повторится вновь. И тут я неожиданно для себя самой воскликнула:

– Ну, что тут долго доказывать?! Нельзя так себя вести! Понимаешь? Нельзя! Это грех.

И он так же неожиданно понял. И не только он, но и малышка. Причем даже быстрее брата. Я это сразу увидела по глазам. Секунду назад они смотрели исподлобья, не по-детски напряженно и набыченно, как бы отгораживаясь от меня и от моих слов. А упоминание о грехе, будто копьем, пробило незримую стену, и я сразу увидела, что детям стало стыдно. Не страшно, что мама сейчас разгневется, а именно стыдно. И мне не пришлось даже маленькой дочке объяснять значение незнакомого слова. Потому что в глубине души они изначально понимали мою правоту, но своеволие мешало это признать, им хотелось настоять на своем. А непривычно звучащее, но такое важное для души слово мгновенно расставило все по местам.

Пару лет назад школьная подруга вспомнила эту историю и сказала, что ее тогда поразила моя фраза: “Понятие греха облегчает воспитание”. Она показала ей странной и спорной. (Мы тогда вообще любили спорить “до хрипоты”, это считалось признаком интеллигентного человека.) Но прошло время, и на примере собственных детей она убедилась, что да, действительно легче. Хотя в храм до сих пор не пришла...

Так что в деле нравственного воспитания положение у православных мам куда более выигрышное, чем у невоцерковленных женщин. На первый взгляд, может показаться наоборот, ведь верующие люди часто идут вразрез с веяниями времени и треплют себе нервы из-за того, на что невоцерковленный человек в наши дни даже внимания не обратит. Но тишь да гладь, когда все в семье довольны, вовсе необязательно свидетельствует о том, что семейный корабль движется в верном направлении. Если им не управлять, то легко налететь на риф или сесть на мель. Да и затишье нередко бывает перед бурей.

Зато у православных матерей есть четкие и незыблемые опоры в этом “вечно меняющемся”, как бесовское наваждение, мире. Христос всегда один и тот же. Часто бывает достаточно лишь подумать: а как бы Он велел нам поступить в той или иной ситуации – и там, где только что был туман, сразу появится ясность.

Разумеется, я не призываю мам напустить на себя суровость и постоянно тыкать ребенка носом, что грех, а что нет. Такие “лобовые атаки” не могут быть частыми, иначе острота восприятия притупится, может произойти девальвация важнейших понятий и слов. Воспитание личности – процесс очень индивидуальный, ведь каждая личность неповторима. Тут неуместны шаблоны, хотя, на первый взгляд, это так облегчает жизнь. С кем-то надо построже, с кем-то помягче. Кому-то достаточно заметить, что мама расстроилась, и уже станет стыдно, совесть заговорит. Но таких от природы чутких, совестливых детей с твердым нравственным стержнем, которых и воспитывать-то особо не надо, потому что они сами все понимают с полувзгляда, единицы. Поэтому без того, что на языке информационной войны презрительно названо “морализаторством” и “давлением”, не обойтись. В условиях, когда дети так дезориентированы, как сейчас, им часто приходится объяснять даже очень, казалось бы, простые и очевидные с точки зрения нравственности вещи. Ведь традиционные ценности упорно стараются опозлить, а цинизм, наоборот, сделать привлекательным. Например, по радио со смешком повторяют новоиспеченный афоризм “У меня совесть чиста: я ей не пользуюсь”, а в интернете появляются немые видео еще недавно рассказы про страшного монстра под названием совесть, который всех грызет и пилит, и скрежещет. И бывает она только у угрюмых и мрачных людей, а у самого автора, по его собственному признанию, совести нет.

В таких, мягко говоря, непростых условиях не морализаторства, а аморальности надо бояться. Надо бояться того, что у сбитого с толку ребенка вообще не сформируются нормальные представления о жизни, и он вырастет нравственным калекой, моральным уродом. Умным людям и раньше мифы о “недирективной” педагогике были смешны. Архимандрит Рафаил (Карелин) вспоминает, как однажды основоположник гуманистической педагогики, известный американский психолог Роджерс гостил в Тбилиси. “От своих коллег, – пишет автор, – он узнал, что здесь существует неофициальная группа молодежи, которая изучает психологические проблемы, особенно проблемы взаимоотношений и общения. Он заинтересовался их работой и выразил желание познакомиться с руководителем этой группы Виктором Криворотовым. После беседы с ним Роджерс сказал: “Вы хотите на основе христианской концепции решать вопросы психологии, например, вы даете ребенку уже готовую нравственную программу, а на самом деле надо создавать условия для свободного развития естественного нравственного потенциала, заложенного в самом ребенке, без внешнего воздействия и принуждения”. На это Криворотов ответил: “Если в своем саду вы создадите возможность для свободного роста и размножения всех растений без разбора и устраните вмешательство садовника, то сорняк заглушит цветы”. Роджерс не смог ничего возразить и только произнес авторитарным тоном: “Этого не будет”, почти буквально повторив известное выражение чеховского героя: “Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда”. Присутствующие молча улыбнулись, и то слегка, чтобы не обидеть престарелого гуманиста, который был их гостем” (Архим. Рафаил (Карелин) “На пути из времени в вечность”. Издательство Саратовской епархии, 2008, стр. 473–474). Сейчас опасность подобных благоглупостей очевидна любому вменяемому человеку. Слишком много семей на своем трагическом опыте убедились, чем чреват такой “недирективный, гуманистический” подход.

И не “давления” на детей следует сейчас бояться, а того, что наши законодатели, выполняя требования Совета Европы по защите прав ребенка, зап-

ретья домашние наказания. А такой закон будет означать, что детей нельзя не только шлепать или ставить в угол, но и вызывать у них чувство вины, поскольку это насилие. То есть апелляция к совести тоже окажется под запретом. И за разговоры про грех, подобные тем, которые я вела с сыном и дочкой, можно будет получить штраф, а то и схлопотать срок.

ЧТО ПОМОГАЕТ ПРОБУДИТЬ СОВЕСТЬ?

Но как же все-таки не превратить нравственное воспитание в дубину, от которой дети будут потом шараться в разные стороны? Ведь не секрет, что излишнее давление и излишнее морализаторство действительно могут вызвать протест. Для того чтобы мамыны поучения не навязли в зубах, ей необходимо иметь с детьми не формальные и не напряженные, а по-настоящему родственные, теплые, доверительные отношения. Нужно знать душу своего ребенка, знать, чем он дышит. Нужно преграждать доступ в его душу всякой мерзопакости, потому что иначе она будет дышать смрадом и оскверняться. Нужно давать ребенку душеполезные знания и впечатления. А для этого необходимо время. Если мама видит детей урывками: утром, торопясь на работу и спешно собирая их в садик и школу, а вечером, впопыхах готовя ужин и торопясь затолкать в постель, чтобы “выкроить хоть часок для себя”, дети с малолетства привыкают, что их жизнь течет в каком-то ином, внесемейном пространстве. И отдаляются, не успев приблизиться.

Очень важно действовать, как сейчас говорят, “на позитиве”: не лениться подмечать правильные, совестливые поступки ребенка и выражать по этому поводу свое одобрение и радость. Мы же гораздо чаще замечаем, когда что-то не так, и начинаем “песочить”. А ведь ребенок быстрее и охотней воспримет ваши слова, когда они у него будут связаны с чем-то приятным, а не со слезами и обидой. Допустим, сын-первоклассник обычно шумит, не желая считаться с тем, что у его маленькой сестренки послеобеденный сон. Не надо взывать к его совести, если вы видите, что ваши воззвания не производят должного эффекта. Лучше накажите. И если назавтра, памятуя о том, как вчера он из-за своей вредности лишился чтения на ночь, сын поведет себя более или менее сносно, не просто похвалите, а подчеркните его совестливое, благородное поведение. Не напоминайте о вчерашнем наказании, а скажите, что умные, взрослые люди – такие, как он – понимают, что нарочно шуметь и будить малышей стыдно. А бывают такие глупые эгоисты, у которых совесть не просыпается ни к десяти, ни даже к пятнадцати годам! И что вы одного такого когда-то знали. Никто с ним не то что дружить, а никаких дел вообще иметь не хотел! Если выбрать такую тактику, то в скором времени уже не вы сыну, а он вам будет напоминать, что когда Лиза спит, шуметь нельзя.

Кстати, о чтении на ночь. Во многих литературных произведениях, в том числе предназначенных для детей, тема совести, греха, покаяния звучит очень отчетливо и проникновенно. Иначе и быть не может, ибо фундамент у русской и европейской культуры христианский. “Звездный мальчик”, “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”, “Незнайка”, “Буратино”, “Два брата” Е. Шварца, тот же носовский рассказ “Огурцы” и “Косточка” Л. Толстого, “Черная курица” А. Погорельского дают мамам прекрасную возможность донести до ребенка, как важно жить в ладу со своей совестью. Но надо не только читать, а и обсуждать прочитанное, вместе размышлять, задавать вопросы, не рассчитывая на то, что ребенок и без ваших объяснений все поймет правильно.

А какая богатейшая, поистине неисчерпаемая сокровищница положительных примеров открывается перед православными матерями! Сколько возвышенных, чудесных и в то же время невыдуманных историй, которые трогают не то что детские, а и многие взрослые, огрубевшие сердца! Надо только самим не лениться расширять свой кругозор, а то среди современных родителей есть тенденция не напрягаться, ожидая, пока “компетентные специалисты” предложат им готовый конечный продукт типа списка рекомендуемой литературы, фильмов и т. п.

Огромная помощь исходит и от молитв. Не только в том смысле, что материнская молитва имеет особую силу, “со дна достает”, а и потому, что в тексте молитв за детей четко сказано, что именно надо в детях возвращать, а от чего уберегать. “Даруй мне разум убедить их, что истинная жизнь состо-

ит в соблюдении заповедей Твоих; что труд, укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмятежное довольствие и в вечности — неизреченное блаженство <...> Насади в их сердце ужас и отвращение от всякого беззакония <...> Да не порочат Церкви Твоей своим поведением, но да живут по ее предписаниям! Одушеви их охотою к полезному учению и соделай способными на всякое доброе дело! Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии; да просветятся познаниями, благодетельными для человечества. Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и сердце детей моих опасение содружеств с незнающими страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными. Да не внимают они гнилым беседам, да не слушают людей легкомысленных, да не совратят их с пути Твоего дурные примеры, да не соблазняются они тем, что иногда путь беззаконных благоуспешен в сем мире!” — мамам, внимательно вчитывающимся в текст этой молитвы, которая некогда раздавалась в Казанской Амвросиевской женской пустыни при селе Шамордино, становится понятно, какое образование следует считать хорошим, на какую работу детей нацеливать. Им уже не так-то просто задурить голову тем, что запретами якобы ничего не добьешься и что нельзя делать ребенка белой вороной, оберегая его от помоечной масс-культуры, которой наслаждаются его сверстники. “Мать, рождая дитя, дает миру человека, а потом должна она в нем же дать небу ангела, — писал свт. Иоанн Златоуст. — Нет более высокого искусства, чем искусство воспитания. Живописец и ваятель творит только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуется Бог и люди”. Шамординская молитва уточняет, конкретизирует этот образ.

С другой стороны, когда мать приучает детей, молясь перед сном, не просто просить у Бога, чтобы все было хорошо, а вспоминать какие-то свои проступки, она тем самым тоже исподволь пробуждает в детях покаянные чувства. Подрастая, ребенок уже читает утреннее и вечернее правило, молитвы перед Причастием и, в отличие от своих невоцерковленных сверстников, узнает из них, что есть грех, привыкает испытывать свою совесть. “Научайте детей не словам только молитвы, а знакомьте их с состоянием и опытом молитвы, — советовал архиеп. Амвросий Харьковский. — Не делайте молитву слишком краткой, не бойтесь за усталость детей, введите их в труд молитвы, объясняя им науку собирания мыслей и бодренного предстояния ума перед Богом. Молитесь сами при них с горячностью и усердием: теплота вашего сердца сообщится и их сердцам, они узнают утешения, находимые в молитве, и она будет для них отрадой и прибежищем во всех испытаниях и скорбях жизни. Раскройте им науку испытания помыслов и внутренней борьбы с мыслями и склонностями греховными. Расскажите им по мере их возраста историю зарождения греха в едва осознаваемой мысли, его возрастание в волнении чувств и влечениях сердца, его бурные движения в порывах страстей, его крайние обнаружения в делах преступных — и тогда будет для них нечистая мысль так же страшна, как преступное дело. Укажите им нашу немощь в борьбе с грехом и постоянную потребность в помощи Божией. Дайте им опыты внутренней победы над злом силой призывания имени Господня, и тогда они будут отпущены в мир, исполненный нравственных опасностей, с оружием в руках”.

Конечно, все это возможно только при серьезном отношении к вере. Но в детстве это ведь тоже во многом зависит от матери. И далеко не последнюю роль здесь играет именно пробуждение совести, потому что она не позволяет, узнав о Христе, игнорировать Того, кто столько для нас сделал и так за нас пострадал.

В августе 2011 года мы наблюдали по ТВ картину настоящего бунта, вспыхнувшего в лагере мигрантов в Италии. Молодые, сильные мужчины 25—30 лет забрасывали булыжниками итальянскую полицию, которая совсем недавно спасала их от гибели на утлых судах у берегов Италии.

Мигранты выдвинули ультиматум: “Немедленная выдача вида на жительство и социальные гарантии!”. Даже невооружённым глазом было видно, что итальянские власти впали в ступор перед лицом этого “боевого клича”.

Глубоко символично, что эти требования перекликаются с циничными лозунгами молодых мигрантов второго поколения во Франции: “Дайте нам социальные пособия, а на ваши законы нам наплевать!”

В августе 2011 года в мигрантских кварталах Лондона, Бирменгема, Ливерпуля вспыхнули яростные бунты молодёжи, которые переросли в самые настоящие погромы. По сообщениям СМИ, 90% их участников — дети мигрантов.

Такое поведение, безусловно, вызывает протест в Европе. Свои позиции укрепляют крайне правые силы в Норвегии, Дании, Франции, Швейцарии. Наблюдается усиление влияния неонацистских группировок в Германии.

О провале мультикультурного проекта вынуждены были заявить лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Николя Саркози.

В этой связи автор этих строк обратился с просьбой к своему давнему другу в Германии прокомментировать развитие миграционной обстановки в ФРГ и Европе в целом.

*Владимир Родин,
советник 1 класса МИД РФ в отставке*

ПЕТЕР АНДЕРСЕН

доктор экономических наук

МИГРАНТЫ БЕРУТ ЕВРОПУ НА АБОРДАЖ

Тот, кто осведомлён о настроениях исламской диаспоры в Европе, знает, что не только исламисты мечтают о господстве ислама в Европе, но и обычные мусульмане действуют в этом направлении. Они хотят превратить Европу — путём демографической исламизации, наплыва мигрантов — в Дар аль-Ислам (Дом ислама).

В таком духе высказался гёттингенский социолог и критик ислама Басам Тиби. Чтобы не слишком “высовываться”, он решил проявить осторожность в своём прогнозе: “Речь идёт не о том, чтобы выдворить ислам из Европы, а примирить его с Европой, сделать Евро-Исламом”.

Политики и другие представители общественности в Европе, и в первую очередь в Германии, боятся открытой дискуссии по этому вопросу, как чёрт ладана.

Эти “хорошие люди” и политические слепцы выдвигают поэтому путаные идеи, с тем чтобы повлиять на общественное мнение: мусульмане, дескать, обогащают общество, создавая “радостную, яркую картину” мультикультурности в стране. Но если эти “хорошие люди” сталкиваются со скептическими оценками, они пускают в ход другой аргумент: массовый приток неизбежен в связи с сокращением коренного населения. Эти “творцы” общественного мнения свили уютные гнёздышки в политических партиях, профсоюзах, церк-

вах, СМИ. Они получают от этих институтов неограниченную поддержку с целью заглушить любую деловую дискуссию на эту тему. А тех, кто нарушает покой, созданный в результате интеллектуального истощения, подвергают такой “публичной порке”, что у них пропадает всякое желание участвовать в дальнейшей дискуссии.

На этом фоне приходит – более или менее открытая – ползучая исламизация Германии и Европы.

Рациональная миграционная политика, как, например, в Австралии или Канаде, в Европе даже приблизительно не практикуется. Надо признать, что страны с колониальным прошлым: Англия, Франция, Голландия и Бельгия – имеют исторически сложившиеся связи с бывшими заморскими территориями. Мигранты, прибывшие оттуда, имеют, по крайней мере, языковые или культурные общности с бывшей колониальной державой. В этом случае приток мигрантов не приводит к таким изменениям в обществе и культуре, как, например, в Германии или скандинавских странах.

Алжирец, говорящий по-французски, знакомый с французским образом жизни, системой управления, общественными нормами принимающей стороны, не столкнётся с серьёзными проблемами в Париже или Марселе. Таким преимуществом не обладает прибывший из Турции в Германию в качестве мигранта отец семейства из 12 человек, поскольку он не знает немецкого языка и не имеет опыта проживания в соответствующей общественно-культурной среде. Здесь происходит столкновение всех аспектов различных культур. Не случайно в крупных городах Германии возникают гетто, где не требуется ни знания языка, ни готовности к интеграции.

Ситуация в Европе неоднозначна, но её можно свести к одному показателю. История учит, что приток мигрантов в ту или иную страну создаёт проблемы в тех случаях, когда мигранты в экономическом плане более успешны, чем местное население, или же количество мигрантов настолько велико, что люди в принимающей стороне видят в них угрозы для своей исторически сложившейся идентичности и чувствуют себя “потеснёнными”.

Учитывая, что основная масса мигрантов в Европе не обладает превосходством в области профессиональной подготовки для работы на производстве, то все проблемы с их приёмом в Европе возникают исключительно в связи с их динамично возрастающей численностью из-за высокой рождаемости. Этим мигрантов называют “лицами, ищущими убежище” или “беженцами”. На самом деле речь идёт – за небольшим исключением – о людях, которые хотя и просто-напросто “внедриться в социальные системы” и получать пособия “за здорово живёшь”. Какой-нибудь отец семейства из Турции может только мечтать о такой жизни, когда он может не работать, а “жить припеваючи” за счёт социальных и детских пособий. С его точки зрения – это вполне рациональное поведение, за что его никто не может упрекнуть. Решающий фактор состоит в том, что в Германии и Европе волшебное слово “Азюль” (убежище) сметает напрочь все деловые аргументы для проведения разумной миграционной политики. Кроме того, над нами постоянно висит дамоклов меч – возможное вступление Турции в ЕС.

Такое развитие привело фактически к тому, что экономическая эффективность Германии оказалась под угрозой. Социальные системы приходят в упадок, и государственные бюджеты трещат под тяжестью долгов. В отчаянии политики пытаются держать обстановку под контролем. Для этого они повышают налоги на доходы населения и увеличивают другие поборы. Если сюда добавить “дремлющие риски”, которые возникают, прежде всего, для Германии, которая вынуждена финансировать “спасительный зонтик” для “маломощных” членов ЕС, то станет ясно, что в Германии создана “иллюзия благосостояния”, которая в любой момент может лопнуть. На фоне этого развития не стоит удивляться, что ежегодно около 100 тысяч молодых немцев с хорошим профессиональным образованием уезжают за границу. Они понимают, что социальные системы в Германии не дают им никакой гарантии в старости и что они вынуждены считаться с постоянно растущими налогами на доходы граждан.

Если в 1960 году в Европе проживало 600 тысяч мусульман, то сегодня – 30 миллионов. И эта самая массовая миграция в истории человечества беспрерывно продолжается. Год за годом в Европу прибывает 1 млн мусульман. Совершенно легально, в плане воссоединения семей в качестве мигрантов или политических беженцев. Этому нашествию Европа, видимо, ничего не

может противопоставить. Её западная часть, которая по-прежнему рассматривается как регион благосостояния, стоит перед лицом такого развития, будучи бессильной, боязливой и неспособной к сопротивлению. Эта Европа говорит красиво, она называет себя гуманной, либеральной и открытой всему миру, не признавая, что своим поведением она отдаёт на разграбление свои фундаментальные ценности. Если она позволяет, чтобы здесь – при финансировании, прежде всего, со стороны Саудовской Аравии и Турции – строились новые мечети и исламские школы, в то время как христианские церкви закрываются или используются в коммерческих целях, то это сигнал к тому, что Европа готова к капитуляции.

Имеется ли выход из этой ситуации? Для Германии решающий фактор состоит в том, что немецкая часть населения стареет и из-за низкой рождаемости значительно сократится в ближайшие годы. С исламской точки зрения это идеальное условие, чтобы вторгнуться в этот вакуум. Может быть, прав Вурон Ёгер, немецко-турецкий член СДПГ, когда провозглашает во влиятельной турецкой газете “Хюрриет”: “То, что осадой Вены в 1683 году начал султан Сулейман, мы осуществим с нашими сильными мужчинами и здоровыми женщинами!” Ёгер умалчивает, что в 1683 году Сейман потерпел под Веной поражение и обратился в бегство под натиском христианских войск Европы.

Европа не может сегодня силой решить проблему ислама и беженцев. Но было бы желательно поучиться у наших предков стойкости и воле к самоутверждению.

В принципе Европа не принимает никаких мер, чтобы остановить приток мигрантов, которые в этих условиях усиливают давление на правительства европейских стран. “Правовая безопасность”, которой пользуются экономические беженцы и лица, “ищущие политического убежища”, практически означает право на пребывание для каждого, кому удастся “поставить ногу на немецкую землю” и попросить убежище. Если цыганскую семью выдворяют в Косово, то за ней следует целая группа немецких телевизионщиков, чтобы доказать общественности, что там творится “неописуемое бесправие над людьми”.

Учитывая, что европейская интеграция находится на сравнительно высоком уровне, было бы уместно потребовать, чтобы Брюссель проводил единую, согласованную политику в отношении притока мигрантов. Но здесь я не вижу “света в конце туннеля”. На мой взгляд, имеются два варианта: если Европа, то есть ЕС, “поднимется на дыбы” и займёт решительную оборонительную позицию, чтобы сохранить свою политическую стабильность, культурные идентичности и этнические структуры, или же она позволит захлестнуть себя волной миграции, о размерах которой мы пока не имеем никакого представления.

Страны Ближнего Востока, Африки и Азии испытывают сегодня большие внутрисполитические проблемы. Высокая рождаемость, растущее количество молодых людей в этих странах находятся в кричащем противоречии с их экономическими перспективами. Выход из безработицы, нищеты многие молодые люди в этих странах видят лишь один: миграция в Европу. И этот миграционный поток в Европу будет нарастать с каждым годом.

* * *

Осенью 2011 года власти ФРГ ужесточили практику пересечения своей границы для лиц, которые не являются гражданами ЕС.

Перевод с немецкого В. Родина.

ИВАН ДРОНОВ

УТОПИЯ И УСТАВ

Спасти всех: сотериология* Иосифа Волоцкого

Иосиф Волоцкий уже при жизни получил широкую известность по всей Руси как один из самых выдающихся духовных учителей и церковно-государственных деятелей своей эпохи, а с течением времени значение его личности не только не умалялось, но выявлялось всё глубже и полнее. Ныне в исторической перспективе Преподобный Иосиф Волоцкий предстает едва ли не важнейшим столпом и символом православного Московского царства XV–XVI веков. Можно усмотреть в этом определенный парадокс (впрочем, парадокс ли?), учитывая, что у Преподобного никогда не было амбиций социального реформатора, неуемного желания выдвинуться, сделать карьеру на том или ином поприще, играть роль крупного деятеля и т. п. С молодых ногтей он обнаруживал лишь “одну, но пламенную страсть” – спасти свою бессмертную душу, “ее же недостойн весь мир”. То была любимая и часто повторяемая Иосифом фраза¹.

В юности ему казалось, что удобнейшим путем к спасению является удаление от мира, от его грехов и соблазнов, от бессмысленной и погибельной суеты. Юноша Иван Санин, в отличие от беззаботных сверстников, очень рано и очень остро почувствовал то, что мудрый Соломон назвал “тщетой тщет”, и смог провидеть сквозь пеструю ширму житейских радостей и утех молодости – притаившуюся холодную и черную бездну. Житие Иосифа, написанное Саввою Крутицким, проникновенно повествует об этом моменте в жизни Преподобного: “Пребывая в тишине, и в молчании моляся, и не уклоняясь на сладкую пищу и на винное питье, но со страхом Божиим держася церковного правила... И зрит паки в Божественном писании, яко уподобися слава мира сего пламени огненну, иже подгнешен добре бысть, потом преложится в углие, и паки пепел, и тако ветр развеет, и место не обрящется; и глаголаше себе: каа полза в крови моей, вегда сходити в исление (Пс. 29, 10)? И прииде ему помысл, яко бежати мира и в иноческий облещися образ...”².

После пострижения в Боровской обители у старца Пафнутия (1394–1477) Иосиф полностью отдался ему в “послушание без рассужения” и “слова старца не преступаа во всем”. Это было именно то, чего он искал. И в течение 17 лет под крылом у Пафнутия Иосиф был счастлив, если, конечно, можно го-

Окончание. Начало в № 1 за 2012 год.

* Сотериология – богословское учение о спасении.

ворить о счастливом монахе. Когда же настала пора Пафнутию отходить ко Господу, он призвал своего ученика и объявил ему, что намерен вручить ему управление обителью. Эта новость вызвала настоящее потрясение у Иосифа: “Сиа слыша Иосиф, со слезами отвеща: довольно ми, отче и господине, о своей души пещися, ты же налагаеши на мя бремя неудобь носимо, выше моя сила”. Как видим, Иосифа по-прежнему занимала одна мысль – о спасении своей души, и от всего, что могло бы помешать его сосредоточенности на этом деле, он стремился уклониться. Лишь после того, как Пафнутий строго напомнил ему, что отказом подчиниться воле старца он нарушает обет послушания, Иосиф, “бояся суда Божия в прекословии”, согласился игуменствовать...

Однако продолжалось его игуменство недолго. Иосиф вознамерился ввести в Боровской обители общежительный устав, – видимо, давняя его мечта, “дабы единство и всем общее во всем, и своего не иметь ничесоже”. На этот трудный подвиг Иосифа вдохновлял опыт иерусалимской апостольской общины (Деян. 2, 44–45), а также деятельность основателя общежительного монастыря на Святой Горе Афон Преподобного Афанасия (929–1003) и пример Преподобного Феодосия Печерского (1036–1074), который в середине XI века впервые на Руси ввел киновийные порядки в Киево-Печерской Лавре³. Однако смелый замысел нового боровского настоятеля не вызвал воодушевления у братии, привыкшей к довольно льготному режиму, сложившемуся к тому времени в Пафнутиевом монастыре⁴. Вследствие намерения Иосифа учредить общежитие “явишася в братии несогласиа, отнюдуже пререкания и сопротивления к игумену”⁵.

Усугублению конфликтной ситуации, возникшей в Пафнутиевом монастыре, способствовала и разница характеров прежнего и нынешнего настоятеля. Более гибкий, снисходительный и терпимый, Преподобный Пафнутий в своих отношениях с братией уповал скорее на мягкое увещевание и на неотразимую силу своего личного обаяния и примера, чем на жесткое требование следовать букве Устава. Однако уступчивый характер Пафнутия был виной тому, что двери в его обитель подчас слишком широко открывались миру... Об этом сам он горько сожалел на смертном одре. Его келейник Иннокентий записал, в частности, такие предсмертные сетования Преподобного: “Шестьдесят лет угождал я миру и мирским людям, князьям и боярам: встречая их, суетился, а сколько в беседах с ними было суетного наговорено, провожая их опять суетился, а того и не ведаю – чего ради? Ныне познал: никакой мне от того пользы, но лишь душе во всем испытание...”⁶.

Не таков был Иосиф. Не желавший ни в чем идти на компромисс с мирским духом, решительно отсекавший все, что могло бы помешать делу спасения души, он предпочел оставить игуменство и покинуть Боровский монастырь, чтобы в заволжских монастырях поискать подлинное и неповрежденное иноческое житие. “Пойде странствовати по монастырем, сущим зде и за Волгою, хотя обрести место потребно безмолвию”⁷. В течение полутора лет Иосиф, тщательно скрывая свой игуменский сан, обошел вместе с единомышленным старцем Герасимом Черным некоторые важнейшие обители к северу от Москвы.

Мы знаем из Житий и воспоминаний самого Иосифа, что ему пришлось побывать в Саввином Тверском монастыре у старца Варсонофия Неумоя, с которым он встречался и раньше, еще до своего пострижения, и который благословил его на иноческий путь. С огромным уважением писал Иосиф об этом подвижнике и молитвеннике, который 40 лет прожил в пустыне в одиночестве, “и в тех летех ничто же ино дело бысть ему, точию еже молитися и пети и книги прочитати”. Причем, как подчеркивал Иосиф, “блаженный не имяше ничто же своего, ниже до медница единая: любяше бо вельми нестяжание и Христоподобную нищету”⁸.

В Калязинском монастыре Тверской земли Иосиф познакомился с его основателем Преподобным Макарием (1402–1483) и услышал от прославленного старца немало ценных советов о том, как обустроить с нуля новую обитель и как управлять монашеской братией. Опыт Макария свидетельствовал о чрезвычайной сложности и тернистости этого пути. Собрать воедино несколько десятков разнонаправленных человеческих воль, умирить в общем сожительстве несколько десятков характеров, побудить их к каждодневному подвигу смирения, самоотречения и Богослужения, согласовать интересы монастырской братии с многообразными интересами местных и центральных

властей, церковного священноначалия и окрестного населения оказалось делом далеко не простым, о чем немало рассказано в Житии Макария Калязинского. Усилия Макария не пропали втуне, ему удалось создать образцовую обитель, о которой впоследствии Иосиф вспоминал, что “бысть тогда в монастыри оном благоговейство же и благочиние, вся бо творяху по свидетельству отеческих и общежительных преданий”⁹.

Посетил Иосиф и знаменитую Троице-Сергиеву лавру. Большое впечатление произвели на него рассказы об основателе монастыря Сергии Радонежском, ведь именно с деятельностью Сергия было связано возрождение и распространение в русских монастырях давно забытых общежительных порядков, которые были тогда предметом особого внимания и изучения для Иосифа. Его привело в восхищение то, что Преподобный Сергий и его ученики “толику нищету и нестяжание имяху, яко во обители блаженного Сергия и самые книги не на хартиях писаху, но на берестех; сам же блаженный Сергие таковы ризы худы и скропаны ношаше, яко множицею не познаваем бываше от приходящих, но мняху его единого от просителей быти (то есть многие не узнавали его, считали его по виду одним из просящих подавания нищих)”¹⁰.

Однако за столетие, прошедшее после смерти Сергия, многое в его обители переменялось, и это не укрылось от зоркого взгляда странствующего инока Иосифа. Он с разочарованием обнаружил, что “по отци Сергии леты помалу общество мних с лаврскому обычаю паче клонящеся”, то есть там утвердились особножительные порядки, раздельная трапеза и личная собственность у монахов, что обуславливало огромную разницу в образе жизни богатых постриженников по сравнению с бедными собратиями.

Дольше всего прожил Иосиф в обители Кирилла Белозерского, где наиболее бережно сохранялись от разных новин предания Преподобного основателя монастыря, “еже и Иосифови зело возлюбися”¹¹. “Бе же той монастырь, – говорится в Житии Иосифа, – не словом общий, но дела... И во одеждах и в обуцах никакоже что свое имея, но всем вся обща. Зря же сия игумен Иосиф чудное житие и советуя вся со старцем Герасимом, и святого чудотворца Кирилла похваляя и убажая”¹².

Летом 1479 г. Иосиф и семеро пафнутиевских иноков, разделявших его общежительные идеалы (среди них: Герасим Черный, Кассиан Босой и братья Иосифа – Вассиан и Акакий Санины), явились в лесной глуши удельного Волоцкого княжества и основали здесь обитель во имя Успения Пресвятой Богородицы. Иосиф получил помощь и поддержку от местного князя Бориса Васильевича (брата великого князя Московского Ивана III). Сам князь со своими боярами и благородными отроками носил на плечах бревно при закладке первого храма в Иосифовой обители. Поначалу братии приходилось трудно, “во всем бо еще в обители недостатки”, часто не хватало хлеба. И тут выручал князь Борис Васильевич, наезжая в обитель и “привозя с собою брашна и питие, и прохладяше братию”. Вскоре Борис Васильевич пожаловал с трудом поднимающемуся на ноги монастырю село Спирово как вклад на помин души своего отца – Василия II. Эту помощь князя Бориса в становлении Иосифо-Волоцкой обители трудно переоценить. Житие архиепископа Новгородского Серапиона († 1516) сообщает, что Иосиф “монастырь нарочит состави в пределах Волока Ламского помоганием, именем, и казною, и брашном, и питием, и сел даянием князя Бориса Волоцкаго”¹³. В следующем, 1480 году, поступил вклад от вдовствующей великой княгини Марии Ярославны (в иночестве Марфы), матери Бориса Васильевича Волоцкого и Ивана III, – село Покровское, а затем еще несколько сел и деревень от разных вотчинников¹⁴. Некоторые из них одновременно принимали пострижение в Иосифовой обители.

Доходы от приобретенных владений, несомненно, облегчили обустройство монастыря. Уже в 1486 г. был освящен каменный храм Успения Богородицы, который расписал “хитрый живописец в Русской земли” Дионисий со товарищи¹⁵. По словам Иосифа, постройка обошлась монастырскому бюджету в 1000 рублей – сумма колоссальная по тем временам¹⁶. Разумеется, без денежных и земельных вкладов феодалов поднять каменное строительство с приглашением “хитрых” зодчих и живописцев было бы невыносимо. С другой стороны, приходилось налаживать управление в пожалованных деревнях и селах, находить общий язык с населяющим их крестьянским людом. Таким образом, монастырь с первых шагов оказался опутан множеством нитей, неразрывно связывавших его с социальным окружением.

Однако никакие изменения в материальном положении обители не влияли на общежительные уравнивательные принципы, изначально положенные Иосифом в основание внутреннего монастырского обихода: «В начале бо обещание Преподобного, еже никакоже кому свое имети, но вся обща, и в ясти и в питии всем равно, такоже и в одеждах и во обуцах, и по келиам ни ясти ни пити, разве немощи или старости, такоже и пианого питиа не держати»¹⁷. Эти принципы в неприкосновенности сохранялись до смерти Иосифа, их завещал он беречь братии и по своему уходу.

Еще в 80–90-х годах XV века Иосифом была составлена первая краткая редакция монастырского Устава. Незадолго до смерти (1515 г.) он переработал этот первоначальный текст в Пространную редакцию Устава, которую назвал своей Духовной грамотой.

Краткая редакция Устава содержит 11 глав («Слов»): 1. О соборной молитве, 2. О пищи и питии, 3. О еже не беседовати на трапезе, 4. О одеждах и обуцах, 5. О Святых иконах и книгах, 6. О еже не беседовати на павечернице, 7. О еже не подобает иноком исходити вне обители без благословения, 8. О соборном деле, 9. О еже не подобает в обители быти питию, от него же пьянство бывает, 10. О еже не подобает в обители жити отрочатом, 11. О еже не подобает в обители женскому входу быти¹⁸.

В административно-хозяйственных главах Пространной редакции обращает на себя внимание выработанная Иосифом весьма демократическая система управления обителью. Все должностные лица, включая настоятеля, избираются братией, а не назначаются монастырским начальством: «Не подобает Игумену в себе место поставляти Игумена же, его же хочет, но его же братия изберут, – говорит Иосиф. – Сего же ради и аз, по свидетельству Божественных Писаний, Настоятеля вам не поставлю в себе место по моему отшествию, но его же Господь Бог изволит и Пречистая Богородица, и его же вы изберете»¹⁹.

Иосиф поступил, как и обещал. Почувствовав приближение смерти, он собрал к себе преимущих старцев и предложил им выбрать себе нового игумена. Однако старцы приняли умолять Иосифа самому назначить преемника, выдвигая следующие доводы: «Ты, господине, ведаешь, кто на сие великое дело пригож, паче же толику братству отцом быти и имети попечение душевное и телесное: ты, господине, всех веси и разум и досужство (проворство, распорядительность), паче же рещи, достоинство». Ответ Преподобный был исполнен глубокой мудрости: «Тако есть, якоже вы глаголите, – сказал он, – но не хочу аз без вашего совета поставити игумена, да паки начнете глаголати: не по совету нашему и постави игумена, или паки он не тако с вами начнет совет держати, глаголя: меня поставил Иосиф. Но паки вам глаголю: изберите себе игумена по обычаю монастыря сего и по совету своему». Так старцы и вынуждены были сделать²⁰.

Уважение к мнению большинства членов монашеского братства всегда было свойственно Иосифу. Еще пребывая на игуменстве в Пафнутиевом-Боровском монастыре, он беспрекословно подчинился воле большинства, которое отвергло его общежительную реформу, хотя имел все дисциплинарные возможности принудить подначальных выполнять свои требования²¹.

В качестве ближайших помощников игумена, согласно Иосифову Уставу, монастырскими насельниками избиралось 10–12 наиболее авторитетных старцев, называемых Преемущая, или Старейшая, или Соборная братия: «Сих же вина (обязанность): еже о пасомых попечение, прилежание же и любовь». Соборные старцы исправляли должности келаря, казначея, еkkлесиарха и др. На их плечи ложились организационные и контрольные функции в различных отраслях монастырского управления. Они руководили производством, хранением и распределением материальных благ; обеспечивали благочиние в церкви и порядок в трапезной; осуществляли сношения с внешним миром и т. д.

Очень важную роль в управлении обителью отводил Иосиф дружному и деятельному соучастию в поддержании монастырского порядка и обихода всех до единого братьев, а не только руководителей: «Подобает братии спострадати отцу во всем: не всё бо в Настоятели лежит, но и во братии». Без единомыслия, духовного согласия и взаимопомощи настоятеля и братии ни работа, ни молитва, ни общежитие не возможны. Иосиф наказывает братии во всем друг другу пособлять, приводя слова Ефрема Сирина: «Подобает нам, братие, яко да крепкий немощнаго подымет, прилежный пренемогающаго

утешит, бдящий обдержимаго сном да воздвигнет, стройный нестройнаго да накажет, благоговейный безчиннаго да научит, воздержаяся несомнящемуся да запрещает, здоровый болящему да спостраждет; и тако себе содержащеи, друг друга на полезное учаще, единодушно посраим сопровитника нашего, и Бога нашего прославим²².

Рассмотрим основные положения каждого из Слов Устава. В Слове 1 “О соборной молитве”, которое, очевидно, не случайно поставлено Иосифом на первое место, настоятельно подчеркивается, что Богослужение в монастыре является главным делом монашествующей братии. Иосиф призывает братию стараться “преже всех теши на молитву... друг пред другом спешащее, яко же в расхищении плена (как будто вырвались из плена)”. Ибо кто первый приходит на молитву, тот “паче обогатится небесным богатством”.

Примечательно, что в этом пункте Иосиф идет вразрез с соответствующей нормой Устава Василия Великого († 379). Устав великого каппадокийца послужил образцом для многих основателей и устроителей русских общежительных монастырей, в том числе и для самого Иосифа, который охотно заимствовал опыт святителя²³. Но только не в этом случае. Ведь Василий, в отличие от Иосифа, снисходительно относился к отсутствию инока на Богослужении, если благовест заставал его “занятым делом в кладовой, или в поварне, или чем другим подобным этому”. Труд на общее благо монастырской братии представлялся Василию столь важным делом, что ради него “позволительно увольнять себя от церкви, коль скоро нельзя иначе выполнить служения своего²⁴. Для Иосифа такой компромисс был неприемлем.

Бросая все труды и попечения, инок должен устремляться в храм, и здесь ему надлежит отрешиться от любых посторонних помыслов и всецело сосредоточиться на молитве, для чего Иосиф рекомендует определенную медитативную технику: “Пришедше в Божественную церковь, якоже в самом небеси с вышними силами ставше... сотисни свои руце, и соедини нозе свои, и очи смежи, и ум собери; мысль же свою и сердце возми на небо, и тамо к Богу с слезами и стенанием милость призывая”. Выходить из церкви следует только по окончании службы, никакие разговоры во время нее, даже о неотложных нуждах, недопустимы, ибо нет таких дел, которые были бы важнее Богослужения²⁵.

Относительно монастырской пищи и питья, которым посвящено Слово 2, Иосиф советует “простое и неизлишнее избирати” и “хранитися от тайноядения²⁶. На трапезу приходиться только по благословию настоятеля и садиться по очереди на свое обычное место, не устраивая суетолюку. Нельзя ни приносить какую-либо еду с собою, ни брать с тарелки соседа, даже если он отказывается от своей порции, ни предлагать ему свою. Принимают пищу молча, уходят с трапезы по благословию настоятеля. Держать что-либо съестное по кельям строжайше запрещалось, чтобы не разрушался основной закон общежительного монастыря — равенство во всем: “На трапезе пища и питье всем равна: тако бо повелевают Божественная Писания в киновии живущим”.

В отношении монашеской одежды и обуви Иосиф завещал “проста и худейшая, а не по коварству бесовскому многоценна и излишняя искати”, поскольку “смирению и нищете подобает подобитися всем, паче же отрехшимся мира и Христу обещавшимся терпети всякие скорби царства ради небесного²⁷. Как и в предыдущих Словах, Иосиф приводит несколько назидательных примеров из святоотеческих писаний и преданий. “Иже любит ризы светлы, сей наг есть от Божественная одежда”, — цитирует он Ефрема Сирина и вспоминает исполненный достоинства ответ Василия Великого на угрозы подвергнуть конфискации его имущество: “Разграбления убо не убоюся, ничто же бо имею, разве аще сих требуеши власяных ми рубищ”.

Теме монашеского нестяжания посвящено и Слово 5 Краткой редакции Устава Иосифа Волоцкого. По его убеждению, монах должен раз навсегда отказаться от какой-либо личной собственности, и не только на пищу, одежду и обувь, но в идеале даже на книги и иконы: “Иже бо в иноческий Святой образ одеании в киновии живущей ниже словом глаголати должни суть о чесом же “твое”, или “мое”, или “сего”, или “оного”. В подтверждение Иосиф приводит слова аввы Пимена, ответившего на вопрос одного монаха о общежительном устройении: “Аще хочещи жити в общем житии, да отречешися всякия вещи, да не имаши власти ни над чашею, и тако можещи в общем житии спастися²⁸. Иосиф призывает иноков не пугаться кажущейся ненадежности

существования, не обеспеченного накопленным имуществом: “Ничто убо не оскудеет нам потребных, Христу настоятельствуещу нам; аще ли и оскудеет — на искушение наше: лучше есть оскудение имети и с Христом быти, нежели кроме того приобщения всеми житейскими богатети, и с теми осуждену быти”. Тем монастырям, где данные принципы не соблюдаются, приговор Иосифа суров и однозначен: “Не подобает сия общая жития нарицати, но разбойническаго соборища и святокрадения и всякого лукавства и злобы исполнена. Сего бо ради нарицаются общая жития, да вся обща имуть”²⁹.

Слово 6 Краткой редакции Устава и Слово 4 Пространной “О еже не беседовати по павечернице” предписывают инокам после окончания “павечерницы”, то есть службы, следующей за вечерней, обязательно исповедаться настоятелю обо всех дневных прегрешениях и, получив отпущение грехов, не медля расходиться по своим кельям. Возбранялось по пути “о суетных и о тленных безумне глаголати, или осудити или оклеветати кого”, но надлежало “отбегати молча в келию свою и никому же ничто же глаголя; и тако молитве и рукоделию или чтению прилежати с безмолвием; молитвами же и слезами и трезвене попещися о себе, каятися и исповедатися Господеви о всем, иже согрешил есть”. Это представлялось Иосифу исключительно важным “страха ради смертного, яко мнози в вечер уснуша и заутра не всташа: в нем же, рече Господь, обрящу тя, в том и сужу ти”. Соответственно те, кто принял внезапную кончину “в небрежении и в глумлении”, а не в “покаянии и исповедании”, подвергали свою душу огромной опасности³⁰.

Короткие Слова о запрещении женщинам и юным отрокам входить внутрь монастырской ограды, а также о недержании в обители хмельных напитков присутствуют в обеих редакциях Устава почти без изменений.

Жития, описывающие быт Волоцкого монастыря, свидетельствуют о том, что предписания Иосифова Устава не были лишь благими пожеланиями, но точно отражали повседневный монастырский обиход. Старцы, пришедшие с Иосифом из Боровского монастыря, вспоминали о первых годах на Волоке Ламском, что тогда “еще бысть трапеза деревяна, церкви теплыя не бе, и у обедни стояще доблии Христови страдальцы в единой ризе, шуб никакоже не имея ни един. И бысть некогда зима вельми студена и великомерзна, яко и птицам зябнути; они же тако стояху, якоже и лете (летом), поминая каждого несогреемый тартар; и тако терпяще до отпуска Божественные литургия”. В те времена все они ходили “в лычных обуцах (лаптях) и в плаченных ризах (залатанной одежде), аще от вельмож кто, от князей, или от бояр: на всех равна одежда и обуца, ветха и много плаченна”³¹.

И позднее, несмотря на значительное улучшение материального состояния Иосифовой обители, монахи по-прежнему придерживались крайне аскетичного образа жизни. В повседневной практике настоятель сам первый подавал пример умеренности и самоограничения. По своей одежде он ничем не выделялся среди других иноков: “Ризы же ему беаху не многоценны, ни украшени, но паче просты и сукняны, по всему иже под ним братии подобны, множицею же и пошвены с заплатами ношаше, ветхим им сущим. Слугование же ему ни едино ни от кого же бываемо, уравниаяся по всему братии”. Однако все приходящие в монастырь сразу узнавали игумена среди других иноков не благодаря лучшей одежде, или внешним знакам почитания, или тому, что он был окружен свитой прислужников, “но тихость лица его паче иных являшет и благоговейное образа, и спрятание обычнойное, устояние честное, аки перстом показовашет его зрящему и ищущему его”³².

И хотя, как отмечает составитель жития Преподобного, Иосиф имел в им основанном монастыре полную возможность “возлеже и покоя восприима”, тем не менее отнюдь не прохлаждался, но, отдав распоряжения и распределив работы между братьями, сам брался за тот или иной тяжелый труд: “Но егда приспеваше коя служба временем своим, поставленному же брату над службою приемшу повеление и возглашашу братию к работе, сам отец преже всех к работе на труд обреташеся и со всеми работающими, яко един из них, повинующеся служение, и рукама своима равно с инеми приемля, и на раму (плечи) свою преже инех воздвижа, и не яко отец посреди братства видяшеся, но яко един от раб, или наемник, работаю добре и прилежно”³³. Когда в обители ставился первый каменный храм во имя Успения Богоматери, Иосиф “со ученики камень тесаше и на стену влачаше, и с ними делающе на стене, якоже великий Афонасей Афонский, во всем тому подобяся”.

Известна из воспоминаний племянника Иосифа Досифея Топоркова характерная история, показывающая, что Преподобный не гнушался никакой, даже самой тяжелой работы. В первое время по основанию Волоцкого монастыря, пока еще не успели построить мельницу, приходилось насельникам молоть муку вручную. Игумен Иосиф всегда первым брался за эту изнурительную работу и вращал тяжелые каменные жернова. Некий инок, пришедший из другой обители, увидел отца Иосифа за этим занятием и, сочтя его не подходящим для игумена, вызвался заменить его. Тот не возражал. На следующий день инок снова застал игумена мелющим и снова подменил его. Так повторялось несколько раз кряду, покауда выбившийся из сил инок не покинул обитель со словами: “Не перемолоти ми сего игумена”³⁴.

Труд в Иосифовом монастыре считался обязательным для всех, кроме немощных и больных³⁵. Никаких поблажек в работе для богатых и знатных постриженников не допускалось. Как свидетельствует одно из житий Преподобного, “ниже бо иже с имением и богатством пришедши ослабы и покоя наслажахуся у него, ни иже от нищеты и убожества постризаемии работою и служением удручахуся, ни вельможие предпочитаемии бываху и слугеми паче меньших и смиренных, но вси уравнихуся братьским именем”... Только в таком равенстве трудов и тягот, носимых во взаимной любви, смирении и воздержании, могли иноки “навыкать братожизнию”, в котором видел Иосиф Волоцкий идеал монашеского общежития³⁶. Не все выдерживали такой суровой образ жизни в Иосифовом монастыре, не всем пришлось по нраву равенство в скудной трапезе и одеянии. Некоторые слабые духом иноки “хулами Преподобного отца облагаху, и исхождаше из монастыря и глаголюще: жестоко есть сие житие; в нынешнем роде кто может таковая понести? Отхождаху ропчуще и укоряюще поношаху. Отец же о них моляся, глаголюще: не постави им, Господи, в грех глагол их. И тако живуще с единоправными...”³⁷.

“Единоправные” в стремлении к “братожизнию” вместе с Иосифом Волоцким признавали в качестве руководящего для монаха принципа известные слова апостола Павла: “Аще кто не хочет делати, да не яст”, которые занимают центральное место и в Краткой, и в Пространной редакции Иосифова Устава³⁸. Заповедав братии “не туне хлеба ясти, но в труде и подвизе”, Иосиф подчеркнул обязанность каждого инока, во-первых, быть “нощию и днию делающе к еже (чтобы) не отягчити кого”, а во-вторых, “не точию своя ради потребы делати, но и нищих ради и странных и немощных ради и престаревшихся”³⁹.

Видя одну из главных задач монастыря в помощи сирым и убогим, в защите слабых от притеснений и неправд со стороны сильных мира сего, Преподобный Иосиф, еще во времена своего игуменства в Пафнутиево-Боровской обители, не побоялся вступить, ради униженных и оскорбленных, в тяжелый конфликт с самим великим князем Московским и всея Руси Иваном III. Пафнутиев монастырь находился на землях Ивана III и был под его патронажем. Вступая в игуменство, Иосиф ездил на Москву и добился от великого князя обещания не вмешиваться во внутримонастырский хозяйственный обиход. Однако Иван III слова не сдержал. Вот как описывал Иосиф историю своей распри с великим князем в прощальном письме братии Пафнутиева монастыря: “Ведомо о сих вам, как мя понудил князь великий на игуменство. Коли есмь были у него по Велице дне, и яз бил челом ему егда боле всего о том, чтобы монастырские сироты (крестьяне) не погибли, занеже то ему возможно и от Бога поручено. А что в монастыре, а то Бог да Пречистаа управит молитвами государя нашего святого старца Пахнутиа. И тогда князь великий с великим прилежанием обещался, а после вскоре того забыл: монастырские сироты иные проданы, а иные биты, а иных в холопи емлют”⁴⁰. Попытки Иосифа защитить крестьян от насилий и произвола московской администрации вызвали приступ гнева у Ивана III, и пафнутьевский игумен принужден был уйти.

Но и в Волоцкой земле Иосифу пришлось близко познакомиться с народной нуждой, почувствовать жгучую потребность местного населения в помощи и заботе. Как-то раз настоятель “в глубокий вечер ходя по келиям втайне, и где слыша по павечерне беседующа братию, и ударяя по окну, назнаменуя приход свой, и паки отхождаше”. И вдруг, проходя по двору, Иосиф “зрит человека крадуща жито: с начала еще бо житницы близ водяных врат стояли со всяким житом. И прииде молком, и той человек узре его, хотя бежати. Иосиф же помавая рукою, веля ему без всякого страха быти, и насыпа сосуд его

и подня на плещи ему”, заповедав впредь не воровать: “а в чем ти, рече, недостаток, повеж мне, аз ти исполню”. Иосиф запретил ему рассказывать о случившемся, однако спустя некоторое время происшествие это получило широкую огласку, и к монастырю потянулись местные жители со своими нуждами и печальями: “Бяше бо от начала, как прииде отец Иосиф, ближнии окрестные земледельцы, аще кто изгубит от орудия земледельного косу или ино что, и пришед к Преподобному, взимаше цену изгыбшаго; или у кого украдут лошадь или доилицу (корову), и той от скорби притекая к отцу, исповедая скорбь свою, он же им даяше цену их”⁴¹.

В 1515 году волоколамскую землю поразил невиданный голод. Дошло до того, что стало “листвие бо древеное и коры и сено со скоты едина пища с человеком”. Изобреталась дошедшими до отчаяния людьми и еще “злейши скотьскиа пища”: “корение бо ужевное и гнилые клады толчены ядыху, и многи болезни чреву ядущим подавахуся”⁴². Многие жители Волоцкой земли бросили свои дома и пошли побираться в соседние области. Масса голодного народа стекалась к воротам Иосифова монастыря: “Мужие и жены от глада вопияху, – описывает Житие страшную картину. – Вратницы же монастыря поведаша Преподобному. Он же призва к себе келаря и повеле их кормити: бяше бо их седьм тысяч, опричь малых детей”⁴³. Маленьких детей также во множестве приносили к стенам обители Иосифа из окрестных деревень и оставляли там, не имея возможности их прокормить. Игумен послал было разыскать родителей, “их же ни един не явися, яко отрекающеся отрицахуся, свою аки чюжду утробу отметаху: толико лютость глада преможе”. Тогда Иосиф распорядился устроить приют для брошенных детей, “и тамо сиа чада, яже не породы, питаше милосердною утробою и печашеся о них, аки сам сиа породы”⁴⁴.

Через некоторое время келарь доложил Иосифу, что закончилась рожь и нечем уже кормить и саму братию. Игумен приказал казначею купить ржи, однако тот развел руками: денег в монастырской казне нет. Тогда “Преподобный отец Иосиф повеле займовати денег, и рукописание давати, и рожь купити, а гладных кормити. Бяше же и от начала, как прииде на место, приказ его келарю и казначею, дабы никтоже сшел с монастыря не ядши, аще и от ближних есть”. То есть с самого основания монастыря Иосиф придерживался обычая принимать и кормить всех, кто бы ни посетил монастырь – будь то паломники и странники издалека, или местные жители.

В этой критической ситуации некоторые из монастырской братии возроптали, говоря: “Безрассудна сиа милость: нас переморит, а их не прекормит”. Кормить 7 тысяч человек казалось безумием, когда сама братия вынуждена была ограничить свой рацион: если раньше на праздники подавались к столу калачи и квас медвяный, то теперь только хлеб, рыбу да квас житный, а по будням братии приходилось довольствоваться кашей и водой. Кое-кто из братьев счел это нестерпимым; в ответ на их жалобы и укоризны Иосиф произнес сильную речь, напомнив им о монашеских обетах терпения и смирения, данных при пострижении: “Писано, братие, в Божественном Писании, яко всякому любящему Бога и чающих воздания будущих благ подобает с радующимися радоватися и с плачущимися плакати (Рим. 12, 15). И ныне, братие, пришло посещение Божие, паче же милость, приводя на покаяние заблудших. Зрите, толик народ не различна брашна желают, но единого куса хлеба, дабы малу утеху от глада получитьи; и того ради оставиша дома своя и скитаются по чужим местом и с женами и с детьми. Мы же обещаемся всяку скорбь терпети Царствия ради Небеснаго; и о сем ныне являемся нетерпеливии. И ныне молю вас о сем: потерпим мало, и еже согрешихом, покаемся; и Бог не оставит нас”. Речь Иосифа произвела на братию впечатление, ропот утих, иноки во главе с настоятелем еще усерднее стали воссылать мольбы “Господу Богу и Пречистой Его Богоматери, дабы укротил гнев Свой и призрил на нищая и алчущая”.

И внезапно в обитель Пречистой пожаловал сам великий князь всея Руси Василий III Иванович. Узнав о постигшем край бедствии и о последней крайности, в которой оказался Иосифов монастырь, вынужденный влезать в долги ради прокормления голодающих, Василий III приказал доставить из своих житниц столько ржи и овса, сколько потребно. Вскоре пришла помощь деньгами и хлебом от дмитровского князя Юрия Ивановича, углицкого князя Дмитрия и калужского князя Симеона, и “инии христоробци мнозии отовселе спомогая”. Один из таковых “в Пскове живой, и сиа услыша, скоро примча

30 рублей; и мало время поживе в миру, и пострижесе во святей той обители, и во иноцех наречен бысть Арсений, а пореклу Терпигорев”. Собранный по осени урожай выдался отменным, голодающие были спасены и разошлись по своим домам, “благодаряще Бога и отца Иосифа”⁴⁵.

Но сам Преподобный эту осень не пережил, он скончался 9/22 сентября 1515 года. Произведенная в наши дни судебно-медицинская экспертиза почивавших под спудом и обретенных в 2001 г. мощей Иосифа Волоцкого показала, что он умер вследствие “чрезвычайного истощения”⁴⁶. Отдавая голодным последний кусок хлеба, спасая всех – и ближних, и дальних, – призывая братию к терпению и молитве, Преподобный втайне свершал свой последний и высший подвиг самоотречения – как “пастырь добрый полагает жизнь свою за овец” (Ин. 10, 11). Занятые своими лишениями и страданиями, ропща и негодуя на чрезмерную щедрость игумена к голодающим, иноки не замечали, как он сам умирает от голода, умирает тихо, смиренно – без жалоб и стонув. Жития зафиксировали лишь внешние признаки рокового процесса. Вот уже “очи ему изнемогосте и не сматряста”, – так же когда-то ослеп ученик Иосифа, Кассиан Босой, попытавшись в постническом рвении 40 дней ничего не есть. Вот Преподобный от слабости уже не смог встать с постели, и его носили в храм на руках. . . Последним его наказом монастырской братии было “нищих поминати, и страннолюбиа не забывати, по апостолу, яко теми благоугождаем Бог есть”⁴⁷.

В заботе о меньшей братии Преподобный Иосиф видел главное назначение любого руководителя и единственное оправдание его власти, данной Всевышним. В своем Уставе он высказывает твердое убеждение в том, что “истязан имать быти Настоятель о всех иже под ним сущих; и аще может отсеци их от зла, и не отсекает, кровь их от руку его Бог взыщет”. Подчиненный же обязан лишь послушанием, “вся с благословением и повелением Настоятеля своего творяй, и ниже смерти бояся: во время смерти бо не он, но Настоятель истязан будет”⁴⁸.

Тот же принцип Иосиф распространял и на светских властителей, не уставая напоминать им в беседах и в письмах о том, что их высокое положение не льгота и привилегия, а служба и обязанность. В своей социальной философии Иосиф исходил из фундаментального принципа равенства всех христиан: “Вси есми создание Господне, вси плоть едина, и вси миром едином помазани, и вси в руце Господни”, и всех в равной степени ждет страшный и нелицемерный Божий суд. Следовательно, каждый имеет равное право на жизнь и на пропитание, независимо от своего имущественного положения и социального статуса, а потому любому господину “подобает своя клеветы пожаловати, и милость к ним показати, и пищею и одеждою удоволить, и инеми всякими нужными потребами упокоити”. Таких добрых властителей ожидает “милость от Господа Бога Вседержителя в сем веце, и в будущем царство бесконечное”. И напротив, “есть беда велика и страшна и мучение бесконечное, еже не пекутся, ни имеют печали о домашних своих сиротах, но токмо делом насилующе и ранами казняще, одеяния же и пища не дающе и гладом моряще, а душами их не пекущиеся еже о спасении, но гордящиеся и желающе суетнаго и тщетнаго жития”⁴⁹.

Иосиф использовал любой повод для того, чтобы пропагандировать свои взгляды перед властью имущими. Особенно настоятельными его внушения становились в години народных бедствий. Когда дмитровскую землю постиг голод, он написал очень энергичное послание местному удельному князю Юрию Ивановичу: “Бога ради, государь, и Пречистые Богородици, пожалуй, попечися и промысли о православном христьянстве, о своем отечествии. Тебе бо, государю, от Господа Бога дана бысть держава и сила от Вышнего. Тебе бо Господь Бог избра в себе место, постави на твоём отечестве, милость и живот положи у тебе. Тебе же, православному государю, приемшему от Вышняго повеления правленье своего отечества, не токмо о своих пещись и своего точью жития правити, но и все обладаемое от треволнения спасати и соблюдати, и от нужда и скорби и от бед избавляти”. Иосиф напоминал адресату многочисленные примеры из прошлого, когда “благочестивии царие и князи, егда бываше в лета котораго их велика нужда от глада, тогда великое попечение о сих имеяху, яко да не измрут гладом сущии под ними нищии и убозии человеци. . . Аще подобно тому и ты, государь, сотвориши в своем государстве, оживиши нищиа и убогиа человеки, занеж, государь, уже многиа ныне

люди мрут голодом, а кроме тебя, государя, некому той беде пособити...”⁵⁰.

Иосиф имел дерзновение самому государю всея Руси Василию III открыто говорить о его обязанностях в отношении подвластных: “Солнцу свое дело светити лучами всю тварь, — писал он Василию, — царя же добрыядетели еже милovati нищаа и обидныа”. Иосиф в повелительном тоне наставлял самодержца: “Подобает же ти, благочестивий царю, всяко тщания и о благочестии имети и сущих под тобою от треволнения спасати, душевна и телесная, и душевное бо есть треволнение еретическое учение, телесное же есть треволнение — татьба и разбойничество, хищение, и неправда, и обиды, и прочаа злаа дела, иже убо телесне врежают (вредят), а не душевне”. Причем всецело на совести государя, в силу данной ему неограниченной власти, лежит ответственность и за дела подвластных ему людей: “Ты же убо, державны царю, и скипетр царствия приим от Бога, блюди, како угодиши давшему ти то, не токмо бо о себе ответ даси ко Господу, но еже и инии зло творят, ты слово отдаси Богу, волю дав им”⁵¹.

Обращаясь к подвластным, Иосиф призывал их “оказывать властям покорность и послушание: ведь они пекутся и думают о нас”. Однако это подчинение не должно носить безоговорочного характера, ибо “следует поклоняться и служить им телом, а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу”. И если “некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего — неверие и хула, — такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель”, равно как и “злой епископ, не заботящийся о пастве, — не пастырь, но волк”. Таких владык ни почитать, ни слушать христианин не должен даже под страхом гонений и казни⁵².

Стремясь обратиться к истинному пониманию своего предназначения светских правителей, Преподобный устно и письменно доказывал, что подобный образ действий не только душеспасителен, но и выгоден им самим и с материальной точки зрения. Когда после смерти благодетеля Иосифовой обители волоцкого князя Бориса Васильевича удел достался его сыну Федору Борисовичу, человеку крутого нрава и недалекого ума, положение населения значительно ухудшилось из-за непомерных поборов, а то и прямого грабежа княжеских слуг. “Иосиф же моляше его часто кротку быти и тиху устратися владомым. Елма бо под кроткою десницею ему пребывающе народи, умножают о нем к Богу прилежныя молитвы”, а молитвами людскими мостится князю дорога в Царствие Небесное.

С другой стороны, спокойный труд под сению справедливой и милосердной власти преумножит благосостояние подданных и обогатит княжескую казну даже при самых умеренных податях: “Исполняющуюся народу имением тихости его ради купли свободное умножают, и тяжаре стоги своя на нивах участят, и тем богатеющим умножат казну его частостию тамги и дани”. А когда князь лишь “отяготения и насилия” налагает на своих подданных, молитвы “о нем оскудеют к Богу и вместо молитв и благодарения, въздыхания и слезы на небеса воспускают. И кто весть, что Богови сих печаль и слезы, посем же и в самое владычество ему тщета подходит”. Эти слезы обратятся на князя гневом Божиим, лишив его и земного благополучия, и посмертного спасения. Никогда, утверждал Иосиф, бедность не будет источником богатства, никогда лишения и страдания подвластных не будут прочной опорой преуспения для их господина. Иосиф настоятельно убеждал господ: “Послабляя же земодельнику возделает целизны своя, и утяжит нивы, и восприемлет присно плоды своя. Той же тяжарь исполнен дел своих послаблением господей, и не унужен насильством, обогащает с добровольством всегда господина села, и сам насыщен сы удобно воздаст дани”.

В политэкономическом учении Иосифа Волоцкого обращает на себя внимание нераздельность собственно хозяйственных, этических и сотериологических моментов. Спасение от “телесных треволнений” (нужды, голода и т. п.) есть одно и то же дело со спасением души. И в том, и в другом случае речь у Иосифа шла только о спасении всех, кто бы сколько ни внес в производство совокупного общественного продукта. Исключительная ответственность за спасение всех подчиненных им “малых сих” ложится на плечи светских и церковных владык, которым Иосиф, пользуясь малейшим поводом, неустанно об этом напоминал. Проповедью и личным примером Преподобный достиг того, что “вся же тогда Волоцкая страна к доброжитию пре-

лагашеся, тишины и покоя наслаждашеся, и вси веселяшеся беша, и поселяне же много послабление имуще от господей сел их поущением его”⁵³.

Философия хозяйства, отразившаяся в Уставе Иосифа Волоцкого, идет вразрез с постулатами классической западной политэкономии, согласно которым труд является одним из товаров, подлежащим рыночному обмену на равные стоимости. Иосиф приводит в пример одного инока, отстаивавшего именно этот принцип эквивалентности обмена во внутримонастырском обиходе. Названный иннок категорически отказывался работать больше того, что, по его мнению, было необходимо для собственного его содержания. “Зде же приидох не раб быти некоторым, яко да аз тружаюся, и труд мой обретают инии”, — спесиво заявлял он⁵⁴.

В противоположность этому доморощенному утопийцу Иосиф Волоцкий утверждает экономику “дара”, которая держится на личности, способной к безвозмездному дарению, готовой отдавать больше, чем брать, работать больше, чем потреблять. В Уставе Иосифа явственно проступает четкое понимание того, что никакая хозяйственная и производительная деятельность и никакая здоровая социальная атмосфера невозможна, если в обществе нет достаточного количества таких бескорыстных личностей; если в нем преобладают типы, маниакально сосредоточенные на подсчетах и сопоставлении собственных и чужих телодвижений и затраченных килокалорий, чтобы затем гневно требовать от общества возмещения образованного дисбаланса, который, как им кажется, всегда не в их пользу. Такие типы согласны работать только за заранее гарантированное высокое вознаграждение, а особенно тяжелые и грязные работы не желают исполнять ни за какое вознаграждение⁵⁵.

В моровской Утопии преобладает именно такой тип личности. Утопийцы работают строго установленное количество времени за строго эквивалентный затраченным усилиям паек, а чтобы никому не казалось, что его обделяют, паек этот одинаков для всех. Господством этой, по сути буржуазной, хозяйственной этики объясняется и то, что среди утопийцев не находится желающих исполнять тяжелую или опасную работу, так как за нее пришлось бы выдавать повышенное содержание, а этого не допускает конституция острова. Дифференциация вознаграждения мгновенно разрушила бы эфемерный принцип утопийского равенства и обнажила его буржуазную начинку — догмат об эквивалентности обмена. Потому-то осуществление тяжелых работ и приходится возлагать на рабов. Таким образом, буржуазно-рыночная сущность утопийского социума с железной необходимостью порождает рабство.

Гони природу в дверь, она влетит в окно. Если внутри общества устанавливается безмятежное и ровненькое царство благоденствующего среднего класса, то, значит, неравенства, противоречия и классовые конфликты сбрасываются вовне, и тогда неизбежно вокруг островка благополучия появляется эксплуатируемая колониальная периферия и внутренняя каста неприкасаемых, извергнутая из общества в социальное гетто и обреченная на самую неперестивавшую и черную работу. Такую картину мы наблюдаем и в никогда не существовавшей Утопии Томаса Мора, и в реальной истории колониальных империй западных буржуазных государств XVI–XX веков, и в нынешней неоколониальной политике Запада во главе с США.

Иосиф Волоцкий в своем Уставе отстаивал противоположный подход к хозяйственной этике. Иноку, считал он, надлежит придерживаться в своей трудовой деятельности следующей максимы: “понеже Божови приидох работати, потщуся умножаватися делу, паче пища моя, елика сила”⁵⁶, то есть постараться работать изо всех сил и производить больше, чем потребляю. Поэтому иннок не должен отвращаться ни от какой работы, ибо, чем она тяжелее и грязнее, тем большую душевную мзду воспримет он в царствии небесном. Иосиф приводит в своем Уставе выразительный пример Иоанна Дамаскина (ок. 675–749), утонченного интеллектуала и блестящего религиозного философа, “ангелов собеседника”, который беспрекословно подчинился повелению своего старца “вся иноческая скверная седалища своима рукама исчистити”⁵⁷.

В обители Иосифа такой образ хозяйственного мышления и поведения считался само собой разумеющимся. Необычайное зрелище, по словам Саввы Крутицкого, представляла собой монастырская братия своим контрастом с тем, что считается нормой поведения в мирской жизни, как то: всемерно уклоняться от труда, при любой возможности переключивать на чужие плечи самую тяжелую и неприятную работу, жить за счет других и т. п. Не может не

приводить в восхищение противоположный пример “чудных тех Христовых страдальцев, своим произволением сами себе мучаще, в ночи на молитве стояща, а во дни на дело спешаще, и друг пред другом ретяща, не яко земледельцы, еже нарядницы (надсмотрщики) за ними понужая на дело; сии же не тако, но друг пред другом спешаще. И егда кто от них на деле тяжко подымаше, инии же ему запрещаху, а сами вдвое подымаху, помышляя, дабы кто от них вящше трудился”⁵⁸.

Принцип “дара” распространялся Иосифом Волоцким не только на сферу производства (производить больше, чем получать), но и на сферу потребления (потреблять меньше, чем получил). Волоколамский патерик свидетельствует, что Преподобный на общей трапезе всегда оставлял часть пищи нетронутой и говорил: “Это часть Христа моего”⁵⁹. Подражая своему игумену, так поступали и многие иноки. Оставшаяся еда шла на пропитание многочисленных нищих и голодных, ежедневно приходивших к монастырю⁶⁰.

В отношении с миром Иосиф также пытался привнести хозяйственную этику “дарения”. Об этом мы можем судить по замечательной истории, которую донесли до нас не Жития Преподобного или другие произведения средневековой книжности, а устные народные предания волоцких крестьян, записанные в середине XIX века С. П. Шевыревым. Один из живописных прудов, окаймляющих стены обители, был вырыт силами окрестных мужиков еще при Иосифе. Игумен установил ежедневную плату в 25 копеек каждому работнику. Им эта плата показалась недостаточной, и однажды они устроили стачку и потребовали ее увеличения. Иосиф не стал спорить, он вынес из монастырской казны огромный ворох медных денег и велел брать из него каждому, загребая, сколько угодно. Обрадованный неожиданной удачей народ бросился выхватывать деньги из кучи горстями, однако, сколько бы они ни брали, все выходило не более 25 копеек у каждого. Пристыженные работники вынуждены были признать эту плату справедливой и оставили свои непомерные требования⁶¹. Хорошо же запомнился этот урок политэкономии Преподобного Иосифа, если почти четыреста лет эта история передавалась крестьянами из уст в уста!

Очевидно, что история об иосифовых 25 копейках находит прямую аналогию в евангельской притче о рабочих одиннадцатого часа (Мф. 20, 1–16), как и вся хозяйственная этика Иосифа имеет свой главный источник не в ображениях экономической эффективности, а в православном учении о спасении и благодати.

Только тот труд, где есть “часть Христа моего”, благословен и плодотворен. Только бескорыстный дар, не требующий эквивалентного возмещения, ведет ко спасению, ибо таким же даром была крестная жертва Христа ради нашего спасения (см.: Рим. 3, 24).

Тогда же, в середине XIX века, когда С. П. Шевырев собирал удивительные рассказы об Иосифе Волоцком, в капиталистической Европе с особенной остротой встал “рабочий вопрос”, и наука и общественная мысль, наконец, обратили свое внимание на униженных и оскорбленных, обездоленных и угнетенных. Как грибы после дождя, начали вспухать тут и там различные учения, обещавшие на основе новейших научных данных социологии и политэкономии покончить с социальными язвами и обеспечить всеобщее довольство и процветание. Множеству буржуазных формул “счастья”, сводившихся к безграничной свободе индивида продавать и покупать, противостояли социалистические – формула последователей графа Сен-Симона “от каждого по способности, каждому по труду”, формула Этьена Кабе и Луи Блана “от каждого по способности, каждому по потребности”.

В формулах этих многие горячие и светлые умы увидели тогда (и до сих пор видят) волшебный ключик от райских дверей, а многие трезвые и холодные головы очень скоро начали осознавать бесплодность и ложность их обещаний. Одиноким русским мечтателем князь Владимир Федорович Одоевский (1803–1869), отчаявшись найти в западных шпаргалках ответ на всемирный социальный вопрос, смело и резко заявил о необходимости обоснования “Русской Политической Экономии”. “Нам предстоит, – писал он, – создать свою политическую экономию, построенную на чисто русском принципе – “счастье всех и каждого”. Если, по-нашему, не только все, но и каждый, если не только каждый, но и все имеют право быть счастливыми, то мы очень затрудняемся нашу варварскую точку зрения согласовать с изящными теори-

ями о “каждом для себя”, или “каждому по его делам”, и еще менее с принципом “каждому по числу часов”, как претендует г. Прудон”.

Русское разрешение вопроса о “счастье всех и каждого” должно было, по Одоевскому, опираться на достижения науки и одновременно — на высокие принципы христианской этики⁶². Поставив такую грандиозную задачу, Одоевский, к сожалению, так и не смог ее осуществить. Если бы князь Владимир Федорович поменьше читал Прудонов и Сен-Симонов, а повнимательнее изучил наследие родной своей Русской Православной Церкви, то обнаружил бы, что не только в книжной теории, но и в многовековой практической деятельности русских святых мужей, монастырских строителей и добрых пастырей отыскана и испробована истинная формула русской политэкономии: “от каждого — всё, всем — поровну”.

О “стяжании” Царствия Небесного в православном понимании Преподобный Амвросий Оптинский говорил так: “Для него не существует цены определенной. Всякий человек должен отдать за него все, что имеет. Апостол Петр отдал сети и получил Царство Небесное, вдовица отдала две лепты; у кого миллионы, пусть даст их; а у кого ничего нет, пусть отдаст произволение”⁶³. Этот-то универсальный принцип христианского спасения Иосиф Волоцкий приложил к организации и монашеской братии в своей обители, и мира вокруг нее.

При этом надо иметь в виду, что Иосифов монастырь и попавшие в его гравитационное поле земли и люди — от мужиков и холопов до бояр и князей — это не акционерное общество на паях, ведущее прибыльное хозяйство, и не самообеспечивающаяся артель, нацеленная на автаркическое существование. Соображения чисто экономической эффективности, сытости и материального благосостояния играют в социальном проекте Иосифа вполне подчиненную роль: “Божественное Писание о душевной пользе глаголет и учит, о телесном же покои мало вещает”, — говорил он⁶⁴. Жизнь в монастырском сообществе организуется не вокруг интересов производства, обмена и потребления, а вокруг храма и алтаря, и главное назначение монастыря — не извлечение прибыли из человеческих и природных ресурсов, а установление прямой связи земли и неба, соединение всех живых и мертвых в целокупное тело Церкви. Не случайно в первой главе своего Устава Иосиф говорит о соборной молитве, Богослужении и литургии как об основной заботе всех подвизающихся в обители, и никакие экономические интересы и житейские выгоды, ни даже попечения о хлебе насущном не должны заслонять этого “единого на потребу”. “Кто каково дело делает и молитвенному часу приспевшу не оставит прилучшагося ему дела, сей от бесов обругаема есть, — говорит Иосиф. — И якоже Каин первая убо себе, вторая же Богови принесе, отвержен бысть и неприят, такожде и ныне иже прежде хотяи суетныя и тленныя и земныя вещи управити, и того ради к началу Божественных пеней не приходит, и сей отвержен от Бога бывает и мерзок”⁶⁵.

Спасение может быть только общим. Для Иосифа неприемлем путь личного спасения наособицу. Только вместе, заедино, помогая друг другу, молясь все за всех, можно войти в Царствие Небесное. В общежительном монастыре, разумеется, гораздо легче достичь того единодушия и целеустремленности в деле всеобщего спасения, которые бы могли стать прообразом спасительного единения всего христианского мира. Потому-то столько усилий положил Иосиф на укоренение строгого общежития в своем монастыре. В своем Уставе он посвятил яркие и проникновенные строки изображению того святого, поистине братского единства, к установлению которого он стремился в отношениях иноков между собой и в отношениях между настоятелем и братией. Именно таким, по убеждению Иосифа Волоцкого, и был изначальный замысел Всевышнего о человеке: “...Обща же творя всяческая, душа и телеса и нравы... общи труды, обще спасение, общи венцы. Что сего блаженнейши, и что душам и телесем сего радостнейши, человецы от различных родов и стран собрашася в толико единение и любовный союз соединишася, яко единой души во мнозех телесех видетися? Боляй телом многи имать соболезнующа, недугуяй многи имать исцелевающих, друг другу работающе, друг другу повинующеся. Таковыя изначала хотящи нас Бог быти: сии опасни (ревностные) подражатели Спасу и того во плоти жительству подобящася, сии Ангельстии жизни подобящася, сии Ангельстии жизни поревноваша; несть бо в Ангелех распря, ни зависти, ниже ненависти, но все в себе доброе

хранят и невещественно имут стяжание и мыслено богатство: тако и сии ничто же свое имуще, но вся Божия и друг друга; сии убо совершенное нестяжание и всяку добродетель исправиша⁷⁵.

Спасение, по убеждению Иосифа Волоцкого, не только легче достигается общими усилиями, но и кратчайший путь к нему пролагает забота о спасении ближнего. “Ничто же бо сего честнейши, ниже душам что есть полезнейши, но еже хотети брата своего пользы яко своя, и спеху его яко своего”, – говорится в Иосифовом Уставе⁶⁶.

Иосиф Волоцкий выдвигает идею о соборности спасения, ибо сам себя спасти человек не может в силу отягощенности первородным грехом: “Понеже никто же безгрешен и никто же чист от скверны – вси бо согрешихом и помощи требуем от Божественныя и священныя службы и Животворяща Жертвы плоти и крови Господа нашего Иисуса Христа”⁶⁷. Не путем накопления “добрых дел” на персональном счету возможно спастись, а только посредством взаимопомощи между людьми, их общих усилий в любви и заботе друг о друге и в надежде на беспредельное милосердие Христа Спасителя: “Свидетельствуют люди, просвещенные Богом: при последнем издыхании как на весах измеряются дела человека. Если перетянет правая сторона, то явлено, что умерший удостоен стояния справа; если обе стороны равны, то перетягивает Божие человеколюбие, если же левая сторона немнога перетягивает, то и тогда Божия милость дополнит правую чашу. Суд Владыки трояственен: во-первых, это суд праведный, во-вторых – человеколюбивый, в-третьих – преблагый”⁶⁸. Поэтому в своей Духовной грамоте Иосиф Волоцкий решительно заключает: “Еже убо всем бесстрастным быти немощно есть, а еже всем спастися возможно есть”⁶⁹.

На твердом убеждении в том, что Церковь Христова есть Церковь не только живых, но и мертвых, а Господне милосердие не имеет пределов, Иосиф основывает свою веру в возможность всеобщего спасения. Ведь даже когда человек умер в состоянии греха, его участь еще не предрешена, если живые позаботятся о его спасении. Потому-то все православные “должны всяко тщание и попечение имети, еже и по смерти себе же и друг другу помощь сотворити священною и Божественною Жертвою, плотию и кровию Владыки Христа”⁷⁰.

“Каждый человек, – утверждает Иосиф, ссылаясь на Иоанна Дамаскина, – если он получил малую закваску добродетели, но не успел сделать хлеб – хоть и желал, да не мог или по лености, или из-за небрежения, или по слабости воли, или потому, что откладывал со дня на день, – а все же, достигнув кончины, получит награду за одну надежду свою: не забудет его праведный Судия и Владыка и воздвигнет после его смерти того, кто восполнит не сделанное им”. Очень важно верить, что “Господь не только в этой жизни спасает за праведные дела, покаяние и веру – и после смерти Препоблагой и Милостивый Господь и Бог наш спасает через милостыню и совершение Святых Божественных Таинств. Это приносит большое облегчение и великую милость усопшим”. Поэтому “доныне спасаются бесчисленные множества людей благодаря Его милосердию и милости: одни – богоугодной и чистой жизнью, другие – покаянием и слезами, третьи – теплой, несомневающейся верой, четвертые же после смерти получили милость благодаря молитвам, совершению Божественных Таинств и милостыни, подаваемой нищим”⁷¹.

Преисполненный этой верой, Иосиф Волоцкий сделал свой монастырь одним из крупнейших центров поминальной практики на Руси⁷². Под руководством настоятеля в монастыре была разработана четкая система повседневного поминания. Лица, внесшие в обитель крупный вклад, денежный или имущественный (100 рублей и больше), поминались на литургии и других службах ежедневно; меньшие вклады давали право на повседневное поминание в течение определенного количества “урочных лет”. Все остальные за любой вклад (это могли быть книги, хлеб, скот, одежда и т. п.) вносились в ежегодный поминальный список (синодик) навечно, “доколе монастырь Пречистые стоит”. Этот помянник читался не ежедневно, но лишь в определенные дни года (Дмитровская суббота, мясопустная, все субботы Великого поста, кроме Лазаревой и Похвалы Пресвятой Богородицы, Троицкая родительская суббота)⁷³. В том случае, если умирал кто-либо из монастырских насельников или слуг, не имевший никакой собственности, “тех и даром пишут в синаник (синодик) да и в годовое поминание”, так как “на нищих Бог не истязует, а богатый кождо по своей силе истязан будет”.

Деньги и прочие вклады на помин души расходовались в Иосифовом монастыре на обеспечение непрерывного богослужения и ежедневных молитв за спасение душ живых и мертвых, а также на благотворительность: “Надобе церковные вещи строити, — перечислял Иосиф, — святыя иконы и святыя сосуды, и книги, и ризы, и братство кормити, и поити, и одевати, и обувати, и иные всякии нужи исполняти, и нищим и странным и мимоходящим давати и кормити. А расходится на всякой год по полутора ста рублей денгами, а иногда и боле, да хлеба по три тысячи четвертей на год розходится, занеж на всяк день в трапезе едят иногда шестьсот, а иногда семьсот душ”. Да на самом богослужении “надобе еще мед, да воск, да просвиры, да фимиан”, и вино, и свечи и многое другое⁷⁴.

Ежегодно в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы в Иосифов монастырь стекалось до 1000 нищих и богомольцев. Для их угощения монахи выпекали по 3300 хлебов, и каждый пришедший в монастырь не только утешался трапезой из хлеба, каши и кваса, но и получал по повелению Иосифа серебряную денежку. Ученикам своим он завещал: “Аще и по моем отшествии тако творите, не имать оскудети ваш монастырь и до века”. Однако преемникам Иосифа этот обычай показался обременительным для монастырской казны, и деньги перестали раздавать. Вскоре же наступила предсказанная Преподобным великая нужда и оскудение в обители. И лишь когда раздача милостыни возобновилась, монастырь вернул себе прежнее благосостояние⁷⁵.

Иосиф Волоцкий на деле осуществлял исповедуемый им принцип, согласно которому “церковное богатство — нищих богатство, и сирот, и старости, и немощи, и в недуг впадших; нищих прекормление, странным прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, и девицам потребы, обидимым заступление, в гладе прекормление; худобе умирающим покровы, и гробы, и погребание; церквам пустым и монастырем подъятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память”⁷⁶. Потому-то, как писал Иосиф в одном из своих посланий, “в нашем монастыре обычей: сколко Бог пошлет, столко и разайдется”⁷⁷.

Недалеко от обители Пречистой в селе Спирове Преподобный Иосиф основал Богорадный монастырь, специально для призрения бездомных, престарелых и немощных мирян, для которых в те лихие времена это монастырское пристанище, несомненно, было единственным спасением от незавидной участи христарадничать и умирать на улице от голода и холода. Кроме того, игумену и братии Богорадного монастыря было поручено отпевать и хоронить у себя в “доме Божиим” беспризорные тела “преставльшихся раб своих всех православных хрестьян, иже нужными всякими смертями скончавшихся от глада, и губительства огня, и меча, и межусобная брани, или рече от разбоя, и от татъбы, и от потопа, и Божиим гневом мором умерших, и в воде утопших, и где ни будет на пути, и на лесу, и на пустых местах повержена телеса усопших... и в книги писать Бога ради их имена в дома, а безимьянных полочат (по-видимому, речь идет об умерших в басурманской неволе полоняников. — **И. Д.**) по тому же Бога ради. И в субботу Вселенскую, и в другую — мясопустную и седмой четверток по Пасце сия всякого понахида пети и обедни служити по всех православных христианах иже тамо в Божьем доме лежащих”. Огромную важность этих усилий Иосифа Волоцкого и его братии по спасению душ умерших внезапной или насильственной смертью можно оценить, только учитывая, что до его времени на Руси было принято не хоронить таковых (поскольку их кончина — без исповеди, покаяния и причастия — не считалась христианской), а только забрасывать ветками, не говоря уже об отпевании и заупокойных поминаниях⁷⁸.

В Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря только за годы управления Преподобного было внесено на вечное поминование несколько тысяч имен — от членов семьи государя всея Руси и вселенских патриархов до простых иноков и землепашцев.

Иосиф Волоцкий строго-настрога наказывал своим преемникам не забыть поминанием и молитвой ни одну душу христианскую: “Си же пишем вам, пастухом, рекше, игуменом и учителем Христова стада, иже кто мних (монах) паствы вашей нищетою духовною живя преставится от жития сего, не глаголите: “Не дал клада, не пишем его в поминание”, — то уже несте пастыри, но наимници и мздоимци”. Священник, пренебрегающий обязанностью тво-

речь поминание по всем, внесенным в синодик, “сам непомяновен будет пред Богом”⁷⁹. Таким образом, главный принцип в сотериологии Иосифа Волоцкого был таким же, как и в экономике: каждый отдавал все, что мог, в надежде получить одно и то же равное для всех — спасение души. В Волоколамском патерике говорится о равенстве всех спасающихся во Христе, независимо от количества “заслуг” каждого: “Один уподобился солнцу, другой луне, иной же большой звезде, некоторые малым звездам, — но все пребывают на небе”⁸⁰.

Преподобный Иосиф настаивал, чтобы не был забыт и брошен на произвол судьбы никто, вплоть до самого последнего безымянного горемыки, вплоть до самого отчаянного грешника, если в нем сохранилась хотя бы одна искра Божья. “На это говорит дьявол: если это так, то все спасутся и никто не согрешит. Но это и хорошо, — восклицает Иосиф, — преблагод Господь желает, хочет, стремится, радуется, веселится, если никто не согрешает против Его Божественных даров!” Преподобный был глубоко убежден, что “Единый Естествен, Великодаровитый, Преблагод Человеклюбед Бог желает и хочет, чтобы все спаслись и никто не грешил! Как радуется и веселится Преблагод Господь о том, что никто не погибнет!”⁸¹. “Я дерзаю утверждать, — говорит Иосиф, — что Он примет и кающедося дьявола”⁸².

Учение Иосифа о всеобщем спасении близко к учению об апокатастасисе (восстановлении), наиболее отчетливо сформулированному в некоторых трудах восточных отцов Исаака Сирина (VI–VII вв.) и Максима Исповедника (580–662)⁸³. Однако сотериологические искания Иосифа Волоцкого вполне самостоятельны, поскольку соответствующие труды Исаака и Максима лишь недавно были переведены на русский язык⁸⁴. Иосиф их не знал. Отличительной чертой сотериологии Иосифа является активизм и практическая направленность, вдохновляемые его верой в “самовластную” и “обладательную” природу человека, то есть в присущую ему свободу воли⁸⁵, которая предполагает решающее значение волевого усилия каждого в его нравственном выборе и деятельном соработничестве Богу. А когда личного волевого усилия оказывается недостаточно, его восполнит соборное усилие церкви как единства всех верных — и живых, и мертвых...

Преподобный Иосиф смело ставит вопрос об оправдании и спасении не только христиан, но иноверцев и язычников. В предисловии к Синодику своего монастыря он приводит много примеров великой силы молитв за умерших из святоотеческой и житийной литературы. В частности, здесь рассказывается о том, как первомученица Фекла (I век) отмолила умершую в языческой вере девушку по имени Фалконила. Другая история повествует о папе римском Святом Григории Двоеслове (ок. 540–604), по молитвам которого были прощены грехи императора Траяна, не только язычника, но и свирепого гонителя христиан⁸⁶. “Смотри же паки, — подчеркивает Иосиф Волоцкий, — о коем есть прошение их и молитва: не о еллинех ли и идолослужебницех, и о еретичех и всяческой несвященных и чужих от Бога, и о безакония делателех?”⁸⁷. Тем более действенной должна быть молитва о братьях во Христе.

Подтверждение этому Иосиф видел в поразительном чуде посмертного спасения византийского императора Феофила (812/813–842), который запятнал себя не только иконоборческой ересью, но и жестокими пытками и казнями исповедников православной веры. После лютой смерти “богомерзкого” Феофила его вдова, благочестивая императрица Феодора, повелела восстановить иконопочитание, и ересь навсегда была повержена. После этого, движимая чувством христианской любви, Феодора попросила архиереев, чтобы они умолили Бога простить Феоофилу все его согрешения и избавить от вечной муки. Византийская “Повесть о прощении императора Феофила” и Синаксарь Никифора Ксанфопула (Иосиф Волоцкий был знаком с этой историей по Синаксарю) рисуют величественную картину обращения патриарха Мефодия ко всему честному и православному народу, от мала до велика, с женами и детьми, к митрополитам и епископам, пресвитерам и диаконам, монахам и пустынноикам, столпникам и затворникам, соборно помолиться Господу о Феофиле. И вот весь православный люд империи, настрадавшийся от гонений за веру при Феофиле, во всю первую неделю поста, по всем храмам и монастырям, скитам и пещерам молил Всевышнего о прощении и оставлении грехов нечестивому императору. Патриарх Мефодий в самом начале всенародного молебна записал в свиток имена всех императоров-еретиков, в том числе и Феофила, в присутствии народа опечатал его и положил под святой

престол. Когда в пятницу он достал бумагу — имя Феофила исчезло. Тогда же явился Мефодий во время молитвы ангел и возвестил: “Се, услышано, о епископ, моление твое, и император Феофил сподобился прощения — поэтому больше не докучай о нем Божеству”⁸⁸. В честь этих событий был установлен в первую неделю Великого поста праздник Торжества Православия, во время которого в церквах читается так называемый Вселенский Синодик, содержащий поминовение всех святых исповедников и мучеников за веру и общую память всех почивших: “Помяни, Господи, души усопших раб своих от Адама до сего дни”⁸⁹.

Знаменательно, что среди участников панихид по Феофилу упоминаются источниками уже умершие к тому времени святые праведники, в частности, Преподобный Феодор Студит († 826). Иосифу Волоцкому было очень дорого это убеждение в том, что и мертвые прилагают все усилия и делают все возможное для упокой и во их оставление грехов, так и святые угодники пред престолом Божиим непрестанно творят молитвенное заступничество за живых. Иосиф, впрочем, и не считал святых умершими, ибо чудотворные их мощи “страшны для бесов, дают слепым прозрение, врачуют прокаженных и расслабленных и всякие болезни”. “И как при жизни сподобил их Владыка духовных дарований и сил и способность творить чудеса, — писал Иосиф, — так и по отделении душ их от тел не лишает этих дарований. Поэтому мы не называем их мертвыми, ибо какие чудеса может творить мертвая плоть? О том, что они живы, извещает слово Господа: “Верующий в Меня не умрет вовек”...”⁹⁰.

Иосиф никого не хотел исключать из сообщества соучаствующих в спасении: ни мертвых, ни инославных, — нередко вступая в противоречие с некоторыми устоявшимися в церковной традиции (не имеющей, однако, догматической основы) предубеждениями.

На вопрос о возможности спасения не только для всех христиан, но также и для язычников и иноверцев Иосиф Волоцкий дает утвердительный ответ. Это убеждение разделяет с ним и вся Православная церковь, которая всегда отстаивала святость многих ветхозаветных праведников: Авраама и Сарры, Иосифа и Моисея, Илии и Иеремии. Поминовение ветхозаветных, дохристианских святых внесено в годовой календарь Православной церкви, тогда как на Западе этого обычно не делают⁹¹. С точки зрения католической сотериологии, основывающейся преимущественно на трудах Августина, количество избранных ко спасению вообще крайне невелико в противоположность огромной массе осужденных на вечные муки людей⁹². Так, знаменитый немецкий проповедник XIII века францисканец Бертольд Регенсбургский считал, что отношение осужденных на ад к удостоившимся спасения равно пропорции 100000:1. А согласно подсчетам Джона Бромьярда, английского доминиканца XIV в., в день смерти архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета (1118–1170), мученически погибшего от рук приближенных короля Генриха II, во всем мире скончалось 3033 человека: 3000 из них отправились в ад, 30 душ оказались в чистилище, и лишь трое попали на небеса⁹³.

Характерно для западной традиции ошеломляющее утверждение, выраженное, например, в трактатах авторитетнейших католических теологов Петра Ломбардского (ок. 1095–1160) и Фомы Аквинского (1225–1274), о том, что зрелище адских мучений собратьев не только не терзает сердца избранных в раю, но еще больше увеличивает их радость и славу⁹⁴.

С особенною, какою-то садистскою, торжественностью эту идею излагал в своем трактате “Светильник” Гонорий Августодунский, популярный католический проповедник XII века. На вопрос ученика (трактат Гонория построен в форме диалога), не будут ли сокрушаться добродетельные, видя грешников в геенне, магистр безапелляционно отвечает: “Нет. Пусть даже отец узрит сына или сын отца в муках, либо мать дочь или дочь свою мать, либо муж жену, а жена мужа, — не только не будут горевать, но это для них будет столь же приятным зрелищем, как для нас видеть рыб, играющих в водоеме, ибо сказано: “Возрадуется праведник, когда увидит отмщение” (Пс. 57, 11)”. Когда же ученик спрашивает: “Не будут ли они молиться за них?” — то слышит в ответ: “Молиться за проклятых значит идти против Бога, но избранные Его едины с Господом, и все Его приговоры будут им по душе”⁹⁵.

Прямое продолжение этой традиции мы видим в моровской Утопии: “остров блаженных”, окруженный изверженными во “тьму внешнюю” массами

неграждан, рабов и иноплеменников, предоставленных адской участи быть ограбленными и эксплуатируемыми. В системе Адама Смита лишенными благодати оправдания и спасения оказываются все те, чья деятельность носит нерыночный характер и чей труд “не производит ничего такого, что могло бы потом купить или доставить равное количество труда” (то есть не вписывается в аристотелево понятие справедливого обмена). В категорию отверженных рыночным раем у Смита, помимо домашней прислуги, попадают практически все творцы духовной культуры — “священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.”⁹⁶. Еще один из почитаемых “отцов” буржуазной политэкономии Томас Мальтус (1766–1834), являвшийся с 1789 г. пастором англиканской церкви, отказывал в спасении всем беднякам. “Неумолимые законы человеческой природы, — писал он, — то есть размножение людей сделали то, что многие человеческие существа были обречены на нищету. Это несчастные люди, которым в жизненной лотерее попался пустой билет”. Произвол протестантского Божества получил у Мальтуса псевдоним “законов природы”, и они столь же неумолимы, как лютеровское предопределение ко спасению: “Христос умер не для всех”, — так жестко сформулировал Лютер эту идею предопределения⁹⁷. “Бог умер лишь для спасения избранных”, — любили повторять протестантские вероучители вслед за Лютером⁹⁸. Мальтус развивает ту же самую концепцию, но уже под видом политэкономического “закона”: “Человек, пришедший в занятый уже мир, — говорит он, — не имеет ни малейшего права требовать себе пропитания: он — лишний на земле... На великом жизненном пиру нет для него места. Природа повелевает ему удалиться и сама же приводит в исполнение свой приговор”⁹⁹.

Своего логического завершения эта сегрегационная сотериология достигла в современной западной цивилизации, которая, как показали блестящие исследования М. Фуко и Ж. Бодрийяра, буквально пронизана расистскими интенциями. “Мы расисты не только по отношению к индейцам-каннибалам, — говорит Жан Бодрийяр, — по мере углубления своей *рациональности* (курсив наш. — **И. Д.**) наша культура последовательно выдворила в область нечеловеческого неодушевленную природу, животных, низшие расы, а затем эта раковая опухоль Человеческого, притязая обозначать пределы абсолютного превосходства нашего общества, проникла и внутрь самого этого общества. Мишель Фуко проанализировал выдворение безумцев на заре новоевропейской цивилизации¹⁰⁰, но мы знаем также, как непосредственно с развитием Разума происходило выдворение детей, как в силу идеализированного статуса детства они все больше заточались в гетто инфантильного мира, в отверженное состояние невинности. Не-людьми сделались и старики, отброшенные на периферию человеческой нормы... Бедняки, слаборазвитые страны, индивиды с низким коэффициентом умственного развития, транссексуалы, интеллектуалы, женщины — целая мифология террора и отлучения на основе все более и более расистского определения “нормального человека”. Квинтэссенция нормальности: в последнем итоге все “категории” подвергнутся исключению, сегрегации и проклятию, и тогда-то общество станет наконец универсальным”.

Однако, продолжает Бодрийяр, открывая страшную кощееву тайну Запада, “есть еще один акт исключения, который состоялся раньше всех других и был радикальнее, чем исключение безумцев, детей и низших рас, который предшествовал им и служил для них образцом, который вообще лежит в основе всей “рациональности” нашей культуры: это исключение мертвых... От первобытного общества к обществам современным идет необратимая эволюция: мало-помалу *мертвые перестают существовать*. Они выводятся за рамки символического оборота группы. Они больше не являются полноценными существами, достойными партнерами обмена, и им все яснее на это указывают, высекая все дальше и дальше от группы живых — из домашней интимности на кладбище (этот первый сборный пункт, первоначально еще расположенный в центре деревни или города, образует затем первое гетто и прообраз всех будущих гетто), затем все дальше от центра на периферию, и в конечном счете — в никуда, как в новых городах или современных столицах, где для мертвых уже не предусмотрено ничего, ни в физическом, ни в психическом пространстве. В новых городах, то есть в рамках современной общественной рациональности, могут найти себе структурное пристанище даже безумцы, даже правонарушители, даже люди аномального поведе-

ния – одна лишь функция смерти не может быть здесь ни запрограммирована, ни локализована. Собственно, с ней уже и не знают, что делать. Ибо сегодня *быть мертвым – ненормально*, и это нечто новое. Быть мертвым – совершенно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все остальное пустяки. Смерть – это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение. Мертвым больше не отводится никакого места, никакого пространства/времени, им не найти пристанища, их теперь отбрасывают в радикальную утопию – даже не скапливают в кладбищенской ограде, а развеивают в дым. . .”

По мнению Бодрийяра, современная западная цивилизация создала и замогильное гетто, фактически лишив подавляющее большинство людей права на вечную жизнь, которое стало привилегией богатых и преуспевших¹⁰¹. Но эту штуку проделали еще Августин и Фома Аквинский. А у Мора в философии его утопийцев этот процесс рационального “исключения”, своего рода онтологического секвестра всех неистинных сущностей – иноплеменников, стариков, детей, мертвых и т. д. (что на языке богословской символики означало бы их низвержение в ад), приводит к сжатию подлинного бытия до одной-единственной точки – индивидуального “Я”. “Ад – это другие”, – воскликнул утопиец XX столетия устами одного из героев Сартра, и смело мог бы добавить, что “ад – это для других”, поскольку они другие.

И в самом деле, центральным ядром утопийского общества является тело индивида, рассматриваемое как источник приятных ощущений и удовольствий. Вокруг человеческого тела формируется социальное тело, причем формируется таким образом, чтобы обеспечить максимально положительный баланс приятных и неприятных ощущений для каждого из входящих в социальное целое индивидуальных тел, остающихся “другими” друг для друга, при соблюдении принципа эквивалентности обмена ощущениями между телами. Периферия утопийского государства, окружающие его иные политические образования рассматриваются под тем же углом зрения – как источник пользы или неприятностей. Первые всячески поощряются и поддерживаются, вторые – подавляются и уничтожаются. Собственное благополучие не утопийских общественных тел, их суверенитет и субъектность не имеют для Утопии самостоятельного значения. Социальная система Утопии центрированная, всасывающая, и ее созидательные усилия направлены на организацию и форматирование внешнего пространства для оптимального всасывания и поглощения. Это своего рода социальная черная дыра, низвергающая в ад других и сама вследствие того становящаяся адом для других. . .

Напротив, система Иосифова Устава центробежная, излучающая: улавливая с помощью организованных в монастырском центре литургических и духовных практик неисчерпаемую Божественную энергию свыше, она дарит духовный свет окружающему миру, окормляя и просвещая его. Это система не “исключающая” – чужих, лишних, мертвых, – а принимающая и спасающая всех. Иосифо-Волоцкий монастырь, по замыслу своего основателя, не замкнутая монада, отгородившаяся от погрязшего во грехе и скверне мира непроницаемыми стенами, но средоточие мира, переплетенная с ним всеми нервами и кровеносными сосудами сердечная мышца, объединяющая, оживляющая и питающая его. . .

Утопия и Устав – это не только две идеологии, две сотериологии, два социальных мегапроекта, которые продолжают осуществляться (хотя и с разным размахом), и спор между которыми еще не окончен. Это два разных мира, отразившиеся, как в капле воды, в двух личностях и наложившие на самый внешний облик их свою неизгладимую печать.

На известном прижизненном портрете Томаса Мора кисти Ганса Гольбейна-младшего изображен дородный господин в мехах и бархате с массивной золотой цепью на шее. Не это ли идеальное воплощение европейского человека Утопии?

На древнейшей надгробной иконе Преподобного Иосифа Волоцкого XVI века мы видим аскетичный лик человека в ветхой и “искропанной” ряске, умершего от истощения, помогая голодным крестьянам, “душу свою положи за други своя” (Ин. 15, 13), – пытаюсь спасти всех. . .

Примечания:

- ¹ См., напр.: Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 32; Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959. С. 150; Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа // Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 112, 119. Первоисточником этого выражения послужила для Иосифа “Лествица” Иоанна Лествичника, который говорит, что “никакой дар от нас Богу не может быть столько приятен, как приношение Ему словесных душ чрез покаяние. Ибо *весь мир не стоит одной души*, потому что мир преходит, а душа нетленна, и пребывает во веки” (см.: Лествица Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. С. 267). Ср. также: “Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?” (Мф. 16, 26).
- ² Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. М., 1865. С. 5–6.
- ³ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 16. Житие Феодосия сообщает, что Преподобный послал “одного из братии в Константинополь, к Ефрему скопцу, чтобы тот переписал для него устав Студийского монастыря и прислал бы ему”. Получив список, Феодосий “повелел прочесть его перед всей братией и с тех пор устроил все в своем монастыре по уставу монастыря Студийского”. Введение в обиход Печерского монастыря общежитительных принципов потребовало немалых усилий от настоятеля. Феодосию приходилось постоянно обходить “кельи учеников своих, и если что-либо находил у кого – или пищу какую, или одежду, помимо предписанной уставом, или имущество какое, то изымал это и бросал в печь, считая за дело рук дьявольских и за повод для греха” (Житие Феодосия Печерского // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века. М., 1978. С. 335, 359). Об истории общежитительного Студийского устава см. исследование А. М. Пентковского “Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси” (М., 2001).
- ⁴ См.: Булгаков Н. А. Преподобный Иосиф Волоколамский. СПб., 1865. С. 24.
- ⁵ См.: Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. М., 1903. С. 18.
- ⁶ Рассказ о смерти Пафнутия Боровского // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 503–505.
- ⁷ Надгробное слово Преподобному Иосифу Волоколамскому ученика и сродника его инока Досифея Топоркова. М., 1865. С. 168.
- ⁸ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 105.
- ⁹ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 108.
- ¹⁰ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 100–101.
- ¹¹ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 20.
- ¹² Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 17–18.
- ¹³ Моисеева Г. Н. Житие Новгородского архиепископа Серапиона // Труды отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М.-Л. 1965. С. 159.
- ¹⁴ См.: Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479–1510-е годы). СПб., 2004. С. 193–201.
- ¹⁵ Зимин А. А. Краткие летописцы XV–XVI вв. // Исторический архив. Т. 5. М.-Л., 1950. С. 16–17.
- ¹⁶ Послания Иосифа Волоцкого. С. 210.
- ¹⁷ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 23.
- ¹⁸ Текст Краткой редакции Устава Иосифа Волоцкого опубликован в кн.: Послания Иосифа Волоцкого. С. 296–319; Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 187–213. Пространную редакцию Устава см.: Великие Минеи Чети, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь. Дни 1–13. СПб., 1868. Стлб. 499–615; Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 57–155.
- ¹⁹ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 126.
- ²⁰ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 62–63.
- ²¹ См.: Булгаков Н. А. Преподобный Иосиф Волоколамский. С. 34.
- ²² Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 119, 121–122, 128–129.

- ²³ В Духовной грамоте Иосифа мы найдем немало ссылок на Василия Великого, так же как и в других русских общежительных уставах – Ефросина Псковского, Корнилия Комельского (см.: Древнерусские иноческие уставы. М., 2001).
- ²⁴ Устав Св. Василия Великого // Древние иноческие уставы. М., 1892. С. 294–295.
- ²⁵ См.: Послания Иосифа Волоцкого. С. 296–303. В Пространную редакцию Устава это Слово вошло практически без изменений (см.: Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 61–69).
- ²⁶ Послания Иосифа Волоцкого. С. 303.
- ²⁷ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 69–75, 78.
- ²⁸ Послания Иосифа Волоцкого. С. 306, 308; Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 76, 78.
- ²⁹ Послания Иосифа Волоцкого. С. 308.
- ³⁰ Послания Иосифа Волоцкого. С. 309–310. Ср.: Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 82.
- ³¹ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 25–26.
- ³² Такой же скромностью и непритязательностью в одежде отличались и наиболее выдающиеся русские средневековые святые-игумены Сергей Радонежский, Кирилл Белозерский, Пафнутий Боровский (см.: Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 353; Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. С. 91; Преподобный Пафнутий игумен и чудотворец Боровский и его обитель. С. 41).
- ³³ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 25–26.
- ³⁴ Надгробное слово Преподобному Иосифу Волоколамскому ученика и сродника его инока Досифея Топоркова. С. 170.
- ³⁵ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 45.
- ³⁶ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 24.
- ³⁷ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 27.
- ³⁸ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 84; Послания Иосифа Волоцкого. С. 311.
- ³⁹ Послания Иосифа Волоцкого. С. 314.
- ⁴⁰ Послания Иосифа Волоцкого. С. 144.
- ⁴¹ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 30, 53.
- ⁴² Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 32.
- ⁴³ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 50.
- ⁴⁴ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 33. Этот приют для детей-сирот существовал в Иосифовом монастыре вплоть до начала XX века, и даже после 1917 г., когда монастырь был упразднен, а монахи разогнаны, стены обители продолжали благотворить – до 1981 г. здесь находился детский дом (см.: Александрова Т., Суздальцева Т. Преподобный Иосиф Волоцкий и созданная им обитель. М., 2004).
- ⁴⁵ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 50–52.
- ⁴⁶ См.: Звягин В. Н., Березовский М. Е, Григорьева М. А. О результатах медико-криминалистического исследования по идентификации честных останков преподобного Иосифа Волоцкого // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель: Сб. статей. С. 117.
- ⁴⁷ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 46.
- ⁴⁸ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 58, 117. Ср.: Лествица Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника (4:50). С. 40.
- ⁴⁹ Послания Иосифа Волоцкого. С. 153.
- ⁵⁰ Послания Иосифа Волоцкого. С. 235–236.
- ⁵¹ Послания Иосифа Волоцкого. С. 184.

- ⁵² См.: Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 189, 369.
- ⁵³ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 22, 39–40.
- ⁵⁴ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 89.
- ⁵⁵ О принципиально противоположных экономике “дара” и рыночной экономике см.: Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 77–118.
- ⁵⁶ Послания Иосифа Волоцкого. С. 316.
- ⁵⁷ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 87.
- ⁵⁸ Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким. С. 24.
- ⁵⁹ Волоколамский патерик. С. 189, 194.
- ⁶⁰ См.: Житие Преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. С. 44.
- ⁶¹ См.: Шевырев С. П. История русской словесности. Ч. 4. М., 1860. С. 142.
- ⁶² См.: Сакулин П. Русская литература и социализм. Ч. 1. М., 1924. С. 442.
- ⁶³ Четвериков С. Преподобный Амвросий. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2007. С. 269.
- ⁶⁴ Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479–1510-е годы). СПб., 2004. С. 128.
- ⁶⁵ Послания Иосифа Волоцкого. С. 298–299. Ср.: Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 205–207.
- ⁶⁶ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 114, 119.
- ⁶⁷ Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 130.
- ⁶⁸ Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 113.
- ⁶⁹ Духовная грамота Преподобного игумена Иосифа. С. 80. Ср.: Лествица Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника (26:82). С. 189.
- ⁷⁰ Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 131.
- ⁷¹ Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 112–114.
- ⁷² См.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. СПб., 2002. С. 148–163.
- ⁷³ Подробнее о порядке чтения всedневных и вечных поминаний в различных русских монастырях см.: Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002. С. 208–215).
- ⁷⁴ Послания Иосифа Волоцкого. С. 181–182.
- ⁷⁵ См.: Надгробное слово Преподобному Иосифу Волоколамскому ученика и сродника его инока Досифея Топоркова. С. 175–176; Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. С. 201.
- ⁷⁶ Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. Приложения. С. 144.
- ⁷⁷ Послания Иосифа Волоцкого. С. 182.
- ⁷⁸ См.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. С. 96–99, 159–160. Ср.: Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 145–146; Вкладные и записные книги Иосифа Волоколамского монастыря XVI века // Титов А. А. Рукописи славянские и русские. Вып. 5. М., 1906. С. 60–61.
- ⁷⁹ Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 97–98.
- ⁸⁰ Волоколамский патерик. С. 188.
- ⁸¹ Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 113–114. Этот фрагмент “Просветителя” является вольным пересказом из “Слова об усопших в вере” Иоанна Дамаскина (ср.: Преп. Иоанн Дамаскин. Слово об усопших в вере, – о том, какую пользу приносят им совершаемые о них литургии и раздаваемые милостыни // Церковные ведомости. 1898. 1-е полугодие. СПб., 1898. С. 181–182).
- ⁸² Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 359.
- ⁸³ См.: Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Смей ли мы надеяться на спасение всех? Ориген, Григорий Нисский, Исаак Ниневийский // Учение о спасении в разных христианских конфессиях. М., 2007. Учение об апокатастасисе Оригена (185–254), отягощенное ложной гностической премудростью, было осуждено V Вселенским собором в 553 г.
- ⁸⁴ См.: Преподобный Исаак Сирий. О Божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. М., 1998. С. 194–195, 200–201, 210–215 и др.; Преподобный Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. М., 2008. С. 67–70.

- ⁸⁵ Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Творение Преподобного отца нашего Иосифа, игумена Волоцкого. Изд. 3-е. Казань, 1896. С. 90.
- ⁸⁶ Легенда о прощении Траяна по молитвам Григория Великого имела широкое хождение в европейской средневековой письменности. Наиболее подробный рассказ содержится в “Золотой легенде” (XIII в.) Якова Воррагинского (см.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 159–160). История о Траяне была известна Иосифу Волоцкому из приписываемого Иоанну Дамаскину “Слова об усопших в вере” (см.: Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 179–183. Комментарии Т. И. Шабловой).
- ⁸⁷ Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря. С. 131–142.
- ⁸⁸ См.: Никифор Каллист Ксанфопул. Синаксари Постной и Цветной Триоди. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008; Афиногенов Д. Е. “Повесть о прощении императора Феофила” и Торжество Православия. М., 2003; Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых походов. М., 2001. С. 37–48.
- ⁸⁹ См.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. С. 139; Дергачева И. В. Посмертная судьба и “иной мир” в древнерусской книжности. С. 160.
- ⁹⁰ Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 181.
- ⁹¹ См.: Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Понимание спасения в православной традиции // Учение о спасении в разных христианских конфессиях. М., 2007. С. 18.
- ⁹² См., напр.: Блаженный Августин. О граде Божиим. Т. 4. М., 1994. С. 277.
- ⁹³ Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Ехемпра XIII века). С. 99.
- ⁹⁴ См.: Себоуэбернар. Вечен ли ад? // Учение о спасении в разных христианских конфессиях. С. 63. Для православного сердца сама мысль об этом кажется непереносимой. Выдающийся подвижник XX века старец Силуан Афонский (1866–1938) как-то услышал от одного монаха подобное рассуждение: “Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном огне”. Очевидно, ему доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал: “Ну скажи мне, пожалуйста, если тебя посадят в рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?” – “А что поделаешь, сами виноваты”, – говорит тот. Тогда старец со скорбным лицом ответил: “Любовь не может этого понести... Нужно молиться за всех” (Архимандрит Софроний (Сахаров). Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. С. 55).
- ⁹⁵ См.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 252–253.
- ⁹⁶ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I–III). М., 1993. С. 469.
- ⁹⁷ Лютер М. Лекции по “Посланию к Римлянам”. Минск, 1996. С. 415.
- ⁹⁸ См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. С. 143, 213.
- ⁹⁹ Цит. по: Водовозов Н. В. Мальтус. Берлин-Пг.-М., 1922. С. 118–119.
- ¹⁰⁰ Речь идет о книге Фуко “История безумия в классическую эпоху” (СПб., 1997).
- ¹⁰¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 232–238.

Александр КАЗИНЦЕВ

Запомните имя: Иван Дронов

Исследование “Утопия и Устав. Томас Мор и Иосиф Волоцкий” – явление не рядовое в современной исторической, точнее, историософской литературе. Признаюсь, меня восхитил точный выбор двух ключевых текстов эпохи, в которую формировался образ, идеология, ценностные ориентиры Нового времени. “Утопия” знаменитого англичанина и “Устав” сурового поборника Православия – произведения значимые не только сами по себе. Они во многом определили характер современной европейской цивилизации, двух её

ветвей – западной и русской. Причём если статус “Утопии” давно уже определён (существует обширнейшая литература, ей посвящённая), то “Устав” нужно было ещё “разглядеть” в массиве древнерусской литературы. Безошибочность выбора показывает, что мы имеем дело со зрелым автором, хотя Иван Дронов сравнительно молод, особенно для исторического мыслителя.

Не менее серьёзна разработка темы: анализ произведений Томаса Мора и Иосифа Волоцкого с привлечением многочисленных научных работ. Не только биографических, источниковедческих, но и философских, позволяющих предельно широко взглянуть на предмет исследования. Особо отмечу обращение к трудам современных французских философов – Жана Бодрийяра и Мишеля Фуко, несколько неожиданное для автора-”почвенника”, но плодотворное. Ибо проникновение в культурные коды оппонента позволяет критиковать его “изнутри”. А это, как правило, самая убедительная критика.

Научная основательность, интеллектуальная изощрённость исследования Ивана Дронова напоминает мне работы Вадима Валериановича Кожина, с которым я был тесно связан без малого четверть века. Да и сам склад личности молодого учёного близок к кожиновскому.

Готовясь написать это послесловие, я попросил Ивана Евгеньевича прислать в редакцию краткие сведения о себе. С присущей ему основательностью он представил небольшой биографический очерк. На мой взгляд, текст оказался столь хорош, что я решил опубликовать его полностью.

Вместо автобиографии

Родился 5 марта 1971 г. в г. Жуковский Московской области, где и живу до сих пор.

Оба моих деда из крестьян, то есть вполне благородного происхождения. Прадед мой, полтавский крестьянин Пантелеимон Цикало погиб при обороне Порт-Артура в 1904 г. Его сын, кадровый военный, Михаил Пантелеимонович Цикало в 1945 г. в звании генерал-лейтенанта артиллерии Советской Армии Порт-Артур от японцев освободил. От деда осталась папаха, деревянная кобура от маузера и Атлас офицера 1947 г., который я очень любил рассматривать в детстве, потому что в нём имелись все карты войн и сражений мировой военной истории от греко-персидских войн до Второй мировой. Здесь, наверное, истоки моего интереса к истории и восхищение славой и величием Родины.

Мой отец – Дронов Евгений Иванович (1927–2010) – участник Великой Отечественной войны, в составе истребительного батальона принимал участие в обороне Москвы; в 1944 г. курсантом лётного училища защищал Ленинград на “ораниенбаумском пятачке”; в 1945 г. лётчиком морской авиации Балтфлота бомбил Кёнигсберг, имеет медаль “За взятие Кёнигсберга”. Вышел в отставку в 1954 г. в звании капитана воздушного флота, окончил Рязанский политехнический и всю последующую жизнь проработал в Лётно-исследовательском институте в г. Жуковский, в частности, руководил испытаниями палубной авиации на авианосном крейсере “Адмирал Кузнецов”. Кроме того, он был очень русским человеком, был влюблён в русскую природу, в русский лес, был заядлым грибником и знатоком птиц, в доме всегда щебетали разные пойманные им птицы. Перед Есениным он преклонялся как перед певцом крестьянской Руси и русской природы, знал великолепно его поэзию и биографию, ведь Есенин был ещё и его земляк – Дроновы происходят из Скопинского уезда Рязанской губернии. Там немало людей с такой фамилией. Согласно изысканиям местных краеведов, происхождение этой фамилии связано с воинами рати Дмитрия Донского, вооружёнными длинными копиями – дрынами. После побоища на Куликовом поле (оно верстах в 50 от Скопина) возвращавшаяся в Москву армия по дороге оставляла сильно израненных бойцов в деревнях на излечение. Некоторые, поселились там навсегда. Которые с большими копиями были, те получили прозвище Дрынов, или Дронов. Так что наш род подревнее иных дворянских будет.

Моя мать – Дронова (Цикало) Ирина Михайловна (р. 1937) соединяет в себе всё лучшее, чем славится русская женщина. В молодости, я уверен, она была вполне тургеневской девушкой, чистой душой и сердцем. В браке она вырастила троих детей. Я всегда чувствовал её бесконечную любовь, добро-

ту, ласку к нам, детям, но всё это без какой-либо сладости и слюнявых сантиментов, и вместе с любовью (и киску ведь любят и ласкают) всегда ощущалась с её стороны и весьма серьёзная требовательность к детям быть в каждом проявлении своём – Человеком, то есть существом, в котором духовное сильнее животного, а долг важнее корысти.

У меня были очень простая и очень хорошая советская семья и очень простое и очень хорошее советское детство. В отличие от “непростых” советских семей, как-то причастных к власти или элитарной интеллигенции, у нас в семье не было никакого “двоемыслия” и “кукиша в кармане”. Советская пропаганда утверждала, что мы живём в лучшей в мире стране, и я рос с этой верой, потому что родители не внушали мне чего-то иного. Они были люди очень неглупые и достаточно образованные и критично относились ко многому в советской действительности, посмеивались над бровастым звездноносцем и разными нелепостями, как и все, но при этом прекрасно понимали и высоко ценили то благо, которое дала советская власть человеку труда, и ни на капельку не обольщались всеми западными приманками – от “свободы” до “джинсов”. Мои родители ни дня не состояли в партии, но именно они были самыми настоящими русскими советскими людьми, на которых держался этот строй. Наверное, потому, что пережили войну, имели большой жизненный опыт (не только книжный и теоретический) и хорошую историческую память: помнили, кем были и как жили до 1917 г. их родители.

Я учился в обыкновенной школе, каких-то выдающихся успехов не проявлял, однако полученного образования хватило для поступления в два престижных вуза – сначала в МАИ (1988), потом на исторический факультет МГУ (1991), – притом без всяких репетиторов (в семье просто не было на это лишних денег). Вот, кстати, ещё одна великая ценность советского строя, которую мы променяли на джинсы и жвачку.

Дело не только в качестве советской школы самой по себе, но и во всей социокультурной атмосфере, которую продуцировал советский строй, и которая всячески поощряла в человеке любознательность, интерес к миру не потребительский, а познавательный, привычку к чтению, творческому поиску, всемерному и неутилитарному расширению кругозора. В результате в этом обществе получалась в целом гораздо более “здоровая” личность и вообще более личность, чем та “больная” и изуродованная личность (индивид), которую производит буржуазное общество, даже если здесь этот индивид обеспечен материально лучше, чем при социализме (теперь мы об этом знаем не только из книг Эриха Фромма).

Я, как и большинство советских детей, имел пристрастие к чтению (меня, прилипшего к книжке, маме приходилось буквально выгонять на улицу погулять), но поскольку дома книг было не очень много, а в библиотеке брать книжки я не любил, так как с прошедшей через десятки случайных рук книгой нельзя по-настоящему почувствовать душевной связи, а понравившуюся книгу всегда хочется оставить себе, то лет с 12–13 я, выпросив у родителей рубль или трёшку, начал сам ходить по книжным магазинам и покупать себе чтение. При этом в книжном магазине, как правило, нельзя было купить то, что уместно было бы читать подростку – книги Дюма, Жюль Верна, Конан Дойла и т. п., – зато на полках пылились разные не востребуемые тома из подписной серии “Философское наследие” – Аристотель, Кондильяк, Лейбниц, часто уценённые (как раз на мой рубль), не говоря уже о разных “основоположниках” и “предшественниках” научного социализма, включая Томаса Мора. Вот это-то всё я и читал, может быть, и не понимая половины в “метафизиках” и “теодицеях”, но с упоением, так как приключения разума и идей оказались не менее увлекательными, чем приключения мушкетёров, а путешествие в Утопию и Икарию не менее потрясающим, чем путешествие к центру Земли.

Особенно мне памятна отысканная в букинистическом магазине в г. Рязани в 1985 г. книжечка “Метафизические размышления” Декарта 1901 г. издания, с рассыпающимся блоком и изъеденная жучком, со штампом Библиотеки Московских высших женских курсов и с форзацами, испещрёнными какими-то пометками курсисток. Никогда после я не читал книги, в которой с таким великолепием выразились бы весь блеск и вся мощь западного рационального Разума, но и, как позднее мне стало понятно, – весь его яд и вся его жуть (коротко говоря, “от Канта – к Круппу”, от Декарта и Бэкона – к Освенциму и Хиросиме).

Это особенно стало видно, когда западная рациональная философия пришла к нам на рубеже 1980–1990-х гг. в виде либерально-рыночной идеологии с её соблазнительной внешностью и погибельной сутью. Для меня весь этот бесовский карнавал 1990-х гг. был отвратителен с самого начала, хотя я был очень молодым человеком, а тогда много говорилось, что, де, молодым теперь у нас везде дорога, и каждый может стать Ротшильдом, кроме заплесневелых совков-старпёров, которые ставят палки в колёса реформ. В 1991 г. я голосовал против Ельцина и за сохранение СССР, но было уже понятно, что на почве марксизма-ленинизма сопротивляться мощному натиску буржуазной идеологии бесперспективно, тем более что эти идеологии – единоутробные братья, о чём убедительно свидетельствовала русская т. н. “религиозная” философия, которую тогда стали снова широко печатать. Из множества книг этого ряда на моё мировоззрение особенное влияние оказали “Дневник писателя” Ф. М. Достоевского, изданный отдельной книжкой в 1989 г., первый сборник произведений К. Н. Леонтьева “Цветущая сложность” с предисловием Т. Глушковой 1992 г. и К. П. Победоносцева “Великая ложь нашего времени” с предисловием А. Ланщикова 1993 г.

Большим потрясением были для меня события октября 1993 г. Мне случилось быть 4 октября в Белом доме и видеть своими глазами расстрелы людей, что само по себе шок, но ещё большим шоком было то, что русские убивали русских по приказу собственного демократически избранного правительства. Как ни трагичны были эти впечатления, но они оказались очень полезны, потому что устранили многочисленные двусмысленности и окончательно раскрыли глаза на то, кто и что именно кому и чему именно противостоит в России. При всём омерзении, какое вызывали чубайсы, гайдары, ельцины, было и остаётся стойкое ощущение, что они не совсем вменяемы, вроде одержимых или чёртовых кукол, находящихся во власти великого Злого Духа, дыхание которого можно услышать и в Декарте, и в Ротшильде, и в Томасе Море, и что сражаться нужно, прежде всего, с ним, с этим великим Духом...

Из пережитого в 1990-е гг. моей страной и мной лично выросла книга об Александре III под названием “Сильный, Державный”, которая была написана в 1997–1998 гг., когда я учился в аспирантуре (вместо того, чтобы писать диссертацию, но тогда это казалось менее важным). В отчаянной ситуации агонизирующего ельцинизма и пресловутой семибанкирщины, во многом похожей на капиталистическую свистопляску и вакханалию в России 1860–1870-х гг., мне хотелось показать, как лидер с сильной волей, твёрдой рукой и русскими идеями в голове (идеями Достоевского, Леонтьева и Победоносцева) смог не только вывести страну из кризиса, спасти от резни и гражданской войны, но и доказать практически, результатами своего царствования, что на самобытных, “славянофильских”, началах можно основать благополучие страны гораздо вернее, чем на чуждых западных.

В книге немало внимания уделялось еврейскому вопросу, потому что – куда деваться от исторических фактов – в XIX веке в России он стоял крайне остро, будоражил умы и занимал большое место в политике. Найти издателя для этой книги оказалось непросто (страх иудейский ещё никто не отменял), лишь в 2006 г. она вышла в издательстве “Ихтиос” благодаря помощи С. И. Котькало. А после выхода этой книги страх иудейский настолько обуял научного руководителя моей кандидатской диссертации в МГУ, что мне пришлось уже готовую диссертацию защищать в другом месте под руководством не столь слабонервного профессора А. А. Королёва из Московского гуманитарного университета. В апреле 2007 г. диссертация на тему “Разработка консервативной концепции развития России в творчестве В. П. Мещерского” была успешно защищена.

Что касается Иосифа Волоцкого, то интерес к его личности как-то естественно и закономерно вырос из увлечения русской консервативной мыслью XIX века. Понятно, что от Достоевского, Леонтьева, Хомякова и Киреевского нельзя не прийти к духовному источнику их творчества – к русской православной церкви, к русскому монастырю, к русской религиозной мысли и святоотеческому богословию. Об Иосифе Волоцком у меня с советских времён было самое превратное впечатление как о символе всех тёмных сторон проклятого дореволюционного прошлого: религиозного мракобесия и зверского садизма самодержавия. Но уже тогда казалось парадоксом, что его книга называлась “Просветитель”: с Просвещением ассоциировались совсем другие идеи. Когда

же я купил и прочитал вышедшую в переводе на современный русский язык в 1993 г. книгу Иосифа, то был поражён тем, что такое выдающееся по литературным, богословским и вообще интеллектуальным достоинствам произведение было написано задолго до Петра, на рубеже XV-XVI веков, когда в России, по убеждению нашей либеральной и советской историографии, ничего, кроме дикости и безобразия, быть не могло.

Вообще Иосиф мне представляется Достоевским XVI века: почитать, что он пишет о еретиках-жидовствующих, так ведь это чистейшие “Бесы” – хитромудрые кудрейки подучивают русских дурачков заморским прогрессивным идеям, а те давай крушить иконы и церкви! И темперамент у них, то есть у Достоевского и Иосифа, очень похожий, и пафос всеобщего спасения...

Но это уже тема специального исследования для литературоведов, а о себе могу ещё сказать, что с 2000 г. работаю преподавателем истории, с 2000 г. – в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Всё это мало похоже на автобиографию, но каких-то событий в моей жизни, интересных кому-либо, кроме меня, немного; она больше проходит в сфере мысли. Стоять на страже России в этой сфере, как мои предки стояли с мечом в руках, я считаю своим долгом.

Иван Дронов

НИНА СЕВЕРИКОВА
кандидат философских наук

РУССКИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

К 130-летию со дня рождения П. А. Флоренского

Имя Павла Александровича Флоренского (1882–1937) теперь широко известно в научном мире, а в будущем, когда осуществится замысел ученого об издании всех 19 томов произведений, написанных им, может возникнуть целое направление в науке, связанное с его именем.

Личность Флоренского была столь универсальна, энциклопедичность его познаний столь удивительна, что современники называли его новым Леонардо да Винчи. Это был человек великих дарований: его 225 запатентованных открытий в области математики, физики, химии, электродинамики, эстетики, а также его литературные произведения, статьи про музейному делу и искусствоведению до сих пор вызывают удивление и даже спустя полвека воспринимаются как нечто необычное.

Необычным было и само время, которое называют сегодня “серебряным веком” русской культуры. Духовное обновление общества на рубеже XIX–XX веков вызвало необыкновенный расцвет в различных областях культуры, важнейшей частью которой стала русская религиозная философия, утверждавшая примат духовности, поиски путей своеобразного соединения материального и духовного.

В плеяде русских религиозных философов, имена которых долгие десятилетия были под запретом, особое место занимает П. А. Флоренский, стоявший у истоков этого бурного, переломного времени. С. Н. Булгаков отмечает черты высокой духовности в облике своего близкого друга: “Он был для меня не только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ; черты внешности мыслителя – благодатная тихость и просветленность – удивительно точно запечатлены на известном нестеровском портрете “Философы”... Духовно выделялся древний эллин...”¹.

Небольшой экскурс в прошлое позволяет установить, откуда у мальчика, жившего в глубокой провинции, проявились черты высокой духовности. Родословие П. А. Флоренского сложилось из четырех сильных ветвей-родов: Флоренских, Соловьевых, Ивановых, Сапаровых. Часть рода Флоренских принадлежала к духовному сословию, часть – к научной области, где Флоренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и направлений... Интересы Флоренских были разносторонни – история, археология, естествознание, живопись, музыка, литература.

Мать Павла Флоренского Ольга Павловна Сапарова (Саламия Сапарьян), происходила из древнего армянского рода маликов и росла в доме, где вос-

точные обычаи сочетались с европейской роскошью благодаря сношениям семьи с Персией, Индией, Францией. Но, став женой русского инженера путей сообщения Александра Ивановича Флоренского, она обрекла себя на кочевую жизнь, и ко времени рождения первенца — Павла — молодая семья ютилась в товарном вагоне около будущей станции Евлах Елисаветпольской губернии (ныне Азербайджан).

Семья Флоренских и после переезда в Тифлис (1882) продолжает жить уединенной жизнью. Мир семьи, пронизанный теплотой и порядочностью, располагал взрослых и детей к занятиям серьезными науками и искусством. Будущий ученый воспитывался в атмосфере Бетховена и Гёте; “музыку любил неистово”; романс Глинки на стихи Пушкина “Я помню чудное мгновенье” считал воплощением изящества — “уплотненным фокусом культуры... замкнувшим целый век расцвета русского искусства”². Флоренский страстно любил природу: его волновала сдержанная мощь природных форм. Отсюда и пошел тот восторг и интерес к бытию “до самозабвения”, который был характерен для Флоренского всю его жизнь.

От тифлисской гимназии, где он учился с 1893 по 1899 год, по его словам, ничего не ждал; все, что приобрел в интеллектуальном отношении, получил, главным образом, благодаря общению с отцом и усиленной самостоятельной работе. Постоянными спутниками его жизни были серьезные научные труды по физике, химии, геологии, астрономии и энциклопедические словари на всех языках. Страсть к знанию поглощала все его внимание и время, к 15 годам его научное мировоззрение “сложилось и окрепло в непоколебимую систему”³. Но в конце гимназического курса, законченного с золотой медалью, 17-летний юноша, убедившись в ограниченности физического знания, переживает духовный кризис. Два равносильных убеждения раздирали его душу: “истина недоступна” и “невозможно жить без истины”. С чувством того, что истина есть, но путей к ней он пока не знает, Флоренский начал новый период своей жизни, когда в 1900 году стал студентом физико-математического факультета Московского университета.

С тех пор начинается стремительный рост и расширение его научных знаний. Одной из самых близких Флоренскому идей была идея прерывности. Помимо занятий математикой, он посещает лекции на историко-филологическом факультете, самостоятельно изучает историю искусств. Окончив университет с дипломом 1 степени, Флоренский отклонил предложение Н. Е. Жуковского остаться на кафедре математики и в том же 1904-м поступил в Московскую духовную академию.

Что же побудило молодого ученого так резко и неожиданно для родных изменить свой жизненный путь? Действительно, рос он в обстановке индифферентного отношения к религии и был поглощен серьезными научными опытами, а уроки Закона Божия у него вызывали насмешку и даже вражду, однако в глубине души он чувствовал, что есть особая, таинственная область жизни, — и вдруг со всею страстью потянулся к ней. Кризис научного мировоззрения завершился обретением веры в Бога как абсолютную и целостную Истину, на которой должна строиться вся жизнь.

Мысль о познании духовности во всех ее ипостасях вынашивалась им долгие годы — даже в то время, когда он усиленно занимался математикой и физикой. Именно эти науки и привели молодого ученого к признанию формальной возможности теоретических основ общечеловеческого религиозного мирозерцания. Изучая философию и историю, он убеждается: нет множества религий, “а есть одна религия, которая принадлежит всему человечеству, но лишь меняет “свой вид”. Главное в бесчисленных формах религии — “человечность — единственный лозунг, который может быть общим всем людям, который даёт правильное понимание нравственным заповедям и ... не ведет к ожесточению и нетерпимости. Вот что должно быть воспитываемо в людях”⁴, — писал богослов. Одну из ближайших целей практической деятельности Флоренский сформулировал так: “Произвести синтез церковности и светской науки, воспринять все положительные учения Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством...”⁵.

Однако Московская духовная академия во многом не удовлетворяла Флоренского, и он упорно продолжает самостоятельные занятия символической логикой, историей философии, археологией, изучает еврейский язык; организует философский кружок, где читает доклады. За проповедь “Вопль крови”,

произнесенную в марте 1906-го против смертного приговора П. П. Шмидту, он был заключен в Таганскую тюрьму. Далее трагические события следуют одно за другим: умер отец, так много сделавший для всестороннего развития своего сына; скончался духовник Павла — иеромонах Исидор, “печальник за мир, соль земли”; погиб самый близкий друг Флоренского С. С. Троицкий. Сам Флоренский находился в состоянии “тихого бунта”. Его “Воспоминания” открывают возможность подойти к пониманию той эпохи: “В том, что случилось со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что “время вышло из пазов своих” и что... кончилось нечто весьма важное не только для меня, но и для истории. Это было ощущение и смертельной тоски, и жгучей боли, и невыносимого сознания, что разрушается то, что строилось величайшими усилиями...”⁶. И все же переходность исторического времени Флоренский ощущает как неизбежную смену типов мировоззрений, “начало освобождения” и всеобщего “воскресения” к новой жизни.

В период учебы в духовной академии его не перестает волновать вопрос о “законности” занятий наукой и философией, который он решает, пройдя через собственный духовный опыт: “Философия каждого народа, до глубочайшей своей сущности, есть раскрытие веры народа... Если возможна русская философия, то только — как философия православная, как философия веры православной”⁷. Эту мысль Флоренский развивает и позже — в лекционных курсах и выступлениях. По его мнению, “философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во Христе”⁸.

Значительным событием в жизни Флоренского стало блестящее окончание в 1908 году Московской духовной академии. Его кандидатское сочинение “О религиозной Истине” легло в основу магистерской диссертации (1912) и книги “Столп и утверждение истины” (1914). Главная мысль этого огромного труда выражена предельно лаконично: “Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов”⁹. Магистерский диспут и выход книги вызвали громадный интерес и обширную полемику не только в духовных кругах, но и среди общественности. Мнения высказывались самые различные: это не было удивительно в годы идейного размежевания интеллигенции. Е. Н. Трубецкой в докладе “Свет Фаворский и приобретение ума”, посвященном анализу “Столпа...”, назвал книгу выдающимся явлением в новейшей русской богословской литературе: “Давно я не помню, чтобы какая-либо книга мне доставляла такую большую, из глубины сердца идущую радость... Это яркое и красноречивое свидетельство того, что не иссякла в нас жизнь духовная и что под покрывалом мертвечины, окутавшим нашу Церковь, таится живая сила”¹⁰. Главным недостатком книги Трубецкой считает антиномизм, с чем не мог согласиться Н. А. Бердяев, которому как раз импонировала идея антиномии как отражения противоречий действительности. Но при этом в статье “Стилизованное православие” Бердяев, не стесняясь, пишет о “Столпе...” как об “удушливой книге”, при чтении которой “хочется вырваться на свежий воздух, в ширь, на свободу, к творчеству свободного духа человеческого”¹¹.

Бердяеву решительно возражает В. А. Кожевников, сотрудник “Богословского вестника”: высказывания Бердяева о “Столпе...” он счел “жалкой, захлебывающейся бессильною досадою (чтобы не сказать — злобою) инвективой”, а “Столп...” , напротив, назвал “спокойно-величавой” горной вершиной русского православия”¹².

Наиболее справедливую характеристику “Столпу...” дал ректор Московской духовной академии епископ Феодор. По его мнению, “Столп...” занял исключительное место не только в русской, но и в западной философско-богословской литературе: “Сделана полная апология христианской веры как единственной истины”; раскрыта необходимость христианства для человека, уясняется “высший смысл жизни и бытия мира”; это книга “высоко научная; трудно сказать, в какой области научного знания автор не проявил себя специалистом”. Отмечая энциклопедичность знаний Флоренского, епископ Феодор подчеркивает его преимущество в том, что он “везде остается свободным от подавляющего влияния этого научного багажа. Он везде творец и хозяин”¹³.

Созвучна этому отзыву краткая дневниковая запись о книге “Столп...” В. И. Вернадского: “Я страшно ценю самостоятельное творчество... Чувствуется сильная и оригинальная личность”¹⁴.

Чрезвычайно интересна оценка книги самим Флоренским: “Тут делается попытка применить ряд математических понятий и операций, даже не назы-

вая их, применить... к общим вопросам миропонимания, к проблемам духовной жизни, использовать в целях философских самый дух математики. В книге делается первое, для русской, по крайней мере, литературы применение к философии алгоритма символической логики”¹⁵.

“Столп...” можно назвать своеобразной энциклопедией человеческого знания в самых различных областях науки и жизни. О колоссальной работе автора над книгой свидетельствует наличие в ней более 1000 примечаний, обширнейший список литературы и источников, многие из которых — на иностранных языках. Полное название книги — “Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского” — сразу определяет цель этого оригинального философского произведения. Термин “теодицея” (от греч. “Бог” и “справедливость”) со времени введения его в 1710 г. Лейбницем переводится как “оправдание Бога” и обозначает религиозно-философское учение, стремящееся согласовать идею благого и разумного Божественного управления мира с наличием мирового зла. Сам Флоренский переводит теодицею не только как “оправдание Бога”, но и как “восхождение человека к Богу”, чему, собственно, и посвящен “Столп...”.

Основная проблематика книги носит преимущественно **гносеологический** характер. Флоренский определяет сущность религии как спасение внутреннего мира человека от тающего в нем хаоса. Религия, “водворяя мир в душе, умиротворяет и целое общество, и всю природу”. **Онтологически** религия, по утверждению Флоренского, “есть жизнь нас в Боге и Бога в нас”. **Феноменологически** — это “система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе **спасение**... равновесие душевной жизни”¹⁶.

Но гносеология Флоренского — это не комплекс взглядов на познание, а сочетание путей для активного богопознания, без которого не может осуществиться ни вхождение в Церковь, ни познание истины. В акте богопознания человек преодолевает присущую ему двойственность: “Когда физик или биолог, или химик, даже психолог, философ и богослов читают с кафедры одно, пишут в научных докладах другое, а дома, в своей семье, с друзьями, чувствуют, вступая в противоречие с существующими предпосылками своей собственной мысли, то не значит ли это, что личность каждого из них разделилась на несколько исключаящих друг друга?”¹⁷. Следствием двойственной природы человека является антиномичность разума: он “раздроблен и расколот”¹⁸, способствовать же преодолению его антиномичности может только гармонизация человеческого и божественного. Однако противоречие существует как факт бытия: противоречиво бытие — противоречиво и мышление; у Флоренского антиномия — неустраняемая данность, поэтому Истина так же антиномична, как и разум. “Я не знаю, есть ли Истина или нет её. Но я всем нутром ощущаю, что *не могу* без неё. И я знаю, что *если она есть*, то она — всё для меня: и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье”¹⁹. Он уверен: вся Истина доступна только Богу, но дело в том, что она, как субъект, активна и может, погружаясь в человеческое пространство и время, обрести признаки личного и общественного.

При стремлении Флоренского отразить в своем учении живой религиозный опыт он выделяет два периода: период теодицеи — “восхождения человека к Богу” и период антроподицеи — “нисхождения Бога к человеку”. Эти два пути “совмещаются в религиозной жизни и лишь методологически могут быть рассматриваемы до известной степени порознь”²⁰. Анализ второго пути посвящена книга “У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Часть 1”, которая построенную теодицею дополняет антроподицей — учением о мире и человеке в их причастности к Богу. Сакральную (культовую, литургическую) деятельность Флоренский считает первичной, освящающей хозяйство, художественное творчество и мировоззрение — науку и философию. По его мнению, сакральная деятельность — это “символизирующая деятельность духа”²¹. **Символизм**, как характерная черта и теодицеи, и антроподицеи, является “не только методом и творческой формой, но и объектом исследования”. Флоренский считает символы органами нашего общения с реальностью, причем каждый из символов соприкасается с соответствующей ветвью науки — лингвистикой, филологией, физикой, искусствознанием, семиотикой, философией, а все вместе образуют единую парадигму учения о мире и человеке.

Стремление к единству веры и знания, науки и жизни и постижению Истины делает неразделимым творчество Флоренского — религиозного мысли-

теля, священника и ученого. Юношеский замысел синтеза науки и церковности — “в разных сферах её и на разных глубинах”²² нашел свое отражение и в журнале “Богословский вестник”, редактором которого Флоренский был в 1912–17 годах, а в 1927 его назначают редактором “Технической энциклопедии”, для которой он написал около 150 статей на научные темы.

Уникальность работ Флоренского в том, что он стремился синтезировать в единое целое знания самых различных областей. Свою жизненную задачу он понимает “как проложение путей к будущему цельному мировоззрению”²³. По мнению академика Лихачева, “для него не существовало дробления единого знания на привычные нам разделы”²⁴. Религия для Флоренского — это важнейший составной элемент человеческой культуры, и даже в 1923 г., когда основным занятием его стала научная деятельность, он публикует “Записку о христианстве и культуре”, в которой разрабатывает программу преобразования науки и культуры на религиозных началах: по мысли ученого-богослова, и наука, и культура, и религия, выполняя свои функции, “живут согласное, нуждаясь друг в друге и служа единому организму”²⁵. Разработка вопроса о соединении религиозных убеждений и научной материальной деятельности приводит Флоренского к открытиям в разных областях наук.

Раздвинув горизонты науки, он на десятилетия заглянул вперед. Так, в книге “Мнимости в геометрии” (М., 1922) математически предвосхитил то, что в физике наших дней получило название “антимира”; в статье “Физика на службе математики” обсуждает проблему, решение которой привело к созданию аналого-вычислительной машины. И это не единственное проявление его необыкновенного таланта.

Оценивая вклад Флоренского в изучение Платона, один из лучших знатоков античной культуры А. Ф. Лосев писал, что он “дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когда-нибудь я читал о Платоне”²⁶.

Флоренский часто говорил о надвигающемся крушении привычных устоев жизни, и революция не была для него неожиданностью. Он живо откликнулся на призы принять участие в культурном и научно-техническом строительстве в стране. Чувство единения с Россией, с ее народом было столь велико, что он, естественно, не мог покинуть Родину, хотя за границей его ожидала блестящая научная будущность и мировая слава ученого. “Жизнь ему как бы предлагала выбор, — пишет С. Н. Булгаков, — между Соловками и Парижем, но он избрал родину, хотя то были и Соловки”.

Флоренский был первым, кто, служа Церкви, одновременно стал работать в советских учреждениях. В 1918 году его пригласили в комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Так был создан всемирно известный Государственный историко-художественный и архитектурный музей-заповедник. В 1921 году Флоренский избран профессором ВХУТЕМАСа, где читает курс “Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях”, разработанный на данных математики, физики, психологии и эстетики. Замечательным открытием его было обоснование правомерности “обратной перспективы”, на которой построена древнерусская живопись: это не промах, а “мужество гения, опрокидывавшего своим чутьем самые рациональные теории”.

Активный характер принимает научно-техническая деятельность ученого: в 1920 году работает на заводе “Карболит” по изготовлению пластмассы из отечественного сырья. В 1921 году переходит на исследовательскую работу в Главэлектро ВСНХ, участвует в VIII электротехническом съезде, где обсуждался план ГОЭЛРО. С 1924 года он — член Центрального электротехнического Совета Главэлектро, начинает работать в Московском объединенном комитете электротехнических норм и правил, создает первую в СССР лабораторию испытаний материалов, где готовит целую плеяду талантливых работников. В книге “Диэлектрики и их техническое применение” (1924) со 100 рисунками, чертежами и диаграммами, выполненными им собственноручно, Флоренский систематизировал новейшие теории, касающиеся изоляционных материалов, и предсказал ряд направлений научного поиска. В 1931 году его избирают в президиум бюро по электроизолирующим материалам Всесоюзного энергетического комитета; в 1932 году включают в комиссию по стандартизации научно-технических обозначений терминов и символов при Совете труда и обороны СССР. Как видно из перечня тех учреждений, где довелось работать

П. А. Флоренскому, он всегда приглашался на работу как специалист высокого класса. Тем более неожиданной была высылка его в Нижний Новгород.

Начало травле было положено еще в 1919-м, когда деятельность комиссии по охране Лавры представили как контрреволюционную попытку создания “православного Ватикана”. Затем ему инкриминировали создание во ВХУТЕМАСе “идеалистической коалиции” с В. А. Фаворским. Жесткой, мягко выражаясь, “критике” подвергли Флоренского за истолкование им теории относительности в работе “Мнимости в геометрии” и за статью “Физика на службе математики”, в которой дано описание электроинтегратора – прототипа современных вычислительных машин.

Из нижегородской ссылки Флоренский был возвращен благодаря ходатайству Е. П. Пешковой, но обстановка в Москве была такой, что Флоренский говорил: “Был в ссылке, вернулся на каторгу”. А 20 июля 1933 года он осужден особой “тройкой” на 10 лет и отправлен по этапу в восточносибирский лагерь “Свободный”; через год – в Соловецкий лагерь особого назначения, где занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей и сделал более 10 запатентованных научных открытий и изобретений. 25 ноября 1937 года Флоренский был вторично осужден “без права переписки” – это нынче прочитывается однозначно... Дело в отношении П. А. Флоренского прекращено производством за отсутствием в его действиях состава преступления 6 мая 1959 года.

Научная реабилитация его началась с конца 60-х годов. Теперь с его именем связывают синтез гуманитарных и технических наук, что необходимо для утверждения нравственных ориентиров в их развитии. Культура мысли, целостность и глубина научной позиции, деятельность в ее неразрывной связи с окружающим миром – именно эти уроки преподает нам сегодня Флоренский через свое наследие.

Флоренский предупреждал о гибельности бездуховного пути культуры. Но в то время, когда он писал об этом, казалось невероятным, что уже XX век приведет культуру (да и всё человечество) к возможности самоуничтожения.

Мысли Флоренского, провозглашавшего борьбу против всяческой расовой, национальной, индивидуальной обособленности и разобщенности, использует и современная богословская наука. Теологи высказывают мнение, что Флоренский обогатил богословие лучшими достижениями философии, привнес в теологию диалектический метод. Сам же Флоренский, отмечая в диалектическом методе развитие “многих, сплетающихся друг с другом и переходящих друг в друга”²⁷ тем, образующих “единое целое”, в богословии отводил диалектике роль “пульса” к богообщению, считая её процессом мысли – “мысли в её движении”.

Современников поражала не только глубина научных воззрений Флоренского, но и его благоговейное отношение к священству. Получение священства имело жизнеопределяющее значение: он считал это “даром благодати”. По мнению С. Н. Булгакова, его исключительная научная одаренность являлась чем-то “второстепенным и несущественным”, а самым главным в жизни, “духовным центром его личности было его священство”²⁸.

Священство стало переломом в жизни Флоренского. Хотя к советской власти он относился “как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы”²⁹, но за священство в то время заплатил своей жизнью. В письме родным из Соловецкого лагеря от 13 февраля 1937 года Флоренский с горечью писал: “Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонениями. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни”³⁰.

Примечания

¹ Священник Павел Флоренский. Собр. соч. Статьи по искусству / Под ред. Н. Струве. Париж, 1985. Т. 1. С. 7.

² Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание. М., 1972. С. 413.

³ Там же. С. 190.

- ⁴ Там же. С. 123.
- ⁵ Цит. по: Андроник, игумен (А. С. Трубачев). Жизнь и судьба. В кн.: Священник Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994. С. 8.
- ⁶ См.: Примеч. 2. С. 196–197.
- ⁷ Приветственная речь на юбилейном чествовании А. И. Введенского // Священник Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 191.
- ⁸ Разум и диалектика. Вступительное слово перед защитой на степень магистра книги “О духовной истине”, Москва, 1912 г., сказанное 19-го мая 1914 года // Там же. С. 142.
- ⁹ Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи. М., 2003. С. 33.
- ¹⁰ Переписка князя Евгения Николаевича Трубецкого и священника Павла Флоренского // Вопросы философии. М., 1989. № 12. С. 3.
- ¹¹ Памятные даты. М., 1989. С. 58.
- ¹² Переписка П. А. Флоренского и В. А. Кожевникова // Вопросы философии. М., 1991. № 6. С. 120.
- ¹³ См.: Примеч. 5. Т. 1. С. 13–14.
- ¹⁴ Новый мир. М., 1989. № 2. С. 194.
- ¹⁵ См.: Примеч. 11. С. 60.
- ¹⁶ См.: Примеч. 8. Разум и диалектика... // Там же. С. 142.
- ¹⁷ Флоренский П. Ближе к жизни мира // Советская культура. 1983, 3 ноября.
- ¹⁸ См.: Примеч. 9. С. 146.
- ¹⁹ Там же. С. 80.
- ²⁰ См.: Примеч. 8. С. 134.
- ²¹ Священник Павел Флоренский. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 2000. Часть первая. Т. 3 (1). С. 427. См. также: Северикова Н. М. П. А. Флоренский о взаимосвязи понятий *религия, искусство, личность*. К выходу в свет первого полного издания книги “У водоразделов мысли” (Черты конкретной метафизики). *Статья первая*. Философские науки. 2004. № 12; *Ее же*. П. А. Флоренский о единстве мира и человека. К выходу в свет первого полного издания книги “У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)”. *Статья вторая*. Философские науки. 2005. № 1.
- ²² См.: Примеч. 8. Разум и диалектика... // Там же. С. 139.
- ²³ Там же. Т. 1. С. 38.
- ²⁴ Лихачев Д. С. Павел Александрович Флоренский // Философия, история техника. Л. 1989. С. 3.
- ²⁵ Священник Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. Т. 2. С. 547.
- ²⁶ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма в мифологии. М., 1930. С. 680.
- ²⁷ См.: Примеч. 8. Разум и диалектика... С. 142.
- ²⁸ Булгаков Сергей, протоиерей. Священник о. Павел Флоренский // См.: Примеч. 1. С. 11.
- ²⁹ См.: Примеч. 5. С. 30.
- ³⁰ Из писем П. А. Флоренского семье об А. С. Пушкине и литературе // Вопросы литературы. 1988. № 1. С. 158.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

* * *

Любовь, исполненная зла...

А. Ахматова

*Земная слава, как дым, —
Не этого я просила,
Любовникам всем своим
Я счастье приносила.*

*Один и сейчас живой (круто! – Ст. К.),
В свою подругу влюблённый,
И бронзовым стал другой
На площади оснежённой. (1914 г.)*

Первым, кому она “принесла счастье”, был молодой и мало ещё известный поэт Николай Гумилёв, за которого двадцатилетняя Ахматова после нескольких отказов всё-таки решилась выйти замуж.

Перед свадьбой, которая должна была состояться в Киеве, она написала в письме своей подруге Валерии Тюльпановой: “Птица моя, сейчас я еду в Киев, молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы всё знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня”.

Отношения между подругами, судя по письму, были очень близкими. Николай Гумилёв написал об этом браке: “Из города Киева, из логова Змиева, я взял не жену, а колдунью”. О том, каковы были его отношения с молодой женой, вспоминает современница Ахматовой Ирина Грэм, часто встречавшаяся с ней в Питере и бывшая свидетельницей того, как Ахматова познакомилась с молодым 21-летним композитором Артуром Лурье:

“После заседания поехали в “Бродячую собаку”. Проговорили всю ночь <...> несколько раз к столику подходил Гумилёв: “Анна, пора домой”, но она не обращала внимания. А под утро они с Артуром отправились на острова. “Было, как у Блока, – рассказывал Лурье, – “и хруст песка, и храп коня”. (Через несколько лет А. А. и Н. Гумилёв навсегда ра-

зошлись, что не мешает общественному мнению до сей поры считать её вдовой знаменитого поэта.) Эта ночь определила всю дальнейшую жизнь А. Лурье. **“По его словам, Анна Андреевна разорила его гнездо, как коршун, и разрушила всё в его молодой жизни”**.

Следующей добровольной жертвой стал её второй официальный муж В. Шилейко, востоковед и выдающийся лингвист, “счастье” которого заключалось в том, что он, как вспоминает Ирина Грэм, **“держал Ахматову взаперти; вход в дом через подворотню был заперт на ключ, и ключ Шилейко уносил с собой. Анна Андреевна, будучи самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и “выползала из подворотни, как змея”, а на улице её ждали смеясь А. С. (Лурье. – Ст. К.) и Ольга Глебова-Судейкина; наконец, поселились втроём на Фонтанке”**.

Много лет спустя А. А. признаётся своей московской подруге Ольшевской: **“Мы не могли разобратся, в кого из нас он влюблён”**. В этом разговоре она не скажет, кто был “он” – Артур Лурье или муж Ольги художник Судейкин. Однако сам А. Лурье, прочитав в 60-х годах “Поэму без героя”, прояснит пикантную ситуацию: *“Там всё о нас, о нашей жизни втроём”*. А в письме из Америки одной из красавиц Серебряного века Саломее Андронниковой, эмигрировавшей в Лондон, подтвердит ещё раз: **“Мы жили втроём на Фонтанке, и поэма об этом рассказывает. В этом её главное содержание”**. И вообще во всех “тройственных любовных связях” есть тайны, которые шокируют посторонних.

Вот что, к примеру, пишет в 1960 г. знакомая А. Ахматовой по 20-м годам В. А. Знаменская в Лондон бывшему любовнику поэтессы Б. Анрепу: *“Роман Анны Андреевны с Артуром Сергеевичем проходил у меня на глазах. До чего же мне был противен и гадок этот Артур Сергеевич! Яркое выражение еврейская некрасивая физиономия – противное выражение, – сальный пошляк-умник; не могу забыть, как мне, совсем молоденькой женщине, которую он мало знал, он, вытащив из кармана брюк маленькую книжку с французским текстом и гравюрами порнографического содержания, всячески старался заставить меня рассматривать эти гравюры”*.

Ахматова же, как будто не видя ничего отталкивающего в её избраннике, любила льстить ему: **“Я кукла ваша”**. Но когда он в 1922 году, ничего не говоря ей о своих замыслах, сбежал за границу, вспоминала о Лурье так: **“Я очень спокойно отнеслась к этому – я как песня ходила... 17 писем написал. Я ни на одно не ответила”**. Одним словом, “эпоха Лурье” в жизни А. А. закончилась, “библейские стихи” о жизни с ним были написаны... И вспомнила она его лишь через 20 лет, когда начала писать “Поэму без героя”.

“А. А. ни с кем не считалась <...> Эпоха была блудная, и женщины не задумываясь сходились со своими поклонниками и почитателями”... (из письма И. Грэм М. Кралину) Гумилёв, Лурье, Шилейко, Анреп, Пунин... Отношения с ними становились под её пером стихотворениями, возводившими её с одной ступеньки известности на другую всё выше и выше – к пьедесталу славы.

Поэтому наивно верить её утверждению о том, что **“любовникам всем своим я счастье приносила”** – все её собственные стихи говорят об обратном:

“Как забуду? Он вышел шатаясь, искривился мучительно рот”; “Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнём”; “Ты в этот дом вошёл и на меня глядишь, страшна моей душе предгрозовая тишь”; “Неужели же ты не измучен смутной песней затравленных струн”; “я гибель накликала мылом”; “я была твоей бессоницей, я тоской твоей была”; “Будь же проклят... ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь”; “Шепчет: “Я не пожелаю даже то, что так люблю, или будь совсем моею, или я тебя убью”...

Несть числа примерам, которые свидетельствуют о том, что А. А. относилась к каждому своему любовному роману как “к роковому поединку”. Сама выбирала свою жертву, сама и прощалась с нею. Но после “жертвоприношения” оставались стихи, свидетельствовавшие о том, что любовь для неё была не всеобъемлющей стихией, а необходимым условием, своеобразным “топливом” для “строительства” литературной судьбы и всё возрастающей славы. Известный ленинградский поэт Александр Кушнер, хорошо знавший Ахма-

тову и не раз встречавшийся с нею, так писал об этой стороне её жизни в статье “Анна Андреевна и Анна Аркадьевна”, опубликованной в журнале “Новый мир”:

“А сама Анна Андреевна, была ли она счастлива в любви? Как-то, знаете ли, не очень (“Лучше б мне частушки задорно выкликать, а тебе на хриплой гармонике играть” — это в 1914 г., кажется, ещё при Гумилёве или накануне развода с ним: “Мне муж палач, а дом его тюрьма” — это в 1921 году про Шилейко; “От тебя я сердце скрыла, / словно бросила в Неву... Приручённой и бескрылой / Я в дому твоём живу” — в 1936 году с Н. Пуниным. Почему так происходило, более или менее понятно: она тяготилась благополучием семейной жизни, ей, поэту, любовь нужна была трагическая, желательна бесперспективная. И самый долгий период творческого её молчания объясняется, я думаю, не столько давлением советской власти, сколько мирной жизнью с Пуниным”.

“Она не любит и никогда не любила — она не может любить, не умеет”, — напишет в своём дневнике через несколько лет супружеской жизни с нею её третий муж, комиссар по делам искусств большевистского правительства Николай Пунин. Эмма Герштейн в “мемуарах” вспоминает свой разговор с Ниной Ольшевской:

— “А как вы думаете, Нина, кого она любила больше всех?”

— Я так спросила её однажды. Она после долгой паузы сказала как бы самой себе: “Вот прожила с Пуниным два года”. Это и был ответ.

— Что же он означает?

— Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она ещё два лишних года с ним прожила. Значит, любила”.

Конечно, природа наградила её редким талантом и чрезвычайным умом, но та же природа обделила простодушием, женской привязчивостью и материнской самоотверженностью.

Она его “избрала” в мужа сама, что обычно делала со всеми своими в буквальном смысле слова “избранниками”, она их “вербовала” в свою свиту и удаляла из неё, подобно царице Египта Клеопатре, когда считала нужным. Но обязательно после того, когда все творческие возможности их романа были исчерпаны, все стихи написаны. Было ли время и желание у неё при этом “приносить им счастье”? Едва ли. С очаровательной откровенностью объясняет она себе и нам, чем и как заканчивались все её так называемые романы:

*Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.*

Но такой профессиональный подход к жизни был чреват и обратной стороной, о которой сама Ахматова сказала так: **“Никогда не знала, что такая счастливая любовь”**, или: **“И ты, любовь, была всегда отчаяньем моим”**.

Полного счастья, и жизненного и творческого одновременно, не бывает... Больше всех после Гумилёва с ней намучился Пунин, с которым она прожила чуть ли не 15 лет. Ему она первая прислала записку с предложением о свидании и ему же потом говорила со слезами: *“малышка мой... Думаешь, я верная тебе?”*... Так могла говорить только Настасья Филипповна, утешающая юного князя... Странно, что все поклонники Ахматовой возмущаются тем, что Жданов назвал её в своей речи “блудницей” и “монахиней”. Думаю, что она сама прекрасно сознавала, что товарищ Жданов прав. Так её называли друзья, и она сама чуть ли не гордилась славой такого рода. По словам Ирины Грэм, Ахматова **“была в действительности вавилонской блудницей и разрушительницей”**, но при внимательном чтении её стихов становится ясно, что она и страдала от этого свойства своей натуры, о котором точнее всех её избранников и современников сказал Александр Блок: **“Она пишет стихи как бы перед мужчинами, а надо писать как бы перед Богом”**.

* * *

...Одной из последних любовных тайн А. А. стала загадочная связь с каким-то неизвестным истории избранником. Об этой тайне нет ничьих воспоминаний, не осталось никаких свидетельств, писем или документов. Остались

только стихи, объединённые одним чувством, одной словесной тканью, одним состоянием души, в котором недоумение смешано то ли с ужасом перед случившимся, то ли с раскаянием, то ли с тревожным ожиданием неизбежной расплаты за некое совершённое деяние... Подобных мотивов в “победительной” любовной лирике Ахматовой не было никогда.

*Мы до того отравлены друг другом,
Что можно и погибнуть невзначай,
Мы чёрным унижительным недугом
Наш называем несравненный рай.
В нём всё уже прильнуло к преступленью —
К какому, боже милостив, прости,
Что вопреки всевышнему терпенью
Скрестились два запретные пути.
Её несём мы, как святой вериги,
Глядим в неё как в адский водоём.
Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут обо всём.*

Две последних строчки о “двух дивных книгах”, которые могут возникнуть из “преступленья”, из “запретных путей”, из “отравленности” друг другом — конечно же, звучат как эхо из двадцатых годов, отражённое в афоризме: **“Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда”**. Вот они и выросли, но с какой-то небывалой для Ахматовой окисью “стыда”! А с вышеприведённым стихотвореньем перекликаются его “двойники” и “пересмешники”, рождённые в том же таинственном времени 1963–1964 годов: **“Непоправимо виноват, / В том, что приблизился ко мне / Хотя бы на одно мгновение”**; **“И яростным вином блудодеянья / Они уже упились до конца. / Им чистой правды не видать лица / И слёзного не ведать покаянья”**; **“Мы не встречаться больше научились, / Не поднимали друг на друга глаз”**; **“Так уж глаза опускали, / Бросив цветы на кровать, / Так до конца и не знали, / Как нам друг друга назвать”**; **“Светаёт — это страшный суд”**; **“Я играю в ту самую игру, от которой я и умру”**.

Стихи написаны так, как будто одна рука, их писавшая, жаждала, чтобы они были написаны, а другая тут же хотела их стереть. Такого столкновения враждебных чувств в любовных стихах А. А. ранее не было. **“Вот и стихотворенье “Мы до того отравлены друг другом”... — пишет А. Кушнер в статье “Анна Андреевна и Анна Аркадьевна”, — не только намекает на какую-то тайну, но тут же и приоткрывает её. В том, что это стихи любовные, сомнения нет. И так же очевидно, что они не ретроспективны: “Мы чёрным унижительным недугом / Наш называем несравненный рай”, “Её несём мы, как святой вериги, / Глядим в неё, как в адский водоём”**.

Настоящее время глагола не оставляет лазейки. Остаётся лишь догадаться, почему эти любовь унижительна, запретна, недужна, преступна настолько, что и **“всевышнему терпенью”** не под силу: разгадка лежит на поверхности, доступна любому читателю, надо лишь посмотреть на дату... (А дата написания — 1963 год, когда Ахматовой было уже 74 года.) И далее Кушнер продолжает: **“Я хотел бы опровергнуть сам себя. Существует же поэтическое воображение — и оно вправе не иметь ничего общего с реальными фактами. Писал же старик Фет любовную лирику <...> О, если бы её стихи последних лет были так же хороши, как фетовские”** (может быть, А. А. имела в виду именно это, когда писала: **“Увы, лирический поэт обязан быть мужчиной, иначе всё пойдёт вверх дном”**...). А хороши, как фетовские, они уже быть не могли, потому что её молодые зарифмованные страсти очаровывают точностью письма, правдивостью чувственных порывов, воплощённых в походке, в движениях рук, в выражении лица, в подробностях одежды, в картинах природы... Примеров этого “акмеистического реализма”, сделавшего юную Горенко Ахматовой, не счесть: **“В пушистой муфте руки холодели”**; **“А лучи ложатся тонкие на несмятую постель”**; **“Жгу до зари на окошке свечу”**; **“Я надела узкую юбку, чтоб казаться ещё стройней”**; **“А глаза глядят уже сурово в потемневшее трюмо”**. Не удержусь, приведу одно “молодое” ахматовское стихотворенье о любви:

*И в странную дружбу с высоким,
Как юный орёл темноглазым,
Я словно в цветник предосенний
Походкою лёгкой вошла...*

Это стихи о любви. О молодой любви. А стихи, написанные через полвека после них, наполнены другими, “заношенными” словами: “**таинственный сумрак**”, “**мёртвые взоры**”, “**бесовская чёрная жажда**”, “**таинственные знаки**”, “**бессмертный брег**”, “**клокочущая тьма**”, “**мёртвые взоры**”, “**заколдованная тень**”, “**сожжённая тетрадь**”, “**бездонная разлука**”, “**таинственный склеп**”, “**таинственный зной**”, “**неутолённый стон**” — и т. д. и т. п. (штампы и лексика словно бы из бульварной прозы Серебряного века или из произведений эпигонов символизма)...

*От меня, как от той графини,
Шёл по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный синий
Страшный час над страшной Невой.*

Почему страшный? Да потому что судьба передёрнула карты:

“Герман вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдёрнуться.

В эту минуту ему показалось, что Пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе”.

А. А. попыталась протянуть трагическую нить своей судьбы аж до 60-х “оттепельных” годов. Сладострастный и жестокий Серебряный век спустя целую жизнь неожиданно догнал свою Клеопатру, свою жертву, обрамлённую “седым венцом”, который “достался ей недаром” чуть ли не из рук Владыки тьмы, догнал и околдовал последним соблазном, последним в жизни романом и попытался вернуть её в карнавальное время, чтобы она сыграла прежнюю молодую роль, с которой так блистательно, играючи когда-то справлялась и за которую так дорого платила душой хозяйину карнавала. Но, увы, ничего путного из этого фаустовского проекта не получилось. Её верные слуги — слова о любви, живущие своей жизнью, не узнали в облике старой Дамы свою повелительницу и не послушались её... Существует одна версия о предмете страсти “старой дамы”, изложенная в книге бывшего ленинградского критика, ныне живущего в США, Владимира Исааковича Соловьёва о том, как однажды он рассказал “И. Б.” (Бродскому) про свою встречу с Борисом Слуцким, “**как тот (Б. Слуцкий. — Ст. К.) раскрыл лежащий у меня на письменном столе нью-йоркский сборник И. Б. “Остановка в пустыне” и тут напал на нелестный о себе отзыв в предисловии Наймана. Ося огорчился, обозвал Наймана “подонком” и сообщил, что тот был последним любовником Ахматовой**”. (Владимир Соловьёв, “Три еврея”. М., Захаров, 2002 г., стр. 304.)

Впрочем, это А. А. может быть не больше, чем сплетни, которых немало в ныне справедливо забытом сочинении В. Соловьёва, посвящённого его мелким разборкам с Александром Кушнером.

Но если И. Бродский (любимец Ахматовой) ничего не придумал, то это лишний раз свидетельствует о том, с какой пошлой бесцеремонностью относились питерские поэты (“ахматовские сироты”) к её памяти.

Красноречивей всего об этой бесцеремонности рассказывает сцена из воспоминаний Наймана о том, как они бесчинствовали на могиле Ахматовой: “Однажды зимой мы с Бродским поехали на могилу Ахматовой, ещё достаточно свежую. Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический <...> Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом выяснилось, что новый сделан по заказу Льва Николаевича Гумилёва в псковских мастерских народного промысла, но в ту минуту для нас, помнящих её живую неизмеримо острее, чем мёртвую, и всё ещё принадлежащую нам, а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетически-религиозным принципам (выделено мной. — Ст. К.), это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющая зрение пощёчина. И мы принялись выдирать но-

вый, чтобы поставить старый. Земля была промёрзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жирмунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекрестился и сказал торжественно: “Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы – вы понимаете, что это значит?”

Тому, кто осудит Александра Кушнера или меня за столь дотошное прочтение и столь “недопустимое” толкование последнего цикла Ахматовой, можно возразить лишь следующим единственным образом.

Поэт, дерзнувший написать стихи о “запретнейших зонах естества”, знающий, что они будут напечатаны, а следовательно и прочитаны, тем самым вольно или невольно вводит своего читателя в эти “зоны”, после чего читатель получает полное право иметь свое суждение об этих стихах и впечатление от этого “путешествия”. Поэт, как никто, обязан помнить тютчевскую истину – “нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...” И его же: “ты бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится”. Хаос, клубящийся в “запретнейших зонах”.

Ахматова до конца жизни осталась верна самой себе: её последнему любовнику было “принесено счастье” – роман произошёл, цикл стихотворений о свершившемся был написан, условия фаустовской сделки с “владыкой тьмы” были выполнены...

* * *

Поэта далеко заводит речь.

М. Цветаева

Дьявол не выдал, мне всё удалось...

А. Ахматова

Для лучшего понимания судьбы и натуры А. А. полезно вчитаться в стихотворенье, написанное ею летом 1942 г. в Ташкенте. Оно настолько смущает своей откровенностью, что, видимо, поэтому при жизни А. А. нигде не публиковала его. В большой серии “Библиотека поэта” оно напечатано в разделе “стихотворения, не вошедшие в основное собрание”, а в комментариях сказано: “Печ. по записи Вл. Орлова со слов автора. Посмертная публикация двух последних строф – “Лит. Грузия”, 1967 г., № 5”.

Полностью стихотворенье напечатано в книге Ахматовой “Избранное”, М., 1974, без всяких комментариев.

Что же заставило автора и публикаторов отнестись к этому, на наш взгляд, одному из ключевых произведений А. А. словно к второстепенной и незначительной странице её творчества?

...Лето 1942 г., судьба страны на волоске, на Волге начинается Сталинградская битва, и в это роковое время поэтесса сводит счёты с непонимающей её частью общества. Высокомерие по отношению к современникам – обывателям клокочет уже в первых строчках этой страстной поэтической исповеди:

*Какая есть. Желая вам другую —
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики...
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!*

Пафос стихотворенья Ахматовой близок кощунственному пафосу стихотворенья Георгия Иванова о “комсомолочках”, купающихся в Крыму. Её презрения достойны все, кто, живя обычной “обывательской” жизнью, обустроивая великую страну, позволяет себе в короткое время летних отпусков “отдыхать в Сочи”, танцевать под музыку Дунаевского, слушать песни в исполнении Шульженко – “Сочи, те дни и ночи, вы предо мной во сне и наяву...” Но дочь Серебряного века резко отдаляется от такого рода людей: “Пока вы мирно отдыхали в Сочи, ко мне уже ползли такие ночи и я такие слышала звонки”... Возможно, что это “ночи” и “звонки” 1937 года, но возможно, что и другие,

о чём чуть ниже. Поражает надменность, с которой А. А. говорит о людях простонародья, которое в это время “стояло у мартезовских печей”, у станков на оружейных заводах, падало от усталости на колхозных полях в том же Узбекистане, куда её доставили из блокадного Ленинграда чуть ли не по распоряжению Сталина, подальше от фронта:

*Над Азией — весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотой,
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!*

А далее идут строки, куда более надменные, нежели приведённые выше, отбрасывающие читателя в 30-е, в 20-е годы и дальше к незабываемому ему Серебряному веку:

*Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих — безутешная вдова.*

Сказано с предельной откровенностью обо всей минувшей жизни и с предельной гордыней о способности “вклиняться” в “запретнейшие зоны естества”, в зоны той чувственной жизни, куда запрещено вторгаться человечеству Высшей Волей. Александр Пушкин, любимый поэт Ахматовой, понимал эту трагедию человеческой “свободной воли”, но писал о ней иначе, нежели его незаурядная поклонница:

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Он ни в чём не упрекал “этих людей”, он — каялся. За свои грехи. Но А. А. никаких “строк” слезами смывать не хочет — надо отдать должное её бесстрашию. Она готова к расплате, но не со стороны Того, кто сказал: “Мне отмщение и аз воздам”, а от противоположной силы, искушавшей Спасителя в пустыне. Она понимает, что расплата за грешную жизнь неизбежна, но отказать от гордыни не может.

*Седой венец достался мне недаром,
И щёки, опалённые загаром,
Уже людей пугают смуглотой.*

Но почему в центре Азии, где все — от ребёнка до старика — смуглы от рождения, именно её смуглота “пугает людей”? Может быть, потому, что она иного происхождения, и лучи азиатского солнца здесь ни при чём? Как бы то ни было, она пытается с запредельным достоинством встретить развязку своей судьбы:

*Но близится конец моей гордыне,
Как той — другой — страдалнице Марине,
Придётся мне напиться пустотой.*

Про Марину с её гордыней А. А. вспомнила не случайно, да и “напиться пустотой” — где-то уже мелькал этот образ в её поэзии:

*И странный спутник мне был послан адом:
Гость из невероятной пустоты,
Казалось, под его недвижным взглядом
Замолкли птицы, умерли цветы.*

*В нём смерть цвела какой-то жизнью чёрной,
Безумие и мудрость были в нём тлетворны.*

От волнения последняя строчка у неё вышла косноязычной. Было от чего волноваться: разве это не портрет “Владыки мрака”? Разве не с его посланником предвкушала она свидание в роковую минуту жизни, когда тяжело болела и думала о том, что ждёт её за гранью Бытия?

*И ты придёшь под чёрной епанчой
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица...
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белую перчатку
И кто прислал ночного пришлеца?*

Это “чёрный человек” Анны Ахматовой. В отличие от есенинского, явившегося поэту лишь однажды, но изгнанного — тростью, с биением зеркал, у Ахматовой подобных чёрных призраков на протяжении жизни было куда больше — чуть ли не целая толпа, являвшихся постоянно и напоминавших грешной душе о некогда совершившейся сделке, в результате которой она и получила свою власть над “этими людьми”:

*Дьявол не выдал. Мне всё удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди моё сердце и брось
Самой голодной собаке.*

*Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего — прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.*

Как не прийти в отчаянье от невозможности забыть свою греховность, отомолить её, стереть из памяти:

*Любовь всех раньше станет смертным прахом.
Смирится гордость и замолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенести.*

Образ чёрного человека то посещает её, то исчезает, принимая самые разные облики, как принимали их призраки тьмы в пушкинских бесах:

*И чёрной музыки безумное лицо
На миг появится и скроется во мраке,
Но я разобрала таинственные знаки
И чёрное моё опять ношу кольцо.*

Поэт Николай Клюев, сам человек небезгрешный, в 1932 году, во время почти полного забвения Ахматовой, писал в стихотворении “Клеветникам искусства”:

*Ахматова, жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу ль утратила к пещерам,
Где Данте шёл и воздух густ...*

Интересно то, что А. А., поставив строчку “Где Данте шёл и воздух густ” эпиграфом к одной из глав “Поэмы без героя” вместо “воздух густ” написала “воздух пуст”... А “пустота” для неё всегда обозначала адскую сущность. Словом, произошла не просто ошибка, но невольная “оговорка по Фрейду”.

Проницателен был олонецкий ведун, вспомнил, что Данте шёл к пещерам, в которых плясали отблески адского пламени.

Все они в борьбе с этими потусторонними силами искали спасения в далёком детстве с его ангельской чистотой: **“Стать бы снова приморской девчонкой”**; **“Не знаю, не помню, в каком селе, где-то в Калуге или в Рязани жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами”**.

И даже несчастная Людмила Дербина вспоминает время, когда она пасла телят – была “рыжей пастушкой” и сидела на пенёчке “с кружкой земляники”...

С годами, с появлением “седого венца” характер ахматовской гордыни, конечно же, менялся. Если в молодости гордыня толкала её к завоеванию мужских сердец, то к старости желания становились всё более грандиозными. Как писала Надежда Мандельштам: **“В старости Ахматова начала и всех мужчин считать двойниками, не своими, конечно, а друг друга. Все живые и мёртвые объединялись тем, что влюблены в неё, Ахматову. И пишут ей стихи”**. Но этого мало. Вспоминая времена после ждановских полуобвинений-полукомплиментов (“блудница”, “монахиня”), прозвучавших по её адресу в 1946 г., Ахматова позже напишет о том, что она чувствовала себя тогда стоящей в центре мировой истории:

*Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал восток.
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог —
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог...*

А навестивший Ахматову вскоре после войны сэр Исайя Берлин вспоминал о том, что Ахматова рассказывала ему, будто бы Сталин, узнавший о её встрече с ним, с “английским шпионом”, впал в такую ярость, что это, по её мнению, могло стать одной из причин начала холодной войны.

Правда, Исайя Берлин оговорился, что был не согласен с Ахматовой, но как воспитанный человек и “сэр” не стал возражать ей*.

А разве не о предельной ахматовской гордыне свидетельствует воспоминание Эммы Герштейн:

“Я пожертвовала для него мировой славой!” – выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попреки вернувшегося через семь лет (!) сына”.

Дети Серебряного века вообще думали, что в центре мироздания, являясь его осью, стоит поэзия, а поскольку каждый из них считал себя (не без оснований) поэтом всемирного масштаба, то впасть в иллюзию гордыни им ничего не стоило. Этой “высокой болезнью” болели все – от Блока до Северянина, от Бальмонта до Ходасевича. О женщинах и говорить нечего. А Борис Пастернак, уравнивший в середине 30-х годов “двухголосную фугу”, две равновеликих силы истории – поэтическую и политическую (то есть себя и Сталина), в известном стихотворенье “Гамлет” сравнил своё противостояние миру на сцене с голгофской жертвой Спасителя:

*На меня направлен сумрак ночи,
Тысячи биноклей на оси.
Если только можешь, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...*

В стихотворенье же “Нобелевская премия”, впадая в отчаяние от поношений, которыми его преследовала советская пресса, он восклицал:

*Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.*

* Berlin I. Personal Impressions, Oxford, 1982.

Такова была его собственная оценка “Доктора Живаго”: именно “**весь мир заставил**”, именно “**плакать**” — ни больше, ни меньше...

Всё величие мировой истории таланты Серебряного века сводили к величю и судьбам избранных. У Ахматовой в стихотворенье об Александре Македонском (1961 г.) великий завоеватель, штурмовавший Фивы, приказывает своим полевым командирам предать в городе огню и мечу:

*И башни, и врата, и храмы — чудо света,
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:
“Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта”...*

А остальное — гори оно гаром...

Будем справедливы: у Ахматовой есть несколько стихотворений гражданско-патриотического звучания о детях войны и победы, о послевоенном мире, о своей песне, которая “голубкой мира” летит “в удушливый фабричный дым, И в негритянские кварталы, и к водам Ганга голубым”, но их “случайность” в контексте всего творчества очевидна, а их художественная ценность сопоставима с художественной ценностью “сталинского цикла”, написанного в 1949—50 годах к 70-летию вождя. Все эти стихи (за исключением “Реквиема”) были в той или иной мере декларативными эпизодами в её творчестве, которое в течение всей жизни всеми самыми сокровенными нитями судьбы и памяти было связано с любимым Серебряным веком, с фантомами “Поэмы без героя”.

Георгий Васильевич Свиридов — один из крупнейших русских композиторов XX века — написал немало суровых слов о нём и о его питомцах:

“В русской литературе, увы, ущербного “Серебряного века” стали процветать высокомерие и надменность”; “Ахматова — шахматная королева — на 90% состояла из осанки и высокомерия. Снизошла к народу во время блокады. Люди, жившие с привилегиями даже в эпоху разнузданного террора; <...> за Ахматовой был прислан спецсамолёт (от Сталина лично) вывезти её из блокадного Ленинграда. Эти люди чувствовали себя избранными всегда”.

Того, кто не считает мысли Свиридова о Серебряном веке верными и справедливыми, я могу познакомить с оценками той же эпохи из книги Н. Я. Мандельштам:

“Для меня главная беда в том, что этот слой осознал себя элитой <...> Таково было время, что элита создавалась повсюду, где собиралась кучка людей. Элита — властолюбивая верхушка любой группы, самозванный “избранный сосуд”, возникающий путём самоутверждения” <...> “В “Египетской марке” Мандельштам взбунтовался против неистового культа. Тоже проклятые завели Трианон...”

А вот ещё несколько свидетельств о том, как власть заботилась о своей элите, доставшейся ей в наследство от Серебряного века, и опекала её.

В 1939 году Зощенко был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Незадолго перед этим он же решением секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) был введён в редколлегия журнала “Литературный современник”. Естественно, что с одобрения А. А. Жданова. В 1940 г. при содействии последнего был издан сборник стихотворений Ахматовой “Из шести книг” (после 16-летнего перерыва).

Эвакуация Зощенко и Ахматовой из блокадного Ленинграда была осуществлена не только по распоряжению Сталина, но и по прямому указанию Ленинградского горкома ВКП(б). Заботясь об их устройстве в эвакуации, **“в Ташкент по правительственному проводу звонил сам Жданов”** (из “Воспоминаний” Н. Я. Мандельштам).

* * *

Никакая ни мать, ни жена...

Я. Смеляков

Было ещё нечто, объединяющее “фурий” социальной революции и “клеопатр” революций сексуальной — это тотальное разрушение всех традиционных семейных устоев в обмен на обретение полной свободы. Обе революции возвращали женщин, являвших собою две стороны одной медали. О первом

социальном типе этой обезбоженной породы с поразительной точностью написал поэт Ярослав Смеляков:

*Прокламация и забастовка.
Пересылка огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.*

*Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.*

В этом обобщённом образе поэт слил воедино лица многих знаменитых командирш революционной эпохи, начиная от Розалии Землячки и кончая Ларисой Рейснер и многими другими “освобождёнными женщинами местечкового Востока”. В этот коллективный портрет естественно вписались лица литературных дам Серебряного века — каждая из которых тоже была “никакая ни мать, ни жена”.

Лучше всего об ихнем материнстве говорят собственные стихи наших сивилл или воспоминания их родных и близких. Одна из них почти что каялась перед сыном:

*Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать...*

А о встрече с матерью после возвращения из заключения Лев Николаевич Гумилёв сам рассказал в своей “Автобиографии”.

“... Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Её общение за это время с московскими друзьями — с Ардовым и их компанией, среди которых русских, какжется, не было никого, — очень повлияло на неё, и она встретила меня очень холодно, без всякого сочувствия”.

Ещё более определённо высказался Лев Николаевич по поводу материнского окружения последних лет в разговоре с Михаилом Кралиным (исследователь привёл эти слова в своих воспоминаниях о Гумилеве): “Когда меня забирали, она осталась одна, худая, голодная, нищая. Когда я вернулся, она была уже другой: толстой, сытой и облепленной евреями, которые сделали всё, чтобы нас разлучить”.

А о Цветаевой дочь вспоминала с леденящим душу удивлением и точностью детской памяти:

“Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребёнка, и вообще на детей. А Марина маленьких детей не любит. <...> Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится. Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит” (декабрь 1918 г.) Дочери тогда было всего лишь 4 года.

После разрушительной и очистительной революционной бури, казалось бы, что все “Бродячие собаки”, “Башни”, “Привалы комедиантов”, “Вены” должны были превратиться в прах, но не тут-то было. Дети Серебряного века, пережив ужасы гражданской войны и голодные годы военного коммунизма, вдруг встрепенулись — богемно-салонный быт начал возрождаться снова. Правда, со своими советско-нэповскими особенностями. В Москве на Тверской открылось “Кафе поэтов”, Галина Серебрякова организовала свой салон более с политическим, нежели с литературным уклоном, стали популярными “никитинские субботники”, но, конечно, самым известным местом, где собиралась элитная литературная тусовка той эпохи, вежливо опекаемая чекистами, был салон в особняке Гендрикова переуллка, где хозяйничала Лиля Юрьевна Брик с двумя своими фаворитами — Осипом Бриком и Владимиром

Маяковским. Но Анна Ахматова, живущая в Ленинграде, чувствовала, что бриковский салон — это отнюдь не “Башня” Вячеслава Иванова времён её молодости:

“Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка по-пахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции”... И это она писала, симпатизируя Маяковскому, с которым не раз выступала вместе в 1915 году в “Бродячей собаке” и о котором вспоминала в 1940-м в “Поэме без героя”, куда призрак великого поэта Революции был приглашён ею на дьявольский бал:

*Полосатой наряжен верстой, —
Размалёванный пёстро и грубо —
Ты
Ровесник Маврийского дуба,
Вековой собеседник луны.*

Не обманут притворные стоны...

*Ты железные пишешь законы —
Хаммураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава.
Он не ждёт, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла...*

То, что этот отрывок рисует маскарадный облик молодого Маяковского, А. А. призналась в своих комментариях к поэме. Но и без того стилистика поэмы свидетельствует, о ком идёт речь: “полосатой наряжен верстой” — гигантская нескладная фигура из пушкинских “Бесов”: “Там верстою небывалой он торчал передо мной”. Речь идёт не только о росте Маяковского, а ещё и о том, что его неуклюжая, громоздкая роль в поэме была задумана как роль одного из главных действующих лиц российской истории, обозначенных Достоевским (а он тоже присутствует в поэме) в названии романа “Бесы”... “Размалёванный пёстро и грубо” — это, видимо, напоминание о жёлтой кофе-те автора “Облака в штанах”; “Вековой собеседник луны” — переключка со строчкой Маяковского из “Юбилейного”: “В небе вон луна такая молодая, что её без спутников и выпускать рискованно”, и “ведь у нас в запасе вечность” — тоже из “Юбилейного”. “Он не ждёт, чтоб подагра и слава впопыхах усадили его в юбилейные пышные кресла” — это своеобразное эхо, оттолкнувшееся от названия “юбилейное” и от слов “сочтёмся славою, ведь мы свои же люди”...

Да и сама торжественно-высокая державинская стилистика ахматовского отрывка (“ты железные пишешь законы, Хаммураби, ликурги, солоны у тебя поучиться должны”) — “рифмуется” со стилистикой строк, исполненных в “повелительном наклонении” — “я знаю силу слов, я знаю слов набат”, “слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря”, “железки строк (“железные законы”) случайно обнаруживая” — и т. д. И тут, конечно, есть повод вспомнить, что “Поэма без героя” была начата А. А. в декабре 1940 года, и за несколько месяцев до этого ею было написано стихотворенье “Маяковский в 1913 году”:

*Всё, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, — разрушалось,
В каждом слове бился приговор.*

.....
*И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил твои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.*

Не только с городом, но и с миром. Однако дело не только в лексических и стилистических совпадениях, а в том, что традиции Серебряного века с их маскарадной мистификацией и одновременно с настоящими, а не карнавальными человеческими жертвоприношениями на алтарь искусства (самоубийства) в том или ином виде, но вросли в новые салоны, где, казалось бы, их обитатели должны были дышать сплошным воздухом революции, полным озона и оптимизма.

Из воспоминаний Л. Ю. Брик:

“Новый 1916 встретили весело. Ёлку подвесили в углу под потолком вверх ногами <...> Все были ряженые. Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском халате. Шкловский в матроске, Эльза – Пьеро. Каменский обшил пиджак пёстрой набойкой, на щеке нарисована птичка, один ус светлый, другой чёрный. Я в красных чулках, вместо лифа цветастый русский платок. Остальные – чем чуднее, тем лучше. Чокались спиртом. Бурлюк рисовал небоскрёбы и трёхгрудых женщин”.

В те времена главные лица салонов удивляли гостей всем, чем могли. Лиле Брик было далеко до Ахматовой, которая восхищала гостей в “Башне” Вячеслава Иванова не просто какими-то “красными чулками”, а куда более изысканными “фокусами”:

“Один раз на ковре посреди собравшихся в кружок приглашённых Анна Ахматова показывала свою гибкость. Перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку, которую воткнула вертикально в коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая и одетая во что-то длинное, тёмное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо” (Л. Иванова. “Воспоминания”, Париж, 1990 г.).

А когда Маяковский через тринадцать лет после маскарада 1916 года решил организовать персональную выставку, а левовцы потребовали сделать её коллективной, то все они собрались в Гендриковом переулке у Бриков и устроили такой очередной шабаш-маскарад, от которого пришла бы в восторг создательница “Поэмы без героя”, если бы левовцы догадались пригласить её. Режиссёром этой мистерии был тот же Мейерхольд, который устраивал в 1913 году в Питере все тогдашние богемные зрелища:

“Мейерхольд, кроме обязательного шампанского, приказал ещё доставить на квартиру Бриков театральные костюмы и маски. Каждый выбирал по вкусу. Маяковский нацепил козлиную маску, сел верхом на стул и громко серьёзно блял. Его приветствовало сборище ряженых”.

Ну как тут не вспомнить карнавал 1913 года, на который “и мохнатый и рыжий кто-то козлоногую приволок”, или ту, “что козью пляшет чечётку”, или Валерия Брюсова, воспевавшего дионисийские игры и совокупления с “козлоногими”.

Но маскарад маскарадом, а настоящие драмы, порой со смертельными исходами, преследовали советских ряженых не хуже, чем ряженых 1913 года, как будто судьба расплачивалась с ними за слишком затянувшуюся декадентско-сатанинскую молодость.

“Мысль о самоубийстве, – пишет Л. Ю. Брик в воспоминаниях, – была хронической болезнью Маяковского... Всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор”.

Многие нравы московского бриковского салона были бытовой копией нравов Фонтанного Дома или “Бродячей собаки”. В первую очередь это касалось коллекционирования мужей и любовников в Питере “козлоногими”, “кассандрами” и “клеопатрами”, а в Москве монополия на эту увлекательную охоту принадлежала хозяйке салона.

Из книги А. Ваксберга “Лиля Брик”:

“Поклонники сменяли друг друга, она не успела их всех толком запомнить, и годы спустя, восстанавливая в дневниковых записях этапы своих амурных побед, путала очерёдность, с которой эти поклонники возникали и исчезали, путала даты и даже, кажется, имена...”; “Неуёмная потребность в коллекционировании незаурядных людей своего времени, боязнь кого-либо упустить. Гарантию же прочности уз в её представлении могла дать только постель”.

Конечно, до профессионалки высшей пробы, какой была Л. Брик, питерским сивиллам было далеко. Лиля коллекционировала самых продвинутых, самых честолюбивых, самых близких к власти или обладавших ею: Маяковского — главного поэта эпохи; бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, члена комиссии по изъятию церковных ценностей, председателя промбанка А. Краснощёкова (настоящее имя Фроим-Юдка-Мовшев-Краснощёк); второго человека в Чека Якова Агранова; знаменитого героя Гражданской войны Виталия Марковича Примакова... В промежутках на короткое время рядом с ней возникали режиссёр Всеволод Пудовкин, филолог Юрий Тынянов, солист Большого театра Асаф Мессерер и др. Всегда при ней была и постоянная опора — сначала О. Брик, потом В. Катанян.

“Лиля, даже будучи формальной женой Осипа Брика, никаких уз не признавала и каждый раз считала своим мужем того, кто был ей особо близок в данный момент” (А. Ваксберг). Ахматовская коллекция (“любительская” по сравнению с профессиональной) по “качеству” значительно уступала бриковской: почти безвестный поэт начала десятых годов Н. Гумилёв, ставший знаменитым лишь после расстрела; два скромных комиссара по культуре из ведомства Луначарского А. Лурье (по музыке) и Н. Пунин (по живописи)... Учёный-ассиролог В. Шилейко, врач-патологоанатом В. Гаршин — все они вообще не имели никакого серьёзного общественно-политического, супружеского и материального “рейтинга”. Но, в отличие от поэтов, революционные фурии почти не отставали от Лили Брик: А. Коллонтай разглядела в простом матросе П. Дыбенко будущего наркомвоенмора и командующего Ленинградским военным округом, а Л. Рейснер в командире жалкой флотилии речных волжских судов Ф. Раскольникове — будущего крупного дипломата молодого советского государства. Самой большой неудачницей среди “элитарных” женщин эпохи в делах “ловли счастья и чинов” была Надежда Яковлевна Мандельштам, ставшая “нищенкой-подругой” изгоя советской поэзии Осипа Мандельштама.

Из “Записок об Анне Ахматовой” Л. К. Чуковской: **“Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин; он её любил и думал, что она его любила <...> Лиля всегда любила “самого главного”: Пунина, пока он был самым главным”**... Обиднее всего для А. А., наверное, было то, что ей, презирающей бриковский салон, Николай Пунин достался от женщины, имеющий удостоверение сотрудника ГПУ на имя “Лиля Брик” № 15073. Да и жизнь не давала прекрасным дамам той эпохи большого выбора кавалеров:

*Здесь девушки прекраснейшие спорят,
Кому достаться в жёны палачам,
Здесь праведных пытаются по ночам
И голодом неукротимых морят. (А. А.)*

Из книги А. Ваксберга о Лиле Брик: **“Один из новеньких, появившийся на её горизонте, резко выделялся из общего ряда. Это был Николай Пунин... Вскоре (в 1923 году) он станет мужем Анны Ахматовой”**. В “палачи” Пунин, конечно, не годился, но союз комиссара Советской власти по делам музыки с тайной сотрудницей ЧК Л. Брик, конечно, был более естественен, нежели союз с А. А.

В то суровое время понятие о “естественных и неестественных” чувствах были настолько смещены, что нам сегодня понять их почти невозможно. А. А. **“могла годами обедать за одним столом с женой своего мужа (Анной Евгеньевной). Причём это отнюдь не был уравновешенный треугольник, — обедая, они не разговаривали друг с другом”** (Л. Я. Гинзбург, записки 1980-годов)

Анна Евгеньевна Аренс — бывшая жена Пунина, которая не по своей воле уступила “место за одним столом” Анне Андреевне, а говоря о “неуравновешенном треугольнике”, Л. Гинзбург имеет в виду модные в 10–20-е годы “уравновешенные треугольники” — то есть согласованную со всеми тремя сторонами “любовь втроем”, что в те революционные времена не считалось никаким “моральным криминалом” (чета Бриков плюс Маяковский, Мережковский-Гиппиус-Философов, Ахматова-Лурье-Судейкина и т. д.).

Так что “треугольником” в то время литературную элиту удивить было трудно. Вот что, к примеру, пишет Эмма Герштейн, настоящая и верная

подруга семьи Мандельштамов, об их семейных нравах в книге своих воспоминаний:

“Тройственные союзы, чрезвычайно распространённые в 20-х годах, уходящие корнями в 1890-е, у нас уже сходящие на нет, в 30-х оставались идеалом Мандельштамов, особенно Надежды Яковлевны. Она расхваливала подобный образ жизни, ссылаясь на суждения Осипа Эмильевича. Например: брак втроём – это крепость, никаким врагам, то есть “чужим её не взять”. “Надя уверяла, что на фоне полной сексуальной раскованности, небывалой новизны текущих дней, опасности, витающей в атмосфере, образовалась благоприятная почва для расцвета великой любви... <...> Однажды я опоздала на трамвай и осталась у них ночевать <...> В тот вечер Осип Эмильевич проявил неожиданную агрессивность, стал ко мне недвусмысленно приставать, в то время, как Надя в крайне расхристанном виде прыгала вокруг, хохоча, но не забывая зорко и вызывающе следить за тем, что происходит дальше. Но дальше не последовало ничего. Моя равнодушная неконтактность, полное нежелание играть в эту игру не на шутку рассердила Осипа Эмильевича. Он попрекал меня всякими расхожими хлыщеватыми фразами, вроде “для ночи вы ведёте себя неприлично” и т. п., но этого ему показалось мало, и он не преминул кольнуть меня сравнением с женой Надиного брата Евгения Яковлевича: “Ленка, наверняка, вела бы себя иначе”. Надя острожно молчала. Не скрою, что она же сводила меня со своим братом. Она умела это делать. Не оставляла этой забавы с разными людьми до последних дней своей жизни...” “Она была бисексуальна. Эти вкусы сформировались у неё очень рано, в пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте. Начитанная, она с особым щегольством выделяла книги “Тридцать три уroda” Зиновьевой-Аннибал и тогда ещё не переведённый на русский язык роман Тефила Готье “Мадемуазель де Мойэн”. (...) Эти произведения числились в ряду порнографических”.

Большой популярностью у нэповской питерской элиты пользовался рассказ Михаила Зощенко “Забавное приключение” о том, как не то что трое, а шестеро (трое женщин и трое мужчин, то есть три семьи) живут в перекрёстном браке и сами уже не понимают, кто чей любовник и кто чья любовница. Рассказы такого рода Зощенко писал исходя из собственного опыта, что подтверждает его биограф А. Жолковский: **“Иногда Михаил Зощенко знакомится со своими дамами в обществе их мужей, <...> а в дальнейшем после окончания романов, обедает или живёт в гостях у бывших любовниц и их новых мужей. Нередко МЗ вступает в связи с женщинами, у которых есть муж и другой любовник, а то и несколько”.** (Жолковский А. К. “Михаил Зощенко, поэтика недоверия. М., 1999, с. 102.)

И за весь этот отражённый в творчестве фантастический образ жизни, которому могла позавидовать сама Л. Брик, Михаил Зощенко получил от А. Жданова всего лишь навсего репутацию “пошляка”, а от “подруги по несчастью” Ахматовой роскошную эпитафию с буквенным посвящением: М. З.

*Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту чёрную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят.
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...*

Зощенко родился в 1894 году, а значит, тоже был сыном Серебряного века. ... Недавно я перечитал книгу рассказов Зощенко, изданную в 1974 году, и поразился цинизму, с которым автор предисловия А. Дымщиц сравнивает фельетоны, бытовые зарисовки и сценки из нэповских времён с прозой Пушкина, Гоголя, Чехова. На самом деле продукцию Зощенко уместнее всего сравнивать с продукцией Жванецкого, Лиона Измайлова, Ефима Шифрина, Клары Новиковой и т. д. Всех не перечислишь. Имя им легион. Что же такого нашла в творчестве Зощенко Ахматова? Не верится, что ей пришлось по

душе его рассказы для детей о Ленине, или его страницы о перевоспитании зэков, опубликованные в книге о Беломорканале, опекаемой ведомством Ягоды, или рассказы о попах, которые впадают в пьянство, в распутство и даже богохульничают охотно. А главное, что часть этих рассказов написана в 1922–23 годах, когда русская церковь после секретного письма Ленина “об изъятии церковных ценностей” подверглась страшному погрому, а другая часть в 1937–38 годах, когда власть добивала церковь... Было за что советской власти награждать бывшего дворянина и офицера орденом, щедро издавать, вывозить из блокадного Ленинграда. Скорее всего Ахматоваценила его как отпрыска Серебряного века и “товарища по несчастью”, чьё имя вместе с её именем попало в доклад товарища Жданова. А почему попало – это разговор особый. Подробно об этой истории рассказано в книге Сергея Куняева “Жертвенная чаша”.

* * *

Сравнивая нравы питерского Фонтанного Дома и кирпичного заведения, Лидия Гинзбург не забывает слова Маяковского о том, в каких обстоятельствах ему приходилось жить в Гендриковском особняке:

“По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом – прямо церковь. Туда хоть днём не ходят; а к нам целый день и всё бесплатно”. Однако при всех мировоззренческих и даже “идеологических” разногласиях между “бриковщиной” и “ахматовщиной” их объединяло, кроме неприятия традиционной семейной жизни, истовое почитание всего inferнального мрака, клубившегося в умах и душах всех актёров всех карнавалов XX века.

Во “Флейте-позвоночнике” (1915 г.) юный Маяковский, ещё до конца не сдавшийся этой семейке, ужаснулся, увидев впервые всю её запредельную сущность:

*Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленой
и серой издымится мясо дьявола.*

А когда он покорился этой бесовщине, то чем-то стал похож на юношукорнета, застрелившегося из ревности на пороге дома ахматовской “козлоногой танцовщицы”:

*Мальчик шёл, в закат глаза уставя,
был закат непоправимо жёлт.
Даже снег желтел в Тверской заставе
Ничего не видя, мальчик шёл...
“...Прощайте, кончаю... Прошу не винить”...
До чего ж на меня похож...*

А через несколько лет, задавленный куда более чем “тройственной любовью”, Маяковский выплачется в поэме “Про это”:

*А вороны гости?
Дверь крыло
раз по сто бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне долеталось пьяное допьяна.
.....
И сыплют стеклянные искры из щёк они...
...стен раскалённые степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе...*

Пляска козлоногой сменились нэповским тустепом... Он-таки потерпит ещё несколько лет и всё-таки поставит “точку пули в своём конце”, точку,

которая была запрограммирована в сознании юноши ещё в 1913 году. А через сорок с лишним лет после выстрела в маленькой комнатухе на Лубянке произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Героиня многих его стихотворений и поэм выберет тот же самый безблагодатный и безбожный уход из жизни, который как будто бы был срежиссирован и отрепетирован в почти забытом Серебряном веке и обрамлён в оправу из содомитских карнавалных сюжетов эпопеи 1913–1930 годов. Об этой последней попытке Л. Ю. Брик влюбиться в 86 лет и обогатить драгоценную коллекцию своих избранных совершенно необыкновенным экземпляром весьма красочно рассказывает Ю. Карабчиевский в книге “Воскресение Маяковского”:

“Это был известный кинорежиссёр. Он искренне восхищался удивительной женщиной, но, конечно, полной взаимностью отвечать ей не мог, тем более, что к этому времени женщины – не только старые, но и молодые – вообще перестали его интересоваться... За это его, как у нас водится, арестовали и судили <...> Наконец, после долгих её хлопот, его выпустили на год раньше срока. Лиля Юрьевна хорошо подготовилась к встрече. Прославленной фирме со звучным названием были заказаны семь уникальных платьев, очевидно, на каждый день недели. Он приехал – но только на несколько дней, повидаться и выразить благодарность, и уехал обратно в родной город, прежде чем она успела все их надеть; что-то в ней надломилось после этой истории – сначала в душе, а потом в теле. Каждый день она ждала, что он придет. Он писал красивые письма, и когда ей стало ясно, что надеяться не на что, – она собрала таблетки снотворного и проглотила их все, сколько нашла”.

Это была последняя по времени, но, может быть, самая значительная жертва на жертвенник языческого чудовища, получившего кличку Серебряный век...

То, что мы сравниваем две судьбы – одну творческую, а другую нетворческую, большого значения не имеет, потому что “женщина-миф”, не писавшая стихов и поэм, по праву могла считать своими стихами, поэмами и даже книгами свой донжуанский список имён и фамилий... У неё было своё весьма значительное “собрание сочинений”. Вот только последняя глава из этого собрания получилась неудачной. А как иначе можно сказать о попытке романа с женщиной “нетрадиционной ориентации”? Принимать всерьёз эту отчаянную попытку глупо, а смеяться над вспышкой страсти (пускай неестественной) – жестоко. Но, видимо, Высшим силам виднее, и они лучше нас знают, в какой валюте и сколько нужно детям человеческим платить на излёте жизни за свои грехи.

* * *

“И бронзовым стал другой на площади оснеженной”, – писала Ахматова о Пушкине как о своём избраннике, одновременно обещая кому-то другому нечто волшебное: “Холодный, белый, подожди, я тоже мраморно стану”.

Гордыня наших культовых поэтов была неподражаемой. Все они мечтали видеть себя “мраморными”, а своих любовников “бронзовыми”. И при этом всё-таки требовали, чтобы их любили как обычных, земных, теплокровных женщин. Но даже Пушкин, если и мечтал, то не о “бронзе” или “мраморе”, а о “нерукотворном памятнике”.

А с какой страстью вторила Анне А. её сестра “по музе, по судьбам”, бросающая в лицо “коварному изменщику” знаменитую “попытку ревности”:

*После мрамора Каррары
Как живётся вам с трухой
гипсовой?*

На что не бронзовый и не мраморный, но обычный потомок Адама мог ответить своей “сверхЕве”, что “с трухой”, может быть, оно и теплее, нежели в обнимку с безрукой Венерой.

В той же “попытке ревности” Цветаева гневно восклицает:

*Как живётся вам с земною
женщиною без шестых
чувств?!*

И ей вторит Ахматова, ставя на место своего ревнивого кавалера, забывшего, с какой женщиной он имеет дело:

*Смирись! И творческой печали
Не у земной жены моли!*

“Мы неземные!”, мы вклиняемся “в запретнейшие зоны естества!”, мы – женщины “с шестыми чувствами” – вот он, “воплъ” этих особенных “женщин всех времён”, которые с наслаждением примеряли на себя шкуры и маски всяческих мифических существ женского пола, прираставшие к их коже, как отравленные ткани Медеи в знаменитом мифе о Золотом руне.

“Попытка ревности” Марины Цветаевой – это, в сущности, кульминация феминистического ницшеанства. И потому гласом вопиющей в пустыне женщины звучит её утробный вопль: **“Мой милый, что тебе я сделала!”** “Да ничего”, мог бы ответить он – кроме того, что превратилась из естественной женщины в Саломею, в Иродиаду, в Клеопатру!.. Бунт дочерей Евы Серебряного века вообще стал запредельным, когда они вспомнили про “Лилит”: **“Как живётся вам с сотысячной – вам, познавшему Лилит!”** – опять вопль из той же “Попытки ревности”! Поверив Цветаевой, что Лилит – это идеальная во всех отношениях женщина (в отличие от заурядной Евы), я полез в словари и в энциклопедии и в одной из них, весьма высокочтимой, выяснил, что Лилит – это **“демон женского пола”**, что в Библии есть обращение к Господу, чтобы **“он защитил тебя от Лилит”**, что **“Лилит танцевала перед царём Соломоном, который имел власть над всеми духами”**, что **“в народном воображении Лилит рисуется ночным демоном, летающим в образе ночной совы и похищающим детей”**. (“Еврейская энциклопедия”, 1912 г.)

В Талмуде же, который для евреев является книгой более значимой, чем Ветхий Завет, о Лилит говорится, что она родила на свет множество демонов, злых духов и призраков, что большинство из них было уничтожено Богом, и с тех пор Лилит в отчаянье носится по свету, оглашая воздух рёвом... Ну как можно “познать” такое существо?

Я отложил “Еврейскую энциклопедию” и взял томик Ахматовой, который наугад открылся на стихотворенье, где дочь Саула Мелхола прославляется **“как тайна, как сон, как праматерь Лилит”**... Хороша праматерь...

Из воспоминаний Л. Ю. Брик: *“Это было году в 17-м. Звали её Тоней – крепкая, тяжеловесная, некрасивая, особенная и простая <...>*

Тоня была художницей, кажется мне – талантливой, и на всех её небольших картинах был изображён Маяковский, его знакомые и она сама.

Запомнилась “Тайная вечеря”, где место Христа занимал Маяковский; на другой – Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним убогая комната. Кровать, на кровати сидит сама художница в рубашке; смутно помню, что Тоня также и писала, не знаю, прозу или стихи <...> Тоня выбросилась из окна, не знаю в каком году. Володя ни разу за всю жизнь не упомянул при мне её имени”.

Всяческие кощунства бриковского салона, конечно, были покруче и повульгарней антихристианского брожения, царившего в умах и душах питерской тусовки 10-х годов, но в основных оценках бытия они были близки друг другу. И те и другие не верили в бессмертие души, и те и другие сознательно изгоняли из своей жизни понятие греха, а вместе с ним чувства стыда и совести. Разница была лишь в концентрации кощунства или богохульства. Если Цветаева говорила о душе – **“христианская немочь бледная”**, а её питерская сестра по музам радовалась, что **“поэтам вообще не пристали грехи”**, то молодой Маяковский, по воспоминаниям его киевской поклонницы Н. Рябовой, **“снял чётки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять”**... Ну сцена прямо-таки из поэмы Багрицкого “Смерть пионерки”, в которой умирающая девочка Валя с болезненной жестокостью отстраняет материнскую руку, которая пытается надеть ей на шею золоченый крестильный крестик.

Богоборческий пафос Маяковского всегда восхищал Цветаеву. Недаром она изображала его в стихах как великана-разрушителя (большевика с красным флагом) с картины революционного художника Бориса Кустодиева:

*Превыше крестов и труб,
Крещёный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках — Владимир!*

“Превыше крестов” — сказано не случайно...

В 1930 году после самоубийства Маяковского Марина Цветаева создала реквием из семи стихотворений, который не печатался ни в эмигрантской прессе (по православным соображениям), ни в советских изданиях (по соображениям атеистическим).

В этом цикле она попыталась сказать о его самоубийстве всё: “**советско-российский Вертер**”, “**дворянско-российский жест**”, “**Враг ты мой родной**”, но изо всех семи стихотворений меня поразило последнее, состоящее всего лишь из четырёх строчек:

*Много храмов разрушил,
А этот — ценней всего.
Упокой Господи душу
Усопшего врага твоего.*

И хотя “твоего” — написано у Цветаевой, с маленькой буквы, всё-таки она разглядела в несчастном самоубийце образ Божий.

(Окончание следует)

НАТАЛЬЯ БЛУДИЛИНА

СТРАХ ЖИЗНИ И “УЖАС” ЛИТЕРАТУРЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

“Многознание не научает уму” – стародавняя истина, которая звучит свежо и отрезвляюще в нашей изнурительной гонке за интеллектуальной всеядностью и информационной пресыщенностью.

Мы знаем слишком много, чтобы можно было назвать это действительным знанием, побуждающим к благим поступкам.

Как добраться до ясных и отчетливых истин, выбравшись из лабиринта взаимоисключающих утверждений, концепций, “философий”?

Необходимо превратить “осведомленность” о бесконечном множестве самых разнообразных вещей в подлинное знание о том немногом, без чего невозможно жить.

Это знание о жизни, взятой в ее нравственном измерении, всегда нам давала русская художественная литература. Описание жизни, постигнутой сквозь призму *абсолютного различия добра и зла* – этого ждали мы, читатели, от лучших наших писателей.

Классическая русская литература – классика нравственного мышления, в ней концентрировался нравственный опыт народа. Без познания этого духовного опыта творчество неизбежно оказывается беспочвенным, легковесным – интеллектуально-эстетической игрой, не имеющей никакого отношения к реальной жизни, которая всегда погружена в нравственную субстанцию народа. Традиция – нерв, животворная душа настоящей литературы.

То, что с “традицией” надо обращаться бережно – ясно, но, увы, не всем.

Наши русские гении были щедры на крылатые выражения. Но они никак не могли предвидеть, что их потомки извратят их суть и попользуются ими “себе на славу”. “Красота спасет мир” – ни одна из фраз не была испоганена массмедиа до последней степени; где только она ни звучала: и при показе очередного конкурса “красоты”, и при рекламе нижнего дамского белья и прочей галантереи. Откуда такая страсть к опошлению? “Тело духовно. Художество – суррогат. Красота выше художества”, – разъясняет “непосвященным” в тонкости масскультуры либеральный критик Виктор Галантер. Ясная до идиотизма точка зрения: слегка олитературенное – и оттого особенно прошлое – оголение “телесного низа” в духе передачи “Про это”.

“Господа, князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен”. Нет сомнений, что многие из делателей “вещественной культуры” не только не читали,

но и в руках не держали роман Ф. М. Достоевского “Идиот”, а то можно подумать, что все они доверились юноше Ипполиту, увидевшему в словах князя Мышкина одну лишь “игривость”.

Но внимательно ли читали “нашего национального святого” почтенные литераторы, или они также заметили в этом афоризме одну лишь “игривость”, предлагая (в шутку или всерьез?) “спасать мир” протестными стихами Витухновской, напоминающими наркотический бред; романом Мамлеева “Блуждающее время”, который характеризуют не иначе как “манифест разумного убийства”, и Вл. Сорокина “Лед” – сие “творение” необходимо “читать” с закрытыми глазами, чтобы “успешно пройти и не заметить матерных слов” ради некой метафизики, напоминающей примитивные американские саги о спасении человечества.

Позвольте напомнить слова русского классика. “Что же спасет мир? Красота”, – сказал сам Достоевский в черновиках “Подростка”, добавив: “Устоит ли Россия...”. И в набросках “Дневника писателя” читаем: “Прекрасное в идеале недостижимо по чрезвычайной силе и глубине запроса... Идеал дал Христос. Литература красоты одна лишь спасет”. Красота – как идеал, данный Христом. Литература – как то, что озаренно именно этим идеалом, который способен спасти целый мир. Но есть и предостережение писателя “творцам красоты”, вложенное в уста Дмитрия Карамазова: “Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей”.

Можно, конечно, с бесстрашной брезгливостью судить художественный мир за эстетические взгляды и решительно отодвигать любые этические доводы. Например, космополиту Владимиру Набокову решительно не было никакого дела до общественных истин и чьих-либо чаяний. Он призывал литературную критику отложить “вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя”. Позиция абсолютной свободы творца? Но есть аксиома теории литературы, заповеданная нам еще Аристотелем – калокагатия (красота и добро) – эстетическое и этическое в искусстве неразделимы, как форма неотделима от содержания.

Когда речь идет о гибели мира и средствах его спасения, тут не до творческой “игривости”. Глубокая осмысленность нравственной позиции писателя и содержательная серьезность его произведений, то что Достоевский однажды назвал “реализмом действительной жизни”, становится определяющим в искусстве.

Слово в России всегда было слишком сильным формообразующим фактором, оно воспринималось слишком всерьез – исконно существовал культ простоты, подлинности, честности слова. От русских писателей всегда ждали всех истин сразу – и эстетических, и религиозных, и философских, и нравственных, и даже научных. Это принципиально отличало нас от Запада, где писатель – чаще беллетрист и ничего более (хотя бывало, и на Западе голос писателя становился общественно значимым, но этот голос никогда не претендовал на формирование души человека или его мировоззрения, ограничиваясь эстетическими функциями художника).

Нас сизмальства учили: художественное творчество – зеркало действительности, писатель – чуткий отражатель наличного, но никак не demiurge будущего. И уж, конечно, не отражатель будущих структур человеческой души.

Но теперь-то мы знаем, что настоящая литература не занимается зеркальным отражением действительности, а если и отражает, то никак уж не “объективную реальность”, но сознание писателя, его процессы, сам тип и творческий механизм этого сознания, излюбленное автором измерение этого сознания, его мифы. Реальность предстает читателю отраженной в зеркале этого сознания. Мера страсти и чувственно-пластического таланта этого “зеркала” становится мерой “правды”. Поэтому так бесконечно велика ответственность всякого, кто взял перо в руки. Главная задача истинного художника – не разглагольствование и обольщение словом, не продажа своего природного дара, но очищение своего собственного сознания, сосредоточенность на проблемах, связанных с основными жизненными устремлениями человека.

Нравственный императив творчества – не столько познание и описание того, “что существует”, и как это существующее правильно постичь – сколько понимание “что должно существовать” и как это должное утвердить.

Вернемся к Достоевскому, к его пророческим словам о возможной гибели мира.

Отчего же гибнет современный мир? От чего его надо спасать? Гибель мира начинается гибелью культуры, оформляющей жизнь в целостность в свете определенных идеалов и духовных ценностей. Закат мира и катастрофическое мироощущение, что первично? Сознание творит бытие?! Мир “заваливается”, по Л. Н. Толстому, в голове человека.

Истоком катастрофического мироощущения является утрата веры в Бога, и как следствие, утрата веры в какие бы то ни было общезначимые идеалы и ценности вообще, в какие бы то ни было абсолюты... кроме Смерти. Человек начинает воспринимать свою смерть на апокалипсический манер – как “скончание времен”, “светопреставление”, не означающее при этом перехода в иной мир и оттого тем более безысходное и жуткое; как абсолютный конец, за которым уже ничего нет: одна безмолвная пустота, небытие – Ничто. Человек с подобным мироощущением должен осознавать и чувствовать себя абсолютно потерянным и одиноким в мире, лишенным своих природно-социальных связей, душевных привязанностей, духовно-культурных традиций. Ницшеанское “Бог – умер” в устах такого человека приобретает глобальный и всеобщий смысл; утрачены все абсолюты и разрушены все связи, разрушена вера в “предустановленную гармонию”, остался лишь страх перед будущей пустотой небытия.

Феномен всеобщего страха – угрожающее явление современной культуры. В нем паразитически глубоко укоренилась целая отрасль “массового производства”, специализирующегося на извлечении “эстетического” и денежного эффекта из демонстрации ужасного и чудовищного, “брутально” насильственного и садистски жестокого – фильмы ужасов, пьесы ужасов, романы ужасов – индустрии воздействия на массовое сознание, растлевающего человеческие души, превращающего их в выжженные пустыни. Но поставщики бульварного чтива или зрелища, успешно торгующие кошмарами и ужасами, – лишь надводная часть эксплуатации айсберга Страх, “замораживающего” и “леденящего кровь”. Вполне респектабельные их собратья по перу вдохновенно наводят метафизический ужас на просвещенную читательскую публику. Литературные небожители отводят упреки в их нездоровых пристрастиях легким кивком на улицу (“пресловутую реальность”) – вот где творится настоящий кошмар, вот где происходит нечто воистину ужасное: жуткие убийства, поражающие своей полнейшей немотивированностью, молодежный вандализм и бандитизм, политический и бытовой терроризм и, наконец, ядерная угроза, как дамклов меч нависшая над человечеством. Стоит ли удивляться, что в этой апокалиптической атмосфере вполне нормальные и уравновешенные люди начинают вести себя как сумасшедшие, обнаруживая в своей душе самые невероятные патологические страхи! Да и чему тут поражаться, ведь страх восходит к извечному ужасу человека перед своей неизбежной смертью. А раз так, то почему вы требуете от нас, чтобы мы закрыли глаза на эту чудовищную реальность, заставляющую современного человека метаться подобно загнанному зверю? Сделали вид, что ее как будто не существует, а все, что о ней говорится и пишется, – всего лишь очередное “заблуждение ума”, игра большого воображения?

Аргументация довольно впечатляющая, способная смутить человека, не искусленного в психологических тонкостях. А если ей придать “левацкий уклон”, то она становится идеологически авторитетной как последовательное антикапиталистическое и антибуржуазное протестное мышление. Щедрой рукой творцы метафизического ужаса бросают в новорусскую буржуазную толпу, оглушенную, как рыба тротиловой шашкой (и глушат не только “акул”, жиреющих за счет чужой плоти, но и всю рыбу), всю правду об их тайных страхах: “Вы, погрязшие в своем “капиталистическом бытии”, глядитесь в зеркало своего собственного космического ужаса, трепещите – “Нечаев вернулся”. “И скоро наступит время разумных убийств в нашей действительности”.

Эффектно? Да. Но весьма сомнительный достигается результат, прямо противоположный искомому, точнее, прокламируемому. Благодаря подобной “революционной” активности нагнетение страха в духовной (и без того душной!) атмосфере современного общества не только не снижается, наоборот – резко возрастает. Страх, парализующий животворные истоки культуры и неизбежно подталкивающий ее к бездне перерождения в собственную противоположность (устрашающую цивилизацию с организованным культом человеческих жертвоприношений и с гнетущей атмосферой ужаса – поучительным историческим примером может служить древний Карфаген) – этот страх аккумулирует в себе все способствующее его дальнейшему укоренению и распространению – в том числе и обличительные литературные прокламации с душком панической безысходности.

Всемогущий Страх – последний абсолют, оставшийся у людей после “гибели богов” – впечатляющее начало, не правда ли, для очередного романа метафизических писателей? Но что-то в этом “впечатляющем пафосе” есть общее с пошлой однодневкой очередного поп-арт-бестселлера, погружающего своих недалеких читателей в кошмары монструозности. И те, кто рекламно-идейно обслуживают массовую индустрию фобий и метафизики “художественного ужаса”, сходятся на общем основании – торжества страха, поработившего сознание богооставленного человека.

Апелляция описателей “чернухи” к “самой жизни”, исполненной кошмаров и ужасов, весьма тенденциозна. Из множества человеческих поступков и действий всегда можно для “художественного воплощения” выбрать самые устрашающие, превосходящие своей гнусностью меру человеческого воображения, и создать “свой” мир с гипертрофированными и абсолютизированными наиболее мрачными сторонами человеческого бытия, а для пушей идейной лжезначительности придать им мистическое значение. Низкопробное бульварное “искусство” с его “ужасниками” – забавная пародия на подобное “художество”.

Увы, господа-писатели. Круг замкнулся. Можно долго и упорно доказывать самому себе и читающей публике, что стремление сравнять в своих правах Добро и Зло и представить Смерть единственным абсолютом, а беспредельный Страх перед нею истинно человеческим отношением к бытию – лишь игра “невинного” ума и чистый вымысел, не имеющий никакого соотношения с реальной жизнью и разлагающего влияния на умы. Жалкое самооправдание. Почему же читатель закрывает ваши книги с чувством смертной тоски и невыразимого отвращения к подлинной или выдуманной вами (кто как) реальности? Не уверенный в своих нравственных силах человек под влиянием подобных “метафизиков страха” теряет осмысленность жизни, нарушается его и без того неустойчивое душевное равновесие. Если вы не желаете в своей творческой свободе признавать над собой никакого Высшего суда (считаете, что все вам позволено, и можно преступить), то и на земле вам не избежать людского суда как разрушителей мира, подталкивающих его к духовной бездне. Суда людей, не желающих, чтобы в них насильно новые “богочеловеки” вселяли бесов; что стало с подобным стадом, мы знаем из евангельской притчи. Нигилизм – ницшеанство – неоницшеанство – что следующее? “Бес водит” гордые умы, “кружит”, затмевает сознание “гордость сатанинская”.

В утешение им хочется напомнить, что и Ивану Карамазову трудно было постичь, что в тайниках его гордой мысли, бросавшей вызов самому Богу, вызревала смертоносная зараза пошлой и низменной смердяковщины. Достоевский предложил единственно возможный способ самопреодоления преступной мысли – публичное покаяние. (Возможно, в наш рациональный век это для кого-то и наивно, и смешно.) И другой душеполезный совет Достоевского морально “невменяемым” писателям: “Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать... Слушайте, добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте...” (говорит Шатов Ставрогину).

Подлинный литературный труд тяжок, и плоды его подчас малы и незаметны, но благ. Если писателю удалось пробудить, хоть отчасти, в душе читателя “чувства добрые”, которые неизменно вершат свое великое дело спасения мира, – то честь ему и слава.

ИРИНА МОНАХОВА

ГОГОЛЬ: КОМИЧЕСКОЕ, ТРАГИЧЕСКОЕ, ГЕРОИЧЕСКОЕ

О повести “Вий”

К 160-летию со дня смерти Н. В. Гоголя

Есть в повести Н. В. Гоголя “Вий” что-то особенно притягательное, даже среди других его произведений. То ли потому, что в ней явлено столько разных ужасов, что само по себе загадочно. То ли потому, что здесь человек сталкивается с ними не в какой-нибудь волшебной сказке, а будто бы в реальности.

Но, возможно, дело не столько в этом, сколько в том, что главный герой повести (бурсак-философ, слушатель Киевской духовной семинарии Хома Брут) – уникальный по-своему среди гоголевских героев тип. Уникальный своей обыкновенностью. Таких – тьма. И, может быть, во всем творчестве Гоголя, в котором немного найдется примеров изображения “простых” людей, “из народа” (если говорить не о сказочных “Вечерах на хуторе близ Диканьки”, а о более реалистических произведениях), Хома – это как раз самый народный персонаж, самый “простой”. Действительно, даже происхождение Хома – неизвестно какое, он сирота, не знавший и не помнящий своих родителей. В этом смысле он еще более “простой” и “маленький” человек, чем, например, герой “Шинели” Башмачкин (который был сыном чиновника, хоть и бедного, и имел место службы, хоть и незавидное), или персонаж “Мертвых душ” капитан Копейкин (который имел военный чин, хотя и не помогший ему добиться от начальства положенных денег и внимания). Хома к тому же, будучи формально свободным, на деле вполне подневольный человек: сначала он зависит от ректора, который фактически распорядился его судьбой из уважения к богатому сотнику, потом – от самого сотника, в имении которого он находился под надзором его людей – местных казаков.

Обыкновенен этот человек во всем – своих достоинствах и недостатках, слабостях, склонностях, прегрешениях. Гоголь пишет о нем не как о выделяющемся чем-то из толпы герое, а как об одном из многих – как об однородной части массы, то есть бурсаков. Обыкновенность Хома помогает читателям воспринимать всё, что с ним происходит, очень живо и непосредственно, как бы соотнося, идентифицируя себя с этим героем.

В отличие от многих персонажей Гоголя, изображаемых иронически (хотя и с долей сочувствия), Хома показан более сочувственно, чем иронически (так же, как, например, герои “Старосветских помещиков”, “Тараса Бульбы”, “Шинели”). Мотивы неколебимого оптимизма и равнодушного отношения

к разным жизненным неприятностям (что очень свойственно Хоме) звучат в письмах самого Гоголя в тот период, когда он создавал повесть “Вий”. Он писал своему другу М. А. Максимовичу летом 1834 года: “Ради Бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что всё на свете трын-трава”. Эти слова как будто взяты у философа Хомы. А в марте 1835 года, вскоре после выхода в свет этой повести, Гоголь в письме тому же адресату просто изложил жизненную философию, под которой мог бы подписаться и Хома и которая, по-видимому, была симпатична самому Гоголю: “Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака?”.

Всё это – и обыкновенность Хомы, и сочувственное изображение его автором – вызывает к нему особенную симпатию читателей – просто симпатию, не смешанную с жалостью (как к Башмачкину, или Поприщину, или к старорусетским помещикам). Редкое чувство читателя по отношению к персонажам Гоголя. Эту особенность героя сразу же заметил В. Г. Белинский. В статье “О русской повести и повестях Гоголя”, напечатанной в журнале “Телескоп” в конце 1835 года, он написал об этом персонаже сочувственно и восхищенно: “О несравненный *dominus!* Хома! как ты велик в своем стоическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты всё забываешь за широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою страстях, машешь рукою и говоришь: “Много на свете всякой дряни водится!”; у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: “Вот это как долго танцует человек!”.

Хома и фаталист отчасти. Например, он хладнокровно, стоически относится к нередко случающимся в бурсе экзекуциям за различные провинности – ко всему тому “крупному гороху” (телесным наказаниям), который на него сыпется, и говорит при этом: “Чему быть, того не миновать”. Такой вот он простонародный, стихийный философ-стоик. Эту черту в нем особенно отмечал Белинский, подчеркивая, что Хома “философ не по одному классу семинарии, но философ по духу, по характеру, по взгляду на жизнь”. Напомню, что словами “философия”, “риторика”, “богословие” назывались определенные классы семинарии. Попутчики Хомы, вместе с которыми он попал в дом ведьмы, учились: один – классом ниже (ритор Тиберий Горобец), другой – классом выше (богослов Халява).

Стоически Хома, надо признать, вынес свои испытания, доставшиеся на его долю, свой крест. Не обольстился полетом над землей, позволявшим видеть землю в необычном, сказочном, заманчивом виде. Не побоялся восстать на нечистую силу. Правда, приятели Хомы Горобец и Халява в финале повести сочли, что он испугался, потому и погиб. Горобец говорит: “А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, ты бы ведьма ничего не могла с ним сделать”. Нередко в литературоведении встречается такой же тезис – о том, что слишком Хома испугался, поэтому не устоял перед Ви-ем и в результате – погиб: “Жить бы да жить философу Хоме Бруту. Но нет! Поддался вражьей силе, не устоял перед страхами – и погиб”² (В. В. Ермилов); “Хома смалодушничал, не проявил ни ловкости, ни силы”³ (А. М. Докусов); “Страх сковал его (Хомы. – И. М.) волю, его разум”⁴ (М. С. Гус). “Смертью сильного человека от страха”⁵ назвал трагедию Хомы И. Ф. Анненский. С. И. Машинский отметил: “Конечно, смешно соображение Горобца о том, что надо было плюнуть на хвост ведьме. А вот касательно того, что Хома побоялся, – это всерьез. Именно здесь зерно гоголевской мысли. (...) У него не хватало мужества, его одолел страх. И он пал жертвой ведьмы”⁶.

Но вовсе не в этом заключается “зерно гоголевской мысли”. О страхе как о причине смерти Хомы в повести говорит не автор, а ее персонаж – Горобец, который мог знать о произошедшем только понаслышке. Автор же, описывая последние минуты жизни главного героя, делает акцент не на страхе, а на решающем поступке Хомы: “Не вытерпел он и глянул”. “Не вытерпел” – это не значит “испугался”.

О страхе же говорится далее в таком контексте: “Вот он!” закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от

страха". Но понятно, что от самого по себе страха погибнуть невозможно, однако можно умереть от сильного нервного потрясения, то есть, говоря современным языком, — от шока. Вот такой сильнейший шок и подразумевается здесь под словом "страх". Это нечто, что происходит с Хомой, его физическим состоянием, произвольно, под влиянием внешних обстоятельств, — как бы дань несовершенной человеческой природе, которой свойственны естественные слабости. Но **поступок** Хома — совершенно другой. Его собственное **действие** противоположно свойственным ему обычным человеческим слабостям: "не вытерпел он и глянул" — фактически став выше своего страха. И именно этот **поступок** (а не переживаемое им чувство страха) стал в конечном счете причиной гибели Хома. Когда он, взглянув на Вия, обнаружил себя и вся нечисть смогла на него напасть, то у него уже не было шансов выжить в такой ситуации (в любом случае — со страхом или без страха). Ведь ведьма стремилась не испугать Хома, а погубить, и пришедшая к ней на помощь вся нечистая сила накинута на философа с такой же целью. Таким образом, говорить о страхе как причине гибели Хома Брута не приходится.

В последний момент Хома по существу сделал самый важный в своей жизни выбор — скорее интуитивно, чем осознанно. Выбор был такой: послушаться заботливого внутреннего голоса, которым, наверное, говорило чувство самосохранения ("Не гляди!"), спрятаться от врагов и таким образом спасти себя — или принять вызов и сразиться с ними, рискуя жизнью. И Хома в самый последний момент "не вытерпел". По существу, "не вытерпел" прятаться от своего злейшего врага и решил, таким образом, принять бой. Мог ли он в это краткое мгновение придти к этому решению осознанно? Вряд ли — не было времени для обдумывания. Это было невольное, интуитивное решение — по велению самой природы этого человека — философа Хома, который говорил о себе: "Да и что я за козак, когда бы уstraшилса".

Как отмечает В. А. Зарецкий, "герой гибнет, потому что в отношении к миру возвысился над нормами, которые диктует обыденность. (...) Между тем прежним его друзьям непонятны ни состояние Хома, ни действительная причина его гибели"⁷. Весьма точно обозначает тему повести "Вий" И. А. Виноградов: "Теме духовной брани, намеченной в "Тарасе Бульбе", непосредственно посвящена повесть "Вий"⁸. Но совершенно нельзя согласиться с выводом И. А. Виноградова о поражении героя повести в этой духовной брани: "В своем "житии" семинарист-философ Хома Брут может быть соотнесен со святыми подвижниками только отрицательно — он изображает собой именно неисполнение положенных заповедей, чем в повести и объясняется его поражение"⁹.

Что касается "соотнесения со святыми подвижниками", то следует заметить, что очень многие (а не только Хома Брут) не выиграли бы при таком сравнении. А тезис о поражении Хома вообще не соответствует содержанию повести. Гибель героя (его **физическая** гибель) вовсе не означает его поражения, если речь идет о **духовной** брани. Погибли и многие мученики за веру, те самые "святые подвижники", с которыми соотнесена жизнь Хома. Погибли и многие апостолы Христа, в том числе и святой Фома — небесный покровитель бурсака Хома. И мученическая кончина Хома, противостоявшего целой толпе всякой нечисти, при всей трагичности этой развязки, говорит не о его поражении, а о том, что он, в сущности, остался верен себе — христианину. Ведь он этой нечистой силе до конца противостоял и вовсе не собирался ей подчиняться, за что собственно и был ею уничтожен.

При всех своих грехах и недостатках он был прав в главном — не обольстился ни самой ведьмой, ни волшебным миром, который она перед ним открыла во время ночного полета. Как бы ни была притягательна красота этого мира, Хома с молитвой обратился к Богу за помощью против этого волшебного обольщения: "Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклатья против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его".

Как известно, даже праведность человека не обязательно сопровождается его успехом (в обыденном, житейском понимании этого слова) в его земной жизни. Что уж говорить о человеке весьма обыкновенном, грешном, каков Хома, каковы, впрочем, многие. Может быть, в тех условиях, в которых он оказался (лицом к лицу с могущественными силами потустороннего мира)

единственно возможной для него победой и могла быть эта верность своей сущности, своей христианской вере. Но и этим не ограничилась победа главного героя повести. Если беспристрастно взглянуть на ее сюжет, мы увидим, что в финале не только Хома погиб, но одновременно сгнули и несметные полчища различных чудовищ, включая ведьму. Набросившись на Хому, они не заметили первого крика петуха и не успели вовремя исчезнуть, поэтому и увязли навсегда в дверях и окнах церкви. Получается, что Хома, погибнув, уничтожил тем самым огромное скопище врагов (не только своих личных, но и врагов человека вообще). О каком же “поражении” тут можно говорить?

Да, Хома – “пошлый”, грешный человек, далекий от святой жизни. Но этот “маленький” человек, столкнувшись с могущественным врагом, нашел в себе силы остаться самим собой и даже, в меру своих сил, победить, – словом, внести свою посильную лепту в дело непрекращающейся духовной брани. Поэтому прочитавший повесть читатель вряд ли согласится с мнением богослова Халявы, что Хома “пропал ни за что”. Вспомним и то, что, как сказано в Евангелии, “на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии”. Путь Хомы Брута – это, по существу, путь грешника к покаянию (путь сложный, страшный, вовсе не благостный) и одновременно путь “маленького”, “бытового”, “пошлого” человека к себе – герою, к раскрытию своей глубоко спрятанной в душе героической сущности.

В сборнике “Миргород”, где впервые была напечатана повесть “Вий”, она следовала сразу же после повести “Тарас Бульба”. В такой же последовательности и близком соседстве расположены эти произведения и в рукописи Гоголя. Десятилетия, а может быть, и столетия разделяют героев этих повестей. Действие “Тараса Бульбы” происходит, по-видимому, в XV или XVI веке. Время действия “Вия” еще более неопределенно – это может быть и XVII, и XVIII, и начало XIX века. По мнению В. А. Зарецкого, “действие повести совершается в самом конце XVII или в начале XVIII века. Для этого времени сочетание в одном лице казака и крепостного человека отнюдь не было странным”¹⁰. Таковыми были люди сотника, которых он прислал за Хомой в семинарию и которые потом за ним следили, чтобы он не сбежал с хутора. На XIX век указывает то, что в “Вие” упоминается Киевская семинария, которая была открыта в 1817 году – преобразована из бывшей Киевской академии. Из этого можно сделать вывод, что, как бы различные детали и общий колорит “Вия” ни отдаляли его действие от современности и ни относили его к прошлому, но сознательно или неосознанно оставленная Гоголем в тексте “актуальная” подробность (упоминание о семинарии) не позволяет все-таки полностью оторвать его содержание от близкого автору времени.

Лихие запорожские казаки, “православные рыцари” вроде Тараса Бульбы – далекие предки философа Хомы Брута. А сыновья Тараса Бульбы в самом начале повести приезжают в родной дом из той же самой Киевской семинарии (академии), закончив там обучение. Не случайно Хома подчеркивает, что он казак и, значит, ничего не должен бояться. Особенно заметно это сходство на фоне следующей повести “Миргорода” – “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Ее герои – формально тоже далекие потомки запорожских казаков, но в них уже (в отличие от Хомы Брута) никакого отголоска бурной жизни “православных рыцарей” нет. “Если в Сечи – свобода, равенство и братство, то в Миргороде Довгочхуна – “поклонничество”, гнусное царство бюрократии, кляззы суда, общество, деленное условными различиями мелких социальных делений, – и отсюда эгоизм, “мышьяная натура” у людей, рожденных для высоких дел”¹¹, – писал Г. А. Гукковский. Сравнивая времена, изображенные в этих трех повестях, В. А. Зарецкий отметил, что “самый момент перехода от героического века к веку раздробленному запечатлен в личности Хомы Брута”¹². В казаках же, служащих сотнику – отцу ведьмы, этот переходный момент отразился другим образом: “Беспамятство, полная отрешенность от прошлого еще не овладели этими людьми, но овладевают”¹³.

Однако не столько переходный момент времени здесь имеет значение, сколько избранность среди многих, живущих в одно и то же время, конкретного человека – Хомы Брута, на которого ополчилась нечистая сила. Это обстоятельство – вне времени. Неслучайно время действия “Вия” так неопределенно, размыто, и нет никакого точного указания на временные координаты.

Дело здесь не столько во времени, сколько в самом человеке. Обыкновенный парень Хома, имеющий, бесспорно, свои недостатки и слабости, в самый страшный момент как бы переродился. В нем вдруг “проснулся” на мгновение “православный рыцарь” наподобие Тараса Бульбы и его товарищей. Хома в конце концов воспринял нечистую силу в своей судьбе не как природное стихийное бедствие, от которого нужно спрятаться, чтобы выжить, а как врагов, с которыми нужно сражаться, несмотря на неравные силы. Сражался, правда, Хома с ведьмой и при первой встрече с ней, но тогда превосходство ее сил не было так явно видно. Ему могло показаться, что ведьма — это равный противник и можно, побив ее, справиться с ней. И он вроде бы не рисковал, сражаясь с нею. Другое дело, когда последней ночью в церкви он увидел явный перевес сил на стороне противостоящей ему нечисти. Не скрыться от нее, а обнаружить себя и, значит, принять удар на себя, в тот раз означало неминуемо погибнуть.

Здесь выражена очень дорогая Гоголю мысль о том, что жизнь — это битва со злом. Позже он писал в книге “Выбранные места из переписки с друзьями”: “Вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем там. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где жарче битва. Всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а, выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного”.

Таким образом, Хома Брут и в этом отношении — по существу, очень близкий Гоголю герой, выразивший своей трагической судьбой заветные идеи самого Гоголя. Он хотя и без высоких слов и вообще без каких-либо рассуждений, но действительно в последний момент **вспомнил**, непосредственно, всем своим существом, о чем-то самом важном, что важнее многих сиюминутных обстоятельств, и это вдруг придало всей его жизни важный смысл. Сколько таких же, как он, “философов” и прочих местных людей он избавил от той нечисти, которая сгнула одновременно с ним в третью ночь в церкви! Вот такой простой и в то же время великий смысл обрела вдруг судьба обычного безродного бурсака, любителя выпить и сплясать и в то же время, по выражению И. Ф. Анненского, “интеллигента, вышедшего из среды Вакул и Оксан”¹⁴.

Идея такой борьбы в его жизни (борьбы пошлости и героизма) выражена в двойственности его имени. О соединении в его имени простонародного “Хома” и героического легендарного “Брута” не раз писали исследователи. К этому нужно добавить и еще один, третий аспект — имя его небесного покровителя — святого Фомы. В соответствии с этими тремя именами и следует рассматривать личность и жизнь Хома — как бы в трех измерениях. Он — простонародный герой (один из самых простонародных персонажей у Гоголя), он — подобно апостолу Фоме подвергнут особенно пристрастному испытанию его веры (как известно из Евангелия, когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фома отсутствовал, и ему оставалось только *верить* в воскресение Христа, в то время как другие ученики *видели* это своими глазами), и он — в конце повести по воле судьбы приобретает отчасти героические черты, так как ему пришлось непосредственно сразиться с нечистой силой. И погиб он как настоящий народный герой: избавив людей от многочисленной нечисти и “положив жизнь за други своя”. Он не снискал себе ни благодарности, ни славы, а лишь остался в глубине народной памяти, просто превратившись в легенду. Такова судьба народного героя. Можно заметить, что такова, символически, судьба и народа. Так же, как народный герой, и народ приходит ниоткуда (неизвестно откуда), совершает подвиг своей жизни и уходит в никуда (неизвестно куда), оставаясь потом только в легенде, в предании. Таким образом, в судьбе героя, как океан в капле воды, отражена судьба всего народа.

Не для того ли и упоминается в эпиграфе к повести некое народное предание, которое якобы “в простоте” рассказано автором, чтобы обратить внимание читателя на то, что Хома как настоящий народный герой остался жить в легенде и что есть такая легенда, где он живет? Ведь точно такой легенды не существует (в народных преданиях есть лишь некоторые детали, напоминающие сюжет “Вия”), и трудно иначе объяснить, зачем собственно Гоголю понадобилось поместить именно в этой повести такой эпиграф. Нет же подобных эпиграфов в повестях “Вечеров...”, которые все тоже имеют фольклорные корни.

Вообще “Вий” – единственное в творчестве Гоголя произведение, которое, в сущности, так близко к “Тарасу Бульбе” по своей глубинной мысли и четкой трагической ноте, звучащей не только наравне с комической, но даже преобладающей. Никакое другое произведение, как “Вий”, не свидетельствует наряду с “Тарасом Бульбой” о том, что Гоголь – не только комик, но и трагик. Во время действия повести “Вий” ее главный персонаж шаг за шагом идет от себя – “пошлого”, “бытового” человека к себе – герою. Пусть он по-прежнему пьет горилку, волочится за молодками и пускается в пляс, но это только видимость прежнего Хома. Внутренне он уже далеко от всего этого: грозящая опасность постоянно возвращает его мысли к вопросу жизни и смерти, исподволь делая из него другого человека. Постепенно с него, как шелуха, спадают “бытовые”, “пошлые” черты, и читателю просто наглядно видно, как он шаг за шагом, день за днем, ночь за ночью восходит, подобно Тарасу Бульбе, на свой костер. Хотя Хома, в отличие от Тараса, не врался в бой, а наоборот, весь свой путь пытался избежать опасности, вернуться в прежнюю “бытовую” жизнь, надеялся чудесным образом укрыться в нарисованном круге, но в последнюю ночь, под взглядом Вия, в нем возникло движение совершенно противоположное. Подобно тому, как Тарас Бульба в какой-то момент понял, что не может до конца дней сидеть среди кухонных горшков и только лишь заниматься хозяйством, так и Хома в последний миг почувствовал, что для него тесен мир внутри спасительного круга, тесна роль только лишь “бытового” человека. И по этому поводу можно сказать, что судьба сделала его жертвой, а можно сказать, что она дала ему возможность совершить подвиг (такой подвиг, к которому Тарас Бульба сам стремился).

Сравнение “Вия” и “Тараса Бульбы” и, прежде всего, главных героев этих повестей приводит еще Белинский, написавший об этих произведениях вскоре после их первой публикации. Причем в этом сравнении подчеркивалось их сходство в их лучших качествах – бесстрашии, хладнокровном отношении к опасностям. В статье “О русской повести и повестях г. Гоголя” Белинский отметил сходство героев двух “соседних” повестей “Миргорода” – “богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькой в зубах и саблю в руках”, и “стоического философа Хома, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках”.

Повесть “Вий” – это “Тарас Бульба” в миниатюре. Тема у них одна – героическое в человеке. И сюжет, по существу, схож – путь человека к себе – истинному, к себе – герою. Но масштаб разный. Если “Тарас Бульба” – это эпическое полотно, как бы полифоническая симфония, то “Вий” – камерное сочинение, где единственный герой выступает со своим единственным мотивом. Герои “Тараса Бульбы” подобны былинным богатырям, они далеки от читателя (как сегодняшнего, так и гоголевского времени). Более того – они отделены от читателя какой-то непроходимой пропастью, и сам Гоголь о них сказал: “Увы, прошедшая жизнь и, увы, прошедшие люди”. Они как будто “сделаны из другого теста”, чем наши (и гоголевские) современники. Таковы персонажи героического эпоса – люди больших страстей и невиданной силы духа. Мы не знаем, как они стали такими и почему. А в “Вие” тот же, по существу, герой увиден автором с другой стороны, в другом ракурсе – бытовым. Мы видим здесь то, чего нет в “Тарасе Бульбе”, – путь *обыкновенного* (не сказочного, а “бытового” и, может быть, “пошлого”) человека к подвигу, то есть, по существу, его путь к самому себе – герою. Читая о героях “Тараса Бульбы”, мы можем подумать: “Как они далеки от нас!”. А читая о Хоме Бруте, мы видим, что этот персонаж – один из нас, он, в сущности, такой же, как мы.

Повесть “Вий”, на первый взгляд, “примыкающая” к “Вечерам на хуторе близ Диканьки” по своей тематике, отстоит от них по времени существенно. И дело даже не столько в количестве прошедших лет, сколько в пройденном Гоголем за это время творческом пути. Уже было написано после “Вечеров” несколько повестей: “Невский проспект”, “Записки сумасшедшего”, “Портрет”, “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, “Старосветские помещики”, “Тарас Бульба”. И в этих произведениях Гоголь, кажется, далеко и безвозвратно ушел от юношеской романтики “Вечеров”, от их необыкновенной энергетике, подобной вешнему разливу рек. Река гоголевского таланта входила в бегеи четкие и строгие берега. Любая из перечисленных повестей говорит об этом. Кажется, между “Сорочинской ярмаркой” и “Невским проспектом” – большое расстояние. А ведь “Вий” написан еще позже.

В дальнейшем (после “Вия” были написаны “Мертвые души”, “Шинель”, драматические произведения) мысль о враге человека, стремящемся его погубить и толкающем его на порочные мысли и поступки, хотя и осталась, но как бы растворилась в контексте, в художественной ткани произведений.

Трагическая тональность “Вия” связана не только с гибелью героя, но еще и с тем, что автор здесь несколько иначе пишет о теневой стороне жизни, чем в “Вечерах”, — с точки зрения человека, более зрелого и понявшего всю сложность взаимодействия человека и враждебных ему сил. Общей, символической метафорой этого могло бы служить то сложное впечатление, которое произвело на Хому лицо панночки, в которое он впервые пристально взгляделся, зайдя в дом сотника, где она уже лежала в гробу. Здесь одновременно возникли восхищение и любование ее красотой и горькая, тяжелая нота, разрушающая эту гармонию, подобно тому, как нарушает веселье унылая песня. И не просто унылая, которая может означать лишь легкую печаль, а “песнь об угнетенном народе” — то есть мрачная диссонансирующая нота, за которой многое скрывается и в связи с которой обо многом умалчивается:

“Трепет побежал по его жилам; пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно-знакомое показалось в лице ее. “Ведьма!” — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы; это была та самая ведьма, которую убил он”.

И если своеобразным итогом борьбы человека с потусторонней тьмой в конце “Вечеров” стала победа над чертом с помощью святого креста, а значит — веры, то в “Вие” всё гораздо сложнее — здесь силы примерно равны. В “Вие” прирожденный оптимизм Хомы и его могучая жажда жизни уравновешиваются столь же великой жаждой зла и ущерба людям, исходящей от ведьмы и всей остальной нечисти. “Вихрь веселья” уравновешивается “песней об угнетенном народе”. Оптимистического финала не получается, несмотря на столь безмятежную уверенность бурсака Горобца в легкости победы над ведьмой: “Нужно только перекрестившись плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет”.

Что в истории “взаимоотношений” (если это так можно назвать) Хомы и ведьмы особенного, чего не было в подобных сюжетах в “Вечерах”? По-видимому, то, как серьезно и основательно Гоголь описывает психологическое состояние Хомы, встретившегося не только с ведьмой, но одновременно и с целым миром неземной волшебной красоты, предназначенной для обольщения человека. А точнее — какие серьезные и основательные психологические корни пускают в душе Хомы эти “взаимоотношения”. Хома, летая над землей по воле ведьмы, не сразу опомнился, не сразу стал твердить молитвы, которые помогли ему вернуться на землю и справиться с ней. Сначала он увидел с высоты своего полета чарующую картину мира — но не такого, каким его может увидеть всякий человек, а такого, какой доступен только человеку, вошедшему в мир волшебства, переступившему заветную черту. Столь пронзительного описания волшебных чар, ввергающих человека в огромный соблазн искренне подчиниться невероятной красоте потустороннего мира, у Голя, наверно, нет нигде в других произведениях:

“Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — всё, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятым всадником на спине. — Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз

и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверху ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухой. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоня свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью... “Что это?” думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою”.

Не это ли обольщение красотой волшебного мира и самой панночки-ведьмы (как его части) мешало другим ее жертвам противостоять ей, а значит, противостоять и вообще нечистой силе и ее влиянию на человека? Ведь у Хома было много предшественников. И никто из них с ведьмой не сражался, никто не взял на себя такого подвига, какой пришлось выполнить Хоме. Например, казак Дорош сам признался: “Да она на мне самом ездила. Ей богу, ездила”. Другой казак — псарь Микита подвергся еще более сильным чарам и в результате превратился в кучу золы, “сгорел сам собою”. И хотя подобные истории рассказываются в повести очень кратко, но сущность их та же, что и в случае с Хомой, об истории “отношений” которого с ведьмой написано подробно, исчерпывающе. И уже ясно, как происходит, в сущности, обольщение, каким образом нечистая сила цепляется к человеку, проникает в его душу.

По истории обольщения, подробно описанной в случае с Хомой, видно, как глубоко в человеке укоренены возможности дружбы с миром зла, с лукавым, и как велики земные прелести такой дружбы, и как трудно многим бороться с этой силой, и как много тех, кто борется с ней и не собирается. Причем эти возможности связи с миром зла и чувства человека от соприкосновения с обольстительной стороной этого мира так сложны, что никак нельзя свести их к чему-то одному, например, эротическим побуждениям. Но почему-то мысль о страсти Хома к ведьме, не имеющая никакого основания в тексте повести, довольно популярна среди исследователей творчества Гоголя: “Вий” — самое эротическое из всех произведений Гоголя. И псарь Микита, и Хома околдованы “чарой”, они горят темным, гибельным огнем сладострастия. То, что они испытывают, не любовь, а дьявольское наваждение похоти¹⁵ (К. В. Мочульский); “Ее (панночки. — И. М.) порочная, чувственная красота заставляет испытывать “философа” “томительное” и “сладкое” чувство, “томительно-страшное наслаждение”¹⁶ (Н. Л. Степанов).

С этим вряд ли можно согласиться. Невозможно свести всё сложное сочетание чувств Хома только к “наваждению похоти”. Тем более что во время полета, когда Хома вдруг испытал неведомые чувства, безобразная старуха еще не превратилась в красавицу. Он впервые увидел лицо преобразившейся ведьмы, только когда она уже упала на землю, после того, как Хома стал колотить ее первым попавшимся поленом, чтобы прекратить этот ужасный полет. Тогда от вида ее идеальной красоты Хома оробел, смутился и бежал прочь. Упомянутое “томительно-страшное наслаждение” относилось к пребыванию Хома в необыкновенном, волшебном мире, а не к ведьме, которая в тот момент оставалась еще в облике страшной старухи. Именно избиение ведьмы, которая потом за это стремилась сжить со света Хома, и привело его к трагическому концу, а вовсе не страсть к ней. Да и зачем бы он стал сражаться с ведьмой, если бы испытывал к ней страсть? Не воевал же с ведьмой влюбленный в нее Микита.

Таким образом, оба упрека Хоме — и в “особой порочности”, и в плотской “страсти” к ведьме — несостоятельны. Загадка — почему трагический выбор пал на Хому — остается загадкой, и полное ее разрешение возможно было бы, наверное, лишь в том случае, если можно было объяснить вообще закономерность выбора жертвы, на долю которой выпадает почему-то особенно трагическая судьба. Эта закономерность, кажется, никогда не была объяснена, и никто вроде бы и не берется всерьез некими логическими построениями дать исчерпывающее объяснение тому, каким образом из всей массы людей выбирают те, на долю которых выпадают трагические случайности, обрывающие их жизни в цветущем возрасте. Понятно, что вообще несчастья людей происходят от их грехов. Но почему при этом люди, примерно одинаковые по своим грехам, имеют иногда столь разные судьбы — один живет долго и благополучно, другой — вдруг в расцвете лет погибает? Более того, иногда в расцвете лет погибает как раз тот, кто менее порочен, чем многие другие.

Такова недоступная пониманию человека логика выбора судьбой жертвы из всей массы народа, о которой (логике) можно было бы сказать: “тайна сия велика есть”. Почему же, не претендуя на разгадку этой тайны вообще (что было бы явно невозможным делом), так запросто пытаются объяснить эту же тайну в ее конкретном проявлении — в повести Гоголя “Вий”? Собственно, эта тайна — одна из тем повести. Это один из тех моментов, которые притягивают внимание к этому произведению и делают его столь загадочным и непостижимым. Гоголь отчасти объясняет, почему человек (один из всех) выбирается жертвой нечистой силы и вообще злого рока, а отчасти оставляет это загадкой, тем самым напоминая читателю о непостижимой тайне этого выбора — одной из самых тревожных тайн нашей земной жизни.

Можно понять, почему из троих бурсаков выбор ведьмы пал на Хому — потому что он больше всех испугался ночевать в поле и стремился найти крышу над головой. Этот выбор одного из трех — еще можно объяснить. Но выбор одного из многих-многих подобных — невозможно. Не может быть подменена живая тайна какой-либо схемой. Присутствием этой живой тайны в произведении Гоголя, в частности, живо и само произведение. Каким образом из многих людей именно тот, а не другой становится жертвой? Повесть Гоголя и об этом.

Например, язычество подразумевало принесение жертв богам, в том числе человеческих. Но эти люди выбирались жертвами вовсе не по принципу “как можно хуже”, то есть не самые порочные или не самые грешные, а скорее наоборот — самые чистые и непорочные. И в то же время понятно, что чем больше грехов и пороков имеет общество в целом, тем более оно обречено на возникновение в нем жертв. Вот так всё запутано: чем больше пороков, тем больше жертв, которыми становятся совсем не обязательно самые порочные люди. В повести “Вий” времена, конечно, изображены совсем не языческие, а христианские — при чем тут, казалось бы, жертвы? Но христианской там все-таки является в основном вера, а жизнь вполне христианской — не назовешь. И вот поскольку она еще далека от христианской, постольку и возникает в ней неизбежность таких жертв, какой стал, в частности, Хома.

На первый взгляд, парадоксальной кажется тщетность всех усилий Хомы спастись от нечистой силы. Но если учесть, что у нее так много помощников, то гибель Хомы уже не представляется неожиданной, а скорее кажется закономерной. Кем же надо быть и каким надо быть, чтобы противостоять одновременно и самой нечистой силе, и помогающим ей людям! Кто бы мог всё это преодолеть? Может быть, только святой. А молитв и заклинаний, которым научил Хому “один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов”, по-видимому, для этого было совершенно недостаточно.

Философ Хома, хоть на минуту смутившись, поколебавшись в своей вере, обречен был столкнуться с нечистой силой и пойти по пути подчинения ей — или борьбы, подвига. А более безмятежный душой богослов Халява, более твердый верой (хотя он об этом, наверное, не задумывался), просто не дал возможности нечистой силе прицепиться к нему. И вот он в финале повести становится звонарем колокольни и радуется, видимо, христианский народ своим колокольным искусством по мере сил. Вспоминаются слова из Евангелия: “Милости хочу, а не жертвы”. Не было бы маловерия, не нужны были бы и жертвы. Было бы больше веры, а значит, и больше милости, не нашла бы к чему прицепиться в человеке нечистая сила.

Лет через 12 после создания “Вия” тема “страхов и ужасов” вновь возникла в творчестве Гоголя — теперь уже совсем под другим углом зрения. “Страхи и ужасы России” — так назвал Гоголь одну из глав книги “Выбранные места из переписки с друзьями”. Отвечая на письмо своей знакомой (“графини . . .ской”), полное тревожных и, может быть, даже панических настроений, Гоголь написал:

“В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: “все падают духом, как бы в ожиданьи чего-то неизбежного”, равно как и слова: “каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно, как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: *sauve qui peut*”¹⁷, действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спастись себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. (...) Нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись”.

Такой простой, ясный совет. Такие спокойные, рассудительные слова. Но несмотря на это, то самое глубинное, подспудное ощущение тревоги и ужаса, о котором писала “графиня . . .ская”, заключено в этой книге, рассказы-вающей о судьбе России не в меньшей степени, чем в повести “Вий”. Интересно, что спустя несколько десятилетий эта тревожная нота, звучащая в “Выбранных местах”, нашла чуткий отклик в другой эпохе у другого поэта — А. А. Блока. “В минуты роковые”, в январе 1918 года, он отметил в своей записной книжке: “Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его — призывы к порядку семейному и православию)”. Так продолжилась и отозвалась дальним эхом тема страхов и ужасов у Гоголя, нашедшая самое яркое воплощение в повести “Вий”.

Примечания:

¹ господин (лат.).

² Ермилов В. В. Гений Гоголя. М., 1959. С. 100.

³ Докусов А. М. “Миргород” Н. В. Гоголя. Л., 1971. С. 78.

⁴ Гус М. С. Живая Россия и “Мертвые души”. М., 1981. С. 149.

⁵ Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 214.

⁶ Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. М., 1979. С. 82.

⁷ Зарецкий В. А. Народные исторические предания в творчестве Н. В. Гоголя. Екатеринбург—Стерлитамак, 1999. С. 292.

⁸ Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: христианские основы мирозерцания. М., 2000. С. 151.

⁹ Виноградов И. А. Указ. соч. С. 153.

¹⁰ Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 25.

¹¹ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959. С. 163.

¹² Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 441.

¹³ Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 26.

¹⁴ Анненский И. Ф. Указ. соч. С. 221.

¹⁵ Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. М., 2004. С. 27.

¹⁶ Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь. М., 1959. С. 164.

¹⁷ спасайся, кто может (франц.).

ЮРИЙ ФАНКИН

ПИТОМЕЦ РУССКОЙ МЕЛЬПОМЕНИ

К 100-летию драматурга А. К. Gladkova

7 ноября 1941 года. Блокадный Ленинград. В этот знаменательный день город на Неве выглядит совсем не праздничным: тёмные окна заклеены бумажными полосами, в магазинах – пустые полки и разбитые витрины, заложённые мешками с песком.

Транспорт не работает – саван снега принакрыл замершие трамваи, троллейбусы, автобусы. Безрадостными гирляндами свисают вдоль улиц оборванные провода.

Все театральные коллективы эвакуированы в глубь страны. Остался только Театр музыкальной комедии под руководством Н. Акимова, и в 24-ю годовщину Октября артисты этого театра делают ленинградцам и балтийским морякам незабываемый подарок – ставят новую пьесу “Питомцы славы” (“Давным-давно”).

На сцене герои войны 1812 года: фельдмаршал Кутузов, лихие гусары... Зрители постепенно привыкают к необычной, стихотворной речи персонажей.

Живую, искромётную речь Шурочки Азаровой, превратившейся в корнета Александра Азарова (её играет Е. Юнгер), прерывает ноющий сигнал воздушной тревоги.

Артисты и зрители, соблюдая порядок, спускаются в ближайшее бомбоубежище, а когда наступает отбой, возвращаются на свои места в холодном зале.

Отвыкшие от улыбок зрители вслушиваются в остроты заядлого дуэлянта поручика Ржевского (Б. Тенин) и сдержанно улыбаются. Улыбающиеся люди непобедимы...

По окончании спектакля публика в благодарном порыве встаёт и негромкими аплодисментами (надо беречь силы) приветствует исполнителей.

Ленинградцы хорошо знают своих любимых артистов, но автор героической комедии им не известен. Gladkov. Простая русская фамилия...

Кончилась война. Александр Константинович запишет в своём дневнике: “Уже нечего было ожидать так, как мы ожидали победу...”

Позже – уже задним числом – перелистав свои блокноты и записные книжки, Gladkov с присущей ему педантичностью воспроизведёт события, предшествующие аресту:

“20 января 1948. У книжника Казьмицкого, сектанта и спекулянта, и у какого-то старого адвоката, распродающего остатки когда-то, видимо, отличной библиотеки: все книги в переплётах и с тиснением на корешках, купил

43 тома. В том числе 4 книги Бунина, 2 – Шмелёва, 2 – Тэффи, 3 – Волконского, 3 – Крымова, Бальмонта и др. Алданова не достал ничего. Ещё купил 50 томов “Современных записок”. Весь мой номер завален книгами...”

“22 января 1948. Еду. В поезде приступ страха, не совсем беспричинного. Я не паникёр, но после лета 37-го и весны 39-го такого со мной не было. Уверенность в слежке, в том, что меня ждут на вокзале в Москве, и всё прочее. Страшноватая ночь. Браню себя за приобретение книг, за эту поездку, которая кажется мне роковой...”

Уже после смерти Gladkova муромский краевед Николай Сергеевич Крылов встретился с другом Александра Константиновича – Львом Абелевичем Левицким, и тот сообщил ему ряд подробностей.

Он назвал одно обстоятельство, которое, по его мнению, могло способствовать аресту:

“Не исключено, что упоминание Gladkova в известном Постановлении по журналам “Звезда” и “Ленинград” могло усложнить его положение...”

Упомянув Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 года, Левицкий не называет фамилию Жданова – его до сих пор кое-кто считает лидером “черносотенного” направления в партийных верхах. Но именно благодаря национальной политике Сталина-Жданова пробились из космополитического небытия такие слова, как “Родина”, “русский”, “память”, “патриот”... Именно при Жданове заговорили о прогрессивной роли христианства и православных монастырей.

В 1941 году Жданов возглавлял оборону Ленинграда, и не исключено, что премьера пьесы Gladkova в блокадном городе состоялась не без его благословения, по крайней мере последующее триумфальное шествие героической комедии по стране было бы невозможным без ждановской политики в области культуры...

Потому-то и удивляет многих земляков Gladkova факт переименования улицы Жданова в улицу Московскую. Не тронули в Муроме улицы Свердлова, Войкова, Емельяна Ярославского, а вот Жданову не повезло...

Может, кто-то во власти до сих пор не может простить Жданову исключённых из Союза писателей Зоценко и Ахматову? Но ведь по сравнению с другими государственными деятелями Жданов – сущий ангел. Он не занимался рассказыванием, подобно Свердлову (когда погибли более миллиона людей), не растворял в серной кислоте, как Войков, останки царской семьи, не рушил православные храмы вместе с воинствующими безбожниками Емельяна Ярославского...

Если Емельян Ярославский (Губельман) приезжал в Муром в сентябре 1917 года только для того, чтобы взбудоражить солдат 205-го пехотного полка, то Жданов, став секретарём Горьковского крайкома ВКП(б), непосредственно занимался индустриализацией муромской промышленности...

Впрочем, о том, что могло послужить непосредственным поводом для ареста Gladkova, существуют разные версии. Одной из них делится кинорежиссёр Эльдар Рязанов:

“Gladkov где-то раздобыл книгу Адольфа Гитлера на русском языке. Не знаю уж, было ли это типографское издание или же машинописный экземпляр, во всяком случае гитлеровское сочинение по-русски было неслыханной редкостью. Gladkov дал книгу почитать какому-то своему приятелю. А этот добродетель донёс, сообщил, стукнул. И Gladkova арестовали...”

Возможно, всё было так, как говорит Рязанов, но почему же сам Gladkov перечисляет совсем другие книги, не упоминая “Майн кампф” и таинственного приятеля-доносчика? Может, Gladkov по каким-то причинам хотел сохранить доброе имя приятеля? А может, ему не хотелось, благодаря прочитанной книге, прослыть в определённом кругу “антисемитом”? – ведь приписывали же “черносотенцу” Жданову в качестве настольной книги “Сионские протоколы”...

Так или иначе Gladkov, арестованный 1 октября 1948 года, был обвинён в “хранении антисоветской литературы”. Драматурга приговорили к десяти годам заключения и отправили в Каргопольский исправительно-трудовой лагерь.

Поначалу его, как и многих, используют на земляных работах, а потом, когда он повредил ногу, переводят на больничный склад. Однако на складе Gladkov не задерживается: начальство решает использовать сталинского лауреата “по назначению”, и он становится главным режиссёром лагерного театра. Эта должность даёт Gladkovу относительную свободу и возможность общения с разными людьми.

В это же время там отбывала срок популярная актриса довоенного кино Т. Окуневская (женский лагпункт № 36). Она узнаёт, что в лагере организована культбригада, которой руководит автор известной пьесы “Давным-давно”. Происходит знакомство актрисы с драматургом.

Окуневская вспоминает:

“От культбригады впечатление тягостное: замученные, несчастные люди... Гладков держится: сильный и духовно, и физически, большой, неуклюжий, талантливый, без всяких контактов с начальством, ибо это заискивание, подхалимство всё то же, что обязаны проделывать “придурки” за благополучие в зоне...”

Демократичный по натуре Гладков находит общий язык не только с интеллигентами, но и с простыми людьми. Его не смущают даже лагерные грубияны – те, что “птицу на лету бранью собьют”. Он чувствует артистичность и незлобивость этих людей, вызывающих у него не только восхищение, но и глубокое сожаление: “Куда только не уходит русский талант!”.

Гладков не идеализирует лагерную жизнь, и всё же, стараясь оценивать беды не с узко клановой, интеллигентской, а с народной точки зрения, он приходит к весьма неожиданному выводу:

“Я не сравниваю эвакуацию с заключением, но думаю, что в иных случаях в лагере было легче. Думаю также, что если бы Марина Цветаева попала не в Елабугу, а в лагерь, то она могла бы выжить...”

Даже в лагере Гладков умудряется следить за журнальными новинками. В одном из номеров “Знамени” он встречает новые стихи Пастернака (они впоследствии будут включены в роман “Доктор Живаго”), а потом мать пришлёт ему ко дню рождения однотомник любимого поэта:

“Обыкновенно я читал его стихи по утрам, просыпаясь в бараке раньше остальных...”

В лагере Гладков работает над исторической пьесой “Зелёная карета”, посвящённой судьбе водевильной актрисы Асенковой, пишет стихи.

Александр Константинович рассказывает, как родился цикл его стихов “Северная тетрадь”:

“В лагере карандаши отбирали только химические, а простых было вдоволь. Стихи писались вместо дневников: они легче сохранялись в непрерывных “шмонах”, а в случае чего их можно было хранить не только на бумаге, но и в памяти...”

Своими воспоминаниями делится журналистка И. Королёва:

“Мне только двадцать шесть. Позади университет и первые шаги в журналистике. А вокруг – лагерные бараки, колючая проволока, тачки с промёрзлой землёй. Ирония судьбы! Как она подчас бывает горька!.. И вот однажды среди скрипа тачек и злой ругани раздалась стихи. Яркие, чистые! Стихи о радости жизни, о счастье, о любви!.. Это было невероятно, но это было! Читал стихи высокий худой человек с забинтованной ногой. Он сидел на бревне и читал одно стихотворение за другим. Названий их я уже не помню. Но они были прекрасны. Они возвращали меня в прошлое, а мрачное настоящее казалось каким-то нелепым сном...”

В каргопольской неволе Гладков знакомится с полячкой Янкой Квасовкой, юной девушкой, почти гимназисткой.

Александр Константинович влюбляется, как мальчишка. Янка отвечает ему взаимностью. Ни колючая проволока, ни разница в возрасте не смущают нашего “поручика Ржевского”. Он посвящает стихи своей прекрасной “панне” и молит судьбу, чтобы она позволила им выйти на волю вместе...

БЛАГОДАРНОСТЬ

Янке

*Скупое северное лето
И ночь, похожая на день,
Без сумерек и без рассвета:
Белёсо-голубая тень...*

*Пусть не было вина в бокалах
И роз на праздничном столе,*

*И не горели люстры зала
В волшебном-пьяном хрустале.*

*Пусть не было беспечных тостов
О счастье и о всём другом, —
Всё было странно, горько, просто:
Лишь ночь одна и мы вдвоём.*

*Скупого северного лета
Я с вами понял красоту.
Я вас благодарю за эту
Почти святую простоту.*

*За бледное, как бледность, небо,
За алый, словно кровь, закат,
За ржавый вкус ржаного хлеба,
За явь и сон, за рай и ад!*

1950 г.

5 марта 1953 года не стало Иосифа Сталина (ещё раньше, в 1948 году, неожиданно скончался Жданов).

Началось освобождение политзаключённых (и сейчас нелегко разобраться, кто обязан своим арестом Сталину, а кто борцам с “русским шовинизмом” — Берии и Абакумову). Леонид Леонов, используя свой писательский авторитет и высокое общественное положение (депутат Верховного Совета СССР), начинает хлопотать об освобождении Гладкова, но каргопольский узник не торопится выйти на свободу: он ждёт, когда решится участь его любимой...

Летом 1954 года Гладков возвращается из заключения. Ему разрешат жить в подмосковных Петушках:

“Я не был сразу реабилитирован. Мои пьесы уже снова шли на сценах московских и ленинградских театров, а паспортные дела ещё не были в порядке. С опозданием я был восстановлен и в членах Союза писателей...”

Личная жизнь Гладкова не сложится. Янка, помыкавшись, уедет со своими соотечественниками на родину. Александр Константинович после долгих колебаний вернётся к жене Тоне. В 1958 году родится дочь Татьяна, названная в честь матери писателя.

Шесть лет заключения повлияли не только на здоровье Гладкова, но и на его мировоззрение. По существу, он оказался вне среды, где отстранённость от “большого государства” считается признаком вольнолюбивой независимости сердца. Там, в зоне, учёные звания и степени оставались вместе с гражданской одежкой в лагерном предбаннике, и человек, оказавшись голым, оценивался по другим критериям и меркам. Вчерашние книжники, не умевшие держать топор или лопату, сосредоточенные на своих обидах и болях, выглядели пришельцами из какого-то другого мира. “Придурками” в лагере называли не только умевших пристроиться злостных симулянтов, но и интеллигентных неумех, которые (если их рассматривать поодиночке) казались совершенно не опасными для государства. Лагерные начальники нередко ломали голову, как выросшим в других, тепличных, условиях людям придумать какую-нибудь непыльную должностёнку и тем самым сохранить жизнь. Так, доктор филологических наук Мелетинский превратился в незаметного статистика санчасти.

Но и на зоне интеллигенты пытались традиционно кучковаться, не очень-то понимая, а то и откровенно презирая тех людей, которые, волею обстоятельств, оказались “по ту сторону”: не слишком грамотную фельдшерницу из санчасти, охранника-матерщинника и, конечно, “гражданина начальника” — майора, которого Окуневская считала “воплощением зла” (а этот майор по просьбе Гладкова специально выделил дрезину для заболевшей участницы агитбригады)...

Отдалившись от семьи, Гладков предпочитает жить на родительской даче, в Загорянке, где яблони цветут так, что не видно листьев, а от лесных ландышей, посаженных матерью на клумбу, исходит удивительно тонкий аромат. Там

легко дышится, хорошо думается. И, кажется, нет большего счастья, чем, протерев старые очки, погрузиться в интересную книгу на солнечной террасе.

Здесь, на террасе второго этажа, состоится отложенное на шесть лет чтение пастернаковского романа “Доктор Живаго”. И принесёт ему толстую папку Анатолий Тарасенков, предупредив: “Только на один день...”

Он хорошо запомнит этот тёплый июньский день с неожиданно налетающими ливнями. Дождь хлётко, словно кнутом, бил по стёклам террасы, шуршал в листьях яблонь, а потом рваные тучи в просветах солнца, сопровождаемые ленивым громом, скрывались за Клязьмой, и становилось благостно тихо — только спрятавшиеся ненадолго птицы снова подавали переливчатые голоса. Человек, склонившийся над рукописью, вставал из-за стола, распахивал окно, чтобы полной грудью вдохнуть свежий воздух, которого так не хватало в искусно сочинённом романе.

Он будет читать роман до утра, а потом, выкурив подряд несколько папирос, уснёт беспокойным сном, какой бывает после горячего спора с близким человеком.

— Ну как? — поинтересуется Тарасенков, забирая рукопись.

И Gladков скажет неопределённо:

— Любопытно...

А ведь он уже сделал вывод, но понимает, что “в их среде естественно безоговорочно хвалят Бориса Леонидовича (как это делают Оттены и др.), и психологически трудно признаться, что роман не понравился”.

Всё же Gladков с предельной откровенностью исповедует перед чистым листом бумаги:

“Всё, что в этой книге от романа, — слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов, — или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированных под диалог, или примитивная подделка... Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, отдают сочинённостью или подражанием... Всё национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано. Иногда мне казалось, что я читаю переводную книгу (особенно в романических местах) — такая уж это литературно-“традиционная Россия”. Россия вторичного отражения... Широкой и многосторонней картины времени нет...”

Евгений Борисович, сын поэта, ознакомившись с воспоминаниями Gladкова о своём отце (они будут опубликованы только после смерти поэта), никак не мог примириться с отрицательной оценкой “нобелевского” романа:

“Я спросил Gladкова, давно ли он читал роман последний раз и не перечитать ли ему его снова. Я знал, что многим роман открывается не сразу и требует неоднократного вчитывания, и недавно не кто иной, как та же Н. Я. Мандельштам с радостью сообщила, что перечла его в третий раз, многое поняла в нём, чего раньше не видела, и очень полюбила...”

Александр Константинович ответил, что на его оценке отразилось впечатление от первого чтения. Пообещал прочитать ещё раз, повнимательнее.

Кстати, претензии подобного рода Евгений Борисович предьявляет Gladкову не впервые. Ещё раньше Gladков, ознакомившись с поэмой Пастернака “Зарево”, нашёл батальные картины неудачными, внутренне натянутыми. Евгений Борисович отреагировал на критику следующим образом:

“Gladков не сумел увидеть той сторонящейся риторики и прикрас целомудренной сдержанности, которая характеризует также стиль военных описаний Лермонтова или Толстого...”

В 60-е годы работа над мемуарным жанром становится едва ли не главным делом Gladкова. Он встречается с Эренбургом, Олешей, Паустовским, Ахматовой...

Поздний Gladков старается быть независимым в своих суждениях. Ему претит не только советский, с переборами, официоз, но и назойливый диктат “среды”. В одной из статей Александр Константинович убедительно возражает Тынянову по поводу убийства Моцарта. По мнению известного литературоведа, Пушкин выдумал злодейство Сальери. Gladков же, опираясь на исследования И. Бэлзы, пришёл к выводу, что художническая интуиция не подвела русского гения. Так же Gladков решительно не соглашается и с литературоведом Э. Герштейн, утверждающей, что князь Васильчиков сыграл решающую роль в убийстве Лермонтова.

Теперь Гладков не столь однозначен в оценке своего поколения:

“Двадцатые годы формировали среди молодой советской интеллигенции людей высокомерных и ироничных...”

Не оглядываясь на своих друзей-“интернационалистов”, Гладков замечает:

“Вспомним полную перипетий историю такого слова, как патриотизм. Через какие только приключения не прошёл этот термин: годами он жил в кандалах кавычек или спутником каких-нибудь очень неуважаемых понятий...”

Да и случаи антисемитизма теперь не вызывают у Гладкова прежнего доверия. Как-то Михаил Светлов (автор строк “Я рад, что в огне мирового пожара// Мой маленький домик горит...”) сообщил ему, что какие-то пьяные антисемиты закидали камнями окна дачи опального Пастернака в Переделкине.

– Борис Леонидович закрывается на все засовы! – взывая к сочувствию, кипел Светлов. – Он даже занавешивает окна, чтобы скрыть своё присутствие!..

Гладков разделил негодование Светлова, а потом оказалось, что всё, рассказанное с чужих слов поэтом, – не очень опрятная “утка”, вылетевшая из стен Литературного института.

При встрече с Гладковым Евгений Борисович Пастернак удивился:

– Что вы говорите? Да не было такого...

Гладков старается держаться со всеми ровно, не обращая особого внимания на отдельные уколы. И всё же случай с Юрием Трифоновым вывел его из равновесия...

В одном из романов Трифонов изобразил довольно непривлекательного литератора, живущего в Загорянке. Поскольку других писателей, кроме Гладкова, в Загорянке не проживало, прототип художественного образа не вызывал сомнений. Гладков некоторое время носил обиду в себе, а потом пожаловался своей соседке по московской квартире – жене писателя Кина. Эмоциональная Цецилия Исааквна при случае отчитала бестактного Юрочку, и узнаваемая Загорянка превратилась в безобидную Валентиновку...

Шестидесятилетний “Жан Вальжан” (так называли его друзья) уже не отличался отменным здоровьем. Мучило не только сердце, но и слабеющее зрение – сложно становилось писать и читать. В дневнике он делает запись: “Я легко бросил курить, могу ограничить себя в еде, почти не пью, но бросить читать не могу”.

Двоюродная сестра Антонина Васильевна (она тоже жила в Загорянке) привезла ему из московской поликлиники новые очки. “Не очки, а микроскоп!” – восхитился Александр Константинович и, проведив родственницу, принялся дочитывать “Превращение” Кафки. Роман удовлетворил интерес, но не вызвал восхищения:

“Простые мысли не нуждаются в хитроумной зашифровке. И вообще ребусы принято печатать в отделе “Смесь” на последней полосе... Лично мне такое искусство чуждо!”

Канул в прошлое мир юности с естественной для него тягой к сложному. Теперь у Гладкова другое кредо:

“Надо писать простые и человеческие пьесы, способные восхитить не только утончённых знатоков, но и взволновать профанов...”

Редкие гости навещают Гладкова в его “укрыище”. Потому и хорошо запомнился ему приезд мало кому известного автора повести “Один день Ивана Денисовича”.

Румяный, белозубый и улыбающийся Солженицын собирал материал для своего “ГУЛага”. Его интересовали подробности заключения Гладкова и особенно история гулаговских театров.

Александр Исаевич предпочёл вести беседу не в домашней обстановке, а на воле, в садовой беседке.

В чёрной, под кожу, куртке, положив перед собой офицерскую планшетку, Солженицын сидел напротив Александра Константиновича и, не уставая, расспрашивал. Гладков не любил лагерную тему: не хотелось ворошить былое, похожее на дурной сон. А Солженицын, расположившийся, словно следователь, что-то записывал на четвертушке листа и согласно кивал головой: так, так...

Наконец, Солженицын захлопнул планшетку, отказался от чая и прямо, по-военному, поднявшись, попросил:

– Можно осмотреть ваш сад?

Они довольно долго бродили по саду, ставшему двойником муромского сада, где были ранние и поздние сорта яблонь, высокая груша-“тонковетка”, владимирская вишня, крыжовник, чёрная и красная смородина и отбившийся от хозяйских рук путанный-перепутанный малинник.

— Хорошо у вас! — сказал Солженицын и вздохнул. Помолчал, дотронувшись до хрупкой, покрытой серебристым пушком яблоневого завязи. А потом, оглянувшись, неожиданно спросил: — Надеюсь, мой визит не принесёт вам неприятностей?

Александр Константинович улыбнулся и ответил так, как мать говорила в подобных случаях:

— Бог не выдаст — свинья не съест. . .

— Бог-то Бог. . . — Солженицын покачал головой.

Гладков проводил гостя до станции. Быстро подкатила московская электричка.

— Ну прощай, брат! — по-свойски сказал Александр Исаевич.

Обнялись торопливо, как с отставшим корешем на пересылке.

Свистнул поезд, и, как оказалось, Солженицын отбыл надолго, в заморские края. . .

Александр Константинович немного передохнёт на станционной скамейке, а потом медленно, близоруко приглядываясь к дороге, побредёт к себе домой. . .

Он ещё успеет завершить свою последнюю пьесу “Молодость театра” и даже побывает на её успешной премьере в театре имени Вахтангова.

Не стало Гладкова 11 апреля 1976 года. Он умер во сне. Кто знает, что ему снилось? Может быть, это был такой же сон, о котором он когда-то написал в своём дневнике: “Приятный сон: я где-то покупаю новые журналы и книги. . .”

Цецилия Кин напишет:

“Александр Константинович Гладков был глубоко русским писателем, муромским богатырём. Патриотом в высшем смысле слова. . .”

* * *

Гладков написал девять пьес и три киноповести. Он оставил нам эссе и мемуары — окна в прошлое. Безусловно, вершиной его драматургического творчества стала героическая комедия “Давным-давно”. На сюжет этой пьесы была создана музыкальная комедия, поставлены фильм “Гусарская баллада” и балет на музыку Тихона Хренникова с таким же названием.

Казалось бы, смерть драматурга подвела окончательную черту под его творчеством, расставила всё по своим местам, но недаром говорят: “В чужих людях и за год можно чёртом прослыть”.

В своих мемуарах “Неподведённые итоги” известный режиссёр Эльдар Рязанов (этот “упрямый, мужественный человек”, как назвал его Гладков) делает сенсационный вывод: в творческом плане Александр Константинович не состоителен и потому не может быть автором пьесы “Давным-давно”.

Как же “фанатик и энтузиаст комедийного жанра” дошёл до мысли такой?

События разворачивались так. . . Сценарий фильма по пьесе “Давным-давно” близился к завершению. Оставалось лишь кое-что убрать и немного добавить — на это, по самым максимальным прикидкам Рязанова, могло понадобиться не более месяца, и этот срок как будто устраивал Гладкова.

Но, дав обещание поработать, Гладков бесследно исчезает. Не на шутку обеспокоенный Рязанов обрывает телефон драматурга, оставляет безответные записки в дверях его московской квартиры. Он даже пытается обнаружить загулявшего “гусара” у его постоянной любовницы в Ленинграде. . .

Масла в огонь подлил один из директоров “Мосфильма” Юрий Шевкуненко:

— Да нет смысла его искать! Этот человек вообще ничего не написал в рифму.

— Как так? — изумился Рязанов. — А его пьеса в стихах?

— Да не его эта пьеса! — отмахнулся Юрий Александрович. — Скорее всего, он вынес её из тюрьмы. . .

И всё же упрямый режиссёр пытается во что бы то ни стало найти таинственного беглеца. Случайно от друзей Рязанов узнаёт, что Гладков гостит

в Тарусе. Режиссёр садится в автомобиль и — о, счастье! — застаёт Gladkova в компании Паустовского и Оттена. Смущённый неожиданной встречей драматург уверяет, что работа кипит, до завершения всего чуть-чуть, но почему-то наотрез отказывается показать хоть один черновой набросок.

С мейерхольдовской подозрительностью вглядывался Рязанов в одутловатое лицо драматурга: “Эмоции не играли на его лице. Лицо его отнюдь не было зеркалом, отражающим мысли и чувства”.

Так ничего и не поняв, Рязанов уезжает, а вскоре узнает, что Gladkova нет ни в Тарусе, ни в Москве, ни в Ленинграде — словом, “Гарун бежал быстрее лани”...

“Я засел за стихи сам, — рассказывает Рязанов. — И управился за одну неделю! Работа оказалась несложной, ведь надо было сочинить только заплатки, сделать так, чтобы имитация не бросалась в глаза. Я понял, что настоящему автору пьесы на это хватило бы трёх дней...”

“Я не знаю, надо ли вообще рассказывать всё это? — продолжает режиссёр. — Я ни на что не претендую. Знаю только, что пьесу “Давным-давно” написал не я. Бездоказательно думаю, что Gladkov получил эту пьесу в тюрьме от человека, который так и не вышел на свободу. Можно представить и то, что настоящий автор выжил, но понял, что никогда не сможет доказать своё право, и промолчал всю оставшуюся жизнь...”

Не позволивший себе “думать доказательно” (а ведь думать нужно именно так, поскольку речь идёт о творческой и человеческой репутации драматурга!), Рязанов даже предполагает, что Gladkov мог “вжиться” в чужое произведение настолько, что оно ему показалось “своим”.

Бедный Gladkov! Ему повезло меньше, чем Шекспиру. Сомневающиеся в авторстве Шекспира хотя бы называют драматурга Марло, философа Бэкона или королеву Елизавету, а в данном случае ни одной фамилии предполагаемого истинного автора! Какой-то “человек ниоткуда”, совместивший в себе удивительный дар поэта и драматурга...

Мда! уникальная пьеса (написанная до войны, за постановку которой Алексей Попов получил Сталинскую премию!), оказывается... “писалась в тюрьме”.

Ладно, оставим в стороне монтекристовские сюжеты, лучше поговорим о реальном человеке, “ничего не написавшем в рифму”. Первое своё стихотворение Gladkov опубликовал в 1929 году в “Комсомольской правде”. Потом была литературная “подёнка” (те же куплеты для агитбригад). Конечно, писались стихи “для себя”. Но вершиной поэтического творчества Gladkova стала ещё нигде не опубликованная “Северная тетрадь” (после долгих поисков эти стихи попали в руки муромского краеведа Николая Сергеевича Крылова).

Почему-то не повезло Gladkovу и с авторами “Большой Российской энциклопедии” 2007 года. В ней упомянули двух других Gladkovых (писателя и композитора), не обошли вниманием литератора Анатолия Гладиллина, а вот автора пьесы “Давным-давно” в энциклопедии не оказалось.

В чём причина? Может быть, чьё-то упущение, а может, недобрый умысел? Обычно люди клана ревностно оберегают репутации своих талантов, а вот с Gladkovым что-то не заладилось. Может, дело в том, что Gladkov как бы оказался ни в тех, ни в сех: для кого-то он перестал быть своим, ну, а другие его не приняли.

И всё же, какие бы “Итоги” ни подводились и какие бы энциклопедии ни составлялись, имя драматурга Александра Константиновича Gladkova навсегда останется в анналах русской советской литературы.

*И стала будничной беда.
Привычкой заросла.
И кажется, что так всегда
Без года и числа.*

*Тянулось время... Нет конца
У безымянных лет.
И нет у времени лица,
Безде названья нет.*

(Стихотворение 1950 года)

ОЛЬГА ЗЕЛЕНКОВА

ЗАБЫВШИЕ ДЕТСТВО

Или что стоит на полке литературы для детей?

Сразу оговорюсь, что я не критик, не литературовед, не филолог. Я не отношусь ни к одной из профессий, представитель которой может с полным правом критиковать современную литературу. Я отношусь к числу потребителей, поскольку литература, то есть книги, являются таким же продуктом, как хлеб или молоко. Именно этот статус позволяет мне, как никому другому, высказать претензии в адрес писателей и издателей.

То, что с детскими книжками и детскими героями в стране катастрофа, я поняла еще года два назад — мне на глаза попала книжка про Смешарики и Лунтиков. Сын подруги прибыл на побывку к нам (мы живём в Берлине) со стопкой тонких книжечек — в саду посоветовали их почитать. Запихнув их куда-то подальше, парень потянулся к тому старой Детской энциклопедии, той самой, на обложке которой был большой коричневый динозавр, а статья о нём была написана доступным, нормальным человеческим языком. Пока маленький гость изучал динозавров, я изучала “смешариков”. На стр. 3 книжки, которая называлась “Умная раскраска. Развиваем фантазию” можно было прочесть следующий текст: “Фатастиш! Красота! Ньюша, ты такая... такая... О, мой несчастный язык — не могу придумать комплимент. Не хватает фантазии!..”. Я так и не поняла, что означает слово “фатастиш” — либо это чьё-то имя, либо немецкое “фантастиш” (!). Когда я супругу озвучила второй вариант текста, он, не разобравшись, выразился в том смысле, что немцы, что бы ни делали, у них всегда выходит порнография — что реклама о стиральном порошке с двумя тётками и одним мужиком, что детская книжка. Пришлось ему объяснять, что ЭТО напечатано **в российской книжке для детей** возраста его внука. Не поверил, пока не прочёл сам.

Все, кто отправлял чадо в первый класс, отлично знают — сколь высоки требования нынешних школ. Трагедии разных масштабов разыгрываются перед первым сентября, когда ребёнка, из-за отсутствия некоторых навыков, отказывались принимать в школу. Упомянутые “смешарики” же предназначены для детей, которые, по мнению педагогов, должны уже правильно говорить, внятно излагать свои мысли, отлично знать буквы и складывать их в слова, иметь навыки простого счёта и пр. Где же логика — поднимать планку требований и в то же время предлагать для чтения (или для занятий) подобную, с позволения сказать, литературу? Могу заверить уважаемых представителей Минобразования: если дети до семи лет будут заниматься по подобным книгам, **читать и мыслить они не будут ещё очень долго**. Хотя иногда мне кажется, что эти книжки выпускаются не для детей, а для их мам. Ну, тех самых, которые могут одновременно качать кроватку, смотреть “Дом-2” и потягивать пиво. “Смешарики” — логическое продолжение этой цепочки. Как легко ви-

деть, Винни Пух, Чук и Гек, старик Хоттабыч и подобные им литературные герои в эту схему не встраиваются по причине сложности характеров, грамотной русской речи и необходимости вдумчивого времяпрепровождения с ребёнком. Впрочем, цитирую дальше – стр. 9: “Эй, Бараш! Угощение сгрыз, грим слизал... Дома его, что ли, не кормят?” Стр. 10: “А теперь музыка! Бум-бум, дыш-дыш!...”. Стр. 14: “А в конце праздника Лосяш и Кар-карыч устроили фантастическое представление про Лосябочку, маленького паучка-страхолюдинку и отважного Человека – Карпука” (“Умная книжка-раскраска. Смешарики. Развиваем фантазию”, ЗАО “ЭГМОНТ Россия Лтд”, 2008 год).

Как вам это нравится? Одни имена чего стоят! И это богатый и могучий русский язык! Меня особенно тронуло это: “Дыш-дыш!”... И целых 5 авторов (!). И тираж 40 000 экз. Надо ли говорить, что своей собственной рукой я сгребла всё это художество и отправила в топку – благо, по причине похолодания муж затопил камин. Вечер мы провели очень уютно – сидели на диване, читая вслух “Почемучку” Бориса Житкова.

Этот болезненный вопрос о цензуре, который перессорил пишущую, печатающую и читающую интеллигенцию, с особой остротой встаёт именно в детской литературе. Крамола, скабрёзности и глупости – для взрослых людей не так страшны и не так опасны. Но барахло в искусстве – это как камешек в орехах – взрослый его распознает и есть не станет, а ребёнок потащит в рот и ломает зубы.

Потратив около двух месяцев на изучение отделов детской литературы в книжных магазинах, беседуя с работниками издательств и опираясь на личный опыт, я сделала вывод, что случайность в выборе текстов для печати играет основную роль. Ещё роль играет редактор, его образование, воспитание, начитанность, состояние здоровья и оклад. И ведь надо понимать, что все эти вышеперечисленные факторы, в конце концов, оказывают огромное влияние на развитие детской литературы в нашей стране.

Вопрос издательских кадров – это вопрос номер один. И, на мой взгляд, это тот случай, когда старые, проверенные временем и переизданиями хорошей литературы кадры должны сидеть на своих местах до тех пор, пока из их пальцев не выпадет карающий красный карандаш. Ещё хорошо бы реанимировать в издательском деле наставничество. Понятно, что чутьё не передашь другому, но можно привить хороший вкус и заставлять читать классику. В порядке, так сказать, повышения квалификации.

Одна уважаемая дама, автор многих исторических книг, рассказала, что однажды судьбу её рукописи решала девушка лет 25 из отдела сбыта. “Да вы не несите нам про историю... у нас ещё и учебники остались на складе”, – заявила она писательнице. Моя старинная приятельница, учительница русского языка, в моем присутствии проверяла тетради с изложением. Внезапный телефонный звонок с неприятным, очень личным известием испортил её настроение, и она на моих глазах уже поставленную пятёрку заменила на тройку... Видя мое недоумение, она ответила: “Мало ли что, может, мне стиль не нравится!”. И размашисто всё подчеркнула безнаказанно-безответственной красной волнистой линией. Скажете: “Человеческий фактор, он везде – и в школе, и в больнице, и в издательстве...”. Ну да, того, кто в своё время “выпустил” на божий свет таких “героев”, как черепашки-ниндзя, живущих в канализации, видно, мучил геморрой. А мы, ни в чём не виноватые, теперь страдаем, пытаемся доказать нашим детям, что в сточных канавах ничего хорошего не бывает.

“У нас пройдёт Олимпиада. Спортсменом Чебурашка стал”, – вертелось у меня в голове на мотив “Гавриилиады” Ляпис-Трубецкого, когда я увидела в магазине книгу Э. Успенского. Называлась она незамысловато: “Чебурашка едет в Сочи, и происки Шапокляк”. Редко когда творчество уживается с социальным заказом. А случается, когда они не входят в противоречия, можно пересчитать по пальцам. Я заглянула в текст. Стр. 3, цитирую: “Первая к ним подъехала роскошная иномарка – то ли “Вольво”, то ли “Мерседес”.

– Садимся, – радостно сказал Гена.

– Ни за что! Знаешь, кто ездит в “мерседесах”? Олигархи, лучше с ними не связываться” (Э. Успенский “Чебурашка едет в Сочи, и происки Шапокляк”. Изд. “Астрель”, 2010 год).

Цитировать эту детскую книгу можно бесконечно и упражняться в злословии тоже. Но не стоит этого делать, учитывая всё то, что было написано известным уважаемым писателем.

Машинально, взглянув на цену детской книжки – почти 400 рублей (!) – я почувствовала себя оскорблённой. Мне морочили голову, прикрывая скороспелый “шедевр” именем писателя и любимыми героями. Интересно, кто или что заставил “классика” обратиться к данной теме. Надежда, что упоминание в тексте таких трендов, как Сочи и Олимпиада, обеспечит быструю публикацию книги? Если же это социальный заказ, то столь серьёзная и ответственная тема требует и столь же серьёзного и ответственного подхода, глубокого раскрытия, а также правильной расстановки акцентов. Ведь речь идёт о воспитании подрастающего поколения и участии его в важнейших событиях государства. Хорошо бы это помнить при написании следующих книг – благо, жизнь сама подсказывает писателю темы. Например: “Москва расширила границы, стал Чебурашка москвичом!”.

Самое интересное, что на той же полке я нашла “шедевр”, который называется “Ночь в музее–2”. Серия “Я учусь читать”. Это не что иное, как примитивно изложенное краткое содержание фильма с иллюстрациями. Чтобы долго не распространяться на тему качества, позволю одно лишь только сравнения – фильм “В музее–2” представляется мне обедом из “Макдональдса”, а краткое изложение, по которому советуют учиться читать – остывшей картошкой-фри оттуда же. Заметим, это “чтение” для детей младшего школьного возраста.

Что меня искренне удивляет, так это сюжеты детских книг. Понятно, что доходы Джоан Роулинг не дают спокойно спать – фантастики напоемам с чертовщиной на полках – завал. Почему это пишут – ясно. Не очень понятно – почему это печатают. Зато ясно, почему издаются многочисленные иллюстрированные энциклопедии для детей – компилятивная и очень несложная работа. А подбор статей в данных изданиях поражает своей вольностью. Я, например, в поисках короткой справки о Шарле Перро наткнулась на статьи “Вагина”... и, что символично, “Крекинг” (это, как известно, высокотемпературная переработка нефти), но сказочника так и не нашла. По разумению современного российского писателя и, зачастую, издателя, чтобы “испечь” продаваемый шедевр, надо взять в равных пропорциях многочисленных говорящих животных, странных существ и обязательный компьютер, как символ современности. Вот она, “полка” современной детской литературы. Попробуйте, найдите что-нибудь хотя бы отдалённо похожее на пронзительно простую “Голубую чашку” Гайдара? Написанную взрослым человеком и взрослым языком и при этом абсолютно понятным ребёнку. Не найдёте. К сожалению.

Зато найдёте притворство – это когда человек только притворяется детским писателем, а на самом деле он взрослый дядька или тётка, забывшая своё детство и уверенная, что простым коверканьем языка и упрощением мысли и в песочнице сойдёт за своего.

Ещё писатели забыли, что один из самых важных принципов воспитания детей – это равенство. **Ребёнок разговаривает на том же самом языке, что и мы с вами.** И проблемы у него такие же – просто иначе оформлены. И горестей у него больше, чем у нас, – посчитайте, сколько раз за последний месяц плакали вы и сколько ваш ребенок. Не улыбайтесь – его огорчения иной раз посильнее ваших горестей, хотя бы потому, что они все первые в его жизни. И если наши дети так мало отличаются от нас, почему же мы их не уважаем? Мы не только не уважаем своих же детей, но и абсолютно безответственно относимся к себе – найти в будущем общий язык с ребёнком, взращённым на “дас ист фанташиш!”, будет практически невозможно. Тот примитивный “телефонный язык”, на котором написано большинство современных детских книг и к которому мы невольно приучаем наших детей, в будущем спровоцирует лаконичное: “А идите вы на...”, но никак не обстоятельный, уважительный, аргументированный и грамотный разговор.

За последние двадцать лет мы успели поставить всё с ног на голову, высмеять прошлые авторитеты, отменить одни правила, не придумать других. Мы не добрались, к счастью, только до Песталоцци с его идеей развивающего обучения. Поскольку, как ни крути, кто бы ты ни был – представитель среднего класса, крестьянин, миллионер или маргинал, ты всё равно пытаешься **развить познавательные способности у своего ребенка, научить его логически мыслить и выражать словами сущность усвоенных понятий.** Ибо прекрасно понимаешь, что без этого твой ребенок в этом мире не устроится. Жаль, что издаваемая теперь современная детская литература далеко не всегда в этом помогает.

ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

КИНА НЕ БУДЕТ?

К вопросу о национальном искусстве

Несмотря ни на что, мы пока еще читающая нация! Читающая нация – это особое завоевание. Читающая нация – это даже выше, чем нация космическая. Да и смогла ли бы наша нация стать “космической”, не полюби книгу! А чтобы стать читающей, нам пришлось пройти огромный путь. И начинался этот путь, конечно, не с 1917 года, не с ликбезов, как порой считают ортодоксы-коммунисты.

На протяжении веков просвещенное русское общество стремилось сделать всех граждан грамотными. Издания для народа выходили и при царях... Огромный скачок был сделан при Советской власти. Казалось, до последнего времени всякая власть в России понимала: читающая нация – это нация будущего... Совсем не та, что уткнулась в интернет, а та, которая ценит живую книгу... Хороша *последняя* народная мудрость – (да простят меня читатели за вольность): “Бойся девку с триппером, президента с “твиттером”!..

В последние годы, однако, с нашей литературой да, пожалуй, и со всей гуманитарной мыслью произошла катастрофа. За гуманитариями сегодня не стоит той силы, которая была в начале двадцатого века, в советские времена. Сейчас – повальная власть денег. Нынче “Газпром” выше любого искусства. Олигархи и банкиры раздают, правда, якобы литературные премии, – всякой литературной шантрапе. Маргиналы-постмодернисты, матерщинники, придурочные детективщицы оказались в почёте. Вот и президент (премьер-министр) встречаются с разной “сочинительской сивухой” в лице детективщиц, пиарщиков, постмодернистских писачей. Но уважения у настоящего читателя эта публика так и не добилась, хотя телеэкран протерла до дыр, выставляя себя напоказ... Эх, да было бы что показывать-то! Путину так и хочется посоветовать встречаться, к примеру, с Леной Лениной, все равно ведь он никого не читает, а тут хоть баба красивая...

...Как-то раз в одной из районных библиотек Нижегородской области, куда ездил на встречу с читателями, библиотекарь спросила меня о творчестве Владимира Сорокина: “Да неужели это литература?” Она смотрела мне в глаза с явным опасением: вдруг я начну скользить, выворачиваться, что-то объяснять: дескать, литература бывает разная, выгораживать непристойность, оправдывать непотребство... Наконец, я улыбнулся ей и ответил: “Да, конечно же, нет. Это не литература! И никто не сможет обмануть вас, никакой писатель, никакой критик. Очень важно прислушиваться к себе, к своему

сердцу, к своей душе, чтобы понять, что есть литература, что есть искусство, а что является профанацией и завуалированной пошлостью”.

Один создатель производит хлеб. Другой — яд. Литература изначально создавалась — для блага человека, для просвещения, для гармонии. Об этом словно бы все забыли. Подчас хочется крикнуть русским читателям всех возрастов: не читайте похабщину, русофобскую истерию, смело бросайте в мусорный бак подзаборных сочинителей ерофеевых, сорокиных, не слушайте болтунов и графоманов веллеров, пьецухов... не верьте в честность раздаваемых премий, которые получают быковы и пелевины, помните, что вам навязывают улицких и войновичей... В конце концов: не старайтесь обмануть собственные чувства! Ваша душа, ваши чувства выше, чем бредни расхристаных писателей и писательниц, которые издеваются над здравым смыслом, искажают нашу историю и подрывают русскую эстетику, — эстетику добра, гармонии, истинной красоты. Да и вообще весь так называемый постмодернизм и новая либеральная литература — это потуги борьбы с русской эстетикой, у которой вековые традиции.

Русская эстетика в художественном смысле — это “Лад” Василия Белова, рассказы Шукшина, повести Распутина, а чуть раньше — “Тихий Дон” Шолохова, а еще раньше — и Чехов, и Горький, и Бунин... и Пушкин, конечно, и Ломоносов... Кстати, премии имени Бунина, имени Горького получают сегодня литературные пакостники, идеологические враги тех же классиков. Классики в гробу, верно, переворачивается, когда узнают, кому дают премию их имени.

Очень жаль, что истинной критики у нас сейчас нет, и никто покуда не написал цельной, значимой, здравомысленной книги о русской эстетике и борьбе сочинительской либеральной братвы против нее.

* * *

А что же у нас с театром?

По всей стране ставят английский водевильщика Куни и проверенную классику. Это — в провинции. В Москве — несколько иначе. Древние худруки театров с гордостью носят звание “народные СССР, РСФСР”, но на дух не переносят советский тоталитаризм — лейбл которого и носят. Что такое народные? — сталинизм какой-то, нигде в цивилизованных странах нет званий “заслуженный”, “народный”; вспомните, как марки захаровы в клочья рвали зубами и жгли прилюдно партийные билеты, а нет, от звания “народный” не отказываются и дочери еще в народные протаскивают уже в наше время. Так вот, эти древние худруки насыщают свои театры постановками режиссеро-модников... Недавно эти режиссеры-модники провели “круглый стол” под названием “Русский театр как родовая травма...” Какова тема для кириллов серебренниковых разных мастей и оттенков!

Впрочем, вот красноречивый театральный анекдот из нового времени.

Встречаются два театральные режиссера:

— Ты кого собираешься ставить?

— Шекспира!

— И я — Шекспира! А ты какую вещь?

— “Ромео и Джульетту”.

— О! И я — “Ромео и Джульетту”!

— Я вот думаю, что Джульетта — должен быть мужик годов сорока!

— Ерунда! Я это уже в Польше видел лет десять назад... Я-то вот думаю, что Ромео должен быть молодой черный лабрадор!

* * *

Еще недавно мы были страной великого советского кино. Только великой нации позволителен, как говорят, большой стиль в искусстве, широта запросов... И за это было плачено колоссальным, порой самоотверженным, а порой кровавым трудом миллионов наших людей, в первую очередь — русских.

Великому советскому кино не страшен был рынок. И дело не только в социалистическом плановом хозяйстве, — существовала отрасль, существовали механизмы, шел творческий процесс, а препоны в виде цэковских идеологов,

самодуров от культуры и прочее, – были частью того самого трудового процесса, тем балластом, который подчас художнику очень необходим. Разрушив механизмы – удивительно под какими лозунгами разрушили: “свобода! свобода!” – мы получили “свободу”, а свободное искусство – нет. Вернее, оно есть, да его нельзя есть... (еще раз простит меня читатель за вольность стиля).

... Всякий раз, когда из уст “высоких” чиновников вылетает слово “культура”, мне вспоминается одна притча.

В морозный ядреный день в доброй натопленной избе у окошка стоит крепкий старик с окладистой седой бородой, а рядом с ним – малый внучек. Глядят они из окошка на улицу, на зимнюю обледенелую дорогу перед домом. А на той дороге – мужик в одном исподнем. И к тому же босой. Прыгает этот мужик, руками себя по бокам бьет, изо всех сил пробует согреться.

Старик в избе наблюдает за беднягой мужиком и плачет. Слезы ручьем текут. По щекам, по бороде. Внучек-то и дергает деда за рукава. “Дедушка, чего нам смотреть, как мужик мерзнет? Давай мы его в нашу теплую избу пустим”. “Эх, внучек! – вздыхает старик. – Ежели мы его сюда пустим, по ком же я тогда плакать-то стану?”

Деятель культуры – вот извечный персонаж, по ком любит плакать начальство, находясь в тепле. Иногда плач о культуре слышится с самого верху...

У меня сохранилась запись заседания Госсовета по культуре в Санкт-Петербурге, 2004 года. С участием президента. Заседание Госсовета было, как всегда, напыщенно важным и заурядным. Однако выступление директора “Мосфильма” К. Шахназарова внесло некоторую интригу в собрание или, по меньшей мере, обнажило позицию тогдашнего президента В. Путина на политику в области культуры.

К. Шахназаров, почти безоговорочно признав, что кинорынок мы потеряли, что американцы работают здесь почти без прибыли, но основательно захватывают мозги нашей молодежи и дерутся “за каждый миллиметр своих интересов”, рассказал историю, вернее, передал свой разговор с одним таксистом.

“Чего, мол, вы ратуете за наше кино? Мне, мол, на него наплевать! Вон американские боевики. Здорово!” Примерно так рассуждает таксист. Шахназаров ему возражает. Я, мол, тоже хотел бы на твоём месте таксиста видеть китайца. Он работает, как вол, по двадцать часов в сутки, не пьет, услужлив и т. д. и т. п.

Потом Шахназаров подвел черту под этим разговором с таксистом. Такой подход, который исповедовал таксист и его условный оппонент, в качестве которого и выступил сам Шахназаров, для культуры не подходит. “Лучше-хуже” в культуре определяется по иным критериям.

После выступления К. Шахназарова, президент В. Путин, делавший замечания и пояснения по ходу заседания, решительно высказался: “Я на стороне таксиста!” Российская культура, мол, должна представить ему достойный конкурентный “продукт”. Мы, мол, должны своим высококачественным “продуктом” культуры перетащить на свою сторону “таксистов”.

В общем-то В. Путин огласил растиражированную в обывательских кругах позицию. Но смирился с ней не очень-то хотелось. Во-первых, “продукт” к сфере культуры не совсем подходит. “Продукты”: кино, книга, спектакль, картина – становятся таким образом в один ряд с цистерной нефти, с чушкой алюминия, с кубометром леса.

Однако определения здесь не главное. Главное –стораживает подход. Нет никакого деления на чужое-родное.

К примеру, одна мама купила своему сыну современный компьютер, а у другой мамы такой возможности нет, она купила сыну лишь самокат. Так что теперь, по логике “таксистов”, сын на самокате должен перестать любить свою бедную маму и указывать ей пальцем на чужую маму, которая для своего сына делает более продвинутые и дорогие подарки?

Другой пример. Одна мать ведет сына в зал игровых автоматов с разными там потеррами, а другая – ведет сына в Третьяковку. Сын мал, он еще ничего не понимает в живописи. Суриков, Саврасов, Шишкин, Крамской, Репин, Айвазовский – эти имена ему ни о чем не говорят, он смотрит на их полотна “бессознательно”. Но пройдет время и он поймет, что это важнейшая часть культуры его страны и культуры его собственной, которую он начал постигать еще в раннем возрасте.

И последний пример. В школе задают учить стихотворения, басни, отрывки из поэм русских классиков. Ученик толком и не понимает всей красоты,

всего глубококомыслия того, что его обяжали выучить наизусть; и заучивает это фактически через силу. Но проходит время, и это “через силу” становится частью его духовной культуры, а значит, частью духовной культуры общества. И России — в конце концов.

Конечно, нельзя отменить игровые автоматы, боевики с тупорылыми костолами, но нельзя признать и то, что к истинной культуре можно приобщиться без труда, мимоходом.

Хотим мы этого или нет, но к серьезной литературе, к музыкальной классике, к подлинной живописи надо приучать! Причем с раннего возраста. Чтобы ребенок, даже став потом таксистом, знал и помнил, что живет в стране с богатой историей и уникальной культурой.

Нет, протекционизм в культуре — это не уступка, не поблжка деятелям культуры, которые побаиваются конкурентов (понятие конкуренции в культуре вообще подозрительно: чья культура выше: Японии или США?), — протекционизм в культуре — это то же самое, что любовь к своей матери, к своей Родине, к своим согражданам. Пусть мать беднее других, но она мать! Которую любят не за подарки.

И президент, и чиновники должны становиться в сфере культуры на сторону настоящего режиссера, художника, а не на сторону безродного таксиста.

... Ох! Уж эти наши чиновники!

Вспомните последний парад Победы. Сидят высшие государственные чины — здоровые, не изработавшиеся у мартена и в шахте мужики — даже не одряхлевшие члены ЦК КПСС — и смотрят, как в одинаковой полевой форме (Юдашкину только поугаев женского рода обряжать) перед ними маршируют люди. Бред какой-то! А не праздничный парад...

С чинами из Минобороны и вовсе происходит некие метаморфозы. Недавно один генерал кричал на всю страну: вооружение у нас — дрянь! Надо на Западе закупать! У них танки, дескать, лучше... Вот логика и патриотизм! Ну и пусть сейчас, когда страна корчится от чиновного воровства и боли ельцинской разрухи, снаряд наш летит на пять километров меньше, чем у бундесвера. Но завтра он полетит на 100 км дальше! А если пойти на поводу у подобных вояк-“государственников”, то любое наше производство в нынешнем хаосе можно загубить.

Эх, головы чиновные, чугунные! Сколько ж вас свалилось на русского человека: рабочего, крестьянина, художника, инженера, солдата! Отрекшихся, не верящих ни в силу, ни в даровитость русской нации!

А ведь в России — всё от русских!!! И святость, и сила, и ум, и талант, и победы!

...Про Министерство обороны — не отступление от темы, нет... Нечто схожее происходит и с кино, и с литературой. Привыкли в последние годы перед Западом шапку ломать...

Однако вернемся в кино. Прошло несколько лет после упомянутого Госсовета, и, по выражению В. Путина, Михалков ему всю плешь проел... — в итоге появился Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии, который и возглавил сам Владимир Путин! Bravo! Правда, трудно представить, чтобы какой-нибудь Обама в США возглавил кинопроизводство Голливуда.

Совет выделяет деньги — немалые! — на кинопроизводство наиболее успешным кинокомпаниям. По оценке экспертов, в настоящее время кинокомпания “СТВ” (С.-Петербург) является одной из самых эффективных производящих кинокомпаний в России. Вот незадача! И тут — упрек не компании “СТВ” (снимает, что умеет и как умеет), а нам, зрителям. Впрочем, куда зрителю-то деваться?!

...Анекдот. В милицию прибегает профессор и взывает о помощи: “Умоляю! Сделайте что-нибудь! Напротив моего дома открыли женскую баню — совершенно невозможно работать! Я ученый, занят напряженным интеллектуальным трудом, а тут женская баня под окнами...” Милиционеры пришли в дом к профессору. Стоят у окон, выглядывают на улицу, пожимают плечами. “Товарищ профессор, женская баня действительно есть. Но отсюда ничего же такого не видно...” — “Правильно. Отсюда-то не видно. А вот если на шифоньер залезешь...”

Сказка ложь, да в ней намек.

Вот некоторые названия из произведений “СТВ”: “Брат”, “Мама, не горюй”, “Особенности национальной рыбалки”, “Брат-2”, “Сестры”, “Олигарх”,

“Бумер”, “Жмурки”, “Бумер. Фильм второй”, “Груз-200”, “Кремень”, “Меченосец”, “Нирвана”, “Про уродов и людей”, “Пугало”, “Морфий”, “Шиза”, “Шультес”, “Каменная башка”, “Кочегар” и другие. “Бабло” – только что закончено и выпущено в широкий прокат. Герои фильмов – воры, убийцы, алкаши, проститутки, извращенцы...

Есть о чем задуматься. Дали народные деньги на чернуху, на грязь, на “уродов”?!

Уже сколько лет нет ни одной светлой, здравомысленной комедии, которую можно было бы посмотреть всей семьей!

Возможно, это издержки роста. Часть кинематографа всегда будет тянуться к духовным потемкам, к постмодернистской подзаборщине, помойкам, извращениям... Но трезвый государственный подход к искусству – необходим!

Жаль, что стоит только заговорить о худсоветах, общественных советах, как наши деятели-либералы начинают выть: это возврат к тоталитаризму, цензура... Господа! Но ведь при тоталитаризме было Кино! С большой буквы! А теперь его нет. Может быть, пусть вернуться худсоветы, но вместе с тем вернется и Кино... Речь-то идет о государственных средствах!

Я не говорю о другом биче – киносети. Проблемы всем известные и пока не решаемые. Киносеть – в руках чужеземцев, а мы для чужеземцев – дикари... Но здесь-то, может быть, тот самый случай, когда надо власть употребить! Защитить своего национального кинопроизводителя законом!

Меж тем псевдонационального кино у нас немало. Вот вышел фильм режиссера А. Учителя “Край”. Того самого режиссера, который свалел пошлейший, если не сказать подлейший, фильм о Бунине.

И хотя на фильм “Край” набрали популярных актеров, нагнали огнедышащих паровозов, – ни одного цельного характера, ни сюжетной гармонии, но главное – простые русские люди представлены неряхами, хамьем, – быдлом, одним словом, как во многих фильмах этого лживого киношника. Но в либеральных СМИ режиссер раздает интервью, рассказывает о значении своего фильма, хвастается какими-то фестивальными успехами на Западе, а главное – всем пытается доказать, что фильм у него великий.

Вот так: черное нам выдают за белое. Трудно представить, чтобы Василий Шукшин сидел и доказывал с экрана, что его фильм “Живет такой парень” великий. Он и есть великий. И любимый миллионами зрителей. Этого не надо было доказывать! В фильмах Шукшина невозможна пошлость и подлость по отношению к простому русскому человеку. Или тот же Тарковский... Разве смел он покуситься в “Андрее Рублеве” на духовную чистоту народа, но при этом не замазывал историческую правду!

Еще один шедевр последнего времени. “Елена” режиссера Звягинцева. Абсолютно лживая мура. Во всем – от начала до конца. И с чего это главный герой (миллионер, судя по всему) Владимир Иванович, который уплетает виагру, взял себе в жены – официально! – такую несимпатичную старую толстую клушу? Но при этом, имея умницу дочь, еще и не написал завещания?! Вы, господа сценаристы и режиссеры, имея миллионы, сами-то такую сиделку взяли бы в жены – официально! – а при этом бы еще и завещание не написали... Во всем – ложь, глупость... Уж не говорю о вторичности и жалком, беспомощном подражательстве Тарковскому... (нудные, затянутые пустые сцены, туман...). Ну и конечно, матерщина, чернуха... Особенно в сценах с семьей Елены. Обычная русская семья – бездельники, жулье; беременная мать молодого героя, ради которого весь сыр-бор, конечно, дура-дурой... И вообще одна грязь, быдло, – ни одного светлого человека. Россия ведь, не Израиль какой-нибудь... Стоп! Есть один прекрасный эпизод, где сын Елены плюет с балкона. Отлично! Это он на вас, господа режиссер и сценарист, плюнул...

И снова сидит режиссер, Звягинцев, который, похоже, утвердился в собственных глазах как гений и рассказывает о величии своего фильма и кичится какой-то цацкой, которую дали на каком-то западном фестивале. (Наши киноакадемики его тоже чем-то одарили. Боже! Как пал наш кинематограф! И кому государственные деньги дают!)

Кичиться премиями западных фестивалей – это последнее дело! Кино как отрасль создана для своего народа! Даже Голливуд создавался для американцев! А французское кино, а индийское?! Для западных фестивалей требуется не народное, – побольше антикоммунистической, псевдоглубокомысленной

чепухи и антирусскости. Аплодисменты зала обеспечены, и приз соответственный...

Чем тупее будут изображать русских на экране, тем больше на Западе аплодисментов. У этого быдла надо забрать не только Аляску, но и всю Сибирь и весь Дальний Восток! Видите, какие они дураки, сами себя разграбили... Да и Сталин у них войну развязал с Гитлером... Оккупанты! Отдайте нам деньги – вопли из Прибалтики. А вот вопли с Кавказа: мы жили бы так же, как в Катаре, но у нас забрала Москва нашу чеченскую нефть. Поэтому мы сейчас доим Россию и пляшем в Москве лезгинку...

...Хочу привести отрывок из письма одной моей корреспондентки Жанны Милль, которая живет во Франции (полностью данное письмо напечатано в журнале "Роман-газета", № 3, 2008 г.) как отклик на мой роман "Бесова душа": "...Мне как-то попала на глаза копия одной французской газеты от 9 мая 1945 года. Так там писали о чем поало, только не о Победе: реклама мюзик-холлов занимала целые страницы... Поэтому неудивительно, что французы о той войне мало вспоминают вообще, а по телевизору если и говорят, то получается, что победили все, кроме России. Россия где-то там воевала непонятно с кем, а потом еще русские солдаты "грабили и насиловали бедных немцев, будучи в Германии"... А Гитлера победили США, де Голль и английская королева... Вы понимаете, насколько это меня поражает, я же знаю, что победили мои соотечественники, кровью и жизнью одержали ту Победу".

Возвращаясь к режиссерам, которые трясут золотыми слониками и левиками каких-то фестивалей на Западе – бессмертные стихи Федора Тютчева:

*Как перед ней ни гниешь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы.*

Кстати, в первом варианте у Тютчева первая строчка строфы звучит еще более жестко:

*Как, господа, ни подличайте вы...
Вам не снискать признанья от Европы...*

А уж подличать по отношению к русскому народу наша демократическая псевдоинтеллигенция – элита!!! – научилась великолепно, да только истинное признание на Западе получило тоталитарное Кино, а не нынешние киноподелки.

...Голливудский путь больших затрат и компьютерных эффектов вряд ли принесет нужный результат русскому кино. Без блокбастеров, конечно, не обойтись, но в нашем искусстве русскую эстетику, которой подчинялись все великие художники, начиная от автора "Слова о полку Игореве" до Сергея Бондарчука, отменить невозможно. Она часть нации, органичная часть нашей нации.

Как незримая народная Воля, которая переплетается с Божьей волей – так и незримая эстетическая доминанта должна присутствовать в новом российском кинематографе – как в Природе – трель жаворонка, шум ручья, шепот ветра в листве... Это должны быть не мертвые истины, их у нас хватает, а живые, и направлены они должны быть на созидательное дело.

Вот еще и еще бухнет Совет по поддержке кинематографии денег успешным кинопроизводителям, а достойного талантливого российского кинополюка не будет, – вот что обидно! Русло рассредоточится – и опять пустыня. По которой ветер гоняет фильмы-перекати-поле с западными наградными блестяшками на колючках... (Эх! метафора-то какая пришла, – для нынешних балбесов-режиссеров вполне сгодится...)

Подлинное искусство, как всякое благотворное общественное явление, должно иметь основы, традиции, критерии.

Ждем Кино.

СВЕТЛАНА СЕРЁГИНА

“ДО СЛЁЗ ЛЮБЯ СТРАНУ РОДНУЮ...”

Сергей Антонович Клычков. Исследования и материалы. По итогам международной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С. А. Клыčkова. М., Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2011.

Современная литература, перешагнувшая границы постмодерна, оказывается зачастую в пространстве духовной пустоты. Художественное слово XXI века стремится освободиться от категорий, определявших смысловое поле классической литературы. Категория национальной памяти, кажется, утрачивает свое фундаментальное для русского текста значение.

Творческий опыт “новокрестьянских” поэтов, призывавших, говоря словами С. Клыčkова, “вкусить щедрот неистощимых, взошедших с древних пепелищ”, – это не только источник для богатейших эстетических переживаний, но утрачиваемая, увы, ныне и необходимая впредь современному человеку система смыслов и духовных координат.

С. Клычков так определил главный ориентир своего существования:

*До слез любя страну родную
С ее простором зеленей,
Я прожил жизнь свою, колдуя
И плача песнею над ней.*

В 2009 году в Литературном институте им. А. М. Горького прошла международная научная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Сергея Антоновича Клыčkова, певца “сада потаенного” русской культуры, чья яркая самобытная проза органично вписывалась в мифотворческий контекст начала XX столетия.

Круг вопросов, над которым размышляли ученые и писатели из России, Украины, Франции и США, актуален не только с филологической толчки зрения. Утрата русской деревней своего быта и своего бытия, существование традиционного мышления в переломные исторические эпохи, вечный конфликт природы и цивилизации – эти темы, встающие перед читателем Клыčkова, обнажают большие вопросы современного человека.

Г. Седых, размышлявшая над социальным контекстом творчества Клыčkова, вспомнила слова поэта, которыми он характеризовал свою эпоху: “В наше время особенно очевидно неосуществимы три вещи: подвиг – пото-

му что смешон, жертва – потому что бессмысленна, борьба – потому что невозможна”. Меня поразило совпадение клычковской триады (подвиг–жертва–борьба) с необратимостью его и отчасти нашего времени”, – отмечает исследовательница.

Действительно, трагические ноты обреченности в поэзии Клычкова последних лет если и не звучат камертоном к нашему времени, то доносятся из 30-х годов как предостережение:

*Не гадай о светлом чуде.
Воскресения не будет!
Ночь пришла: померкнул свет.
Мир исчезнул, мира нет.*

Над актуальностью смыслов поэзии и прозы Клычкова размышляют многие авторы сборника. Так, Б. Тарасов отмечал: “Пристальное внимание С. Клычкова к “тайнам бытия” и “темным силам мироздания” приводят его к выводу о коренной раздвоенности внутреннего мира человека, разламывающей природную и социальную гармонию...”.

Крупнейший исследователь творчества Клычкова Н. Солнцева, обобщая опыт изучения его наследия и намечая перспективы, говорила о многогранности лирики и романов Клычкова, которые сотканы из “взаимодействия и отталкивания антропоцентризма и космизма, пастушества и экзистенциализма”.

Религиозно-философские истоки творчества Клычкова всегда волновали исследователей. О старообрядческих корнях творчества Клычкова размышлял о. Владимир Чугунов, о народной вере как основе мироощущения поэта – Б. Романов: “Народное религиозное мироощущение духовных стихов поэтом не перенято как новое откровение, оно ему родное”.

Самобытная и яркая проза Клычкова, на страницах которой существует Крестьянская Вселенная уходящей Руси, принесла с собой в литературу такой мощный духовный заряд, что его силовые импульсы сформировали поле “деревенской прозы”. О значении Клычкова для этого уникального явления русской литературы говорили А. Герасименко и А. Большакова.

Поэтика Клычкова формировалась в пространстве эстетического опыта и эксперимента Серебряного века. Интересна ее связь не только с художественным миром новокрестьянских поэтов (об этом думают и пишут Р. Вроон, Е. Маркова, В. Хомяков, Л. Калинина), но и с А. Блоком, Б. Садовским, О. Мандельштамом.

Статьи сборника позволяют увидеть творчество Клычкова в широком литературном и философском контексте. На примере конкретного анализа можно убедиться в том, что лирика и проза его наследовали традициям русской классической литературы и в то же время сами формировали традицию в новом историко-культурном пространстве.

Демоническое в лирике Лермонтова и бесовское в лирике Клычкова, бесовская мстительная стихия как один из вариантов воплощения пушкинского мифа в лирике Клычкова – эти темы исследований А. Филимонова и Е. Демиденко открывают для читателей новый лик Клычкова. Лик художника, охваченного экзистенциальным ужасом перед темным началом человеческой природы:

*И вот я с парюю клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшной
И злей любого зверя.*

В начале своего пути поэт находил смыслы и образы в тайниках народной культуры и в неисчерпаемых красотах родной природы (“... С того-то и песни мои – // Как взор лесной земляники // Меж ягод с игольем хвоя...”). В зрелый период творчества поэта глубина и сферичность его мироощущения обретают космическое измерение:

*И мир давно бы стал пустыней,
Когда б невидимо для нас
Не слит был этот сполох синий
Глаз Ночи и мужичьих глаз.*

А. Шетракова назвала мироощущение поэта “космическим” и обнажила стержневую идею его художественного мышления – идею единства человечества, связи со своим прошлым, природой и Космосом. О крестьянской Руси, сокровенном Китеже как основной мифологеме творчества Клычкова говорили Вл. Смирнов и уже ушедший от нас Вяч. Морозов. У предела своего земного пути Клычков достигает подлинной философской высоты, которая явлена в его приятии бытия, над которым слышится “голодный бесприютный вой”. Это приятие мира душой, прошедшей через искус мрака, оставшейся верной заветам прошлого и не потерявшей себя в буреломе истории и человеческих трагедий:

*Не страшись судьбы безродной,
Ни тревогою бесплодной,
Ни тоской себя не мучь.
Слезы, горечь и страданье
Смерть возьмет привычной данью,
Вечно лишь души сиянье,
Заглянувшей в мрак и тьму.*

Сборник дарит читателям нового Клычкова не только потому, что раскрывает новые литературоведческие темы – источниковедческие и текстологические разыскания добавляют новые штрихи к биографии писателя.

В своем археографическом докладе М. Айвазян представил описание рукописных и документальных материалов Клычкова, хранящихся в фондах Отдела рукописей ИМЛИ РАН. О коллекциях материалов по Клычкову в Талдомском музее рассказала Т. Хлебянкина. Источниковедческую линию сборника продолжает публикация Н. Клычковой и С. Субботина, чья текстологическая работа позволила датировать три письма Николая Ключева второй половины 1920-х годов из Ленинграда.

Украшением сборника является публикация нескольких сокращенных глав из воспоминаний А. Сечинского – младшего брата Клычкова: “В конце 60-х годов А. Сечинский был одним из немногих, кто пытался возродить некогда широко известное имя Сергея Клычкова <...> А. Сечинский долго добивался переиздания книг своего брата: он обращался и к Брежневу, и к заведующему отделом культуры ЦК КПСС Шауро, и к Шолохову, но всегда получал отказ”. Хочется надеяться, что полная публикация воспоминаний А. Сечинского, не дожившего до литературной реабилитации старшего брата, сможет осуществиться в ближайшее время.

Сложные философские смыслы творчества Клычкова, утонченные и изысканные средства, которыми располагает его поэтика, – все это было предметом подробного и убедительного анализа авторов сборника. Конечно, хочется, чтобы этот анализ не заслонял от читателя того главного, что одушевляет лирику и прозу Клычкова: его милосердие и восторг любви к родной земле. Г. Русакова, рассказавшая о том, как она знакомит школьников с творчеством Клычкова, замечательно назвала свою статью: “Уроки по С. А. Клычкову – уроки патриотизма, гуманизма, любви к родной природе”. Действительно, одна из задач филологической науки – раскрытие смысла текстов для сознания нового поколения. Тем более, если эти тексты предлагают нравственные ориентиры, утрачиваемые современным обществом.

Хочется думать, что конференции, посвященные Клычкову, будут проходить регулярно, и так же регулярно будут печататься сборники по их итогам, решая, тем самым, другую важную задачу филологии – сохранение национальной памяти.

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

В октябре 2011 года в Доме творчества писателей «Переделкино» под Москвой состоялось Международное совещание молодых писателей, организованное Международным сообществом писательских союзов (МСПС) по инициативе Председателя Исполкома МСПС Ивана Ивановича Переверзина. Важно отметить, что это первое масштабное мероприятие подобного рода в современной России – предыдущий форум начинающих литераторов состоялся четверть века тому назад, ещё во времена СССР.

Международное сообщество писательских союзов является правопреемником Союза писателей СССР и образовано после его распада в 1992 году. В его состав сегодня входит около 50 писательских организаций государств бывшего СССР и дальнего зарубежья.

На совещание прибыли около ста писателей и поэтов, пишущих на русском языке, почти из всех республик, входивших в состав Советского Союза, а также из Германии, Франции, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, Афганистана. Что касается России, то на форум приехали представители целого ряда национальных регионов.

Участники совещания работали на семинарах прозы, поэзии, детской литературы, а также перевода, отдельно работала военная секция. По итогам совещания принято решение рекомендовать несколько его участников в Союз писателей России и к приёму в Литературный институт им. Горького. Рассматривается вопрос об издании лучших произведений участников совещания отдельной книгой. По итогам совещания планируется выпустить специальный номер альманаха «Вестник МСПС». Молодым авторам, прибывшим из регионов России, чьи работы вызвали наибольший интерес, выданы рекомендательные письма в адрес руководителей местных структур, от решения которых зависит опубликование произведений в региональных изданиях.

Основной формой работы являлись, естественно, семинары. Также были проведены литературные вечера, экскурсии в дома-музеи известных литераторов, в разные годы живших в Переделкино – Корнея Чуковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака. Ну а главное – юные таланты познакомились друг с другом, общались, завязывали дружеские отношения.

Семинары провели такие известные писатели, как Станислав Куняев, Лариса Баранова-Гонченко, Владимир Бояринов, Светлана Василенко, Николай Переяслов, Николай Иванов, Владимир Коробов, Владимир Силкин, Борис Леонов, Василий Макеев, Татьяна Брыксина, Владимир Чертков, Сергей Арутюнов.

Непосредственное руководство совещанием было возложено на председателя Оргкомитета, писателя, преподавателя Литературного института им. Горького Александра Торопцева. Ему помогли сотрудники аппарата Исполкома МСПС Марина Переяслова, Николай Стародымов, Бежан Намичеишвили, а также студенты Литинститута Дарьяна Антипова, Дмитрий Хаевский, Дарья Серенко, Анастасия Блинова.

Журнал писателей России «Наш современник», по праву являющийся лидером среди «толстых» литературных журналов в нынешней России, давно уже тесно сотрудничает с МСПС. И сейчас мы размещаем на своих страницах отобранные произведения нескольких участников этого знаменательного литературного форума.

СЕРГЕЙ БУДАРИН



РУСЬ, Я СПОЮ ДЛЯ ТЕБЯ

* * *

Мой друг, не виновен я в том,
Что Русь, как река, меня манит.
Она ни сейчас, ни потом —
Меня никогда не обманет.
Накроет волною судьба.
Обрушит на сердце кручину...
И даже святая мольба
Не сможет раздвинуть пучину.
Хоть плеск и журчанье реки
Для жизни твоей не отрада,
Меня поминай по-мужски,
Как в реку вошедшего брата.

* * *

Русь, я спою для тебя колыбель —
Ту, что мне мать напевала,
Если визгливо скулила метель
Или во мгле завывала.

БУДАРИН Сергей Сергеевич родился в 1990 году в Новокуйбышевске. Студент Самарского государственного технического университета. Руководитель поэтического студенческого клуба. Стихи пишет с 11 лет. Лауреат поэтической номинации регионального конкурса “Мы рождены для вдохновения-2011”

Ныне коварно метёт за окном —
Тьма непроглядная, волчья.
Стужа терзает родимый наш дом,
Солнце растерзано в клочья.
Русь, я спою для тебя колыбель
Светом небесным и млечным,
Как напевала мне мама в метель
Светом незримым сердечным.
И содрогнётся родимый наш дом
С волчьим метельным оконцем.
И засияет небесный проём
Русским заплаканным солнцем.

* * *

Берёзы сквозят во дворе,
Сливаясь со светом отвесным.
Их кровь запеклась на коре,
Взывая к воротам небесным.
Она по стволам растеклась,
Цепляясь корнями за землю.
Но с небом я чувствую связь,
И сердцем я родине внемлю.
А чёрная кровь на коре —
Святая расплата пред небом.
Берёзы сквозят во дворе
Божественным внутренним светом.

* * *

Осень на лето ступила.
Воздух, промытый дождём,
Встрепан, как мокрая псина,
Лужи сверкают огнём.
Пальцы ветвей растопырив,
Древо спугнуло листву.
Ветер, добычу завидев,
С лаем пластает траву.
Красным и жёлтым расписан
Солнечный день поутру.
Звон колокольный услышан
Даже не в нашем миру.
Рдея, пылает рябина,
Русскому веря холму.
Это родная картина
Писана под хохлому.

* * *

Я уйду в ночные степи
Под мерцанье звёзд золотых,
Ощущая дивный трепет
Босоногих дней былых.

Там, в степях, гуляет осень,
Золотит заря стога.
И в звенящих кронах сосен
Проплывают облака.

И сегодня помню ясно,
Как бежал мальчишкой в бор,
Чтоб сквозь облачные прясла
Привести рассвет в наш двор.

Я бежал в родные степи
Под гуденье звёзд золотых.
Да сдувало ветром кепи
У меня с волос ржаных.

Там, в степях, гуляла осень,
Золотя зарёй стога.
А в лучистых кронах сосен
Проплывали облака.

ДЕНИС СЕКАМОВ



РОССИЯ — СВЕТ!

РУССКОЕ ПОЛЕ

Мне опостытели терзанья:
К чему? зачем? и почему?
К проклятым “тайнам мироздания”,
Увы, я ключ не подберу.

Вот поле снегом всё покрыто,
Берёза грустная стоит.
И небо голубым корытом
Над беспредельностью висит.

И вот гляжу я на просторы,
И вот взираю на поля,
Где столько воли и разора
Хранит заветная земля.

И вновь вопрос растёт: “Доколе?!”
Доколе так мы будем жить,
Что русским ветром, русским полем
Не будем в сердце дорожить?”

СЕКАМОВ Денис Максимович родился в 1983 году в Москве. В 2006 году закончил философский факультет МГУ им. М. Ломоносова по кафедре онтологии и теории познания. В данный момент — аспирант заочного отделения Института философии РАН. Посещал семинары поэзии на ВЛК. Участвовал в коллективном поэтическом сборнике. Работает редактором на телевидении. Живёт в Москве.

ПОДРАЖАНИЕ БЛОКУ

*Дремлющей
русской интеллигенции
посвящается*

Я Дон Кихот моей больной страны...
Иных времён татары и монголы
Несутся, лютой гордости полны,
Надеясь, что Россию поборол.

Россия — Свет! Исчадьям ада, зла
Её не одолеть своим коварством.
На точке невозможного узла
Она соединит два разных царства.

Она объединит Европы сталь
И мрак её гностической гордыни
С Востоком, где таинственный Грааль
Живёт в морозном шелесте полыни.

Она объединит всю сухость прав
С безудержностью тюркского порыва.
Мы, их незрелость ценностей поправ,
Восторжествуем вновь непринотливо!

Россия спит... Не трогайте её,
Не залезайте, глупые, в берлогу!
В неё струится с неба бытие
Из горнила Троического Бога.

Она проснётся — и тогда мираж
Видений ада, сгинет, как микробы.
Чудовищ не возьмём на бордаж,
Они исчезнут в воздухе Европы!

ПОКРОВА НА НЕРЛИ

От абстракций устал, от теорий
От объятий немой пустоты...
Вот достичь бы нам всем в разговоре
Той сердечной — святой! — простоты.

Простоты, что рождённая Светом,
Что душе никогда не соврёт.
Той, которая движет поэтом,
Той, в которой воспитан народ.

По-над Нерлью поля загрузили
Белоснежной, далёкой слезой.
Этот крест в тишине русской были,
Исторический наш мезозой.

Тихо Нерль льётся временем древним
Вдоль изгибов речных берегов.
И вдали над дорогой к деревне
Богородица стелет Покров...

ТЫ ДАРИЛА...

Ты дарила мне звёздную россыпь сполна,
Будто щедрой рукою три кубка вина.
В первом были душистых полей аромат,
Среднерусских степей разгуляй-вертоград.

Ойкумену седых облаков во втором,
Что горячие звёзды прожгли серебром.
Ну, а в третьем, а в третьем, конечно же, был
Поцелуй, что тебя до конца погубил.

Ветер дул — и оазисы тихих берёз
Меж собой говорили, как будто всерьёз:
“Почему так горька этой ночью полынь?”
Обожжённую землю просили: “Остынь!”

Ну, а ветер-разбойник шутил, озорник,
Когда пил твоих уст ненасытный родник.
И туманились очи — а копны волос
Развевались по ветру, что кроны берёз...

АРТУР МУКОМИЛОВ



ПЛАЧЬ, ЯРОСЛАВНА!..

* * *

В поле веры крикнуть: “Отче!”
Никогда не поздно, братцы.
И, сердца сосредоточив,
В горнем ливне искупаться!
Он пройдёт, услышав крики,
За три моря и обратно.
Неба громкоговоритель!
Самый главный в мире ратник!
Скосит зло под самый корень...
Его струями омыты,
Предрассветнее, чем зори,
Прыгнем в полную Открытость,
Раскрывая свои сети
Для талантов, что зарыты
В узаконенную серость,
Запрещающую прыгать.
Ведь, наверно, нет на свете
Диамантовее доли,
Чем заставить их поверить,
Что их доля — крикнуть в поле.

МУКОМИЛОВ Артур Гариевич родился в 1986 году в посёлке Дондюшаны Молдавской ССР. В 2007 года с отличием окончил отделение политологии Философского факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. В 2010 году вышел его первый поэтический сборник “Дитя озона”. Публиковался в крымских литературных журналах.

Это — Истина религий,
Без пустого макияжа.
Это — Праздник солнцеликий...
Он себя ещё покажет!

ИСТИНА

Истина — буйная суперзвезда —
Метит, не целясь, в меня, как в мишень.
Ей поразить не составит труда,
Горной рекой разливаясь в душе!
Линию жизни стирая с руки,
Без колебаний хотя бы на миг
Ошеломит — развернувшийся кит,
Что притворялся землёй под людьми!
Не по науке, а падая вверх,
И о пощаде молить не смогу.
Даже забуду, что я — человек,
И перед кем-то останусь в долгу!
Разве хоть кто-нибудь может смягчить
Эту расправу незваных небес,
Уничтожающих цепи причин,
Словно вандалов гремучих набег!
Разве бывала когда-то иной —
Метаморфоза в положенный срок,
Чем описал её лирной игрой
Пушкин в своём стихоперле “Пророк”!

* * *

Плачь, Ярославна, плачь!
Князь под десницей вражьей.
Снимет с него палач
Голову с шеей разом!
Он отлучен от зорь
В гибельном каземате.
Тысячерук надзор
Безблагодатной рати.
Враг оказался — ад.
Сам сатана из злости —
Бешен, клыкаст, рогат,
Лихо ломает кости!
Праведные полки
В их же крови и топит.
И для борьбы с таким
Мало обычных копий!
Плачь, Ярославна, плачь!
Может, ещё не вечер.

Слёзы твои для зла,
Знаю, опасней сечи!

ОЛЕСЯ МИЦУК



В ПУТИ

РАССКАЗ

“Граждане провожающие, просьба покинуть вагоны, поезд номер двадцать шесть Москва — Новосибирск отправляется!”. Проводница пробежала по вагону, проверяя, не задержался ли кто; поспешила в тамбур, откинула руку с флажком. Поезд тихо тронулся, уплывая от провожающих.

“Поехали”, — негромко сказал пожилой пассажир с совершенно седой головой, большим мясистым носом, выдвинутым немного вперед квадратным подбородком, сухими узкими губами и неожиданно насмешливыми карими с золотыми искорками глазами, окружёнными многочисленными морщинками.

Он сидел у окна, откинувшись к стене, будто очень устал; и все его подтянутое, даже сухопарое тело, казалось, тихо радовалось долгожданному отдыху.

— Да, поехали, — повторил вслед ему молодой, с ярким румянцем на щеках паренёк лет шестнадцати-семнадцати с густыми, пшеничного цвета, зачёсанными гладко назад волосами. На чистом лице его заметно было некоторое волнение и озабоченность. За окном уже давно мелькали подмосковные леса, серые деревеньки, посёлки с домами из красного и розового кирпича, стройки, поля и перелески.

Вошла проводница, проверила билеты, и выяснилось, что оба пассажира едут до Казани. Ее появление несколько оживило атмосферу в купе и прервало затянувшееся молчание. Пожилой пассажир улыбнулся, отчего его лицо приобрело дружеское, почти ласковое выражение, и представился:

МИЦУК Олеся Николаевна — студентка Литературного института им. Горького, член Московской городской организации Союза писателей России, автор книги “Надежда”. Живёт в Москве.

— Геннадий Павлович.

— Иван, Иван Хлебников, — смущенно произнёс паренёк, ещё более заливаясь румянцем до самых ушей.

— Значит, в Казань едем, а к кому, если не секрет?

— К родителям моим, а особенно к маме, она в больнице, к операции её готовят, — простодушно ответил Иван.

— Это правильно, родителей порадуете, а мама повидается с вами, и операция намного легче пройдет.

И, предвидя вопрос, Геннадий Павлович тихо сказал:

— А я вот с похорон брата старшего еду, и никого у меня родных больше нет теперь.

— Соболезную вам. Теперь надо молиться о нём все сорок дней, да и потом не забывать. Ведь брат ваш крещёный, православный?

Ивана перестал заливать смущённый румянец, и голос его стал крепче и увереннее. Геннадий Павлович быстро глянул на него, что-то промелькнуло в его лице, он перестал улыбаться.

— Нет, и не крестился даже. А я окрестился только десять лет назад.

— Всё равно молиться надо о его душе и надеяться, что примет Господь молитвы, — с неожиданным жаром быстро сказал Иван.

— Спасибо за добрые слова, я и сам так думаю. Извините за любопытство, а вы чем занимаетесь?

— В духовной семинарии учусь при монастыре. Разрешите вам чаю принести?

— Давай, Иван, а я пока к чаю приготовлю, мне тут навертели с собой пирогов всяких.

За чаем и разговоры оживились. Иван тоже достал пакет с булочками, сахаром колотым — “из нашей трапезной”, квашеную капусту с клюквой, варёную говядину.

Геннадий Павлович был очень рад такому попутчику. Ему хотелось неспешного разговора о том, что там за земной юдолюю всех их ждет, что ждет душу его брата Саньки, и почему так происходит, когда живёшь-живёшь, ни о чем душевспасительном не думая совсем, а потом вдруг — раз — и всё меняется, и думаешь уже о вещах раньше и немыслимых; о том, как бы помочь ближнему, как исправить свои прошлые нехорошие поступки, от которых, если вспоминаешь, делается так муторно, будто выпил чего-то рвотного. Когда Геннадию Павловичу — всегда неожиданно — вспоминалось такое, ему хотелось, как бывало в детстве, спрятаться от всех, сделаться меньше, чтобы никто его не мог увидеть. Казалось, что не увидит его никто, значит и совершенное нехорошее им тоже сделается совсем малым, а может, и исчезнет из его жизни. Но вспоминалось, вспоминалось, и не хотело никуда исчезать; как он, заведомо зная, что взвод весь погибнет, отдавал приказ удерживать никому ненужную высотку, правда, лаялся с начальством, но ведь спасовал, побоялся, что под трибунал отдадут... Тогда, в Афгане, в восемьдесят втором году, он лично написал родителям каждого солдата прочувствованные слова о воинском долге, о славе, о гордости Родины за своих сыновей, но при этом так гадко внутри было, и ночами он не спал, и в груди болело и не давало покоя. Он тогда думал, что это надсаженное сердце болело, но теперь он точно знает, что болела душа... И этот мальчик, Иван, как же он похож на рядового Кашина, разорванного гранатой на той проклятой высотке; и опять, опять заболело внутри невыносимо.

Иван очень волновался, так, будто сдавал важный экзамен. Видя, в какой печали пребывает его собеседник, старался утешить его, угощая нехитрой, но очень заманчиво пахнущей едой.

— Мы в трапезной по очереди работаем, вы вкушайте, буду очень вам признателен. Клюкву нам из Новгорода братья привозят, и грибки, и всякую птицу домашнюю.

— Спасибо большое. Вроде есть не тянуло, а тут аппетит разыгрался!

Геннадий Павлович, и правда, то капустой с удовольствием похрустит, то нежной, сочной, пахнущей какими-то неведомыми ему травками, говядин-

ной полакомится, а ему Иван уж поближе придвигает коробочку с кашей: “Отведайте, очень вкусная, братья на завтрак варили”.

И так Геннадии Павловичу хорошо сделалось, то ли от угощения, то ли от ласковых тихих слов, что когда Иван вышел за кипятком, чтобы заварить монастырского, на травах, “очень полезного” чая, непроизвольно покатались слёзы из его глаз.

“Совсем сдурел ты, подполковник”, — одёрнул мысленно он себя, но не помогло, слёзы так и продолжали литься. “Наверное, из-за Саньки это, совсем нервы распоясались, приеду, закаливанием и бегом изгоню эту заразу; брата не вернёшь, а жизнь продолжается”. И опять — неожиданно — вспомнил, как привёз на похороны сорок тысяч, а отдал Татьяне, вдове, только двадцать; пожалел денег, увидев, что живут они очень даже неплохо, не квартира, а хоромы в новой многоэтажной громаде, с охраной, и машина у них есть, и дача в Немчиновке. Брат был всю жизнь шустрый, работал до самой своей кончины от инфаркта не где-нибудь — в Госрезерве, деньги хорошие получал, дочку в Плехановскую академию пристроил; и она, Полинка, которая не так уж и давно прудила ему прямо на военную форму, сейчас уверенно рулит по московским улицам, ругаясь презрительно сквозь зубы — “уроды!” — на мешающие ей проехать машины.

“Это я урод, — подумал подполковник запаса Дёмин. — Похороны им в такую копеечку встали, и Татьяна не работает, Полинка ещё на последнем курсе учится, где им денег набраться? А мне их что, солить что ли? И работаю, и пенсию получаю, один как перст”. С женой развелись давно, детей нет, есть только кошка Кася, подобранный в воинской части — тогда пяти-месячный котёнок, худая, страшная. Три года уже ей, стала сытой, кругленькой и самозабвенно любящей хозяина. Уезжая, попросил соседку, татарку Розу, кормить Касю. “Избалует...” — усмехнулся Геннадий Павлович, зная, как Роза ответственно относится к порученному ей любому делу.

Вернулся Иван.

— Вижу, полегче вам стало, это хорошо, — проговорил он.

— Спасибо тебе, сынок, можно так тебя назову?

— Конечно, — и совершенно детская улыбка расплылась по лицу.

— Извини, что спрашиваю, а твоя матушка в какой больнице лежит, что с ней?

— В первой городской, а операцию по женской части ей будут делать.

— Знаешь, а у меня в военном госпитале мой хороший друг, зам. главного, может, чем помочь нужно?

— Ох, благодарствую вам, только мама сама врач, и лежит в своей больнице, её там все любят, стараются, чтобы выздоровела она. А у нас в семинарии и помощь ей собрали, кто сколько смог, операция-то бесплатная, а лекарства очень дорогие.

Иван помолчал немного и, будто собравшись с силами, произнёс:

— Я бы мог помолиться за вашего брата, только имя его скажите.

— Александр, Александр Павлович Дёмин.

— Господу только имя нужно... Может, вам отдохнуть хочется, приедем ведь ночью.

— Да, хорошо бы; в Москве держался, а тут как-то чувствую — устал. Спасибо тебе, сынок.

— Так вы пока чаю выпейте, а я постелю, ладно?

Геннадий Павлович согласно кивнул, взял в руки стакан с душистым чаем и, прихлебывая его, засмотрелся в окно. Уже начинало темнеть; деревья лесополосы, тянущейся вдоль путей, качались от ветра и дождя. Пожелтевшие листья кружились в воздухе и падали на землю, сбиваемые холодными серыми струйками.

Иван быстро и ловко застелил постель, прибрал на столике, поправил маленькую скатерку на нём.

Ощущая во всем теле усталость, Геннадий Павлович осторожно вытянулся на полке; левая нога уже начинала ныть, но к боли он давно привык, болела она с тех пор, как в неё попал осколок в том, восемьдесят втором году.

Иван достал молитвенник, включил возле себя светильник и стал читать, шевеля губами. В полупустом вагоне было тихо. Прошло уж более часа, и уже совсем стемнело за окном. Прочитав положенное ему, Иван сложил молитвенник, поглядел на спящего Геннадия Павловича, потянулся к верхней полке за одеялом и накрыл ему ноги. Выключил свет, сел, облокотившись на столик, и стал думать.

“Всегда с радостью ехал домой, а вот сейчас боюсь увидеть и маму, и отца, и сестрёнок, Катюшку и Светланку. Отец по телефону говорил, что мама легко болеет, а тогда зачем операция? Отец на это не отвечает, а мама все только повторяла: “Приезжай, Ванюша, обязательно приезжай”. Значит, что-то серьёзное, мама никогда бы так не говорила, ведь учебный год только начался. Так боюсь узнать, что там с ней на самом деле.

Какой я малодушный, здоровый и глупый! Вот приеду, и всё решим, и денег мне собрали, правда, немного. Но на всё Божья воля, и не оставит он нас!

Мама, мамочка моя, я всё для тебя сделаю, только ты не болей, пожалуйста. Катюшка со Светланкой ещё маленькие совсем, как же они без тебя? Отец, конечно, и в школу их собирает, и уроки помогает делать. Приеду, во всём разберусь, по очереди с отцом у мамы в больнице будем, сестер возьму на себя. Может, Господь дал нам такое испытание, чтобы мы все окрепли в нём? Да, так оно и есть. Скоро уже приедем, осталось всего около двух часов”.

Иван незаметно для себя задремал, ему показалось — на несколько минут, не больше, а ночь прошла. Разбудил их грохот открываемой двери и голос проводницы: “Казань через двадцать минут”.

Геннадий Павлович по военной привычке быстро поднялся, поправил одежду на себе, причесался.

— Ну, вот и Казань! Пошли, Иван, тебя встречают?

— Нет.

— Значит, довезу тебя, у меня на стоянке здесь машина.

— Спасибо вам, Геннадий Павлович.

Подполковник деловито и уверенно открыл заднюю дверцу темно-синего “жигулёнка”, поставил дорожные сумки и кивнул Ивану — “садись”. В чистой машине было холодно, но уже через несколько минут салон согрелся. Доехали быстро. Завернули во двор.

— Вот сюда, пожалуйста, я дойду, тут недалеко.

— Еще чего, ночь на дворе, говори, какой подъезд?

— Вот этот, спасибо.

Геннадий Павлович достал Иванову сумку и сказал:

— Так хотелось поговорить с тобой, а всю дорогу проспал. Ты вот что, — и, стеснясь самого себя и того, что он сейчас скажет и сделает, с усилием произнес, — у меня деньги есть, лишние, а маме твоей на лечение очень даже пригодятся, возьми, не побрезгуй, очень обяжешь, сынок, а?

Ивану сделалось так неловко, как не было никогда в жизни. Он опустил голову и молчал. А Геннадий Павлович уже торопливо совал ему в руки те двадцать тысяч:

— Возьми, возьми, я ведь от чистого сердца, просто помогать мы друг другу должны, сынок.

И боясь, что не возьмет Иван денег, Геннадий Павлович вышел из машины, обошел её, открыл дверцу и, взяв сильно за руку Ивана, помог выйти.

— Видишь, свет горит на третьем, тебя ждут, наверное. Иди, сынок.

Иван медленно пошёл к подъезду, сжимая в руке деньги.

— Я адресок там написал свой и телефон, позвони, когда сможешь, скажи, как там мама твоя, ладно?

У самой двери Иван обернулся.

— Я даже не знаю, какими словами вас благодарить, и правда, они очень нужны нам. Вас Господь послал!

— Эх, это мне тебя Господь послал. Иди, сынок, ждут тебя.

Геннадий Павлович ехал по ночным улицам домой и, чтобы унять колотившееся сердце, заставил себя думать, как он сейчас придёт домой, его

встретит рыжая красавица Кася, он сварит ей креветок (ну надо же, как она их любит!), потом примет душ, ляжет спать, а утром отдаст Розе купленный в Москве павлово-посадский яркий платок, детишкам её — московских конфет, а Равилю, мужу Розы, серьёзному и немногословному, деталь для его старенького “Мерседеса”, случайно попавшуюся ему на авторынке, он так долго её искал.

“Завтра воскресенье, это хорошо, пойду в храм. Санька, Санька! А в понедельник сниму деньги с книжки и отправлю Татьяне.

И как это я мог сказать Ивану, что никого у меня нет теперь родных, а?..”.

НАТАЛИЯ ШИНДИНА



КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РИМ

Век уходит, горбато сутулясь, страдая одышкой,
Замирая, как сердце, в распахнутых настезь дверях.
И уж если выкладывать “вечность”, то не из ледышек,
А из тел насекомых, застывших внутри янтаря.
Память вязкая, точно смола. И на стыке столетий
Понимаешь, ничто не меняется. В этой связи
Что ни город, то Рим, да к тому же ещё каждый третий,
Что ни путь, то опять бесконечный до Рима транзит.
На его площадях, как на выцветших ветхих подмостках,
Жизнь макабр исполняет от вечности на волоске.
Ночь распята дождём на безликих седых перекрёстках
Под алармом слепых светофоров в привычной тоске.
Невозможно ненужные, странно случайные встречи
На мостах ожиданий, в пустых переулках разлук...
Жизнь не учит, а смерть, хоть сто раз представляйся, не лечит
От желанья опять и опять возвращаться на круг.
Жажда жизни страшнее любой иссушающей жажды.
Помня каждый свой миг, он не помнит своих же имён,
Этот город уже пережил свою смерть не однажды,
Он скончался ещё до того, как он был возведён.
Вечный город устал. А война прекратится, когда мы

ШИНДИНА Наталия Геннадиевна родилась в 1976 году в Саратове, где и живёт в настоящее время. В 1998 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Лауреат Национальной литературной премии “Золотое перо Руси” за 2005 год. Публиковалась в периодических изданиях, а также является автором сборника избранной поэзии.

Перестанем делить этот мир на своих и врагов
И начнём разделять на живых и на мёртвых. И сраму
Не имущие станут немислимо дальше богов.
Лишь подпалины памяти чёрными ранами фальши
Кровотчат средь будней. Не помнишь. Напомнить? Изволь!
Этот город случался с тобой и со мною и раньше —
Вечный город, как вечная память, как вечная боль.
Здесь никто никогда ни за что не бывает в ответе.
Здесь кармический холод, февраль ли за окнами, март.
Здесь не чувствуешь даже, здесь знаешь, что сам каждый третий,
Замыкающий канувших в Лету судеб арьергард.
Здесь никто ничего не решает, но здесь каждый волен
Ничего не решать, отдаваясь на милость судьбе.
Здесь всегда, как бы это сказать? — слишком городно, что ли —
Слишком явное чувство инакости в гулкой толпе,
Ощущенье, что все изнутри и снаружи раздеты.
Чтоб беспомощность эту хотя бы слегка заглушить,
Ты приносишь с собою немного Шекспира и света
И прозрачную жидкость на доньшке полой души.
Неизбежно стекая в рассвет, ты ведёшь разговоры
О влиянье бинарных систем на полярность планет
И о том, как забавно смотреть на слезящийся город
С высоты непрожитых, опущенных вечностью лет.
И тихонько завидовать суетным сраму имущим,
С их неверием в смерть и покой, да вот только беда —
Демонтирован рай за ненужностью, штат был распущен,
И крылатые люди толпятся на биржах труда.

ДМИТРИЙ ХАНИН



ГОРЕСТНАЯ ЗВЕЗДА

НЕПУБЛИЧНОЕ

Приезжает немало людей
Из донских городов на свиданье —
Посмотреть широту площадей,
Красоту и величие зданий.
Для меня же Ростов не в церквях,
Не в базарах, раскрашенных ярко,
А в тенистых, душистых ветвях
Небольшого уютного парка.
В тех влюблённых, что ловят звезду
(Счастье ищет любые лазейки),
На скамейке в безлюдном саду,
Да и собственно в этой скамейке.
В частых окнах и свете ночном,
В повседневном, банальном, обычном...
В этом небе, до крика родном!
...а родное всегда непублично.

ХАНИН Дмитрий Игоревич — ростовчанин, родился в 1989 году, студент факультета математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, участник Ростовского областного литературно-творческого объединения “Дон”. Автор книги стихов “Строкой — на удивлённую бумагу”, вышедшей в Ростове-на-Дону.

ПОВОРОРИМ О ЖИЗНИ И СУДЬБЕ

*Григорий бросил в воду винтовку и тщатель-
тельно вытер руки о полу шинели.*

М. Шолохов

Я за вином в ларёк сгоняю мигом —
Поговорим о жизни и судьбе.
Ведь мы привыкли думать о себе
Да изучать историю по книгам,
И, взявши полномочия судьи,
Вскрывая недостатки и просчёты,
Порою оставляя без позолоты
Те купола, что ставились людьми.
Висит в углу истории панно,
Минувшее в картинах леденеет.
Своих собратьев чувствовать труднее,
Из рук винтовку выпустив на дно.
Нет, не исчезнуть в памяти знамёнам!
Но, бросив ствол в ушедший век страны,
Услышишь одинокий плеск волны
В раскатином безмолвии над Доном...

* * *

Что ж, наверно, и мы на Земле только гости незванные,
Нам Судьба раздаёт свои карты порой наугад.
Но качается жизнь — по-есенински деревце пьяное,
Как синица в руках — наша вера в счастливый расклад.
Отпускаю синицу в полёт журавлям на подмогу я,
А ладони согреты бесценным, но хрупким теплом...
Смысла нет сожалеть. Наша жизнь безутешно недолгая,
Чтобы целую осень охотиться за журавлём.
А душа одиноко ботинками грязными хлюпает,
Ей, не споря о вечном, дожить бы теперь до зимы...
Приросло что-то к сердцу, кажись, человечески глупое,
Впрочем, то, что людей называть позволяет людьми.
И опять на луну тихо воют в потёмках сомнения,
Время смотрит вперёд — на хмельной городской листопад.
И гляжу я вокруг, будто видя своё отражение,
И не знаю, что делать, но знаю, что сам виноват...

2008 г.

* * *

Я вишнёвой наливкой закат опрокинул в бокал,
Пусть луна в небесах — будто чайка на скалах — ютится.
Застоялась душа. Ей рвануть бы теперь на Байкал
Или в южные дали — к холодному озеру Рица.
Я угрюмый романтик, который мечтает всерьёз, —
Тот, кто бродит в горах, собирая букет эдельвейсов.
Но мой поезд пришёл — как ответ на вчерашний вопрос,
Чтобы мчаться в Рассвет, будто к свету проложены рельсы.
Это старый состав. Долгожитель запасных путей.
Я не занят ничем. Но в купе почему-то не спится...
Если сыро вокруг, то огонь принесёт Прометей,
Если сыро в душе — тёмный чай принесёт проводница...

2010 г.

* * *

Ах, боже мой, продай на рынке сердце,
Коль жизнь тебя к базару привела —
Здесь по закону Джоуля и Ленца
Почти не выделяется тепла.
А без тепла, как ангелу без крыльев,
Душе придется вытерпеть молву...
Ах, чёрт возьми, Иванушка, не ты ли
Надежду заправляешь в тетиву?
Лягушка не всегда сльвёт царевной,
Но сказку эту как ни назови, —
Так холодно бывает во Вселенной,
Что и лягушке хочется любви.
Повсюду ночь. В эпоху лихолетья
До горизонта ветер и тоска.
И звёзды, как свидетели бессмертья,
Оглядывают смертных свысока.
А я бреду к далёкому рассвету,
Порою спотыкаюсь, но иду,
Жалея путеводную комету,
Как падшую от горести звезду...

2010 г.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНИНА



СМОТРЮ НА ОГОНЬ

НАД КОЛЫБЕЛЬЮ

Колючий, игольчатый звон
На космах насупленной ели.
Я знаю: зима — это сон,
Мерцающий над колыбелью.
В нём всё, что давно уже есть,
Сверкает, струится без страха.
Колышется в воздухе взвесь,
Суспензия света и праха.
В нём вечности белый волчок
Гудит над равниной покоя,
И кто-то стоит за плечом
И движет неловкой рукою.
Висят на ветвях облака,
Ресницы смыкает младенец.
Зима — это вкус молока,
Знакомый ещё до рожденья.
Ещё кровоточит пупок,
И тайны как будто забыты.
Все ниточки звёздных дорог
В ладонках пока нераскрытых.

ЩЕРБИНИНА Татьяна Юрьевна родилась в 1970 г. в Северодвинске, где и работает детским врачом-неврологом. Член СП России. Стихи пишет с юности, печаталась в областных газетах, журналах “Белый пароход”, “Гиперборей”, “Двина”. Автор двух поэтических сборников “Стихи — это листья” и “Осколки музыки”. Лауреат областной литературной премии им. Николая Рубцова.

ВЕТЕР

Зёрнышки слов бросаю в сухую высь,
Птицы печальных мыслей кричат вдали.
О, чужеземец-ветер с кудрями брызг,
Пусть мне приснятся звёздные корабли,
Лиственный лес и древний язык костра,
Голос иных миров и иных морей.
Нет, не сорваться с места — я приросла
К холоду, к детям, к печальной судьбе своей.
Строки-постромки мне заменили все,
Омут души затянут тиной глухой.
Ты, чужеземец, смотришь так горячо...
Здравствуй, мой ветер! вот — я иду с тобой!

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

После ночной грозы высыхает высь,
Мокрый асфальт тихонько лижет луна.
Девочка спит, обнимая мягкую рысь,
Дышит над ней большой одуванчик сна.

Люди снимают маски, глаза закрыв.
Белые льдины плывут, задевая дом.
Мальчик уснул, лаская гитарный гриф.
Музыка укрывает его крылом.

Чёрные свечи деревьев горят в окне.
Из ничего все страхи в слова растут.
Небо молчит. Так что же не спится мне?
Буду смотреть опять в свою темноту.

КОСТЁР

Деревня. Ночь. Костёр на берегу.
И небо — на закате золотое.
Смотрю — налюбоваться не могу
Торжественной и тёмной красотой.

Мерцает обнажённая река.
Так медленно к костру подходят кони,
И смотрят на огонь издалека,
И хлеб берут с протянутой ладони.

Глаза коней печальны и умны.
Так близко звёзды! Тишина такая.
И кажется, что мысли не нужны.
Другого счастья в мире не бывает.

НИЩЕНКА

Ноябрь. Холодина. Темень.
Тусклые фонари.
Старуха просила денег.
Прохожие мимо шли.
Едва шевелились губы
Меж бледной впалостью щёк,

И рот бормотал беззубо,
И набок съехал платок.
И голос — тонок, бессилён,
Свечой на ветру дрожал.
Меня же ошеломили
Нищенки той глаза —
Глаза — ни тупости сонной,
Ни горечи черных лет,
Горел в них неутолённый
Печали библейской свет,
Спокойствие и принятие
Судьбы — без скорби и слёз.

Наверное, так с распятыя
Смотрел на людей Христос.

УХОДЯТ ДЕТИ

Уходят дети в электронный мир,
И это так удобно — поначалу:
Мы, возвращаясь в логово квартир,
Усталые, детей не замечаем.
Скучают книжки, свалены в углу,
И кубики заброшены куда-то.
На всех планетах — в холод и в жару
Воюют электронные солдаты.
Врастают дети душами в экран.
Потоки крови в схватках рукопашных.
Но умирать от виртуальных ран
Нисколько не больно и не страшно.
И хочется — добить наверняка,
Добить, чтоб мóзги брызнули потешно.
На мышку жмёт мальчишечья рука,
А взгляд пустой, бессмысленный, нездешний...
Зато — порядок в логове квартир.
Свободы у родителей навалом.
Уходят дети в электронный мир,
И это так удобно — поначалу...

РУСТЕМ ГАЛИУЛЛИН



ОТЕЦ И СЫН

РАССКАЗ

Снег валит стеной. Начавшийся с раннего утра буран к вечеру и не думает стихать. Вдобавок с каждым часом становится всё холодней и холодней. Натянув по самые брови кроличью шапку, с головой укутавшись в плотный бешмет, сквозь который всё равно проступает нажитый непосильным трудом горб, тяжело подволакивая ноги, обутые в огромные, “подкованные” калошами валенки, дед Галим подходит к калитке, успевшей попасть в плотный снежный плен, распахивает ногами сугроб, отворяет покосившуюся створку, заставляя её при этом исполнить короткую, но очень жалобную песню, и, озлобленно скрипя слежавшимся снегом, выходит на улицу.

Деревня пустынна и безжизненна, лишь резвящиеся и соударяющиеся снежинки — единственные божьи создания, кто проявляет некое подобие жизни. Издалека, с того конца улицы, пробивающийся сквозь густую паутину снега свет единственного фонаря на телеграфном столбе настолько тускл, что старик Галим с трудом его различил.

— Хорошо, что именно на въезде в деревню лампа горит, — то ли вслух произнёс он, то ли про себя подумал.

Ещё некоторое время дед, подставив тыльную сторону ладони под нещадно жалящую мошкарку снега, вглядывается в ту сторону, но, так ничего и не разглядев, отправляется домой.

ГАЛИУЛЛИН Рустем Гусманович родился в 1987 году в деревне Наласа Арского района Республики Татарстан. В 2009 году окончил факультет татарской филологии и истории Казанского государственного университета. Работает редактором отдела в журнале “Казан утлары” (“Огни Казани”). Член Союза писателей и Союза журналистов Татарстана. Живёт в Казани.

— Если и дальше так будет штормить, то к утру завалит нас по лысую макушку. — Ворчливо бубня, он предусмотрительно распахивает настежь ворота. Словно только этого и ждали, хаотично мечущиеся вдоль улицы снежинки дружно рванули к ним во двор и, втянутые воронкой смерча, закружились в бешеном хороводе. А когда старик потянул на себя ручку двери, извивающаяся, словно в такт завывающей музыке, воронка приблизилась к нему и успела больно хлестнуть по лицу, простуженно кашлянув снегом в глаза.

— Не видать? — бабка Закия в который раз за сегодняшний день задаёт этот вопрос.

— Нет, — еле слышно отвечает дед Галим. Непонятно почему, но он чувствует себя виноватым.

Старуха, проскрипев заржавленными пружинами кровати, переворачивается на другой бок.

— Позвонила бы, что ли... — нерешительно предлагает дед Галим.

— Сколько можно говорить, не берёт он трубку-то. Пока ты на улице был, я несколько раз набирала. Какая-то баба талдычит по-русски одно и то же.

Старикам сотовый телефон подарил их сын Гумар. Как-то, приехав погостить, он оставил им трубку, сказав напоследок:

— Сегодня я в Казани, а завтра — уже в Москве. Работа у меня такая. А вы теперь по этой трубке можете хоть каждый день мне звонить. С мобильником нам никакая разлука не страшна: я за вас не буду волноваться, надеюсь, что и вы за меня тоже.

Галим и Закия, надев очки с толстыми “плюсовыми” линзами, подсаели к сыну и с серьёзным выражением на морщинистых лицах выслушали инструктаж, а потом и на практике опробовали все возможные ситуации: когда им нажимать на кнопку с зелёной трубкой, а когда с красной. Их усердие не прошло даром: хотя бы раз в неделю они слышали голос дорогого сыночка. Как сказала однажды Закия, эта игрушка стала старикам вторым ребёнком. Они держали трубку на самом почётном месте: за стеклом старого серванта с поблекшей полировкой и перекошенными дверцами, рядом с раскрашенными вручную фотопортретами времён своей молодости. Теперь старики, едва переступив порог дома после кратковременного отсутствия (кто в магазин ходил, кто по хозяйству хлопотал во дворе), перво-наперво спрашивали:

— Телефон не звонил?

Последний раз они разговаривали с Гумаром дней десять тому назад.

— Соскучился я по дому. И с вами очень хочу повидаться. Приеду вечером, аккуратно к новогоднему столу, ждите, — пообещал он в тот раз.

До сих пор телефон не подводил стариков. А сегодня, когда им так необходимо позвонить, не может соединиться.

Галим, не зная, куда приткнуться, включает телевизор.

— Куда так громко-то?! Выключи, по мозгам бьёт! — ворчит на него старуха.

Некоторое время, поглазев отсутствующим, абсолютно пустым взглядом в темный угол комнаты, дед берёт в руки читанную-перечитанную районную газету, содержание которой знает почти наизусть.

— Расшуршался тут! — шипит на него Закия, отрывая голову от подушки.

“Ох, и зла же ты сегодня, бабка, чисто змея”, — костерит в душе жену дед Галим.

Правда, Закия и раньше-то не была тихоней. Но с возрастом её характер становится день ото дня суровее. Прежде Галим, будучи в силе, прикрикнет, бывало, на жену разок, и та, хоть ненадолго, но замолкала, подчинялась мужу-то. Закия, не зная, как приструнить расшалившегося Гумара, не раз страдала его отцовским гневом, от слов “Папа ругаться будет!” сын становился, как шёлковый. А когда Гумар вырос и уехал из деревни, Закия как-то вдруг и сразу стала единовластной хозяйкой в доме. Острый на язык сосед Джавит-абзы, выйдя на пенсию и законно обретя звание “старикан”,

беседуя как-то раз на завалинке, сказал фразу, в мудрости которой удостоверился теперь и Галим:

— Слышь, сосед, оказывается, мы, мужики, можем дёргать вожжи так, как нам угодно, только пока молоды и полны сил, пока наши дети ещё не выросли. Но когда спины наши сгорблены, а в доме не протолкнуться из-за подселившихся зятьёв да невесток, то командовать начинают женщины.

Когда Галим с Закиёй остались одни, старуха начала вскипать по поводу и без, только и выискивала, в чём бы ещё обвинить Галима. И куда подевались прежние ласковые подколки: “А суп-то у тебя солоноват, а чай-то твой слишком горяч, уж не любовь ли тут, часом, замешана?” Боже упаси от её теперешнего характера!

Галим очень уважительно относится к Джавит-абзы, но после одной стычки никак не может простить ему обидные слова в свой адрес. Короче, галимовские куры, “положив глаз” на джавитовского петуха, что ни день убегали к нему на свидания и яйца тоже начали класть “за кордоном”, вот из-за этого и разгорелась между соседями ссора. Галим, в общем-то, не собирался мелочиться. Но, послушавшись Закию, упрекнул Джавита-абзы в присвоении чужих яиц. Слово за слово, жезлом по столу, дошли до того, что сосед нанёс ему невыслышную рану:

— Чем курам под гузку заглядывать, тебе надо было за своей ненаглядной Закиёй получше присматривать. Ты до сих пор думаешь, что своего ребёнка на ноги поставил? Разуй глаза-то: Гумар ваш — вылитый шабашник Хайдар! Не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. В своё время отец Хайдара ушёл из семьи, оставив ребёнка на попечение матери, вот и он теперь пошёл по отцовским стопам. Да и Гумар тех же кровей, как я погляжу. Который год уже колотится лбом то в одну стену, то в другую, и ни одной не прошиб...

Неделю Галим ни с кем не разговаривал. Бабка Закия не знала, что и думать, на кого грешить: “Подменили, что ли, деда-то?”

В ушах целыми днями слоняющегося по двору Галима звенели слова Джавита-абзы: “Сын шабашника Хайдара!”. Галим никогда не испытывал на себе томных женских взглядов, не был предметом обожания ни в юношеском возрасте, ни в зрелом. Переваливший за “тридцатник”, ничего, кроме нескончаемой работы, не познавший в этой жизни Галим лишь с подачи матери женился на Закие, на лбу которой к тому времени уже успело проступить несмываемое, казалось бы, тавро “старая дева”. Правда, по деревне шёл слухок, что Закия неспроста засиделась в девках-то, мол, она ждёт своего возлюбленного Хайдара, только вот шабашествующий рыцарь почему-то не спешит вскочить на белого коня, чтобы предстать “пред светлы очи ея”. Прожившая всю жизнь с кротким и безропотным, как телёнок, мужем, мать Галима не стала обращать внимания на сплетни да пересуды — женила сына на Закие.

Скупа на любовь оказалась Закия. Да и Галим особо не баловал жену. Может, из-за этого Закия, родив Гумара, больше не захотела рожать, а может, здоровье ей не позволило? Галим вопрос о наследниках ребром не ставил. Так и остался Гумар единственным ребёнком в семье.

— С чего это мой сын, которого я вырастил и воспитал, оказался вдруг хайдаровским? — Галим сжал кулаки. — Закия, хвала Аллаху, честная женщина и верная жена, ни один человек не может сказать о ней ничего плохого.

До чего довела бы Галима свистопляска обжигающих мыслей, страшно даже представить, но в конце этой непростой для их семьи недели в деревню приехал Гумар. Всмотриваясь в его сухощавую, чуть выше среднего роста фигуру, в удлинённую лопухую физиономию с внимательным взглядом зеленоватых глаз из-под густых бровей, в пару крупных заячьих резцов, издалика видных встречному люду, Галим пытался найти в сыне схожие с ним самим в юности черты или хотя бы чёрточки. Едва переступив порог родного дома, Гумар, обезоруживающе улыбаясь, приветственно протянул отцу обе руки:

— Здравствуй, папа! — и в ту же секунду жалящий рой чёрных мыслей куда-то улетел из отцовской головы, улетучился...

Но когда шабашник Хайдар, устав скитаться по чужим краям, на старости лет вернулся в родной аул, в памяти Галима всплыли и слова Джавита-абзы, и причинённая этими словами обида. Встретив на улице Хайдара, он снова и снова изводил себя, мысленно сопоставляя престарелого шабашника с образом сына. Вот он опять идёт по их улице. Прежде выделявшийся в толпе односельчан своим высоким ростом, почти на голову выше остальных, Хайдар теперь стал значительно ниже, тянет, видать, к себе земля-то. И голова уже не столь гордо запрокинута, мол, посмотрите, кто перед вами, а взгляд всё больше под ногами шарит, будто чего-то там выискивает. Подёрнутые серебром волосы по-прежнему густы, но спутаны в невообразимый клубок на затылке, спереди же безобразными сальными сосульками спадают на глаза. Худые плечи обвисли, будто на них давит тяжеленный груз, из-за чего Хайдар кажется инвалидом-горбуном. Лицо изборождено глубокими морщинами, наполовину седые усы печально поникли... Нет, несколько не похож этот старец он на его пышущего здоровьем сына! С каждым днём всё больше убеждаясь в том, что Гумар — его родной сын, Галим, в конце концов, окончательно успокоился. Шабашник Хайдар вызывал теперь в нём только жалость и сострадание. Сменив столько городов в поисках лучшей доли, так ничем и не разжился, бедолага. Однажды Галим собственными ушами слышал, как Хайдар возле магазина сетовал на жизнь местной па-тии-братии:

— Хорошо, что у меня кровь особенная. Редкой группы. Когда деньги кончаются, я подрабатываю сдачей крови...

— Эй, дед, оглох, что ли, кому я говорю-то, стенам? Кажется, к нам кто-то стучится... — кричит на старика Закия, приподняв голову над снежным холмом двойной подушки.

Дед Галим бежит за дверь в одной рубашке.

— Это ветер стучит, — говорит он, вернувшись.

Он озабоченно смотрит на жену: у неё же сегодня сердце внезапно прихватило. То ли продуло её, пока стояла на улице в ожидании Гумара, то ли из-за бурана давление резко подскочило, в чём причина — непонятно. С самого утра с кровати не встаёт.

— Кажется, Гумар приехал, — опять приподнявшись над подушками, говорит Закия.

И вправду, слышен стук в дверь. Закия — и откуда только силы взялись? — садится на койку и поправляет платок. В дверном проёме — Мансур, сын соседа Джавита-абзы. Жестом подозвав хозяина, он говорит, медленно цедя слова сквозь замёрзшие губы, чтобы, не дай бог, не услышала бабка Закия:

— Галим-абзы, Гумар перевернулся.

— Ох! — коротко выдохнула Закия. Как она расслышала этот шёпот, непонятно? — Он жив?

— Жив-то, жив, но состояние тяжёлое. Машина несколько раз кувырнулась, а потом ещё и в столб врезалась. Крови много потерял...

— Где он? — оборвав Мансура, спрашивает Галим.

— В больнице. Я из Казани возвращался, вижу — у обочины скопились машины. Гумара я сразу узнал. Своими глазами видел, как его увезли...

— Ох, сыночек мой, Гумар!.. — запричитала-заплакала Закия.

— Его состояние, как я понял, очень тяжёлое, Галим-абзы. Айда, поедem в больницу. Я на машине.

Дед Галим одним движением срывает с крючка выдавший виды бешмет и накидывает на плечи, обувает валенки, хватая шапку и выходит вслед за Мансуром.

— Ты куда? Я с тобой! — Увидев, что Закия на подламывающихся ногах выходит в дверь, дед Галим возвращается.

— Галим-абзы, не опоздать бы, — кричит Мансур.

— Сейчас, сейчас. Карчык (старуха), ты успокойся, пожалуйста, поставь чайник на огонь и жди нашего возвращения. А мы с Гумаром не заставим тебя долго томиться, — наставляет он жену и уходит.

Вся улица укрыта толстым слоем снега. Мансур, оказывается, оставил машину на въезде в деревню. Как дошёл до автомобиля, сколько добирался до больницы, дед Галим не помнит. Всю дорогу его будто кто-то бил по голове большой железной трубой. Противный болезненный гул “данк-донк-данк” словно перемежался в мозгу отчаянными вскриками: “За что? Почему? Сын, Гумар!”

...Как они вошли в больницу, как прорвались через пост и достигли реанимации, в которой лежал Гумар — они и сами не поняли. Увидев врывающихся в палату Мансура, старика Галима и упорно пытающегося задержать их охранника, дежурный врач — мужчина средних лет с длинным шрамом вдоль щеки, облачённый, как и положено, в белый халат, и медсестра в таком же белоснежном одеянии на несколько мгновений замерли в растерянности.

— Чу, успокойтесь, всё хорошо, — сказал им дежурный врач. — А сейчас выйдите, пожалуйста, не мешайте работать!

Медсестра, взяв за руку с одной стороны, а Мансур, подхватив под локоть с другой, осторожно вывели старика в коридор.

— Он жив?! — с мольбой в голосе спросил её дед Галим.

— Успокойтесь, — повторила девушка слова врача.

— Сын, Гумар!

— Успокойтесь, умоляю вас. Ждите в коридоре!

Присев на стул в длинном узком коридоре, дед Галим всё равно не смог успокоиться, ему не хватало воздуха, сердце его бешено колотилось, голова безудержно кружилась.

— Он потерял много крови. Мы влили ему порцию крови из резерва, перевязали раны...

— Он выживет? — перебил дед медсестру.

— Конечно, — ничуть не сомневаясь, ответила девушка. — Он время от времени приходит в сознание. Умница он у вас, очнувшись, сумел даже вспомнить и назвать нам группу своей крови. Очень редкая, кстати, — четвёртая. Хорошо, что в больнице был достаточный запас крови. Вдобавок мы послали машину за донорами, у которых такая группа, скоро они должны подъехать.

— Чего их ждать, возьмите у меня! — предложил дед Галим.

— А у вас точно четвёртая группа?

— Наверное. Я же его отец! Ну же, берите...

— Успокойтесь! Я же сказала вам, доноры подъедут с минуты на минуту.

— Я его отец, кровь у нас одинаковая!..

— Остановитесь, умоляю... Не всё так просто, у детей кровь не всегда совпадает с родительской...

— Галим-абзы, успокойся, — пришёл на помощь Мансур.

— Берите у меня! — настаивал на своём дед Галим. — Я его отец!

— У него и позвоночник, и внутренние органы повреждены. Сейчас должны подойти главврач и хирург, — украдкой шепнула Мансуру медсестра.

— Почему вы не берёте у меня кровь? — вскочил со стула обезумевший от горя старик.

— Хватит, Галим-абзы, успокойся, — усадил его на прежнее место Мансур.

Медсестра удалилась в палату.

— Сын, Гумар... — простонал дед Галим.

В эту минуту в коридор вошла группа шумно переговаривающихся людей. Среди них был и Хайдар. Они, на ходу скинув с себя верхнюю одежду, сложили её на стул и торопливо засучили по локоть по одному из рукавов.

— Вам сюда, — завела медсестра Хайдара в палату, где лежал Гумар.

Дед Галим, вырвавшись из рук Мансура, пулей метнулся к двери.

— Ложитесь, — дежурный врач показал на приготовленную возле кровати Гумара кушетку. Возле Хайдара, уставившегося безразличным взглядом в белый больничный потолок, засуетился дежурный медперсонал. В эту минуту раздался тяжёлый стон Гумара.

— Сын! — хрипло вскрикнул дед Галим и подался ему навстречу.

— Успокойтесь! Не окликайте его!

— Папа... Па-па...

— Гумар!

— Па... па, — выговорил из последних сил Гумар и смолк. Отяжелевшая голова медленно повернулась в сторону лежащего рядом Хайдара.

— Сынок! — пересохшим ртом пролепетал дед Галим.

Перепуганный Хайдар цеплялся беспомощным взглядом то за врача, то за Галима, то за медсестру. Медсестра, быстро обретя спокойствие, начала вводить иглу шприца в вену Хайдара.

В палате воцарилась тишина. И только Галим, съёжившись в дрожащий комочек, трясущимися закорючлыми ладонями смахивая слёзы с дряблых щёк, изрезанных глубокими морщинами, беззвучно всхлипывал, отвернувшись к стене. С его губ, словно далёкое, неведомо откуда доносящееся эхо, срывалось почти несвязное:

— Сы-ы-н-о-очек, с-ы-н-о-к...

ЮЛИЯ ЗАЧЁСОВА



ПОРВАННЫЕ СТРАНИЦЫ

НЕМЕЦКАЯ ТЕТРАДЬ

Гремело — шёл четырнадцатый год
Двадцатого тревожного столетья.
Я прапорщик пехоты, и наш взвод
Путь запер пруссакам... А ливень плетью

Подлунный мир полосовал внахлёт.
Не можно было скрыться от потопа.
Стояла ночь. Не видно было звёзд.
Окоп — не щит от влаги и озноба.

Лишь не промокла синяя тетрадь
За пазухой, в обложке из сафьяна...
Недавно бой был. Нас атаковать
Затеяли противники — и рьяно! —

Да просчитались: грянулись о нас.
Подобной сечи мир не знал примера...
Итог ничей. Настал затишья час.
Я в том бою убил их офицера.

ЗАЧЁСОВА Юлия Константиновна родилась в г. Анапа Краснодарского края, росла в Таганроге Ростовской области. Окончила филологический факультет Дагестанского госпедуниверситета. Публиковалась в дагестанской и российской периодике, в литературных журналах. Член Союза журналистов РФ. Живёт в Махачкале.

Лицо узреть впервые довелось
Погубленного мною человека.
Черты его не сохраняли злость.
Рот прям был, нос с горбинкой, как у грека.

Без шлема ошишаченного он
Похож на завсегдатая был очень
Гостиной светской. Может, был умён,
Писал о лошадях, поэзии и прочем.

Я мог бы поболтать с ним. Кабы не...
Но — раньше. А теперь — какая лира!
Ну что же, на войне как на войне.
И тут в прореху из его мундира

Тетрадь упала. Я поднял. Стихи.
Немецкие, конечно. И, похоже, —
Я по-немецки знаю, — неплохи.
Стихи — душа, её бросать негоже...

Подумал я: а может, долг велит
Мне тех стихов заняться переводом
На речь страны, где автор был убит —
Ни имени не ведаю, ни рода...

Сам балуюсь стихами иногда...
И — меж боями — выполнил. Вот строки:
“...Зачем мы здесь? Скажите, господа,
Куда ведут нас ратные дороги?”

Казалось нам, что скоро звон копыт
Нас приведёт в российскую столицу,
Казарменный казался грубым быт
И мнилось, что коням вот-вот напиться

Из тёмной и загадочной Невы.
А пули вес — не станет и двух унций.
Узнали, какво ходить “на вы”.
Не знаем только, суждено ль вернуться...”.

А дальше — всё. Испорчены листы
И порваны иные. Боль и небыль...
Перевожу врага. Уж с ним на “ты”.
Да он, похоже, и врагом-то не был...

Я, может быть, ещё переведу.
Как срок настанет мне с землёй проститься, —
С ним встретимся — в раю или в аду, —
Спрошу, что там, на порванных страницах.

ОЛЕГ МАЛИНИН



ГДЕ ВЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ?..

ПРАДЕД

Вонзая в камень алый стяг,
до сердца вражьего —
к Рейхстагу,
боль концентрируя в кулак —
всем выбирающим “ГУЛАГ”
мой прадед предпочёл — атаку!..

Красноармейцем невесёлым,
задумчивым не по годам,
он возвращался к русским сёлам
и к выгоревшим городам...

Но если с дерзостью Сапег и —
иной эпохи печенеги
одёрнули Победы нить —
нам предстоит отмстить в разбеге,
нам есть кого и в чём винить.

По Красной площади ещё нам,
как правнукам, легко пройти —
чтоб ветераном отомщённым
он не взывал ко мне: “Прости...”

МАЛИНИН Олег Игоревич родился в 1983 году в Москве. Окончил социологический факультет МГУ и Литинститут им. А. М. Горького. Печатался в журналах и коллективных сборниках. Работает учителем. Живёт в Подмосковье.

ХОРУГВЕНОСЦЫ

Кто говорит, кружась кондором злым над краем:
Знамя Победы падает, подбитое, ниц?..
Никогда этого не было и не будет, зря стараетесь —
Не вам считать изорванных ветром страниц.

Настало время пересчитывать звёзды отчие —
Тем, кого не одолела сонная житейская маета.
Где вы, братья и сестры, друзья мои? Нет мочи
Перекрашивать флаги в новые и новые цвета.

Мы рождены веком холодной схватки с Америкой,
Поля мои, зимы, реки, берёзовая глушь!
Тому, кто бьёт томагавком, обманом и лицемерием,
Ну-ка, давай, свали синий камень, холмы порушь.

Когда молитва пропахла банкнотной зеленью,
Во что верить тебе, на что надеяться и уповать?
Истлевают угли, листья вянут, желтея, стелят
Лёгкую и широкую простынь, чтоб жёстче спать.

Ради чего русским спорить, драться и ссориться?
Дайте тому в руки меч, кто, поклонившись кресту,
Выйдет в поле российское — и тогда неуёмные зори
Перед ним упадут на колени, подобно сухому листу.

По горам, степям и лесам пронесёт алое победоносное
Бессмертное Знамя Свободы — как пример
Не преклонения перед Западом — он, рождённый великороссом,
Он, последний хоругвенец СССР.

И, видя дали светлые и звёзды вещие, благословенные —
Скажет: “Нам вдосталь хватило явных и вдосталь скрытых измен...
Россия, славянка моя, никогда не была на коленях,
Чтоб ей, красавице, сегодня подниматься с колен!”

* * *

В прошлое смотришь,
Мальчишка раскосый?
На, открывай букварь:
Если восстанут
Великороссы —
Сгинет чванливая тварь.

Хватит выдёргивать
Нити истории
В пользу одной стороны...
Жаль,
Не имеем власть,
Для которой
Наши сердца рождены.

Гордое племя
Сейчас не обуто,
Мало, восставших, нас.
Бойтесь, изменники,
Русского бунта...
Грянет последний час.

* * *

Всемирная мафия
празднует дело.
Свершилось:
Триполи пал...
Чья львиная грива
всех дольше горела,
кто славу героя сыскал?

Остры и топорщатся
звёзды на флагах,
в бою умирать,
так в бою...
Припоминая казачью ватагу,
жалею маму мою...

Кто брата на брата
толкал повсюду,
кто жизнь народов ломал?
“Всемирные ценности”
по Талмуду
в России живут, Муаммар!

Толпа бушевала:
“Варавву! Варавву!”
под кровного брата
предательский свист.
Воин Каддафи —
тебе слава,
земли последний социалист!

ВЛАД ИСМАГИЛОВ



В ДРУГОМ ОКОПЕ

РАССКАЗ

Был у меня друг... Был у меня боевой товарищ Ваха Гатаев, пулемётчик, отчаянный парень, чеченец. Мы сдружились с ним после первого боевого задания, я научил его делать на турнике “выход на две”. Шёл 1987 год.

В августе 88-го мы ушли из Афгана. Прощай, Кандагар! — мы идём домой. Кушка, Перекешкюль, дембель. Прощание, объятия, адреса, слёзы...

— Увидимся, споемся, братан.

— Обязательно встретимся, братишка...

Как мы тогда во всё это верили, не зная ещё того, что нас будет ждать здесь, дома, как нас всех разведет судьба. Нам казалось, что в нашей жизни ничего плохого больше быть не может, что самое худшее мы уже прошли, и оно осталось там — в кандагарской “зелёнке”, Регистане, Кобае и Бурибанде... осталось навсегда.

Слова Вахи: “Я найду тебя, Влада, я найду тебя, братан!..” сбылись, он нашёл меня через 7 лет. Господи, зачем он родился чеченцем...

95-й год. Март. Чечня. Окрестности Шали. Мы в составе оперативной группы работаем по Масхадову. Только что вернулся с высоты Гойтенкорт, где располагался КП Трошева.

Зашёл вечером к соседям-десантникам. Капитан Володя говорит:

— Тут у нас забава одна есть — с “духами” ребятишки болтают в эфире. Пойдём, на сон грядущий потрепемся, на хрен какого-нибудь “чеха” пошлём, что ли...

ИСМАГИЛОВ Влад Газизович родился в 1968 году в г. Казани. Служил в подразделениях специального назначения в Афганистане, Чечне. Ветеран боевых действий. Ныне майор запаса. Известен как военный бард. Лауреат литературного конкурса “Золотое перо Руси” за 2010 год, нескольких литературных премий.

Соглашаюсь, идём в палатку. Там солдаты и два летуна ругались поочередно с каким-то вайнахом, и, судя по всему, обе стороны получали от этого удовольствие.

Мысли у меня были о предстоящей работе, потому я как-то быстро охладил к этой забаве и собрался было идти в расположение, как в эфире прозвучало:

— С Афгана есть кто, пацаны?

Что меня заставило подойти к рации — наверное, чутьё. Отжал тангенту:

— Я с Афгана, что дальше?

— Какие года, где служил, бача?

— Тебе что за забота такая?

— Да ты плохо не думай, я тоже там служил срочку. Кандагар.

Кандагар... И сразу ёкнуло что-то внутри.

— Я тоже, под вывод, Кандагарский батальон.

— Да ты чё?! И я...

В этот момент для меня не существовало больше ничего — ни этих людей в палатке, с интересом и удивлением слушающих наш радиообмен, ни Шали, ни Масхадова, ни Грозного, ни Чечни вообще. Я вернулся сейчас в Афган. Я сейчас был там, в Кандагаре.

— А ты с какой роты, бача? Я — Влад “Кот”, не знакомо? Наверняка пересекались где...

— Я нашёл тебя, Влада (так называл меня только один человек). Я не верю в это сам. Ваха с тобой говорит, Гатаев. Я искал тебя, братан, звонил, писал, ты куда делся?

— Да я после по службе пошёл, “чурка ты моя родная, чурбанчик дорогой”... Ваха, это правда — ты? Училище сначала, потом в Таджикистане долго был. Мать как-то говорила, что ты звонил, но никак не было возможности мне выйти на связь, поэтому не нашлись мы с тобой... А теперь вот нашлись, нашлись теперь...

Теперь, теперь, — застучало в мозг, возвращая меня к реальности. И тут Ваха задаёт вопрос, который до сих пор стоит у меня в ушах и на который я так и не нашёл ответа донныне.

— Влада, брат, а как же мы... теперь?

Не помню, сколько молчали мы оба, и все, кто был в палатке, тоже. Помню, что я сказал так:

— Слушай меня, шурави, я не знаю, как мы теперь с тобой, и вообще... Я сам не понимаю толком, что происходит, и как такое всё могло случиться, что мы так вот... по разные стороны... Но единственное, что я могу тебе сказать, бача, и в том клянусь тебе, что если мы встретимся в бою, и я узнаю тебя, я никогда не нажму на спусковой крючок. Это всё, что я могу тебе пообещать, брат. И ещё. Знаю, что ты не урод, знаю, что тяжело тебе, не бей по нашим. По возможности... Мы же наши, несмотря ни на что, бача.

— Наши, брат. Я тоже тебе в этом клянусь, Влада, а там как Аллах положит.

— Как мама, Ваха, отец как?

В ответ тишина. Исчез Ваха из эфира, исчез, как оказалось, навсегда. Я отошёл молча от рации и вышел на улицу.

А как же теперь нам? Я мысленно спрашивал себя, кричал куда-то наверх, я хотел спросить у тех, кто мог бы ответить за эту войну: как теперь нам? Зачем нас некто — Государство, не говорю Родина, это другое, некто — Государство, заставляет стрелять и убивать друг друга? Ведь мы вместе не так давно защищали и отстаивали интересы этого Государства в чужой стране. Я не хочу стрелять в Ваху, я не хочу стрелять в тех, с кем я был на грани жизни и смерти. Помню, как моя кровоточащая от касательного ранения левая рука была в Вахиной крови, когда я перебинтовывал ему голову, осколок разорвал ему правое ухо, и он, глядя, на это смешение крови, сказал мне, что мы теперь с ним кровные братья. Теперь-то нам как?

Несколько дней я был не в себе. А потом... Потом начался кошмар. Я старался идентифицировать каждую захваченную цель, я боялся, что это может оказаться Ваха. Помню момент, когда убитый мной внезапно появив-

шийся враг упал лицом в землю, а со спины так разительно напомнил Ваху... Подойдя к нему поближе, я всё боялся перевернуть его, боялся увидеть его лицо. И тут вспомнил про рваное, ещё в Афгане, Вахино правое ухо. Сдернул шапку с трупа и глянул — целое. Не он... Отлегло.

Прав ли я был как офицер, как человек, профессионально исполняющий свой долг — нет, неправ. Но как человек я был прав, и я был уверен в этой правоте. Кто меня осудит — пусть осудит, если вправе кто-то осудить. Но я точно знаю, что Ваху я не убивал. Больше никогда я его не слышал и не видел, пытался потом найти его родственников — безрезультатно. Наверное, он сгинул в этой войне, как и многие тела и души граждан единой нашей страны.

В августе 2009 года мне на электронную почту пришло письмо. Неожиданное, разбередившее во мне снова чувства тех далеких уже дней, но и успокоившее меня, поставившее точку в этом, трагичном по сути, эпизоде жизни. Обращался ко мне один чеченец, лично знавший моего Ваху. Он был тогда вместе с ним. Тогда, в марте 95-го. Был с ним и в тот момент, когда мы говорили по радию. Он написал, что сейчас служит по контракту в одной из частей МО у себя в республике и хочет сообщить мне о судьбе Вахи. Он рассказал, что Ваха погиб при артобстреле практически на следующий день после нашей “встречи” в эфире. Рассказал ещё, что Ваха часто вспоминал свою службу “за речкой”, часто говорил обо мне, о других ребятах. И что он наглухо ушёл в себя после нашего разговора. А потом внезапно и тихо погиб...

Я несколько раз перечитывал текст этого письма. Где-то в глубине души все эти годы я был уверен, что Вахи больше нет. Наверное, я этого даже хотел, как бы это ни звучало кощунственно. Не хотел я, чтобы замарался он в крови своих. Ведь знал я, что он не такой, как те выродки, что развязали эту войну. Я был уверен, что он оказался в другом окопе вынужденно, как и многие чеченцы в ту, первую, войну из-за особенностей своих родовых, тейповых отношений. Мир праху твоему, бача. Я всегда буду помнить тебя, брат, пусть за всё ответят те, кто развёл нас и многих других по разным сторонам. А они ответят, ты это знаешь лучше, чем я, потому что ты уже ТАМ...

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА



НА ПОЛКАХ ПАМЯТИ...

ПРЕДЧУВСТВУЯ ОСЕНЬ

Возвращается осень ароматом корицы
И горячего кофе на турецкий манер.
И брезгливое солнце, как сбежавшую львицу,
Загоняет она в поднебесный вольер.

Оглянись, уходя, васильковое лето,
И, укутавшись в шубу пшеничных полей,
Брось в продрогший фонтан золотую монету,
Покидая меня. Конфетти тополей

Вмиг накроют бульвар первым свадебным снегом
Вопреки всем законам. Невесты букет
Для озябшей любви будет пусть оберегом.
Я же — снова одна — провожаю рассвет.

НИКОЛАЕВА Ольга Владимировна родилась в 1987 году в г. Тирасполь. Окончила Тираспольский теоретический лицей № 1 с золотой медалью. В 2010 году окончила Институт языка и литературы на базе Приднестровского государственного университета. Адъюнкт Славянской академии им. Я. Коменского. Член Союза писателей Приднестровья. Автор поэтического сборника и публикаций в периодических изданиях. Живёт в г. Тирасполь.

* * *

Озябли руки. Хочется тепла.
Уставшие от счастья междометья
Горят огнём в рябиновых соцветьях.
Мне остается памяти зола.

Китайских роз опали лепестки —
“Плохой фэн-шуй”, — ответит мне философ,
И тают сахаром кристаллики вопросов
В зелёном чае с привкусом тоски.

Опять зима. Срываются с небес
Искристые, жемчужные снежинки.
Считая времени застывшие песчинки,
Я буду ждать... рождественских чудес.

ПРО-ВИН-ЦИ-Я

На полках памяти лишь пыль воспоминаний —
Священный прах мятежницы-любви,
Сожжённой на костре... и “се ля ви”.
Зима на редкость оказался ранней.

А дворники сжигают красоту.
Листок к листку —
Цыганское монисто.
В костёр банкноты —
Золотые листья!
Цыганка-осень плачет на ветру.

А завтра утром, будто бы в отместку
Хранителю веков — календарю —
Плутовка-слякоть нагадает Декабрю,
В котомку бросит шёлковые платья
И заключит в прощальные объятия
Нагих берёз девические станы,
Укутав город в облако тумана.
Но всё по-прежнему и, знаешь, —
Даже странно:
Вновь от стыда краснеют фонари
При виде утренней бесстыдницы-зари,
Сорока вновь трещит: “Про-вин-ци-я...”
И по листве бредём мой принц и я.

г. Тирасполь

ФУТБОЛЬНО-МЕНТАЛЬНОЕ

“Вперёд, Россия!” —
Кричали фаны.
То эйфория
Глядит в экраны
И, с кружкой пива
Обыкновенно,
Чуть-чуть шутивно
Шалит — как нервы.

NB: Но суть не в этом:
Игра без гола,
Как жизнь поэта,
Но без футбола.

Вновь ноты гимна,
Но чей, не знаю,
Пою, как слышу —
Не попадаю.
К груди скорее
Прижмём мы руки,
Пускай такими
Нас помнят внуки.

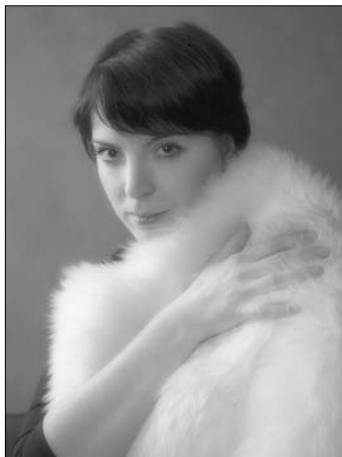
NB: Проблема часа:
“В чём фокус Форда*?”
Не помешала
Набить всем морды.

“Оле!!!” — ревели
С трибун фанаты.
Они же, право,
Не виноваты,
Что биоритмы
Их сбились с толку,
Что бросил форвард
В толпу футболку.

NB: Лишь совесть робко
Нас вопрошала:
“В избытке сила —
Ума, что ль, мало?”.

* Фокус Форда — в перерыве трансляции матчей Лиги Чемпионов рекламировался автомобиль “Форд Фокус”.

ТАТЬЯНА ТЕКУТЬЕВА



НАД ЗАСТЫВШИМ ЛЕСОМ

* * *

Рой снежинок холодных,
Прекрасных, с неба летящих,
Они, видно, посланы Богом
На грешную землю мою.
На грешной земле стоит скован,
Как будто бы вдруг заколдован,
Голый лес,
Растерявший внезапно
Золотые мониста листвы
Пред гулом далёкой,
Холодной,
Суровой зимы.
Мы все из страны пророков,
Из страны журавлиных печалей,
Мы все давно растеряли
То, на что уповали,
Что ждали,
О чём мы мечтали
Тёмными
Беззвёздными ночами.

ТЕКУТЬЕВА Татьяна Александровна родилась в 1976 году в Москве. Окончила Московский государственный университет культуры по специальности музеевед-историк. В настоящее время работает в ЦНИИЭП жилища внутренним аудитором по контролю за соблюдением требований Международной Системы менеджмента качества ISO 9001.

Нечаянно, словно случайно,
Повеяло ветром печали.
Взгрустнулось мне,
Взгрустнулось дорогам
Без конца и начала,
Незнаемым, не пройденным...
Взгрустнулось дорогам
Без конца и начала,
Незнаемым, не пройденным...
Взгрустнулось синице...
О, нас единицы,
Верящих в благо холодной зимы!

* * *

Помню, как однажды
Зарево горело,
Лист осенний падал
Над застывшим лесом.
Чёрным цветом речка
Осень ту встречала,
Помню, как ты свечкой
Тоненькой сияла.
Помню коромысла
Вёдра с тихой водою
И глаза лучистые,
Ставшие судьбою...

ВАСИЛИЙ ВИДОЛАХ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ИСТОРИИ

Сегодня, когда с помощью финансового кризиса и “цветных” революций разрушается Ялтинско-Потсдамская система мироустройства, становится очевидным, что Запад для окончательного её слома и установления нового мирового порядка готов начать новую крупномасштабную мировую войну. Но, как всегда, этим планам Запада мешает “непредсказуемая” Россия, которую сейчас олицетворяет собой Владимир Владимирович Путин. Потому-то Россия, как один из гарантов Ялты и Потсдама, подвергается сегодня беспрецедентному давлению западных “партнёров” и их наймитов, которым стало тесно жить в “сталинских” границах послевоенного мира. Если сейчас Путин не устоит, то быть колоссальной войне, в которой территория исторической России (российской и советской империи) будет для Запада одним из главных трофеев. Даже осторожный Китай стал уже открыто готовиться к войне. Например, 7 декабря в китайских газетах распространено заявление председателя КНР Ху Цзиньтао, в котором он отдал именно такой приказ китайскому ВМФ: “готовиться к войне”.

Впрочем, о том, что Запад начинает готовиться к войне, внимательным наблюдателям стало ясно уже тогда, когда началось “катынское дело” и был поднят вопрос о “десталинизации”. Ведь кампания по “десталинизации” в геополитических планах Запада является удобным инструментом, который позволяет поставить целый ряд вопросов ко многим государствам Евразии, ибо их границы устанавливал “коммунистический преступник” Сталин. А Сталин, как оказалось, утверждал не только пакт Риббентропа–Молотова, но ещё и послевоенные границы многих государств, в том числе, кстати, и тех, которые сейчас нам, мягко говоря, мало дружественны, – например, Польши и Чехии, а также Украины, Белоруссии, Литвы, Израиля, Кореи, Китая. Потому и хочет мировая закулиса не допустить Путина к власти, ибо он воспринимается “прогрессивными силами” Запада как преемник Сталина в назревающем геополитическом переделе мира, и соответственно, как препятствие в переустройстве мира в пользу Запада. Однако запущенный процесс “десталинизации” может поднять такую взрывную геополитическую волну, которая просто сметёт с карты мира многие послевоенные государства, и особенно те государства, в создании которых принимал участие Сталин. России нужно просто грамотно использовать “десталинизацию” как реальный фактор геополитики и рычаг давления во внешней политике, чтобы приводить в чувство наших соседей, многие из которых являются “сталинскими птенцами-выкормышами”, а значит, очень уязвимы в геополитических играх сильных мира сего. Тогда и “десталинизация” может послужить на пользу России. А сделать это грамотно может только В. В. Путин.

Чтобы сохранить свою территориальную целостность, многие наши соседи вынуждены будут войти в Евразийский Союз. А остальные, которых звать в Союз Путин не будет, вынуждены будут поддерживать самые дружественные отношения с Союзом как гарантом их территориальной целостности. Потому-то на Путина надеется весь Восток и вся Азия, и даже многие в Восточной Европе смотрят на него с надеждой. Именно поэтому идея Евразийского Союза, озвученная Путиным, “взбесила” Запад, который вот уже седьмой послевоенный десяток лет не может установить мировое господство из-за “русских медведей”. Там хотели бы видеть Россию только в виде моста, связывающего Запад и Восток, который в случае войны можно было бы легко взорвать. Идея моста, кстати, устраивает и наше боярство, которое давно норовит устроиться челноками между Западом и Востоком. Примечательно, что Путин поправил виднейшего представителя нашего патриотического боярства Никиту Михалкова, который недавно озвучил западную идею России-моста, заявив: Россия – не мост, но самодостаточное государство. А самодостаточными, как мы знаем, могут быть только империи, но никак не республики или княжества.

Чтобы Евразийский Союз просуществовал гораздо дольше, чем СССР, Путину надо учесть все ошибки и просчёты, которые допустил при создании СССР Сталин. Главное, что не смог сделать Сталин, – скрепить СССР духовными христианскими скрепами. Правда, в то время это невозможно было сделать, ибо народ наш тогда обезумел, и многие отреклись от Бога, особенно среди властей предрежащих. “Рече безумец в сердце своем: несть Бог” (Пс. 13:1). Потому и вынужден был Сталин сказать митрополиту Сергию в сентябре 1943 года при восстановлении патриаршества: “Владыко, это пока всё, что я могу для Вас сделать”. А после смерти Сталина начался новый виток безбожия, который и погубил окончательно Советский Союз.

В построении Евразийского Союза Путин, разумеется, будет использовать советский и царский опыт построения империи, но особенно важным и востребованным сейчас может оказаться, как ни странно, опыт равноапостольного Константина Великого при создании им Нового Рима – Константинополя, ибо Россия, как известно, является духовной преемницей Византии, или, как принято говорить, Третьим Римом. Во времена Константина Великого ветхий Рим оказался в тяжёлом положении, будучи наводнён переселенцами с востока и атакован варварами с севера. И в этих условиях император с помощью горстки христиан смог переломить ситуацию, покорив и христианизировав Восток, после чего он уже смог противостоять и варваризированной к тому времени Европе.

Я считаю, что озвученный Путиным план создания Евразийского Союза – это и есть план создания того самого чаемого нами Третьего Рима, по образу и подобию Рима равноапостольного Константина. Я полагаю, что ни Московское царство, ни Российская империя не могли в силу исторических причин полностью раскрыть идею Третьего Рима, ибо тогда ещё не проснулся и не пришёл в движение Восток. Да и Россия ещё не взошла на свою Голгофу. Напомню, что правлению равноапостольного Константина предшествовала эпоха жесточайших гонений на христиан, – и Второй Рим укреплен был именно мученической кровью христиан.

Если Евразийский Союз пойдёт по пути, по которому пошёл Константин Великий, то будет успех, ибо Господь не посрамил пути равноапостольного Константина, и его Рим просуществовал более тысячи лет. Константин Великий стал первым императором, который с Божьей помощью и Божьим благословением, явившимся ему в виде Креста на небе со словами “Сим победиши”, разрушил ветхий языческий Рим, а не стал с ним “заигрывать”. Он встал нелицемерно на защиту христианского меньшинства империи, уравнив его в правах с языческим большинством, а его Миланский эдикт 313 года стал началом конца ветхого Рима. Константин Великий, опираясь на христианское меньшинство, объединил Восток, христианизировал его и тем самым смог установить тысячелетнее торжество Православия на Земле во главе с ромеями. Но когда дух ромейства стал уходить, и во Втором Риме стал процветать дух эллинизма, то есть национализма, Константинополь пал под ударами турок. А элита, не захотевшая поддержать ресурсами последнего императора Византии, была истреблена турецким султаном Мехмедом II, который не пожелал иметь дела с предателями императора. То же может произойти и с нашей “не-

разумной” элитой, которая, если останется без России, будет уничтожена как класс своими же западными “партнёрами”.

И сегодня, когда враг снова стоит у стен Москвы и даже у стен Кремля, мы, православные христиане, должны сплотиться молитвенно, а если придётся, то и встать на защиту государственной власти, по примеру наших предков, создавших Союз Русского Народа, сплотившийся вокруг царя и не давший революционерам захватить власть в 1905 году. Подобно им и мы должны будем сплотиться вокруг нашего народного вождя Владимира Владимировича Путина, который сказал, что его опорой является именно российский народ.

В Путине враги России видят сакрального вождя православного мира. Ведь не просто так посадили в тюрьму архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря на Афоне, ибо архимандрит имел мужество сказать Путину: “Святая Гора вас любит”, дав пример многим нашим соотечественникам, в том числе и тем православным, которые готовы голосовать хоть за беса, только не за Путина. Идёт настоящая духовная борьба. Видимо, на мистическом уровне Путин “переиграл” своих “западных партнёров”, и тем ничего не оставалось, как со злости заточить в темницу архимандрита Ефрема. Кстати, так же поступали и немцы, готовясь к войне СССР, когда они подбিরали день для нападения, в который было бы меньше праздников православных святых, когда выкрадывали из советской России чудотворные иконы. Но немцы, как известно, просчитались и напали на нас аккурат в день Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Так и сейчас. Если бы Матерь Божия не посетила Россию через свой Пречистый Пояс, то наверняка сегодня бы наша страна уже полыхала в революционном пожаре. А мы, православные христиане, снова имели возможность убедиться, что Покров Божией Матери простёрт над Россией, стали свидетелями чуда Божия на Руси. И снова звучит для русского народа “Сим победиши”, т. е. все внутренние наши нестроения можно победить, только вооружившись крепкой христианской верой и укреплением духовности русского народа. И Путин вооружает Россию духовным оружием, которым мы победим всех супостатов, идущих на Русь. Мы, православные христиане, чётко должны понять, что сегодня Путин — главный ктитор и защитник нашей Церкви, и если он уйдёт, то с Церковью разделяются очень быстро, ибо церковные необновленцы ждут только сигнала от либералов из властных структур, чтобы превратить нашу Церковь частично в придаток Ватикана, а частично в православное гетто.

Мои друзья в 2000 году посещали перед смертью старца Псково-Печорского монастыря архимандрита Феофана (Молявко), человека высокой духовной жизни, который три раза подряд сказал, что церкви при Путине будут, т. е. спастись при нём можно будет большинству людей, а ведь это главное для нас, православных христиан. И мы видим, что в “царствование” Путина Россия необычайно укрепилась духовно. Именно при Путине прославили Царственных Страстотерпцев и всех Новомучеников и Исповедников Российских. Именно Путин содействовал воссоединению РПЦЗ с Матерью-Церковью. Именно Путин надавил на Турцию и на её гражданина патриарха Варфоломея, тем самым не дал “оранжевому” Ющенко сотворить на Украине “помистную церкву” и разорить там УПЦ МП. Именно при Путине построены и восстановлены тысячи православных храмов, а в Россию стали возвращаться православные святые со всего света. И самое отрадное событие, которое произошло в “царствование” Путина, — это возвращение Тихвинской иконы Божьей Матери, которая является покровительницей православных государств и правителей. Эта милость Божья показывает, что Россия будет жить, ибо она ещё должна послужить Богу.

КАК ФАБРИКУЮТ “ДЕЛА” ПО “ЭКСТРЕМИЗМУ”

Прокурору Владимирской области
ЧЕБОТАРЁВУ Вячеславу Михайловичу
от гражданина РФ Осипова Владимира
Николаевича, проживающего: г. Москва,
128347, Палехская ул., 128, кв. 6

О возбуждении уголовного дела по факту подготовки
заведомо неправосудного судебного решения.

25 марта 2010 г. начальник отдела ФСБ в гор. Александрове, Владимирской области, подполковник А. Д. Платонов обратился к Владимирской лаборатории судебной экспертизы с просьбой о проведении психолого-лингвистического исследования моей книги – В. Н. Осипов, “Корень нации. Записки русофила” (Москва, изд-во Алгоритм, 2008 г.).

Подполковник спецслужбы поставил перед лабораторией несколько вопросов: не содержит ли данная печатная продукция информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, межрелигиозной розни или вражды, оправдывает ли она необходимость распространения таких утверждений и содержит ли призывы к осуществлению ЭКСТРЕМИСТСКОЙ деятельности.

Через 4 дня, 30 марта 2010 г. “комплексное экспертное исследование” было уже готово. Эксперты НЕБУКИНА Мария Владимировна и КИРЕЕВА Мария Евгеньевна за 4 дня проштудировали данную книгу, более чем 600-страничный фолиант, и дали удобное ФСБ заключение, которое было передано прокурору города Александрова Шайкину А. И.

Прокурор Шайкин А. И. одобрил данное “комплексное экспертное исследование” и на его основании обратился в Александровский городской суд с заявлением о признании моей книги “Корень нации. Записки русофила” экстремистским материалом, к которому приобщил указанное исследование М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой.

1 декабря 2011 г. в судебном заседании в гр. Александрове было оглашено “заключение специалиста”. Авторитетный эксперт (стаж научной деятельности – 54 года, стаж экспертной деятельности – 20 лет), доктор филологии

ческих наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук Троицкий Всеволод Юрьевич в своём “Заключении” блестяще доказал, что “комплексность” экспертного заключения Небукиной М. В. и Киреевой М. Е. является ЛОЖНОЙ, а само т. н. “заключение” СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО, является ЗАКАЗНЫМ, голословным и бездоказательным.

Профессор Троицкий В. Ю. свидетельствует: “Целый ряд фрагментов исследуемого комплексного экспертного заключения М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой указывает на то, что данное комплексное экспертное заключение было сфальсифицировано, что указанные эксперты книгу В. Н. Осипова “Корень нации. Записки русофила” не читали и надлежащим образом не исследовали, а их “экспертная” позиция была, как можно из того заключить, заранее predetermined искомыми и желаемыми предвзятыми установками. Есть основание полагать, что экспертам был предложен ряд оценочных выводов, под которые им было предложено сверстать некую аргументацию. Либо (мы не исключаем этого) экспертам были предложены наборы цитат из указанной книги В. Н. Осипова. Сказанное подтверждается в первую очередь тем, что в тексте заключения М. В. Небукиной ТРИЖДЫ (выделено мной. – **В. О.**) – на страницах 14, 17 и 20 – искажается действительное название книги В. Н. Осипова “Корень нации. Записки русофила” – этой книге ложно присваивается совершенно неверное название “Корень зла”: обрезается вторая часть названия, состоящая из двух слов – “записки” и “русофил”, и подменяется второе слово первой части названия – “нация” на “зло” (в родительном падеже). Одну такую “ошибку” ещё можно было бы проигнорировать и не обратить на неё внимание. Но три одинаковых искажения названия исследуемой книги очевидно свидетельствуют о том, что эксперт М. В. Небукина книгу не читала, а её заключение сфальсифицировано...” “...М. Е. Киреева необоснованно приписала указанной книге В. Н. Осипова, вышедшей в действительности тиражом в 4000 экземпляров, тираж в 4 миллиона экземпляров. То есть М. Е. Киреева книгу в руках не держала. Указанное обстоятельство даёт основание считать исследуемое заключение М. Е. Киреевой сфальсифицированным”.

“Степень доказательности суждений, оценок и выводов экспертов М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой ассимптотически приближается к нулю”.

“...Эксперты М. В. Небукина и М. Е. Киреева не приводят в необходимом и убедительном объёме развёрнутые доказательства производимых ими оценок и формулируемых ими выводов. В подавляющем большинстве выводы являются голословными, рассчитаны на мало осведомлённых читателей и лишены обоснований”.

“М. Е. Киреева увлеклась анализом практической деятельности В. Н. Осипова, включая вопросы истории создания им союза “Христианское Возрождение” и участия В. Н. Осипова в неких публичных акциях. Но эксперта М. Е. Кирееву никто не уполномочивал проводить такие исследования, а такая её самовольность, в сущности, критически снижает уровень качества и обоснованности её заключения”.

“М. В. Небукина заявляет в качестве цели своего заключения “установление в материалах высказываний, содержащих призывы к возбуждению межрелигиозной, межнациональной, социальной розни, а также высказываний, направленных на возбуждение расовой, национальной и религиозной розни”.

“Обращаем внимание, в качестве цели сформулирована не оценка представленной на исследование книги В. Н. Осипова на наличие или отсутствие определённой информации, а “установление” неких высказываний, об априорном существовании которых уже известно экспертам! То есть М. В. Небукина изначально поставила себе задачу обосновать наличие в книге В. Н. Осипова фрагментов, направленных на “возбуждение розни”, невзирая на то, что реально таких фрагментов в книге могло и не быть. Следовательно, результат заключения М. В. Небукиной носит ЗАКАЗНОЙ (выделено мной. – **В. О.**), очевидно необъективный характер, является сфальсифицированным”.

“...Ими (экспертами. – **В. О.**) осуществляется ДОМЫСЛИВАНИЕ (выделено мной. – **В. О.**) за автора, необоснованное наделение тех или иных высказываний В. Н. Осипова совершенно посторонними и не относимыми к содержанию смыслами. Так, эксперт М. Е. Киреева на с. 27–28 делает вывод: “В исследуемом материале имеется информация о криминальном происхождении имеющейся у представителей социальной группы собственности и про-

тивозаконности действий, осуществляемых ими в настоящее время”. Данный процитированный вывод эксперт М. Е. Киреева основывает на следующей цитате из книги В. Н. Осипова: “Например, “произошла, как это ярко описал Говорухин, великая криминальная революция, и только монархия может спасти нас от криминально-олигархического ига” (с. 595). Но в цитируемом М. Е. Киреевой высказывании В. Н. Осипова ничего не говорится о собственности, о происхождении таковой и, тем более, о криминальном характере происхождения собственности. Здесь очевидным образом сфальсифицирован, необоснованно приписан смысл, не имеющий отношения к реальному высказыванию В. Н. Осипова”.

“На с. 26 эксперт М. Е. Киреева приводит ряд цитат из исследуемой книги В. Н. Осипова, которые сами по себе совершенно очевидным образом маркированы как пересказ цитат других авторов или как констатация факта того, что иные авторы, на которых ссылается В. Н. Осипов, выступали с некими критическими оценками. Но из этих цитирований В. Н. Осиповым или констатаций В. Н. Осиповым фактов критики иными лицами кого-либо или чего-либо – эксперт М. Е. Киреева совершенно необоснованно и произвольно приписывает именно В. Н. Осипову как их адресанту, игнорируя очевидные вышеозначенные обстоятельства. Подобных случаев необоснованного приписывания, фальсификации смыслов выявлено достаточно много, что свидетельствует о ЗАВЕДОМО ПРЕДВЗЯТОМ (выделено мной. – **В. О.**) и необъективном характере заключения М. Е. Киреевой. На с. 22 эксперт М. В. Небукина цитирует высказывание В. Н. Осипова о “засилье” представителей определённой социальной группы в “политике, экономике, финансах, культуре, СМИ”, но совершенно произвольно приписывает этому высказыванию отсутствующий в нём смысл – что будто бы указанные представители “оказывают вредное подавляющее влияние”. Но В. Н. Осипов в цитируемом М. В. Небукиной фрагменте ничего не говорит ни о “вреде”, ни о “подавлении”. Эти смыслы придуманы исключительно самой М. В. Небукиной, сфальсифицированы. На с. 21 эксперт М. В. Небукина занимается очередной отсебятиной в толковании слова “жидовство”, которому М. В. Небукиной надуманно и оскорбительно для евреев приписан смысл, охватывающий почему-то всех евреев “как неделимое целое”, хотя сама же М. В. Небукина цитирует на с. 16, 20 и др. высказывания В. Н. Осипова, в которых он очевидным образом разделяет понятия “жид” и “еврей”. Следовательно, в указанном случае М. В. Небукиной была осуществлена подмена, фальсификация смыслов”.

“М. В. Небукина фальсифицирует, приписывает несуществующий смысл цитат из книги В. Н. Осипова, просто чтобы было удобнее обосновывать собственное субъективное (не корреспондирующее заявленным методам экспертизы) мнение на исследуемый текст: “В результате формируется изначальная и неизменная враждебность к представителям политической элиты в России как к социальной группе. Чтобы они ни делали, их действия антинародны, само их существование опасно для остальных граждан России...” (с. 14). Здесь даже не оценка текстов В. Н. Осипова, а отражение М. В. Небукиной собственных политических взглядов – возмущения критикой В. Н. Осиповым политической элиты. Приведёнными примерами полный их перечень не исчерпывается, и это прямо свидетельствует о заказном и необъективном характере заключения М. В. Небукиной”.

“Экспертами М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой высказывается полнейшее непонимание различий между критикой и возбуждением ненависти и вражды или унижением человеческого достоинства, непонимание того, что далеко не всякие негативные сведения являются возбуждением ненависти и вражды или унижением человеческого достоинства по признаку отношения к религии, национальности или иным признакам”.

Профессор В. Ю. Троицкий недоумевает, почему М. В. Небукина “в обоснование своего неверного тезиса о допустимости и обоснованности понятия “политическая элита” к частному случаю понятия “социальная группа” ссылается на интернет-сайт Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (? – **В. О.**), а в другом случае ссылается на интернет-сайт, предлагающий студентам за деньги тексты рефератов, контрольных и дипломных работ, преимущественно плагиатных – скопированных из фрагментов чужих научных публикаций. Одни лишь такого рода ссылки автоматически превращают исследуемое комплексное экспертное заключение

М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой в ФАРС, ПРОФАНАЦИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ (выделено мной. — **В. О.**)”.

Профессор В. Ю. Троицкий делает вывод: “Комплексное экспертное заключение М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой № 385Э от 30 марта 2010 г. по содержанию книги В. Н. Осипова “Корень нации. Записки русофила” является некомпетентным и сфальсифицированным (сфальсифицированы промежуточные рабочие и финальные научные выводы — результаты исследования). Это заключение грубейшим образом противоречит требованиям, предъявляемым к такого рода документам, содержат многочисленные ложные оценки. Выявлены многочисленные случаи подмены и иных фальсификаций указанными экспертами смыслов высказываний В. Н. Осипова в его исследуемой книге “Корень нации. Записки русофила”. Сказанное даёт возможность оценить М. В. Небукину и М. Е. Кирееву как явно некомпетентных специалистов”.

И далее: “Представленная для исследования книга В. Н. Осипова “Корень нации. Записки русофила” не содержит каких-либо фрагментов, направленных на возбуждение ненависти либо вражды или на унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии, национальности или иным признакам, а равно не является в целом направленной на возбуждение ненависти либо вражды или на унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии, национальности или иным признакам”.

* * *

Две с половиной страницы “исследования” М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой посвящены “ТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЙ”. Они перечисляют немыслимые и оскорбительные для меня вещи.

“Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, выражаются в распространении (пропаганде) идей и взглядов, подрывающих уважение к определённой национальности, расе или религии, а также вызывающих НЕПРИЯЗНЬ или чувство НЕНАВИСТИ к образу жизни, культуре, традициям, религиозным обрядам граждан данной национальности, расы, религии”.

Да у меня в книге “Корень нации. Записки русофила” и в помине нет таких чудовищных вещей, как возбуждение ненависти или неприязнь к образу жизни, культуре, традициям и т. д. какой бы то ни было нации. Зачем об этом писать в экспертизе на мою книгу? Зачем умышленно нагнетать неприязнь и ненависть к АВТОРУ?

Далее: “Унижение национального достоинства выражается в распространении (пропаганде) ложных измышлений, извращённых или тенденциозно подобранных сведений об истории, культуре, обычаях... позорящих или оскорбляющих этническую или конфессиональную группу...” и т. д., и т. п.

Моя автобиографическая повесть о моей жизни, о гонениях, которые я испытывал от боготорческого режима, о моих патриотических государственных взглядах. При чём тут УНИЖЕНИЕ и ОСКОРБЛЕНИЕ других наций? Ведь нет никаких доказательств, но надо СОЗДАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ни за что ни про что изобразить (пусть косвенно, намёками!) автора людоедом!

И уж совсем из ряда вон выходящим ТОЛКОВАНИЕМ является абзац: “Мнимая оборона — побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, религии путём поощрения, оправдания геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей какой-либо нации, расы, религии... — требования ограничить права и свободы граждан или создать привилегии по национальному, расовому, религиозному признаку...”

М. В. Небукина и М. Е. Киреева дают понять — КОСВЕННО! — что автор книги — сторонник депортаций, репрессий и геноцида наций. Надо потерять стыд и совесть, чтобы дойти до таких утверждений в мой адрес.

В моей книге опубликовано воззвание Инициативной группы “За духовное и биологическое спасение народа” от 30 июля 1988 г. (стр. 157–160). Я и три моих соратника сокрушаемся по поводу миллиона сирот при живых родителях, роста числа абортёв, обогнавших число рождений, эпидемии алкоголизма (не менее 900 тысяч человек ежегодно умирает от алкоголя), роста числа наркоманов и проституток и т. д. Разве мы обвиняем в этом какую-либо нацию? Мы даже “социальную группу”, о которой так пекутся М. В. Небукина

и М. Е. Киреева, не обвиняем ни в чём. Вот наша линия: “Необходимо осознать, что биологическая возможность выжить вступила в противоречие с утвердившимся утилитарным образом жизни. Для того чтобы обеспечить возможность выживания, народ встал перед необходимостью изменить протвиеоестественную форму существования. Возродить первичность духовности, восстановить историческую память народа” (“Корень нации. Записки русофила”, стр. 160). Мы льём слёзы, а нам приписывают исключительность и прервосходство. Мы бодем за Родину, за свой народ и хотели бы вывести его с утилитарного пути на путь духовности. Где же тут “экстремизм”, господа эксперты?

Особое внимание М. В. Небукина и М. Е. Киреева уделяют анализу СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ, которую они намерены отстаивать и защищать от Осипова.

Затем М. В. Небукина и М. Е. Киреева утверждают: “В ходе анализа представленной на исследование книги было выявлено, что В. Н. Осипов негативно относится к государственному строю в России и к представителям власти”.

К некоторым представителям власти, прежде всего к расчленителям и погромщикам Российского государства Горбачёву и Ельцину, я действительно отношусь негативно. Но к государственному строю в России отношусь вполне лояльно. Я государствовеник, державник, патриот своей Родины и защитник своего государства. Я постоянно обличаю международных глобалистов, агрессивные круги США и НАТО, разоблачаю их тайные и явные действия против МОЕГО государства. Утверждение М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой о моём якобы негативном отношении к “государственному строю в России” считаю КЛЕВЕТОЙ, сознательным искажением истины.

В 2003 году я баллотировался на пост Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Это пятый по значимости пост в государстве (после президента, премьер-министра, председателя Государственной Думы и председателя Совета Федерации). Я не получил в Госдуме нужного количества голосов, но намеревался честно и добросовестно работать в системе Российского государства. Если бы М. В. Небукина и М. Е. Киреева читали мою книгу (а профессор Троицкий блестяще доказал, что они её не читали), то они бы обратили внимание на главу “Дума выбирает Уполномоченного” (стр. 507–509). Там говорится, что в своём выступлении перед депутатами я заявил, что “считаю важнейшей задачей Уполномоченного борьбу за социальные права нашего обездоленного народа, тем более, что сама Конституция РФ утверждает социальный характер нынешнего государства (статья 7-я). И полагаю особо важным взять под контроль прав русского и русскоязычного населения в Прибалтике, где процветает настоящий апартеид, в Казахстане, на Украине и в других республиках СНГ...” (стр. 507). В заключение я привёл высказывания выдающегося русского философа и правоведа И. А. Ильина: “Именно борьба за духовную культуру народа есть то, что соощаает государству высшее и последнее оправдание пред лицом Божиим... Духовная правота всякого личного интереса делает его интересом самого государства... Именно при таком понимании государство неизбежно становится орудием братства и солидарности”. Будем же стремиться к тому, обратился я к депутатам, чтобы наше теперешнее государство стало КОГДА-НИБУДЬ (!) орудием братства и солидарности (“Корень нации. Записки русофила”, стр. 508).

Я чётко и ясно выразил надежду, что сегодняшнее Российское государство приблизится к идеалу и станет орудием братства и солидарности.

А М. В. Небукина и М. Е. Киреева приписывают мне “стратегию дискредитации”, направленной на подрыв уважения к существующей в России государственной власти. И это утверждение экспертов считаю КЛЕВЕТОЙ в мой адрес, подрывом моей патриотической и государственнической репутации.

М. В. Небукина и М. Е. Киреева мыслят советскими шаблонами. Для них любой критик представителей власти – “антисоветчик” или, по-нынешнему, “экстремист”. Они забыли, что теперь живут в государстве, где по Конституции ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРОД. И любой человек из народа имеет законное право критиковать тех, кого он избрал.

Считаю, что так называемое “Комплексное экспертное исследование” М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой является сознательной ПОДГОТОВКОЙ ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНОГО РЕШЕНИЯ.

И это фальсифицированное “Комплексное экспертное исследование” прокурор города Александрова Шайкин А. И. одобрил, направил заявление в суд для возбуждения гражданского дела и приобщил к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законодательством. В его действиях как истца усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

В действиях экспертов М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное заключение эксперта, специалиста).

Прошу возбудить уголовное преследование в отношении прокурора города Александрова, Владимирской области, Шайкина А. И. как истца по гражданскому делу о признании книги В. Н. Осипова “Корень нации. Записки руссофила” в качестве “экстремистского материала” по признакам ч. 1 ст. 303 УК РФ, а также в отношении М. В. Небукиной и М. Е. Киреевой по признакам ч. 1 ст. 307 УК РФ, привлечь их к уголовной ответственности по данным статьям и наказать в соответствии с законом.

В. Н. Осипов
член Союза писателей России,
глава Союза “Христианское Возрождение”,
сопредседатель Союза Православных Братств

г. Москва, 19 января 2012 г.